ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№1 | 2021*

Виктория Исаенкова

Начало

2019

Виктория Исаенкова

Рождение Вселенной

2019

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения **№1 | 2021**

В номере

Д*и*Н культурология

Ольга Карлова

3 Что говорю, то вижу

Д*и*Н пародия

Евгений Минин

12 Вместе со строчкой поэта

170 Будь выше всяких глупостей, поэт!

Д*и*Н публицистика

Александр Астраханцев

13 Сибирскому поэту-энциклопедисту — 90

Надежда Дробышевская

45 Протоиерей Максим Золотухин. Ищущий да обрящет…

Д*и*Н юбилей

Юрий Ключников

27 В наших дальних краях

Владимир Алейников

48 Зимние стихи

Д*и*Н ревю

Ян Бруштейн

30 Дым империи

Дмитрий Косяков

53 Культурный фронт

Анастасия Астафьева

112 Для особого случая

Ян Бруштейн

189 Жизнь с рыбами, или Как я ругался матом

Д*и*Н диалог

Дарья Мосунова, Илья Новиков

31 Жить здесь и сейчас

Дарья Мосунова, Александр Евсюков

34 Признаки нового декаданса

Дарья Мосунова, Андрей Антипин

39 Люблю людей естественного течения мысли

Дарья Мосунова, Екатерина Щерба

43 Не люблю писать о войне

Д*и*Н стихи

Илья Новиков

33 Знамение

Асламбек Тугузов

56 Светом жив

Елена Литинская

60 На краю

Варвара Юшманова

62 Вечное объятье

Виктория Соловьёва

121 Под солнцем у пыльной дороги…

Рашит Закиров

123 Летите к Енисею…

Виктория Сигеева

127 Навстречу солнцу

Наталья Каулина

131 На следующей остановке

Алёна Марковская

134 Россия маленькая

ДиН проза

Александр Евсюков
38 На корейской границе

Дмитрий Косяков
64 Направление

Екатерина Блынская
137 Вьюн над водой

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Андрей Антипин
42 Из книги миниатюр «Живые листья»

Геннадий Белошапкин
95 Заглянуть за горизонт

Виктор Бирюлин
102 Далёких молний не бывает

Владимир Вещунов
113 Родительский день

ДиН память

Виктор Аференко
44 Светлый город

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Марина Саввиных
54 Пленник пламенных звёзд, или Поэзия последней свободы

Михаил Горевич
183 Города и реки поэтического мира

ДиН симметрия

Марина Цветаева
94 Как закон голубиный вымарывая…

Василий Александровский
101 Мы

Андрей Платонов
120 Познаны нами тайны вселенной

Алексей Маширов-Самобытник
126 Свидание

Николай Гумилёв
182 Египет

ДиН дебют

Вячеслав Сухачёв
171 Наваждение

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Люба Горлова
190 Новогодняя история кота Стёпы

191 По страницам «Синей тетради»

195 ДиН авторы

Ольга Карлова

Что говорю, то вижу

Национальный язык как ответ на народную задачу

В конце прошлого года по инициативе Министерства культуры Красноярского края уже в тринадцатый раз прошло Академическое собрание в формате научного доклада в театрально-сценическом сопровождении с участием артистов красноярских театров и краевой филармонии. Правда, в этот раз оно прошло виртуально — участники знакомятся с его видеоверсией на различных электронных ресурсах. Академическое собрание 2020 года посвящено национальным языкам и национальным картинам мира разных народов, а также юбилеям выдающихся языковедов, этнографов и писателей, которые внесли свой особый вклад в мировую лингвистику и культурологию. С видеоверсией Академического собрания вы можете ознакомиться, пройдя на канал Академического собрания по ссылке: https://youtu.be/Ai1Fko6WtAg. Для читателей «ДиН» мы публикуем текст доклада доктора философских наук Ольги Карловой — научного руководителя проекта.

Редакция «ДиН»

Библия связывает появление разных языков у человечества со строительством Вавилонской башни. Устремлённое к небу, это глобальное сооружение явило Богу безмерную гордыню людей, уподобившихся Ему, за что и последовало немедленное наказание. Заговорив на разных языках, люди оказались настолько не способны договариваться и работать вместе, что даже вполне очевидная цель — дальнейшее строительство башни — не смогла их объединить в сколько-нибудь рациональной совместной деятельности. А это означает, что они не просто перестали понимать произносимые другими слова — они вообще перестали понимать друг друга. То есть, выражаясь по-современному, вместе с языком люди поменяли и менталитет — свой способ мировосприятия.

Вавилонская башня и задачи народов

Древние мифологические тексты обладают одним важным качеством: сколь фантастичными они ни казались бы нам, наука доказала, что в их основе всегда лежит факт. Таким образом, можно предположить, что в Вавилоне действительно проявился некий глобальный языковой катаклизм, который показал, как, сообразно языку, разнятся и восприятие народов, и даже их мышление. И если по поводу самого вавилонского столпотворения историки ещё спорят, то мировое языкознание давно подтвердило связь языка и менталитета народа — на это науке потребовалось два с лишним века великих лингвистических открытий.

Но нас интересует ещё один важный вопрос: означает ли финал библейской притчи, что вместе со смешением языков племена и народы изменили не только чувства и реакции, но и свои национальные задачи? Действительно, куда-то же должна была устремиться созидательная сила каждого племени и народа после того, как они отказались от некогда единой, пусть и греховной, цели. Более того, эти ментальные различия, несмотря на мировую глобализацию — естественную и искусственную, до сих пор настолько сильны, что правительства разных стран при поддержке своих народов с трудом договариваются о разумных совместных действиях.

Что скрывает «главная картина» нации?

Так каким же образом проникнуть в тайны менталитета народа, если это не что иное, как национальный взгляд на мир, не доступный чужакам? Для этого недостаточно осмотреть архитектурные достопримечательности и попробовать национальную кухню. Каким локатором улавливаются «разлитые» в коллективном сознании смыслы, играющие роль ценностного экрана — экрана, через который народ смотрит на мир и посредством которого исторически создаёт свою национальною картину мира? Да, оказывается, такая картина мира есть абсолютно у каждого народа, даже если его зафиксированная история насчитывает не более ста лет. Характерны в этом смысле открытия русского этнографа-североведа Владимира Германовича Богораза (Н. А. Тана), который в начале двадцатого века впервые описал космогонические модели северных этносов России — прежде всего чукотского народа. Учёный выявил дуализм луораветланской-чукотской этнической модели, состоящей из Нижнего и Верхнего миров, и уточнил особенности такой двойственности восприятия действительности, которая и определяет

одухотворение народом всех явлений природы. В этой двойственной реальности возможен контакт между мирами, а проводниками выступают шаманы с их магическими практиками.

…В мультфильме о Простоквашино родители дяди Фёдора спорят о том, зачем нужна висящая на стене картина: отец настаивает на её эстетических качествах, мама утверждает, что она дырку на обоях загораживает. И они оба правы.

«Заградительная» функция есть и у национальной картины мира любого народа, с тем только отличием, что она в определённые моменты истории может загораживать лишь небольшую часть «ландшафта реальности», а в другие — полностью закрывать собой этот ландшафт. В ней много и этногенетического, и исторически сложившегося, и политически актуального — и за эту «свою правду» народ на многое готов. Глядя на то, что происходит в последние годы на Украине, понимаешь, почему в древнем Вавилоне так и не удалось ни о чём договориться и ничего построить.

Есть ли в таком «вавилонском столпотворении» правые и виноватые? Может быть, и нет — но это до того момента, пока отдельные представители одной культуры не берутся за оружие и не совершают во имя неё насилие над инакомыслящими и инакочувствующими. Тогда ценность каждой человеческой жизни вступает в противоречие с ценностями агрессивной национальной картины мира — и она становится исторически подсудна. Возможность такой её трансформации, приводящей в крайних формах к проявлениям нацизма и фашизма, обычно стараются не акцентировать.

Другое дело — творческая функция, порождающая фольклорно-эстетическую реальность. Поскольку национальная картина мира исторически воплощена в культуре, народное творчество — это с детства знакомый нам источник художественного мастерства и народной мудрости. Одними из первых научный интерес к ним проявили немецкие романтики: ещё в начале девятнадцатого века члены Гейдельбергского кружка, среди которых был и выдающийся филолог Якоб Гримм, начали исследование корней немецкой народной культуры как живой мифологической реальности народа. Немец, как и русский, японец или египтянин, внутри своей культуры усваивает смысловые и ценностные ориентиры, всю свою жизнь находясь в состоянии внутреннего диалога с ними. Но как реально осуществляется этот диалог, приводящий к «укоренению» смыслов и ценностей в индивидуальном сознании?

Открытие того факта, что народное искусство начинается прежде всего с языка, привело Якоба Гримма к исследованиям истории и грамматики немецкого языка, которые положили начало выделению германистики и лингвистики в отдельную науку. И хотя братьев Гримм знают прежде всего по собранию немецких сказок, главным трудом своей жизни Якоб Гримм считал «Немецкий словарь» — сравнительно-исторический словарь всех германских языков. То, что при жизни учёного словарь был доведён лишь до буквы «F», а фактически завершён только через сто пятьдесят лет, говорит, безусловно, о колоссальной сложности языка как объекта исследования.

Витрины сокровищ или их неприступные тайники?

Даже самый древний естественный язык, на котором, как на прафундаменте, зиждется здание национальной культуры, чрезвычайно сложен. Каждое слово в нём обладает колоссальным многосмыслием, а это вставляет палки в колёса любой коммуникации, которая предпочитает однозначные слова-сигналы. Естественные языки народов строятся именно как сложнейшие «открыто-закрытые» системы: они сразу и кардинально очерчивают культурную границу нации — то есть повторяют закономерности национальной картины мира. Таким образом, именно национальный язык является первичной знаковой системой, основным естественным смысловым «экраном», через который сознание воспринимает мир. Иначе говоря, «что говорю, то вижу». Типы этих «экранов» удивительно разнообразны. Известно, что в языке эйзе есть тридцать три слова для выражения различных способов ходьбы. Арабский насчитывает 5700 названий верблюда. А иероглифическая основа языков Китая и Японии делает чрезвычайно трудным перевод их поэзии.

Скажем, даже на богатый возможностями русский язык японские танку или хокку часто переводят рифмованным стихом, хотя поэзия Японии не знает рифмы как поэтического знака. Принятый в последнее время в европейской традиции перевод верлибром игнорирует чёткий ритмический рисунок такого японского стиха. Сложность представляет и перевод ряда грамматических форм: так, в японском языке отсутствует категория рода, и стихотворцы предпочитали не употреблять личных местоимений, поэтому трудно даже предположить, о ком — мужчине или женщине — повествует приведённая ниже танка:

> Любить…
> Хоть нет тебя (меня, её, его),
> Днём нахожу (находишь, находят) утешенье.
> Ночью грустно
> Одному (одной) в постели.

«Собирание смыслов» в иероглифе как «первокирпичике» этих языков определило и традицию считать голос поэта «голосом нации». В ней стирается грань между личным и неличным: поэт выступает вместилищем слов всех людей. Да и вообще в японской поэзии столько традиционного,

что само понятие плагиата в ней — абсурд. При этом стихи чрезвычайно насыщены национально-культурной и географической символикой. Известный пейзаж, конкретное название горы или реки в танке — не просто название, но общезначимый в культуре образ:

> У сливовых цветов всё тот же аромат —
> Как будто их коснулся твой рукав,
> Совсем как та весна…
> У месяца б узнать:
> Быть может, прежняя весна вернулась вновь?[1]

Японец прочитывает между строк этой танки массу не доступной нам информации. Ему хорошо известно, что рукава женской одежды с их глубокими внутренними карманами наполняли лепестками, аромат которых они впитывали. Поэтому цветы сливы вызывали в воображении возлюбленного воспоминание о рукаве любимой. Кроме того, зная о постоянной символике рукава, который в старину стелили перед расставанием в изголовье возлюбленному, сведущий читатель чутко различает и мотив разлуки. В этом же пятистишии зашифрована культурная информация о том, что события происходят осенью: «месяц», «луна» — осенние «сезонные» японские слова, потому что только в это время года луна особенно ярка на небосклоне Японии. И хотя может показаться, что эта танка посвящена памяти о прошедшей весне любви, на самом деле она утверждает продолжение любви и в осеннюю пору — ибо «цветы сливы» (а это весеннее «сезонное» слово) не изменили своего аромата вопреки циклическому времени. Вот так около 3000 «сезонных» слов говорят японскому читателю о циклическом времени, которое чрезвычайно важно в японской поэзии, ибо вся она — калейдоскоп времён года и созвучных с их сменой состояний природы и человека. В десятом веке автор первого трактата о поэзии Ки-но Цураюки написал: «Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени — сердца и превращаетесь в мириады лепестков речи, в мириады слов. И когда слышится голос соловья, поющего среди цветов, или голос лягушки, живущей в воде, хочется спросить: что же из всего живого на земле не поёт своей собственной песни?»[1]

О, как далека эта восточная традиция поэтического вслушивания в мир от доминирующего лирического «Я» европейских поэтов, у которых мир обретает смысл только в собственных переживаниях! Конечно, английский писатель и нобелевский лауреат премии по литературе, родившийся к тому же в Индии, Джозеф Редьярд Киплинг утверждал, что преодоление сильной личностью границ национальных ценностей и предрассудков вполне возможно. Строки его знаменитой «Баллады о Западе и Востоке» в одном из переводов звучат так:

> Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
> Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Но это кажущееся торжество общечеловеческого на поверку оказывается привычным штампом поэзии романтизма, причём сугубо европейского. А истины значительно больше, пожалуй, именно в первых строках этой баллады:

> О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
> и с мест они не сойдут…[2]

…Доказательство сказанному можно найти и в любой другой сфере языка — например, в терминологии. Очевидно, что избранные в качестве терминов слова разных языков специфически определяют смысловое поле понятия. Так, европейцы ведут родословную философского термина «материя» от латинского слова, означающего «лес», «дерево», а в индийской философии этот термин происходит от слова «поле». Один термин — и две совершенно разные философии бытия! И такой факт множественности совершенно условных имён, которыми наречены в разных языках одни и те же предметы и явления, невозможно объяснить ничем иным, кроме как следующей истиной: язык нации есть универсальное средство охраны своей культуры от вторжения чужой. Он — неприступный тайник, своего рода оружие национальной картины мира в выполнении её «заградительной» функции.

Любая вселенная начинается с языка

Против этой самой «множественности» и условности языка бунтовал в своём творчестве «Председатель земного шара» и величайший чудак от науки и литературы Велимир Хлебников. Мыслитель и пророк, математик и орнитолог, он вынашивал множество прожектов — от строительства Круго-Гималайской железной дороги и разведения в озёрах «пищи будущего» до поражающих своей точностью математических законов истории; от включения обезьян в семью человека и наделения их некоторыми гражданскими правами до поразительных постмодернистских стихов. Многие из этих стихов на столетие опередили литературный процесс. Так и хочется прочесть их с тягучей поэтической интонацией Иосифа Бродского:

> Мне, бабочке, залетевшей
> В комнату человеческой жизни,
> Оставить почерк моей пыли
> По суровым окнам, подписью узника,
> На строгих стёклах рока.
> Как скучны и серы
> Обои из человеческой жизни!

1. Японские пятистишия. М., 1971. С. 14, 5.
2. *Киплинг Р.* Баллада о Западе и Востоке. https://rustih.ru/redyard-kipling-ballada-o-zapade-i-vostoke

Окон прозрачное «нет»!
Я уж стёр своё синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла—первую свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жёстки.
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.[3]

Принадлежащий эпохе символистов и бунтарей, чувствуя, как и они, момент коренного обновления российской жизни, Хлебников как никто другой понимал необходимость не менее коренных изменений в языке. А уж если речь шла о всемирной революции, то его цель—через систему символов и знаков нащупать всемирный язык и создать азбуку ума. Об этом он объявил в 1919 году в статье «Художники мира»: если современные бытовые языки разъединяют человечество, то единый язык с его «самовитыми словами» должен его объединить. «Самовитое слово», «умное слово» (или, иначе говоря, «заумь») у Хлебникова очень далеки от «слова, освобождённого от мысли», которое провозглашали другие футуристы, например, Алексей Кручёных. Хлебниковское слово-символ вполне рационально, поскольку основано на азбуке понятий и ума. Чистая звукопись для него—не цель, а лишь питательная среда, из которой можно вырастить «древо всемирного языка». Важно и то, что эту русскую звукопись поэт знал хорошо, глубоко изучив в первый период своего творчества славянские фольклорные мотивы.

Наука того периода была едина во мнении: в языке слишком многое необъяснимо, множество знаков представляют собой лишь условную форму, употребляемую по традиции. Признанный мэтр языкознания Фердинанд де Соссюр утверждал: язык произволен и условен, что, в общем-то, означало отрыв языка от мышления. Слово включает в себя культурный смысл наряду с формальной оболочкой: надо просто принять это как данность… Но Хлебников исходил из абсолютно другого утверждения: язык генетически связан с мышлением! И потому поэт и учёный стремился проникнуть в тайну слова.

Почему «и» в русском языке—союз, а на латыни—глагольная форма «иди»? Почему «да» для нас—утверждение, а в немецком—место? Почему для русского «он»—местоимение, а для турка—число «десять»? Иначе говоря: почему язык столь условен, и как преодолеть «произвольность» языкового знака? Хлебников считал возможным и необходимым рационализировать язык, ибо «новое слово» не только должно быть названо, но и должно «быть направленным к называемому». Это далеко от призыва создать какое-то примитивное условное эсперанто. Для хлебниковского переустройства языка необходимо было проникнуть в архаичные пласты. Новый язык не придумывался—его знаки вычленялись при «разложении слова» на его первоначальные значения. В результате получились архаичные «снизки» слов, удивительно похожие на речь и поэзию восемнадцатого века. Это было продолжение традиции «философских языков» того времени и одновременно прорыв к научным открытиям связи языка и мышления конца двадцатого века. Но, как часто бывает, в откровениях «будетлянина» и чудака современники услышали только «языковой утопизм».

Однако наука продолжала двигаться в этом направлении. Именно на формальную оболочку слова обратил особое внимание советский лингвист Лев Владимирович Щерба, изобретя знаменитую фразу: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». В этой фразе, будучи оторваны от смысла толковых словарей, в полной мере раскрываются собственно объективные знаки национального языка. Такой подход позволил Щербе открыть, в противовес традиционной пассивной грамматике, грамматику активную. Его последователи-лингвисты вновь и вновь изучали материальную оболочку слова и выявляли те смыслы, которые она в себе несёт. В России существуют научные школы суггестивной фонетики, то есть изучения звуковых комплексов с точки зрения силы внушения и качества восприятия. Их разработки подтверждают объективность звуковых ассоциаций и результатов фонетического воздействия у представителей определённой языковой группы.

Мир, творимый словом

Любая национальная картина мира, воплощённая в культуре и языке, не воспроизводит предмет, а даёт ему имя. Этот процесс по своей значимости равен сотворению мира. Что означает имя, данное нам при рождении, наречённое при крещении или даже придуманное в социальных сетях? Иоанн, Ольга, Искра, Коминт (сокращённое «Коммунистический интернационал»), наконец, Basil, Gotten… Все они—символы принадлежности национальной, социальной или групповой мифологии, они могут быть и религиозно-христианскими, и советско-атеистическими, и культово-интернетными. Главное—с каким именно высшим по ценности смысловым комплексом той или иной культуры это имя тебя соединяет.

И в национальном мышлении, и в национальном языке важна именно связанность предметов и явлений между собой через их связь с неким сакральным центром—совершенным (идеальным) предметом. Таковы связь луны, лотоса и осени—

3. *Хлебников В.* Мне, бабочке, залетевшей… https://stihi.ru/diary/alemoskva/2020-01-25

в древнеяпонском языковом мифе; луны, корзины с картофелем, жука-светлячка—в мифах майори. Такова связь красных колпаков санкюлотов со свершениями Французской революции или связь красного знамени с кровью павших героев Гражданской войны. Эту же неразрывность с Кольцом Всевластья демонстрируют толкиеновские назгулы, такова же сакральная связь предметов-крестражей с душой Того, Кого Нельзя Называть, в эпопее о Гарри Поттере.

Именно признаки такой связи отыскал в таинственных знаках Розеттского камня выдающийся французский лингвист Жан-Франсуа Шампольон. С раннего детства он бредил египетскими походами Наполеона, слушал лекции брата и других учёных о Египте и был уверен: именно он, когда вырастет, прочтёт текст «утерянного языка». Он в совершенстве знал десяток древних и столько же современных языков, и этот огромный лингвистический опыт подсказал Шампольону, что в основе египетского письма лежат звуки, а не рисунки. Исходным пунктом при дешифровке стала гипотеза о наличии в тексте царских имён, которые должны были звучать так же, как в греческом языке,—Птолемей и Клеопатра. Кроме того, имена царей были сакральными, поэтому помещались в овальную рамку. Ранее из текстов Плутарха Шампольон узнал, что в демотическом письме двадцать пять знаков, и стал их искать. Некоторые из них были связаны с сакральными изображениями птиц и животных. Расшифровав таким образом текст из 486 греческих слов и 1419 иероглифических знаков, Шампольон прочёл надпись и доказал, что египетское письмо—звуко-слоговое, положив тем самым начало науке египтологии.

Итак, ритуальные связи понятий в языке можно реконструировать. Это доказал в своих научных трудах и основатель русской индологической школы Иван Павлович Минаев, исследуя памятники Индии, Бирмы и Непала. Таким образом он создал первую грамматику языка пали и описал язык и культуру древнейшего населения Цейлона—лесных охотников веддов.

Но, помимо реконструкции, есть и другой путь выстроить такие ценностные связи внутри языка: можно задать их в качестве образца, как это и делалось в советский период. Составитель словарей русского языка Сергей Иванович Ожегов был в тридцатые годы двадцатого века ближайшим помощником Д. Н. Ушакова при составлении его «Толкового словаря»—в те времена это было знамя русской языковой культуры. На основе этих разработок Ожегов создал словник для русско-национальных словарей СССР, который стал практическим пособием при составлении учёными разных народов страны их национальных словарей. Конечно, получение письменности было для многих малых народов колоссальным культурным прорывом, но при этом важно помнить, что важнейшим языковым материалом таких словарей был советский идеологический лексикон.

В частности, в этих словарях понятие религии ещё очень близко к определению «опиум для народа». Вместе с тем «ре-лигиа»—исходя из происхождения слова,—это восстановленная связь. Причём именно та самая особая сакральная связь—связь Бога и мира, мира и человека, человека и его нации, человеческой души и души народа. Слово же «культура» произошло от древнего корня «коулт»—«возделывать». Культура, обращённая к священным связям, призвана, таким образом, ни к чему иному, как возделывать идеалы этих высоких связей.

Культурные связи можно прочесть и осмыслить, как полагал швейцарский психиатр и педагог Карл Густав Юнг, если выявить бессознательные архетипические образы человека. Поскольку индивид рождается с «целостным личностным эскизом», с наследуемой структурой психики, то семейные, национальные или общечеловеческие архетипические образы как источники устойчивой символики можно плодотворно изучать, тем более что они всегда носят эмоционально заряженный характер.

Отталкиваясь от юнговской категории «национального бессознательного», можно говорить о русских архетипах нашей культуры, о русскости нашей музыки, живописи и, в первую очередь, литературы. В докладе Академического собрания 2010 года «Константа русской души: Чайковский, Левитан, Бунин» мы специально останавливались на этом аспекте, выделив в итоге синэстетичность, интертекстуальность и диалогическое сознание этих мастеров искусств; устойчивые комплексы идей, образов и архетипов в их творчестве; философию чувства—интеллектуальное мужество оперировать понятиями «вечность», «любовь», «жизнь» и «смерть», «концы» и «начала». И ещё то, что все эти художники так или иначе обладали пророческим даром. Если Велимир Хлебников искал в древних архаизмах основу языка будущего, веря во всемирную революцию «умного» слова, то лауреат Нобелевской премии в области литературы, великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин совершеннейшим образом отрицал советский «новояз»—язык корявых сокращений, лозунгов и просторечных искажений, возведённых в ранг новых пролетарских языковых законов. Когда к Бунину обращались за отзывом молодые писатели, он терпеливо отвечал, что прочтёт их рукописи, но никогда не забывал предупредить, чтобы не трудились присылать те, что написаны новоязом.

Но, так или иначе, они оба смогли в чём-то опередить своё время. Прошёл век—и Бунин на поверку оказался не столько певцом дореволюционной России, каким его считали современники,

сколько русским новатором эпохи модернизма. Советские журналы кричали о его эпигонстве, а он изымал типы русской литературы из пыльного музея классики и заново переживал в своих произведениях их неиспользованные возможности. Реалист лишь по художественной манере, Бунин открыл человечеству беспредельность образно-сюжетного потенциала русской классики, её разрешение в бесконечность.

...Центр культурного мифа—память. Как и искусство, она отсеивает неважное, обнажая главное. У Бунина память—это и глубинное воспоминание о своём предсуществовании, и тема обращения к прожитому, и вечный мир русской художественной классики. Отбор памяти бессознателен, им руководит не рассудок, а нечто более глубокое—национальное бессознательное.

Великий церемониймейстер истории

М. Элиаде называл обряды «праздниками воспоминаний». Чем старше человек, тем более усиливаются в его памяти связи из собственного прошлого и прошлого его культуры; тем более важными, а значит, и неподвижными становятся смыслы, заключённые в его языке. С возрастом всё сильнее раздражает языковое экспериментаторство, и мы чувствуем необходимость сохранить и передать языковые традиции, а равно и традиции русского менталитета. Современная реальность даёт для этого все возможности, хотя общество не всегда ими пользуется.

Развитие языка и культуры осуществляется по естественным законам: это значит, что в обществе должны в равной степени поддерживаться обе тенденции по отношению к ним—и новаторская, и охранительная. Охранительная прежде всего связана с соблюдением национальных ценностей и языковой нормы в массовых источниках информации: в частности, в массмедиа, в школах и вузах совершенно необходимо говорить по-русски правильно. Вспоминая периоды засилья в нашем языке голландско-немецкой лексики во времена Петра I или французской речи в эпоху Наполеона (а равно и преклонения перед всем заграничным), хочется надеяться, что языковая англомания в сегодняшней России—просто ещё один исторический эпизод таких заимствований. И, как уже бывало, часть их уйдёт, а часть закономерно осядет в нашем языке и в нашей культуре, особенно если эти явления вошли в жизнь народа параллельно с новой технологической реальностью. Но при этом обязательно сработает закон языка и мышления, о котором писал в своей книге «Национальное своеобразие русской литературы» Б. Бурсов: «...Мысль, усвоенная при помощи чужого языка, становится по-настоящему своей, когда она может быть выражена на собственном языке. При этом язык вовсе не остаётся безразличным к мысли. Он сам совершенствуется, чтобы стать вровень с мыслью, ему ещё не знакомой, и совершенствует или, во всяком случае (преимущественно на первых стадиях), приноравливает к местным условиям извне пришедшую мысль»[4].

Таким образом, инонациональная мысль—тоже один из источников развития языка и культуры. Развития вполне здорового и естественного в том случае, если бóльшая часть общества (и особенно народные кумиры) не переходит на разнообразные сленги и жаргоны, а нормативные образцы языка и мышления и сохраняются, и постоянно транслируются. Русский язык во всём своём великолепии сохранился благодаря классической педагогической традиции изучать его как русскую словесность, которая веками в нашей стране была и эстетическим мерилом, и общественной мыслью, и учебником национального языка. И вот удивительно: большинство гимназистов не только писали правильно, но и совершенствовали своё ощущение жизни, ведя подробные дневники и сочиняя стихи. Необходимо помнить: если носители языка практически не слышат образцов правильно звучащей речи, не знакомы с великими образцами национальной общественной мысли, мода на всё западное и «языковые игры» в угоду групповым молодёжным ценностям могут сыграть с «великим русским» злую шутку, и потери рискуют стать необратимыми.

...А ведь нашим предкам, не имевшим в своём распоряжении средств массовой коммуникации, тем не менее удавалось сохранять и передавать образцы языковых и ментальных обрядов! В ряде фольклорных жанров мы находим специальные приёмы для запоминания—троекратные повторения важных событий, ситуации выбора, единую композицию, предполагающую одинаковое построение произведений. Этой же цели служат и метр народного эпического стиха, и постоянные фольклорные эпитеты, и гиперболизация характеристик. Но важный вопрос: может ли сегодняшний молодой человек извлечь какой-то полезный урок из текста былины?

...Вот богатырь Алёша Попович, единственный, кто осмеливается на пиру князя Владимира осудить неподобающее поведение Тугарина:

— Гой еси ты, ласковый государь Владимир-князь!
Что у тебя за болван пришёл?
Что за дурак неотёсанный?
Нечестно у князя за столом сидит,
Княгиню он, собака, целует в уста сахарные,
Тебе, князю, насмехается.
А у моего сударя-батюшки
Была собачища старая,

4. *Бурсов Б. И.* Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1967. С. 89.

Насилу по подстолью таскалася,
И костью та собака подавилася —
Взял её за хвост, под гору махнул.
От меня Тугарину то же будет![5]

Словесный поединок продолжался, пока антагонист Алёши не вышел из себя, но и тут сражения не произошло: главный бой почему-то отложили на завтра. Рациональному современному сознанию удивительна эта замедленность реакции былинных героев. Но удивительна лишь до того момента, как мы осознаем, что для древнего русича должно было существовать что-то более важное, чем богатырские эмоции и здравый смысл. Оказывается, это то, как именно сделан подвиг. То есть способ, каким была достигнута победа, для ритуального древнего сознания имел едва ли не бо́льшую ценность, чем результат боя. Ибо герой не может нанести урон своей славе, он должен достичь своей цели «правильно»! Вот и оказывается, что принцип «цель оправдывает средства» был чужд не только практической жизни наших предков, но и сохранившейся в веках национальной русской фольклорной педагогике.

Поднимаемые в русском фольклоре и русской литературе экзистенциальные, смысложизненные вопросы утомляли прагматичных западных мыслителей и уж тем более европейских мастеров искусств девятнадцатого — двадцатого веков. А для природно-созерцательной гармонии восточных цивилизаций подобные вопросы слишком прямолинейны и «очеловечены»… Ответы на такие вопросы давала и даёт веками именно русская культура. И ответы эти особенные — таинственно-мистериальные, духовно-языческие, светло-печальные, трагически-мажорные. Словно бы, существуя на границе великих цивилизаций, русская культура взяла на себя роль не только форпоста на перепутье культур, но и посредницы, поскольку умеет глубоко чувствовать и глубоко мыслить о человеке.

Яркие свойства русского менталитета описывал профессор Венского университета Николай Сергеевич Трубецкой, рассматривая русских как евразийский народ. Психологическая и культурная особость русской нации определяется, по его убеждению, её принадлежностью к евразийской цивилизации: «на восток от Европы, на запад от Азии» — в границах империи Чингисхана. Россия, по его мнению, — наследница и центр этой империи, а потому в ней многое определяется «властью пространства», необходимостью культурного диалога и неустанной «работой» души. Всё это разлито в русском менталитете и вербализовано в русской словесности, которая и изучалась веками, создавая нравственную основу русской интеллигенции и восстанавливая её связь с русской национальной картиной мира.

Отрыв изучения национального языка от собственно образцов русской мысли, русского способа мышления, представленных в русской литературе, истории и философии, сравним с мировоззренческой катастрофой. Это делалось совершенно сознательно в стремлении заместить русскую национальную картину мира советской мифологией. И постепенно такая с виду невинная методическая практика вкупе с постоянным сокращением объёма гуманитарного знания в школах и вузах превратила великий русский язык в груду бессмысленных правил и исключений, сколь многочисленных, столь и неинтересных — особенно для пытливого детского ума. И как только в девяностые прекратился партийно-идеологический надзор за состоянием языка и культуры, эта школьная методика закономерно и быстро привела к сегодняшнему крайне слабому знанию своего родного языка молодым поколением россиян.

Языковая лаборатория и «чёрные дыры»

Первым, кто указал на то, что сущность языка состоит в речевой деятельности, был выдающийся российско-польский лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. До него историческое направление в лингвистике развивалось только на основе изучения письменных памятников. Исследуя живые языки, учёный доказал, что можно воздействовать на язык, а не только фиксировать существующее в нём, — так родилась экспериментальная фонетика, изучающая язык в развитии.

Именно в тексте и диалоге язык показывает свою способность умножать смыслы слов порой до бесконечности. Об этом убедительно писал создатель теории диалогической природы текста, русский философ и литературовед Михаил Михайлович Бахтин. Он вычленил несколько уровней диалога текста: это и собственные текстуальные диалоги, и общение через текст автора с читателем, и, наконец, текст-оценка исследователя.

Учёный был уверен: слово — настолько сложное явление в культуре, что должно изучаться в лингвистике с опорой на общественную эстетическую теорию, гносеологию и другие философские дисциплины. Так, слово в речи бесконечно «прирастает» смыслами контекста (иногда даже меняя свой общеупотребимый смысл на противоположный). На этом, кстати, основан механизм остро́ты, которая вызывает эстетическое наслаждение именно как неожиданный результат замены привычного значения слова. Вот, например: «Он был незлопамятен: не помнил зла, которое причинял другим», — здесь контекст слова делает его как бы не равным самому себе

5. Былина об Алёше Поповиче и Тугарине Змеевиче. https://narodstory.net/russkie-bilyini.php?id=1

(своему прямому словарному значению). На этом же основан и эффект «освежения» слова в поэзии.

На многоуровневости и многомерности слова и комбинаций слов и строится сложнейшее «здание культуры». И один из путей такого строительства—словесные метафоры, которые также носят открыто-закрытый характер и зачастую непереводимы на иностранный язык. Метафора (от греческого «переношу») определяется чаще всего как троп, сущность которого—в замещении слова, употреблённого в прямом значении, сходным с ним по смыслу словом, употреблённым в переносном смысле (С. Никитин). Процесс создания метафор в языке непрерывен: достаточно минимального сходства, чтобы слить различные предметы в едином слове. Одно из племён североамериканских индейцев имеет в своём языке слово, обозначающее одновременно ветвь, плечо, луч солнца, волосы и гриву. Да и в нашем языке тот же глагол «идти» распространён на все предметы, которые способны и не способны в реальности двигаться (ноги, часы, гроза, год, встреча, теплоход).

Наиболее интересны для построения национальной картины мира именно реализованные метафоры (или мифометафоры, как мы их называем). Они уже и не сравнения вовсе—а как раз утверждения. В этой деметафоризации отразился важнейший принцип культурного мышления—буквальность восприятия смыслов. В таком деметафоризированном виде мифометафора издревле настолько вошла в сам национальный язык, что мы её не замечаем. Но если её убрать, люди бы перестали понимать друг друга. «Ножка стола», «горлышко бутылки», «ручка двери»—согласно древней мифологической анатомии человек наделил частями своего тела все явления природы. Так происходит онтологизация метафоры, переход её в объективное бытование. В тексте советских произведений тридцатых годов метафора «Сталин—отец народов» понималась буквально, хотя и не в биологическом смысле. А образ из стихотворения Н. Тихонова «гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей» почти с ходу в советском быту стал реализованной метафорой: «железная воля партии».

Конечно, огромный интерес для развития языка и мышления представляет и поэтическая метафора, принцип сравнения в которой совсем иной. Метафору как свойство художественности изучал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. По его мнению, искусство приносит нам особое наслаждение потому, что «нам кажется, будто нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществляющаяся реальность, и рядом с этим все сведения, доставляемые наукой, кажутся только схемами, далёкими иллюзиями, тенями, символами»[6]. Метафора—и процесс, и результат формирования художественного образа. Х. Ортега-и-Гассет приводит пример поэтической строки, где кипарис сравнивается с «призраком мёртвого пламени», указывая, что ассоциативное сходство здесь очень поверхностное и даже ошибочное. Такими же можно признать многие поэтические образы—есенинский образ кудрей как «волнистой ржи при луне», блоковскую Россию с «узорным платом до бровей», память В. Маяковского, «собирающую у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди».

Философ пишет: «Метафора удовлетворяет именно потому, что мы угадываем в ней совпадение между двумя вещами, более глубокое и решающее, нежели любое сходство»[6]. Причём в этот момент происходит творение нового явления—«прекрасного кипариса», в противоположность кипарису реальному. Так на крошечном вербальном пространстве решается сложнейшая онтологическая проблема освобождения кипариса от зрительной реальности и придания ему нового качества, которое мы называем эстетическим.

В художественной метафоре процесс сближения начинается, согласно мышлению по аналогии, с поиска предмета, который был бы хоть чем-то похож на описываемый. В случае с кипарисом—это графические сходство, в случае с есенинским «кленёночком», который «матки зелёное вымя сосёт»,—качества «маленького» и «животного». Опираясь на такую «логическую малость», заявлять о тождестве понятий в рациональной логике не принято. Но это не значит, что логики здесь нет в принципе. Она—в самом поиске тождества, пусть даже там, где наука пока считает этот поиск бесперспективным.

Метафора—не только экономичная языковая формула, но и выражение духа народа. «Ананас» (a pineapple) в переводе с английского означает «яблоко сосны». Этот пример вербального образа-мифа забавен тем, что мог появиться у нации, где ананас отсутствует как реальность окружающей природы. В тайском языке, например, такой образ был бы принципиально невозможен: каждый таец видит, что ананас растёт на поле, как у нас капуста или кабачок.

Впрочем, в языке очень важно не только то, «как говорят», но и то, «как не говорят». Изучать последнее систематически считал очень важным Лев Щерба, который ввёл в научный оборот метод «отрицательного языкового материала». «Чёрные дыры» в языке, как и во Вселенной, ведут себя по-разному и несут различную смысловую нагрузку.

Одна из тенденций идёт от обрядов древней цивилизации, где среди обилия жестов и манипуляций с предметами у слова была сакральная

6. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С. 489, 492, 531.

роль. Об этом свидетельствовали речевые табу, связанные с особой верой в силу слова. В этом случае «чёрная дыра» означала того, кого было нельзя называть. В славянских языках остались следы речевых табу, связанных с тотемными животными, такими как медведь («мёд едящий»), исконное имя которого было сначала запрещено, а потом в угоду табу замещено историей о нём. Особенно распространены речевые табу в восточной культуре. Они даже породили феномен лаконизма и аллегоризма восточной поэзии, которая вся—сдержанность чувств и мысли, намёк и подтекст.

«Умалчивать одно, чтобы суметь сказать другое»

«Каждый язык—это особое уравнение между обнаружением и умолчанием. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое»[6]. Эти слова Ортеги-и-Гассета, написанные в двадцатом веке, как никакие другие, близки нашим размышлениям о вавилонском столпотворении. Мысль испанского философа продолжает полемику, которую вёл ещё в девятнадцатом веке русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. В статье «Два лагеря теоретиков» он развивал свою теорию оригинальной русской народной почвы. При этом он, критикуя славянофилов за их полное отрицание просвещения в России, осуждал также и западников за насаждение того «общего типа человека, который выработался на Западе», вопрошая: «…Точно ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стёртый грош?»—«Нет,—восклицал он тут же,—тогда только человечество и будет жить полной жизнью, когда всякий народ разовьётся на своих началах и принесёт от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону…»[7]

Именно с думой о той особой задаче, которую пришлось решать русскому народу в мировой истории, и приступил к созданию первой по-настоящему «национальной истории» России выдающийся историк, академик по отделению русского языка и словесности Сергей Михайлович Соловьёв. Его «История России» начиналась с пятого века нашей эры. И он убедительно доказывал в своих трудах, что смысл этой истории—в самом собирании русских земель и утверждении русской государственности. Следуя именно русской ментальности, он и в истории как науке призывал не делить, не дробить её на отдельные части, а соединять их, следить за связью явлений, за преемством форм. Сергей Соловьёв сформулировал три «великих инстинкта» русского народа—политический, религиозный и культурный, которые служат ключом к пониманию русской картины мира. А именно: преданность государству, привязанность к церкви, потребность в просвещении. Последний, как мы понимаем, наиболее тесно связан с национальным языком.

Идею Соловьёва об органичности просвещения для русской картины мира глубоко осмыслил Достоевский. Он отрицал традиционный штамп западного «окультуривания» России в эпоху Петра I. «Бывают такие времена в жизни народа, что в нём особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особое недовольство настоящим, потребность чего-то нового… В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание—дать новое направление нашей исторической жизни»[7],—пишет русский мыслитель. И заключает: идея Петра была народна, но Пётр как факт был антинароден. Его реформа, обращённая на внешнюю сторону жизни, была противоположна русскому народному духу, устремлённому к сути дела, к мысли о человеке, о совести и справедливости.

Именно эти «великие зёрна просвещения», как нам кажется, породили особое качество русской культуры, языка и литературы, истинная сила которых—в глубине и бесконечности раскрытия ландшафта души человека. Никто так не писал о человеке—ни устремлённые к «высотам духа» и «низинам бюргерства» немецкие писатели, ни наслаждающиеся равновесием жизни и бесконечными поединками с фортуной итальянские новеллисты, ни «созерцающие океан в капле воды» японские поэты. Никто! И чтобы так потрясающе многогранно раскрыть душу человека, надо писать по-русски, поскольку только этот естественный «инструмент» приспособлен к такой духовной работе.

Великий немецкий философ Гегель не смог удержаться от искушения вписать в создаваемую им философскую картину мира—в свои многочисленные восходящие к вселенскому духу триады—некоторые нации и народы. Делал он это сообразно своему пониманию их значимости для человечества, и выдвинутые им основания чрезвычайно любопытны. В частности, Гегель не находил у славянских народов особых талантов и заслуг и разглядел оные разве только у поляков как неплохих танцоров. Читая эти откровения, в полной мере ощущаешь, что такое национальный способ мышления, даже если мыслит действительно великий философ. Догадаемся с трёх раз, какой народ занимает высшее место на почётном гегелевском пьедестале!—догадаемся и почувствуем колоссальный заряд западного самодовольства и полного удовлетворения «собой любимым», которым безыскусно дышит гегелевский текст. Да,

7. *Достоевский Ф. М.* Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого). Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1972–1980. Т. 20. С. 6–7, 14.

«трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет». Трудно оценить старания другого народа мыслить о душе, стремясь к совершенствованию мира через совершенствование человека, если в твоей культуре не заложена такая потребность.

…Законы, направленные на улучшение жизни, есть во всех странах. Но спросим себя: какой русский не видит в них изъяна? Какой русский не выберет в споре закона и справедливости именно справедливость? И это обострённое ощущение каждым «своей правды» происходит от острого сопереживания бытию человека, которое Бунин называл «повышенным чувством жизни». Нет, мы говорим не о национальной исключительности. Достоевский абсолютно прав, когда пишет: «Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развивать ту или другую сторону человека… только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет… Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если каждый из них понимал бы истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями»[7]. Написано как вчера! Так понятно, так приложимо к сюжетам сегодняшних мировых новостей. Надо ли, внимательно читая Достоевского и других великих русских мыслителей, искать какой-то иной, «особый» текст, в котором «разлиты» качество русской культуры и русская национальная картина мира? Надо ли приводить ещё какие-то доводы, чтобы в полной мере осознать значение русского языка как для собственной нации, так и для других народов планеты?

…Надо просто читать русскую словесность. Читать — и постигать русский способ мышления о мире. Читать — и впитывать в себя те удивительные сокровища мысли, которые нам достались просто потому, что мы владеем родным русским языком. Языком, в котором, как и в русской картине мира, заложено стремление к мудрости и справедливости отношений между народами. Необыкновенно красивым и богатым языком, способным выживать в самых сложных условиях (как и всё русское!), вызывающим удивление и гордость…

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Вместе со строчкой поэта

Глагольное

Куда человеку деваться?
А вдруг начнут издеваться?
Вероника Долина

Куда человеку деваться?
Когда начнёт издаваться?
Не будет совсем задаваться,
Но критик начнёт издеваться.
Придёт пародист измываться,
Но стоит ли мне волноваться,
Словам хорошо рифмоваться
И в зонгах моих напеваться.

Радиоактивное

Лучи мои, альфа и бета,
Пронзающие пустоту!
Вячеслав Куприянов

Я радий в себе добываю,
Используя груды словес,
Поэтому, где ни бываю,
Всегда я подобен АЭС.

И вместе со строчкой поэта,
Как будто из лука стрела,
Лучи мои, альфа и бета,
Вонзаются в ваши тела.

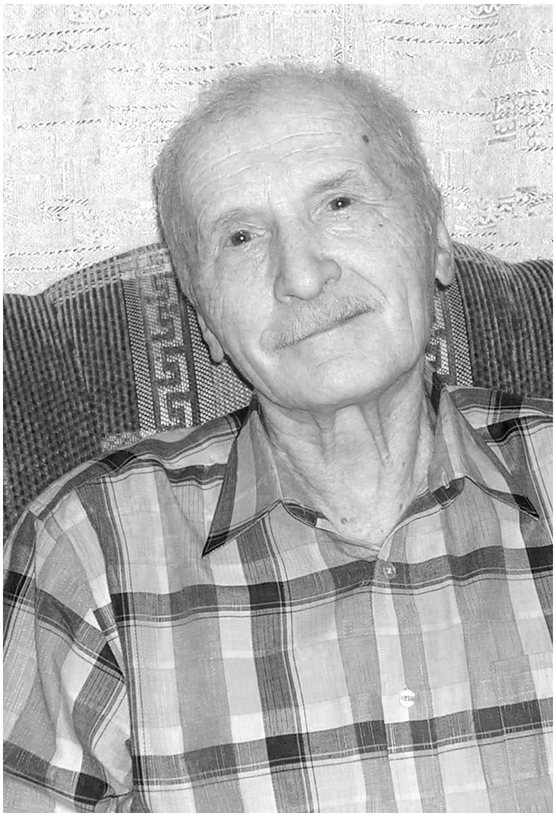
Стихов излученье незримо,
Здоровью не будет вреда,
К тому же я не Фукусима —
Меня не закрыть никогда.

7. *Достоевский Ф. М.* Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого). Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1972–1980. Т. 20. С. 19

Александр Астраханцев

Сибирскому поэту-энциклопедисту—90

Будучи литератором, пишущим прозу, честно признаюсь: больше люблю читать поэзию и, чтобы как-то напитаться её современными ритмами и мыслеобразами, стараюсь следить за текущей поэзией, хотя, разумеется, читать её всю просто невозможно—из-за её просто необъятного словесного обилия и очень уж усреднённого, а то и вовсе невысокого профессионального уровня: ведь во множестве регионов России—в её культурных столицах, республиках, краях и областях—живут и трудятся ныне, несмотря на неимоверные финансовые сложности и проблемы печатания, тысячи и тысячи российских поэтов. И всё-таки из всех ныне живущих и работающих поэтов я бы, пожалуй, выделил одного—новосибирского поэта, переводчика, публициста и эссеиста Юрия Михайловича Ключникова: не только потому, что он, по-моему, самый старейший из них—24 декабря 2020 года ему исполнилось 90 лет, и не только потому, что встретил он свой столь солидный юбилей продолжающим активно работать,—а потому ещё, что свой юбилей он встретил огромными творческими итогами, причём итоги эти восхищают меня не только их обилием, а ещё и культурно-исторической значимостью их, своего рода духовным подвигом свершённого, благодаря чему к моему восхищению примешивается ещё и невольное удивление: неужели одному человеку посильно совершить в течение своей жизни такой поистине необъятный акт духовного (я бы даже, точнее, сказал—духовно-культурного) подвижничества?



Юрий Ключников

На Руси всегда был силён и популярен, даже почитаем ореол духовного подвижничества, в том числе и—подвижничество русских писателей; вспомним хотя бы имена Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова (с его поездкой на Сахалин и «отчётной» книгой «Остров Сахалин»), вспомним писателей-публицистов XIX в. с их «хождением в народ», вспомним русских религиозных философов начала XX в., частью высланных на «философских пароходах» и скитавшихся затем и нищенствовавших на чужбине, но не отступившихся от поиска истины, а частью—оставшихся в Советской России и подвергнутых затем жесточайшим репрессиям.

Однако во второй половине XX в., особенно во время постсоветское, явление подвижничества сильно поколеблено, да почти уже и тихонько сходит на нет; ведь для этого явления нужны несколько условий, и среди них—как минимум хотя бы три: во-первых, наличие масштабных личностей, одновременно имеющих и талант, и мужественный характер, вмещающий в себя огромные духовные и душевные силы и мощную заряженность на бескорыстное служение своему народу; во-вторых, потребность общества в таких подвижниках, особенно в переломные, «тёмные» эпохи жизни народа; и в-третьих—понимание обществом огромного просветительского и воспитательного значения подвижничества как образцов для подражания, даже придание ему ореола святости.

Однако, несмотря на то, что два последних условия из перечисленного мною минимума их

в наше время как-то не просматриваются, всё-таки подвижничество у нас в России, похоже, исчезло ещё не до конца; один из примеров тому — творчество Ю. М. Ключникова. Хотя какой там ореол святости, особенно в наше-то постсоветское время, когда и условия рождения, и обстоятельства жизни к этому никак не располагают, и в то же время всякое истинное подвижничество если и не осмеивается цинично — то, во всяком случае, тупо замалчивается или вовсе не замечается? И всё-таки вопреки всему — или наперекор всему? — Ю. М. Ключников, как я считаю, стал настоящим подвижником, и я горжусь и восхищаюсь своим земляком: ведь я родился и вырос в Новосибирской области — стало быть, законно считаю себя его земляком.

Но как всё-таки становятся духовными подвижниками в наше время?

О, это путь длинный и необыкновенно трудный! Да, впрочем, думаю, любой (или, во всяком случае, почти любой) путь восхождения к духовному подвижничеству длинен и труден, и часто — отнюдь не прям, а очень даже извилист.

А теперь давайте проследим вместе, хотя бы пунктирно, жизненный путь и путь духовного восхождения нашего героя, Юрия Михайловича.

Родился он в 1930 году в маленьком старинном городке Лебедин на территории нынешней Восточной Украины, в Сумской области, в семье городского ремесленника с фамилией-прозвищем Клюшник, скорей всего указывающей на слесарное ремесло отца; при советской паспортизации прозвище превратилось в фамилию Ключников. Семьи, в которых родились родители Юрия, — традиционно огромные: у отца — семеро братьев и сестёр, у матери — девятеро. При этом вокруг — туго, неразрывно сплетённая русско-украинская языковая стихия, где все прекрасно понимали украинскую «мову», но говорили на русском. Образование родителей — начальное, однако в доме имеются книги с украинской и русской классикой, которые читаются и детьми, и взрослыми; так, первое, младенческое воспоминание Юрия: мама читает ему, трёхлетнему, «Руслана и Людмилу».

А вы обратили внимание на дату рождения? 1930 год, разгар коллективизации в стране, и как следствие этой коллективизации — «голодомор», охвативший самые хлебородные районы страны: южные районы России и Украины, Черноземье, Поволжье. В поисках работы и сносного пропитания семья Ключниковых мотается по западной части страны: Минск, Одесса, Харьков.

Харьков — большой красивый город с высокой культурой; до 1934 года — столица Украины; в нём семье удалось закрепиться надолго. Там Юра пошёл в школу, окончил четыре класса, в каждом классе получая похвальные грамоты за отличную учёбу.

В 1941 году, уже через несколько дней после нападения Германии на Советский Союз, начались ночные бомбардировки Харькова; одновременно с бомбардировками началась эвакуация на восток промпредприятий вместе с техническим персоналом и их семьями; так семья Ключниковых оказалась, в конце концов, далеко на востоке страны, в Сибири, в небольшом тогда, прокопчённом рабочем городке Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области…

Биографы Ю. М. Ключникова непременно упоминают о его тяжёлом военном детстве и трудной послевоенной юности: бытовая теснота, неустроенность, недоедание; вместе с учёбой — тяжёлый труд на заводе почти наравне со взрослыми… Но позвольте: по-моему, каждые девять из десяти детей и подростков военного времени всё это неизбежно испытали на себе; как оказалось потом, при исследовании творческих биографий известных советских деятелей культуры второй половины XX в., в том числе и поэтов-«шестидесятников», многие из них годы своего детства или отрочества во время ВОВ провели в суровых бытовых и климатических условиях эвакуации в Сибири или на Урале, причём эти условия только закалили их характеры и дали им массу сильных дополнительных впечатлений, которые потом стали мощной подпиткой в их творчестве. Так что в бытовом отношении жизнь подростка Юры Ключникова в эвакуации ничем не отличалась от жизни его сверстников.

И всё-таки отличия от сверстников у Ключникова-подростка были. Вот вам, пожалуйста: в 1941 году, в 11 лет, он написал своё первое стихотворение и после него, кажется, уже не переставал писать их никогда — оно определило направление его духовных исканий на всю остальную жизнь: в 13 лет он осмеливается послать одно из своих стихотворений в Новосибирск, в единственный тогда в Сибири толстый литературный журнал «Сибирские огни»; стихотворение не напечатали, но прислали оттуда короткую, однако вполне серьёзную рецензию с практическими советами; в четырнадцать начинает заниматься в городском литературном кружке, которым руководит «настоящий» писатель; в 1945 году, в пятнадцать, состоялась его первая публикация в городской газете; стихотворение, естественно, было посвящено Победе. А по окончании средней школы он поступает в Томский университет. Естественно, на филологическое отделение.

Все эти биографические данные о нём я почерпнул из его биографической книги «Предчувствие весны» (М., «Беловодье», 2017). Честно признаюсь: я прочитал эту книгу, несмотря на её солидный объём в шестьсот с лишним страниц, взахлёб — словно авантюрно-приключенческий роман. Она имеет подзаголовок «Воспоминания

и размышления поэта о времени и судьбе» и состоит из отдельных очерков, в которых автор действительно рассказывает об истории своей жизни: о своём происхождении, родственниках, детстве и всей своей последующей жизни; но одна из главных её тем — очерки о встреченных им в жизни людях, в разной степени повлиявших на его судьбу, причём очерки эти глубоко насыщены чувством необычайной благодарности к ним. Однако особенная благодарность автора — к его университетским преподавателям. Дело в том, что Томский университет, будучи старейшим сибирским вузом, с самого его основания в XIX в. и поныне — мощный культурно-интеллектуальный центр Сибири; недаром он носит неформальное звание «Сибирские Афины»; к тому же волею судьбы в военные и послевоенные годы в нём собрался мощный коллектив сосланных и эвакуированных, а позднее ставших известными на всю страну учёных-интеллектуалов; именно в этой атмосфере довелось учиться и накапливать свой духовно-интеллектуальный багаж студенту Юрию Ключникову.

Ну а по окончании университета, естественно, — поиск им своего места в жизни и одновременно заработка, чтобы прокормить себя и свою семью: учительство и директорство в сельской школе, радио- и газетная журналистика сначала в Кемеровской области, потом в Новосибирске, причём жизнь его, как у всех молодых людей его поколения — вначале неустроенная, постепенно налаживается: он нащупывает и находит в ней наконец своё место.

Между тем молодой Юрий Ключников — полностью продукт советской эпохи: в детстве — юный пионер, в юности — комсомолец, позднée он вступает в коммунистическую партию. А поскольку любая журналистская деятельность в те годы осуществлялась под строгим неусыпным оком идеологических служб КПСС, в то время как молодой Юрий Ключников оказался талантливым, ярким и в то же время идеологически выдержанным журналистом, — журналистская его деятельность была идеологическими службами замечена, а самому ему предложена учёба в Москве, в ВПШ ((в двухгодичной Высшей партийной школе при ЦК КПСС), на отделении журналистики.

Что это давало молодому человеку? Ну, во-первых, получение второго диплома о высшем образовании, причём не где-нибудь, а в столице! — и возраст ещё позволял учиться дальше; а во-вторых, это второе образование сулило в будущем гарантированное место и в журналистике, и в высших эшелонах партийной власти. При этом — стипендия, полностью компенсирующая зарплату журналиста. И, взвесив все «за» и «против», Ю. Ключников охотно соглашается.

Учёба в ВПШ широко распахивает горизонты его знаний и взглядов. «Нам читали лекции... не только преподаватели ВПШ, довольно серые по уровню, в марксистских рассуждениях которых чувствовались усталость, сухость, догматичность. Я старался избегать этих лекций, часто просиживая в библиотеке... — признаётся он в своих «Воспоминаниях». — Недостатки „своих“ преподавателей компенсировались приглашёнными лекторами, среди которых были известные стране партийные и советские руководители, дипломаты, писатели, учёные, артисты, космонавты...» Кроме того, он самостоятельно изучает и совершенствует там иностранные языки, читает в подлинниках американские и французские газеты; на библиотечных полках стоят в свободном пользовании Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, Камю, Сартр и т. д. — и он с жадностью набрасывается на всё это богатство; он берётся за усиленное изучение древнегреческих, древнеримских авторов...

Но там же, в ВПШ, он испытал однажды, в рождественскую ночь 1965 года, странное состояние. Сам он описывает его так: «Сидел в общежитии, в полутьме, в одиночестве. И вдруг в мою комнату словно хлынул какой-то свет... В комнате запахло цветами. Голова сделалась совершенно ясной. Мне почудилось, нет, я чётко почувствовал в комнате чьё-то присутствие... И в голову пришла мысль: „Ты сам не знаешь, что ищешь. *Но это есть*...“». Это было религиозное чувство, ещё неясное, и он почувствовал, что пусть подспудно, неосознанно, но всегда был православным христианином. Своё тогдашнее состояние он назвал «Фаворским светом», сошедшим на него; с тех пор оно приходило к нему не однажды; оно постепенно влекло его к мыслям о Нём, к переживанию радости движения души к Нему. Но путь к Нему был ещё далёк.

По окончании ВПШ он возвращается домой, в Новосибирск, продолжает работать на радио, потом — в Западно-Сибирской студии кинохроники, потом, с 1977 года, — в новосибирском издательстве «Наука», обслуживавшем СО АН СССР.

Здесь, в этом издательстве, имея дело с профессиональными учёными-востоковедами, с практикующими бурятскими ламами, со старинными фолиантами буддийской литературы, он основательно знакомится с буддизмом, а буддизм, в свою очередь, помогает ему выйти на литературные труды Н. К. и Е. И. Рерихов и на разработанное ими учение Живой Этики.

Идеи Живой Этики, то есть идеи нравственного пробуждения и совершенствования человека и восхождения его по ступеням земной и космической эволюции, настолько увлекли его, что у него появилось страстное желание поделиться этим учением со всем миром, включая партийные власти: ведь это же так просто — следовать этому учению, совершенно понятному для всякого разумного человека, тем более что в стране — это был конец 70-х гг. XX в. — явно нарастал тяжелейший

нравственный кризис: накапливались инициируемые властями всеобщие ложь и бездуховность, народ спивался, заражался примитивным «вещизмом» и тащил с работы всё, что только можно было унести, молодёжь равнялась на западную потребительскую модель жизни, и как следствие всего этого — страна, явно проигрывая в многолетнем противостоянии Западу, быстро катилась к саморазрушению, а партийная власть ничего этого видеть упорно не желала, в то время как вразумить её ещё было не поздно.

В новосибирском Академгородке к этому времени сложился большой самодеятельный кружок серьёзных учёных (причём многие среди них — члены КПСС), по крупицам собиравших и изучавших литературу по буддизму, индуизму, даосизму, духовной практике раннего христианства — исихазму, а также литературу по духовному наследию Н. К. и Е. И. Рерихов, Е. П. Блаватской, Г. И. Гурджиева. К этому коллективу примкнул и Ю. М. Ключников, став его активным участником.

В этом кружке, в свою очередь, сложилась рабочая группа, решившая под эгидой СО АН СССР разработать «Записку» с рекомендациями для руководящих органов КПСС по нравственному совершенствованию деятельности партии на основе объединения коммунистических идей с идеями Живой Этики, причём — ни в коем случае не подменяя коммунистическую идеологию идеями Живой Этики, а всего лишь дополняя эту идеологию и таким образом одухотворяя и этим усиливая её. Ю. М. Ключников, как опытный редактор серьёзного издательства, да к тому же ещё и профессиональный литератор, оказался одним из главных разработчиков и редактором этой «Записки». Кроме того, на эту же тему он написал ещё и личное письмо и отправил его в ЦК КПСС.

Между прочим, в марксизме-ленинизме, как и во всяком революционном учении, напрочь, можно сказать, отсутствовала этическая составляющая, и в 60–70-е гг. XX в. многие, в том числе и сами коммунисты, стали об этом задумываться; даже термин такой предлагался — «социализм с человеческим лицом»; однако советские партийные руководители люто возненавидели этот термин — как «попытку ревизии марксизма-ленинизма».

Естественно, реакция на «Записку» в новосибирские партийные органы была быстрой: она была расценена ими как попытка «ревизии марксизма» и «идеологическая диверсия». Это было одно из самых страшных обвинений в стране, и «дело о враждебной вылазке» закрутилось: начались «разборки».

Почти все подписанты «Записки» в результате «разборок» покаялись в содеянном; ввиду того, что времена были уже почти либеральными, никого в застенки не бросали и рук не выкручивали — всех раскаявшихся лишь понизили в должностях, и они продолжали трудиться в своих научных организациях, а в дальнейшем выросли в крупных учёных. Но один из них оказался упрямцем: все обвинения парировал и считал себя не просто правым, а обязанным, как честный коммунист, дать свои соображения по одухотворению марксизма и совершенствованию программы КПСС, чтобы уберечь её от неминуемого развала. Это был Ю. М. Ключников; в отличие от столичных диссидентов, наш сибирский диссидент боролся не против существующей власти — он боролся за то, чтобы власть эта стала умней и, стало быть, сильней. Но она уже настолько деградировала, что её адепты не желали ни во что вникать и подобные вопросы решали «автоматом».

Он выдержал более 70 партийных собраний и заседаний парткомов разных уровней. Ему выносили партийные выговоры и пытались обвинить в психическом нездоровье; по ходу разбирательства за ним выяснился другой страшный грех: он, оказывается, ещё и верит в Бога! Это было последней каплей: он был исключён из КПСС и изгнан из издательства (правда, в дальнейшем всё-таки добившись возвращения в КПСС).

Но надо было как-то жить дальше, а на работу с таким «ужасным клеймом» в биографии никто не принимал; единственное место, куда его взяли, — грузчиком на хлебозавод, и он 6 лет вручную грузил хлеб в машины-хлебовозки, по 30 тонн свежего хлеба в смену (это уже в пятьдесят-то с лишним лет!), да ещё исполняя при этом должность бригадира грузчиков, на которую назначен был за добросовестный труд. А общим счётом занят был физическим трудом, работая вместе с алкашами и бывшими уголовниками, около 10 лет.

Позже он вспоминал о своей новой работе так: «...Этот период своей жизни я благословляю: истинно духовную, да ещё и физическую закалку получил именно тогда». Но о какой духовной закалке, помимо физической, идёт речь? Он поясняет: «Руки работают, голова отдыхает, душа творит. Собственно, как поэт я состоялся после 50 лет жизни... именно на этой работе».

Да, именно в тот самый период — поскольку посменная работа чередовалась целыми сутками отдыха, а физическая нагрузка освобождала голову от иных забот — началась его плодотворная поэтическая работа и стихи его стали публиковаться в областных и столичных журналах; публикации эти постепенно собирались в поэтические сборники, и с некоторой регулярностью сборники эти начали выходить. Последовало вступление в Союз писателей; появилась известность; начались поэтические выступления.

О чём он пишет в своих стихах? Тематика их необыкновенно широка; тут и пейзажная, и городская, и гражданская, и героическая, и философская лирика; да, философская лирика занимает

значительное место в его творчестве, причём философия в его стихах — отнюдь не бытовая, «диванная», и в то же время — далёкая от кабинетных философских «измов»; это взгляд на окружающую его жизнь и на мироздание в целом человека, мыслящего глубоко и резко индивидуально.

В своих «Воспоминаниях» он пишет о том, как, будучи подростком и читая много поэтических книжек, неожиданно для себя наткнулся в провинциальной библиотеке на стихотворный сборник, с первых же строк заворожививший его музыкой стихов. Это была книжка под названием «Сестра моя жизнь» неведомого ему доселе автора — Бориса Пастернака. Причём, как пишет Юрий Михайлович далее, «его *(Б. Пастернака. — А. А.)* поэтическое творчество, как и проза Шолохова, по сей день остаётся для меня эталоном советского периода русской литературы».

Да, хотя автор названного выше стихотворного сборника и призывал: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту», — сам-то он шёл к этой «неслыханной простоте» необычайно сложными путями, через удивительную, просто головокружительную усложнённость своих тем и образов; поэтика же Юрия Ключникова — будто он усвоил совет старшего собрата сразу и навсегда — от раннего творчества и поныне тяготеет к простоте и ясности поэтической мысли, к трогательной, иногда просто беззащитной обнажённости поэтического образа, так что его поэтика, на мой взгляд, ближе к поэтике великого реалиста в поэзии и прозе, «мастера необычайно точных и тонких запечатлений» (по словам А. Твардовского) Ивана Бунина.

В японском литературоведении, так не похожем на европейское, есть понятие *макото*; дословно переводится оно на русский язык одновременно и как «дело», и как «правда», «истина»; в художественной же литературе *макото* обозначает реальную, истинную красоту явлений жизни и чистых, искренних побуждений и чувств человека. Всё это я говорю к тому, что я вижу поэтическое творчество Юрия Ключникова именно в таком вот ракурсе — ракурсе японского *макото*.

Но у меня, его младшего собрата по литературному цеху, да к тому же ещё и не поэта, возможно, не хватает компетенции, чтобы реально оценить итоги его поэтического творчества, — а потому предоставлю здесь ещё несколько коротких (чтобы не злоупотреблять вниманием читателя) выдержек из оценок его поэзии, принадлежащих авторитетным российским критикам и поэтам второй половины XX в. и начала века XIX, которые я нашёл в предисловиях и послесловиях к его поэтическим сборникам: «Творчество Юрия Ключникова с его ясностью поэтической воли очень нужно современной России» (Вадим Кожинов, 2000); «Тысячи своих строк он *(Ю. Ключников. — А. А.)* выдержал в рамках державинско-пушкинской традиции, не польстившись ни на какие авангардистские уловки» (Лев Аннинский, 2010); «Юрий Ключников — один из самых умных и глубоких литераторов нашего времени» (Феликс Кузнецов, 2015)… Но, пожалуй, ярче и убедительней всех сказано о нашем герое в следующей выдержке: «Уверен, что такие, как Юрий Ключников, — это и есть наша Троя, наша Брестская крепость русской литературы, не сдающаяся никакому врагу и даже не замечающая их, идущая своим тяжёлым и чистым путём. Это наши Одиссеи, затягивающие своё возвращение на родину-Русь до её полного очищения, это наши Моисеи, ведущие своих читателей не спеша, через возвращение назад, к нашему великому прошлому, в русское будущее, не растеряв по пути тот душевный сухой остаток, который и составляет суть каждой нации. Он и сегодня бредёт со своими стихами и мыслями, молитвами и прозрениями по пространству и нашей поэзии, и нашей жизни, „весёлый странник золотого русского века“, то ли пришедший к нам из прошлого, то ли зовущий нас в будущее» (В. Бондаренко; из предисловия к книге стихов Ю. Ключникова «Годовые кольца», Москва, 2006).

И всё же, смею думать, поэтическая судьба Юрия Ключникова — обычная судьба талантливого, высокопрофессионального провинциального поэта. Каждый из таких поэтов вполне мог бы принести славу любой стране мира — но что делать, если Россия с необыкновенной щедростью рождает их в избытке?

Сам он порой сетует, что его отказываются публиковать в «престижных» столичных журналах: не «мейнстрим». Но в «мейнстриме» «работают» нынче сотни (если не тысячи) стихотворцев, и всем, даже «мейнстримным», в «престижных» журналах не хватает места, тем более что в России нынче нет «престижных» журналов: все они, от С.-Петербурга до Владивостока, — примерно на одном уровне и в одинаковом положении (хотя сами себя таковыми, возможно, и не считают).

Вы же, Юрий Михайлович, заняли свою, вполне достойную, только Вам предуготованную нишу в русской поэзии второй половины XX в. и остались сами по себе, резко индивидуальным, не в толпе «мейнстрима».

Однако жизнь талантливого российского поэта, даже сложная и трудная (особенно если учесть 90-е гг. — время развала одной страны, СССР, и появления новой, России), — ещё не подвижничество, хотя толчком к подвижничеству для Ю. Ключникова стало именно это самое, сложное и трудное, время: ведь оно было ещё и временем освобождения от догм, навязанных предыдущей эпохой, и временем полной свободы выбора. И оно дало мощный толчок Ю. Ключникову-поэту

к подвижничеству — но подвижником ещё не сделало. Подвижничество пришло позже. А пока, в самом конце 80-х, все 90-е и в начале 2000-х гг., он со всей страстью души углубляется в идеи Живой Этики.

Но для кого-то познание Живой Этики (как и любого другого мировоззрения) — всего лишь цель. Для человека мыслящего и деятельного — это Путь. Путь к познанию самого себя. Источник силы и энергии. Инструмент свершений.

Вместе с глубоким изучением Живой Этики Юрий Михайлович погружается в её первоисточники: в книги по древней культуре Индии, её метафизике, по теории и практике индуизма, буддизма, йоги. Книг этих в свободной продаже пока что нет, и он, увлечённый этой темой, создаёт в Новосибирске издательский кооператив «Алгим» (Алтай — Гималаи), который издаёт труды Рерихов, Блаватской, Чижевского. Вместе со своими единомышленниками он участвует в создании Новосибирского отделения общества «Индия — СССР»; при этом обществе по мере либерализации в стране они открывают ещё и секцию по изучению Агни Йоги, затем — самостоятельное Сибирское Рериховское общество.

Мало того, он совершает общим счётом 6 поездок в Индию; начав знакомство с ней с мест проживания там Рерихов (ставших после смерти Рерихов-старших рериховскими мемориалами), он объезжает затем всю Индию, побывав во многих городах и посетив все самые известные исторические памятники и священные места Индии, знакомится и общается с индийскими мудрецами, с простыми верующими индийцами. А возвращаясь домой, в Сибирь, в поисках «места силы», «горнего света» и мифического Беловодья начинает поездки в Горный Алтай, к высочайшей вершине Сибири (и одной из самых высочайших вершин России) Белухе (4509 метров).

Очарованный и вдохновлённый белоснежными вершинами грандиозного горного комплекса Белухи, кристальной чистотой ледниковых озёр, рек и водопадов и всей первозданной, почти нетронутой деятельностью человека природой Горного Алтая, он пишет посвящённые ему большие стихотворные циклы и прозаические эссе, а затем много ездит по стране с выступлениями, рассказывая о своих поездках и впечатлениях о них и вдохновляя публику своей страстной влюблённостью в Алтай… Всего за 13 лет им было совершено 10 путешествий к Белухе, и с каждым годом количество вовлечённых им участников этих путешествий росло, так что число их переваливало порой за сотню человек!..

И всё-таки не путешествия в Индию и на Алтай стали актами духовного подвижничества Юрия Ключникова; пока что все эти события были лишь частью творческой жизни обычного советско-российского поэта второй половины XX в.

По-моему, первыми подступами к деяниям истинного подвижничества стали его близкое знакомство с жизнью индийского народа, внимательное изучение его верований и древней культуры и размышления по этому поводу.

Он пишет в своих «Воспоминаниях» о том, что более всего его поразил в жизни индийцев следующий факт: при крайней многолюдности и скученности народа этой страны в ней стоят совсем рядом, в близком соседстве, храмы совершенно разных религиозных культов и мирно уживаются десятки самых разных верований. Он изучает их, и результаты этого изучения и этих наблюдений ему очень хочется донести до россиян, научить их этому индийскому опыту, который складывался в течение нескольких тысяч лет. Так появилась его книга очерков «Я в Индии искал Россию. Странствия по Ариаварте» («Ариаварта» — страна ариев, название Северной Индии на санскрите. — *А. А.*). Причём прошу обратить внимание на эпиграф к книге. Это — высказывание знаменитого индийского религиозного философа XIX в. Вивекананды (ставшего всемирно известным благодаря книге о нём Ромена Роллана): «Россия в будущем поведёт за собой весь мир, но путь ей укажет Индия».

Эта книга написана в форме отдельных очерков; в ней автор легко и увлекательно, с огромной любовью к предмету повествования, рассказывает о своих путешествиях по сакральным местам Индии, о встречах с индийскими гуру и беседах с ними, о месте религии в жизни индийцев, а также о наиболее древних и почитаемых верованиях Индии, причём подтекст этой книги — мысль о том, что хотя русский и индийский народы совершенно не похожи один на другой, однако у них есть одна очень важная общая черта: большая роль религии в глубинной жизни обоих народов.

Особенно впечатлил меня в этой книге один крохотный эпизод: после беседы с очередным гуру (на английском) этот гуру пригласил автора помолиться вместе с ним в храме; но поскольку автор не знал ни реального языка этого гуру, ни молитв на этом языке — то стал молиться на русском, обращаясь в молитве… к Христу. Что это? Кощунство? Отнюдь нет!.. Кстати, читая про этот эпизод, я вспомнил другую читанную мной книгу: известный советский писатель Леонид Пантелеев, соавтор знаменитой «Республики Шкид», бывший в детстве беспризорником, будучи в течение всей взрослой жизни очень набожным человеком, написал, ещё в советское время, книгу «Верую!», которая была издана небольшим тиражом в типографии Московского патриархата; в этой книге он, помнится, упомянул об одной своей проблеме: когда он в составе писательских групп

бывал в заграничных туристских поездках, то его очень мучило, что он по многу дней не может помолиться в церкви: его бы просто исключили тогда из Союза писателей, перестали печатать и никогда больше не пустили за границу; но когда руководитель на целый час отпускал группу для свободной прогулки: отдохнуть, полюбоваться городом, сделать фотографии,— вместо отдыха и любования городом группа всей толпой ломилась в очередной маркет; один Л. Пантелеев мчался бегом в ближайший храм — помолиться; и ничего, что храм был католическим или протестантским: Бог-то — один на всех!..

Вот эта книга Ю. Ключникова и стала, видимо, его первым шагом на пути духовного подвижничества, и путь этот: просветительство, страстное желание знакомить русского человека с мировой культурой, в том числе и книжной,— длится для него уже два с лишним десятилетия, и конца этого его пути пока что не видно.

Тут впору задать вопрос: а нужно ли русскому человеку столь серьёзное знакомство с мировой культурой? Не излишество ли это, не пустая ли это трата времени, особенно в наше время — когда людям навязывается рабская зависимость от рынка, от заработка, от бесконечного приобретательства, в то время как на телевидении и в Интернете этим людям назойливо навязывается калейдоскопическое, поверхностное знакомство со всей мировой жизнью?

На этот вопрос хочется ответить мыслями Ф. М. Достоевского из его речи о Пушкине, произнесённой им в 1880 году, и из его предисловия к этой речи, в которых он говорит об одном удивительном свойстве русского человека: о его всемирной отзывчивости, его способности вместить в себя идею всечеловеческой братской любви, всепрощения и всеединения, в пример всем остальным европейским народам. Интерполируя эти мысли Достоевского в современность, мы должны признать, что эти человеческие свойства, им указанные,— главный, если не единственный, путь к самосохранению человечества. А развить эти свойства и в себе, и в народе, и во всём человечестве возможно только через познание и понимание «другого». Причём истинное, глубинное познание и понимание этого «другого» возможно только через культуру этого «другого», и в первую очередь через главную составляющую всякой национальной культуры — через спрессованные в книгах сокровища этой культуры: поэзию, прозу, философию, сказки, древние легенды, вероисповедные тексты,— всё, что составляет душу этого «другого», из чего душа этого «другого» складывается с младенчества кирпичик за кирпичиком...

За первой книгой у Ю. Ключникова в этом ряду появляется вторая — перевод на русский язык памятника древнеиндийской литературы «Бхагавадгиты».

«Бхагавадгита», или просто «Гита»,— сравнительно небольшая (700 двустиший-«шлок» — традиционной древнеиндийской формы стихосложения) часть грандиозного древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (75 000 двустиший); однако в истории древних литератур мира едва ли есть другое сочинение, сравнимое с «Гитой» по популярности: в мире насчитывается более двухсот переводов её на многие языки Европы и Азии, в том числе — более 10 переводов (частями или целиком) на русский язык, начиная с XVIII и кончая началом XXI в. (кажется, последний переводчик её — Б. Гребенщиков, издавший свой перевод в 2020 г.).

В чём же причина такой её популярности?

Дело в том, что, во-первых, в «Гите», как ни в какой другой книге древнеиндийского эпоса, в сжатой стихотворной форме изложена вся философия индуизма — самой древней, фундаментальной религии Индии, из которой вырастают вся индийская культура, вся концепция индийского миропонимания и все остальные ветви индийских религиозных и философских учений, в том числе и самая мощная её ветвь — буддизм; во-вторых, в ней тщательно проанализированы все нравственные свойства и проблемы человеческой души, в том числе все её добродетели и пороки, вопросы жизни и смерти, и пути восхождения человека к бессмертию, к вечности; в-третьих, в ней много места уделено учению йоги как философии активной высоконравственной жизни. И наконец, в-четвёртых, «Гита» — это ещё и героическая поэма, воспевающая значение воинского долга и военных подвигов в истории народа.

Вот для того, чтобы иноязычный читатель смог познакомиться с духовными богатствами этого памятника культуры, и созданы многочисленные переводы его на другие языки. Кстати, специалисты отмечают заметное влияние её на творчество ряда европейских писателей и философов XVIII–XIX вв. (естественно, обогатившее их творчество); известно также, что «Гиту» внимательно читал Л. Н. Толстой (правда, во французском переводе). Известно также, что именно в ней впервые, чуть ли не на тысячу лет раньше, чем в Евангелии, прозвучала главная христианская формула: «Бог есть любовь»,— так что открытым остаётся вопрос: случайно ли это совпадение — или есть непосредственная духовная связь между текстом «Гиты» и Евангелием?

Правда, у читателя русских переводов «Гиты» может возникнуть ещё один вопрос: а зачем множить количество переводов?.. Разумеется, заинтересованный читатель в состоянии нынче в любой момент приступить к чтению академического, почти дословного перевода её — все её переводы теперь легко доступны в Интернете. Но дело

в том, что неподготовленному читателю просто не под силу понять академический её перевод — настолько он нагружен труднопроизносимыми для русского читателя именами множества индийских богов, святых, царей, героев, и настолько этот текст нагружен поэтическими метафорами, непонятными современному читателю, требующими длинных объяснений. Мало того, в ней есть «тёмные» места, вероятно, хорошо понятные современникам автора «Гиты», написавшего её в глубокой древности, однако совершенно непонятные даже образованному индийцу уже спустя 500 или 1000 лет, и уж тем более 2 или 3 тысячи лет спустя, так что к настоящему времени только в Индии написано около 50 томов комментариев к ней, причём — дискутирующих между собой.

И наконец, трудность для чтения академического перевода составляет ещё и громоздкий стихотворный размер, которым написана «Гита», с его 16-слоговой строкой; ведь сама «Гита» создана главным образом для устного музыкального исполнения, но трудна для восприятия современным читателем. Мало того, часто бывает так, что переводчики, хорошо знающие переводимый текст, плохо владеют стихотворной техникой — не поэты! — и наоборот, хорошо владеющие стихотворной техникой переводчики недостаточно знают материал и допускают текстологические ошибки, в том числе и грубые, так что каждый последующий переводчик, как правило, старается учитывать все ошибки и недостатки предыдущих переводов.

К сожалению, среди предыдущих русских переводчиков «Гиты» не оказалось высокопрофессиональных поэтов; Юрий Ключников — пока что единственный из них; благодаря тщательному изучению предыдущих переводов он благополучно избегает ошибок своих предшественников. Мало того, в отличие от предыдущих переводов, его перевод выполнен с использованием легко усваиваемых рядовым отечественным читателем русской рифмы и русского стихотворного размера, с блестящим умением нашего весьма опытного поэта излагать самые сложные мысли и темы ясным, лаконичным поэтическим языком, так что, строго говоря, это уже не перевод — а переложение «Гиты» с горячим желанием непременно увлечь русского читателя чтением её. Как пример его перевода хочется привести здесь хотя бы несколько строк — начало поэмы:

На поле Куру — поле жизни —
Две рати выстроились к бою.
За тем, что есть, и тем, что будет,
Следят внимательные двое:
Один — Арджуна, воин знатный,
Искатель правды легендарный,
Другой — его учитель Кришна,
Господь, обличьем лучезарный.

Господь сказал:
«Вглядись, мой сын, солдаты луки
На землю ставят, выбрав цели.
Глаза надёжны, крепки руки.
Всё напряглось перед сраженьем.
На солнце блещут колесницы,
Ждут колесничие приказа,
Чтоб с неприятелем сразиться
На поле Куру беспощадном…»

Так что, судя по вступлению, автор перевода сумел с первых же строк создать напряжение в тексте, заинтересовывая русского читателя, широко распахивая перед ним двери в глубь поэмы, чего, как это ни странно, нет в других русских переводах.

Следующий шаг Юрия Ключникова в подвижнической деятельности на литературной ниве (сам он эту свою подвижническую деятельность скромно называет «переводческим проектом») — его книга переводов из французской поэзии XII–XX вв. под названием «Откуда ты приходишь, красота?» (450 стр., Москва, издательство «Беловодье», 2015). Кстати, названием книги послужила строка из стихотворения Ш. Бодлера.

Я не случайно указал объём сборника: он уникален уже тем, что это самая объёмистая антология русских переводов французской поэзии, собранных в одной книге, и одновременно — это самый большой объём переводов французской поэзии, сделанный одним переводчиком: в книге собрано более 256 стихотворений 57 поэтов.

Разумеется, всех сколько-нибудь известных поэтов Франции за 800 с лишним лет существования её великой литературы — а их, этих поэтов, наберётся более 1000 — не сможет вместить ни одна антология; и всё-таки в сборнике переводов Ю. Ключникова представлены все направления и все исторические периоды французской поэзии: есть здесь и средневековые рыцарские баллады, и эпоха Ренессанса, и барочные «Плеяды», и «парнасцы», и «проклятые поэты», и широкий диапазон поэтов XX в. (сюрреалисты и представители прочих «измов» декадентства, поэты-коммунисты, поэты Сопротивления, известные поэты-шансонье).

Между прочим, своей дерзновенной смелостью переводчика, берущегося за самые трудные «проекты», Ю. Ключников напоминает мне высокопрофессионального альпиниста, который, пренебрегая малыми вершинами «для чайников», берётся покорять лишь самые высочайшие горные вершины мира.

Но почему — именно с французского?

В уже упомянутой мною книге воспоминаний «Предчувствие весны» он пишет, как, ещё учась в Томском университете, был так очарован французской поэзией, что самостоятельно изучил

французский язык, причём — настолько, что позже, в Москве, подрабатывал профессиональным переводчиком у гостей-французов, а переводами французской поэзии начал заниматься с 1970 года.

Кто-то из великих афористов прошлого сказал, что французский язык создан для объяснения в любви к женщине; я бы добавил к сказанному, что этот язык создан ещё и для того, чтобы писать на нём стихи — настолько он гибок, мелодичен, музыкален. Так, Б. Пастернак в предисловии к своим переводам из П. Верлена пишет о своём восхищении французским языком переводимого им поэта: «В своих стихах он умел подражать колоколам, уловил и закрепил запахи преобладающей флоры своей родины, с успехом передразнивал птиц и перебрал в своём творчестве все переливы тишины, внешней и внутренней, от зимнего звёздного безмолвия до летнего оцепенения в жаркий солнечный полдень».

Однако переводчика с французского неизбежно ожидают большие трудности: во-первых, этот язык за 800 с лишним лет его существования настолько отточен и изощрён сотнями величайших мастеров слова Франции, настолько наполнен намёками, скрытыми цитатами, эвфемизмами, фразеологическими оборотами и имеет столько стилистических, ритмических, фонетических особенностей, что адекватный перевод с него на более «молодые» языки весьма затруднён; во-вторых, поскольку многие крупные русские поэты прошлого, берясь за переводы, отдавали предпочтение именно французской поэзии, то нынешний русский переводчик с французского вынужден соревноваться с ними в мастерстве. Но, на мой взгляд, Ю. М. Ключников в этом соревновании, во всяком случае, не проигрывает. Причём в этой своей работе он явно придерживается совета авторитетного советского переводчика Вильгельма Левика (который, кстати, много переводил с французского): «Главное, чтобы при переводе возникли хорошие русские стихи».

А вот что пишет в предисловии к этой книге переводов Ю. Ключникова Станислав Джимбинов, профессор Литературного института, блестящий знаток мировой литературы и мировой культуры: «…Мастера сложной, зашифрованной поэзии звучат по-русски гораздо прозрачнее, чем в оригинале. То есть переводчик невольно производит расшифровку малопонятных даже для читателя-француза текстов, давая свою интерпретацию их смысла… Одно бесспорно: Юрий Ключников мастерски владеет поэтическим словом, его переводы читаются легко, в них не спотыкаешься на темнотах, поскольку всю работу по расшифровке „тёмных“ мест поэт взял на себя».

Так что — заметьте! — при создании книги переводов «Откуда ты приходишь, красота?» Ю. Ключников использует тот же самый принцип, что и при создании перевода «Гиты»: страстное желание как можно шире распахнуть двери в мир иноязычной (в данном случае — французской) поэзии, сделать её как можно доступней и понятней для русского читателя!

Мало того, этот сборник заканчивается большой исследовательской статьёй Ю. Ключникова «Пушкин и поэтическая Франция». Казалось бы (судя по названию статьи), что речь пойдёт именно о А. Пушкине и соотнесённости его поэзии с французской поэзией; однако при внимательном чтении её начинаешь понимать, что под «условным Пушкиным» подразумевается вся русская литература, которая (как размышляет далее Ю. Ключников) вместе с А. С. Пушкиным, вступая в XIX в., училась у французской литературы, умудрённой многовековым опытом, необыкновенному разнообразию жанров, глубине разработки тем, простоте и изяществу стилей, виртуозному владению языком; недаром А. С. Пушкин называл Францию «старшей сестрой», которая в начале XIX в. как бы передавала «младшей сестре» — России — эстафету литературоцентричной культуры, и Россия эту эстафету приняла и прочно за собой удержала: тому доказательство — и Золотой век, и Серебряный век русской литературы.

Следующая вершина, взятая Ю. Ключниковым-переводчиком в его подвижнической деятельности, — это создание книги «Караван вечности. Вольные переводы суфийской поэзии VIII–XX вв.» (Москва, издательство «Беловодье», 2016).

В этом огромном, масштабном сборнике (объёмом в 624 страницы) — 500 переведённых на русский язык стихотворений 23 наиболее выдающихся поэтов мусульманского Востока: Ирана, Турции, Закавказья, Средней Азии, — 19 из которых — всемирно известные поэты наиболее плодотворного, «классического», периода, длившегося с VIII по XV в., в том числе Фирдоуси, Хайям, Низами, Саади, Навои и другие, и четверо — поэты «нового времени», XIX–XX вв., в том числе двое из них — известные политические деятели XX в.: турецкий поэт и активный борец за мир в середине XX в. Назым Хикмет (Турция) и — аятолла Хомейни (Иран).

В книге содержится также большая научно-просветительская статья сына Ю. Ключникова, Сергея Юрьевича, философа, психолога, культуролога, кандидата философских наук и автора многих книг по психологии и другим гуманитарным знаниям; в этой статье С. Ю. Ключников подробно и убедительно рассказывает о явлении суфизма внутри ислама и о роли суфизма, благодаря которому в средние века в мусульманском мире развивались наука, медицина, философия, поэзия, в то время как в средневековой Европе все эти явления культуры под давлением догматического христианства едва «теплились»; мало того, благодаря суфизму мусульманский мир сохранил

от полного забвения античные знания, философию, литературу, которые потом, во времена Ренессанса, были возвращены Европе.

Но — удивительное явление! — в средневековом мусульманском мире, казалось бы, суровом и воинственном, особенного расцвета достигла именно поэзия, фундаментом которой явилась древнеперсидская домусульманская культура, так что неслучайно многие суфийские поэты «классического» периода были персами и почти все поэты того периода писали на фарси; причём эта поэзия достигла такого разнообразия поэтических форм (от огромных поэм — до кратчайших, в две строки, философско-поэтических афоризмов) и такого разнообразия поэтических тем: тем жизни и смерти, дружбы и вражды, добродетели и пороков, богатства и бедности, аскетизма, подвижничества и нравственного совершенствования личности, осмеяния глупости и похвалы мудрости, отношения к власти, к красоте мира, страстной любви к женщине и высокой, преображающей личность любви к Богу, — что эта поэзия не только не могла не влиять на духовную культуру мусульманского населения, но вырвалась за пределы мусульманского мира и повлияла на развитие литературного процесса в ренессансной Европе.

Русскому дореволюционному читателю были хорошо знакомы суфийские поэты-классики — их переводили многие русские поэты, начиная с А. Пушкина и В. Жуковского; А. Фет, например, перевёл около 30 стихотворений Хафиза. Но особенно много переводили и издавали их в советское время. Только в знаменитый двухсоттомник «Библиотека всемирной литературы», изданный в Москве в 70-е годы XX в., вошли 5 томов этих поэтов, причём — объёмом по 500–600 страниц и тиражом по 300 тыс. экземпляров каждый. А кроме того, много издавали их, в том числе и на русском языке, в столицах союзных «мусульманских» республик Баку, Ташкенте, Душанбе. Так что у читателя может возникнуть естественный вопрос: зачем же снова переводить на русский язык давно переведённых поэтов?

На него отвечает примерно следующее в своём небольшом предисловии к названному выше сборнику сам Ю. Ключников: в наше время, в начале XXI в., когда ислам стал важным фактором мировой политики и в то же время появилась опасность проявления в нём радикальных форм, — своим сборником суфийской поэзии автор переводов хотел бы напомнить последователям ислама, что в нём, вместе с другими его формами, есть суфизм — интеллектуальное направление, призывающее к любви и состраданию ближнему, к душевной чистоте и святости, к творению добра, к мудрости, к борьбе человека с низшей природой в себе, в том числе и с природой зла, — все эти темы блестяще осмыслены в суфийской поэзии. Но чтобы они зазвучали в его сборнике чётче, автор его, во-первых, выбрал из огромного поэтического наследия суфийских поэтов те произведения, в которых эти темы звучат ярче, предпочитая при этом произведения небольших стихотворных форм; а во-вторых, эти выбранные им произведения он перевёл заново, чувствуя, что его предшественники-переводчики стремились к формальному буквализму переводов, теряя при этом сакральную глубину смысла подлинников; сам он, стараясь наполнить свои переводы этой глубиной, ещё и стремился использовать современный русский язык, понятный простому современному читателю, называя при этом свою работу «вольными переводами».

Кроме того, я бы добавил к сказанному автором сборника, что чтение переводов суфийской поэзии немусульманином раскрывает ему душу мусульманина и делает его ближе и понятней.

Следующая высота, которую «взял» Ю. Ключников-переводчик, — книга «Поднебесная хризантема. 30 веков китайской поэзии» (687 стр., Москва, издательство «Беловодье», 2018).

Однако, прежде чем кратко охарактеризовать её, хотелось бы дать здесь небольшую ремарку: в 70-х гг. XX в. мне довелось читать двухтомник собрания текстов древнекитайской философии, который поразил меня необъятной глубиной текстов; но, помнится, больше всего меня поразила одна цифра, приведённая в предисловии к сборнику: автор его, специалист-китаевед, написал, что из всего необозримого литературного наследия Китая — его поэзии, прозы, философских, религиозных, научных, медицинских трактатов — переведено на русский язык всего около 4%. С той поры я старался следить за переводами с китайского (в первую очередь, разумеется, поэзии и прозы) и, поскольку переводов появилось за это время не так уж много, готов утверждать, что эта цифра увеличилась едва ли на какую-то долю процента. А ведь Китай — наш самый близкий и самый крупный сосед, с которым мы волею судьбы связаны навечно и которого мы просто обязаны уважать и, стало быть, хорошо знать; а ведь мы судим о Китае и китайцах лишь по торговцам на рынках, в то же самое время прекрасно зная, что значит судить о русской нации по русским базарным торговцам и торговкам. А ведь о национальном характере целого народа не расскажет никакая наука — о нём можно судить лишь по художественной литературе: по его поэзии и его прозе. Особенно по поэзии — в силу глубинной эмоциональной и исповедной её сути.

И как же я был рад новой книге, да ещё такой объёмистой и обстоятельной, переводов с китайского, тем более — переводов китайской поэзии (которую сам с удовольствием читаю и собираю в своей библиотеке)!

В книге представлено 400 стихотворных переводов: стихотворений многих и многих великих поэтов периода классической поэзии Китая (длившегося более 2000 лет — с IV в. до н. э. и по XVIII в. н. э.), 19 стихотворений из сборника древнейших безымянных стихотворных текстов «Шицзин» (из-за седой древности точные даты их сочинения точно неизвестны; предположительно XI–VI вв. до н. э.), а также стихотворений поэтов нового и новейшего времени (XIX–XX вв. н. э.), в том числе — коммунистического лидера Китая Мао Цзэдуна и его соратника Го Можо.

Причём не только в этом антологическом сборнике, но и во всех без исключения остальных подборках переводов каждого автора, в том числе и древнего, предшествуют портрет этого автора (иногда — предполагаемый) и краткая, но весьма при этом содержательная и зачастую содержащая занимательные для читателя подробности биографическая справка; а ведь эти изыскания — тоже огромный труд. Но одних только великих поэтов в Древнем Китае так много, что Юрий Михайлович был, видимо, просто не в состоянии поместить в эту свою книгу переводы всех китайских «великанов» поэзии. А мне жаль, что в ней не представлен ещё и великий полководец и одновременно едкий, ироничный великий поэт Синь Цицзи (XII в.) с такими, например, его строками:

…А теперь, чашу горечи выпив до дна,
Рассказать я о скорби хочу и… молчу.
О печали поведать хочу, а шепчу:
«Хороша ты, осенней поры тишина».
(Перевод М. Басманова)

Или — поэт Лу Ю (XII–XIII вв.) с такими строками:

…Как чудодейственный меч из Бинджоу,
Я отточил свой стих.
Им по земле провожу, срезая
Осени красоту.
(Перевод И. Голубева)

А вот как отзывается об этой книге Ю. М. Ключникова в предисловии к книге китаевед, доктор исторических наук, профессор МГУ З. Г. Лапина: «Средствами русской поэзии с её рифмами и размерами он точно и качественно сумел передать настроение и дух каждого из представленных китайских мастеров слова. Для меня его вольные переводы и переложения, стихи по мотивам лириков Китая, приближающие китайскую поэзию к русской, сопоставимы с оригиналом. Ю. М. Ключников показал, насколько сакральна поэзия китайцев, даже если речь идёт о бытовых темах, явлениях природы или простых человеческих чувствах». Зинаида Григорьевна Лапина настолько точно и при этом кратко охарактеризовала эту книгу, что мне к содержанию и качеству её, кажется, и добавить нечего.

Однако, кроме переводов китайской поэзии, мне хочется отметить в «Поднебесной хризантеме» ещё один, и довольно большой, раздел этой книги, весьма поразивший меня: переведённые Ю. Ключниковым с помощью стихов так называемые «коаны» — короткие куски текстов великих древнекитайских философов, представляющие собою отдельные мысли или притчи.

Существует мнение, что нынешний Китай, с его нынешней успешной перестройкой экономики, практически вышедшей уже на первое место с мире, с его полуторамиллиардным, необыкновенно трудолюбивым, дисциплинированным, сплочённым, патриотически настроенным населением, — результат воздействия на него в течение двух с половиной тысяч лет традиционной китайской философии, и в первую очередь — философии даосизма (основатель которого — Лао-цзы, VI–V вв. до н. э.) и конфуцианства (основатель — Конфуций, или Кун-цзы, VI–V вв. до н. э.), которые значительно повлияли на все остальные философские школы и направления. Причём именно эти философские школы стали известными далеко за пределами Китая задолго до нашего времени.

Если рассказать о даосизме очень коротко, то в сухом остатке окажется, что всё, что окружает человека, не рождается и не умирает вместе с ним; что человек живёт в огромном, бесконечном пространстве и времени, податливом, но непознаваемом и неодолимом, поэтому он должен сообразовывать себя с этим пространством и временем и быть скромнее в своих притязаниях.

Конфуцианство — опять же, если уж очень коротко — учит всех правителей: древних императоров и князей, а также нынешних президентов, министров и премьер-министров, — что самое главное богатство нации — это народ, и, стало быть, правитель обязан любить его и заботиться о том, чтобы в его стране не было ни одного нищего и бездомного, чтобы у каждого человека в его стране обязательно был свой кусок земли, дом и семья; кроме того, правитель и его чиновники обязаны воспитывать свой народ в трудолюбии и заботе о своих близких: чтобы взрослые любили своих детей и воспитывали их и обязательно почитали своих родителей, а предков своих превращали в семейных святых и поклонялись им… Мало того, каждый молодой человек в Древнем и средневековом Китае, готовясь к чиновничьей службе, начиная с самой низшей ступени, обязан был сдать строгий экзамен, где, во-первых, он должен был сочинить собственное стихотворение (при этом одновременно проверялись его грамотность и его умение мыслить), во-вторых, проверялось его знание государственных ритуалов и этикета, и, в-третьих, обязательно проверялось знание конфуцианской философии.

И когда я читаю об этом, мне в голову приходит фантастическая мысль: вот бы нашим-то, любившим повоевать, в том числе и со своим народом, древнерусским князьям, а затем длинной галерее царей и советских вождей — да дать бы Конфуция! Думаю, и по количеству населения, и по экономике современная Россия тогда вполне могла бы потягаться с современным Китаем…

Однако зачем было Ю. М. Ключникову перекладывать переводы древнекитайских философских трактатов в стихотворные тексты? — может спросить кто-то. Но я его понимаю: зачастую люди не любят читать серьёзных, нагруженных мыслью текстов, а у некоторых такие тексты просто вызывают отвращение, — в то время как Юрию Михайловичу очень хотелось, чтобы как можно больше русских читателей прочитало и с большей охотой приняло в свою душу эти необыкновенно полезные тексты — в этом ему видится его долг подвижника и просветителя.

Этой же задаче служит ещё один раздел книги — большая статья С. Ю. Ключникова (о которой я уже кратко упоминал выше) «Поэзия в истории Поднебесной»; в этой статье рассказывается об огромной роли в истории Китая его письменной культуры, и в первую очередь — философии и поэзии (которая, в свою очередь, густо пропитана традиционными философскими идеями).

Причём сама книга «Поднебесная хризантема» представляет собою огромную энциклопедию великой истории письменной культуры огромной страны, представляющей собой целую отдельную цивилизацию, какой являлся всегда и является нынче Китай, история которого, не прерываясь (!), длится уже около 5000 лет! — и это ещё одна историческая загадка этой страны. Так, может быть, эта книга отчасти разгадывает эту загадку?

Помнится, в советское время такие книги, как «Поднебесная хризантема», были очень заметными культурными явлениями в нашей стране; на них писали рецензии в серьёзных периодических изданиях; их отмечали престижными премиями. Но чтобы хоть кто-нибудь где-нибудь заикнулся о ней у нас в наше нынешнее время — я об этом не слышал.

И ещё одно замечание по этому поводу. Многие из псевдофилософов и псевдолитераторов в последнее время всё чаще и упорней заявляют, что литература ничему не учит. Однако существуют такие книги, на которых вырастают целые великие цивилизации: на Библии — христианская цивилизация, на ведической литературе и индуистском эпосе — индийская, на книгах древнекитайских философов и поэтов — китайская, на Коране и суфийской поэзии — мусульманская.

Просто книги бывают разными: одни — служат созиданию; другие — разрушают созданное тысячелетним трудом; и бывают книги-пустышки, каких нынче преогромные количества; и каждый сам для себя выбирает: какие книги писать и какие — читать.

И последняя вершина, которую «взял» Ю. М. Ключников, двигаясь в направлении просветительского подвижничества, — книга его переводов с английского «Уильям Шекспир. Сонеты и поэмы. Поэзия шекспировской эпохи» (вместе с предисловиями и примечаниями — 677 стр., Москва, издательство «Беловодье», 2020).

Надо сказать, что имя Шекспира — самое упоминаемое в истории мировой литературы: количество переводов его произведений на другие языки, а также книг и статей, посвящённых его личности и исследованию его творчества, не поддаётся исчислению. Так, список книг и статей, русских и зарубежных, использованных только в упомянутой мною выше книге, составляет сто с лишним наименований. Каждое его драматургическое произведение имеет по несколько переводов на русский язык, начиная с XVIII в., и каждый из его 154 сонетов тоже переведён не однажды, так что невольно может возникнуть вопрос: зачем их множить?

На этот вопрос отвечает сам Ю. М. Ключников в очень серьёзном и доказательном предисловии под названием «Сонеты Шекспира в моём изложении: размышления поэта и переводчика о вольном характере переводов великого барда». Автор предисловия признаётся: несмотря на то, что многие его предшественники-переводчики, в том числе и самый яркий и профессиональный из них — С. Я. Маршак, делали свои переводы превосходно, заставив советского читателя полюбить высокую поэзию великого англичанина, — однако сам он, Ю. М. Ключников, взялся за новые переводы шекспировских сонетов и поэм потому, что, в силу обстоятельств, его советские предшественники были не в состоянии передать их точный смысл: во-первых, обстоятельства не позволяли им в полной мере выразить духовно-религиозный пафос сонетов, который в советское время незаметно подменялся так называемой «общечеловеческой моралью»; во-вторых, существует проблема адресата сонетов — ведь из 154 сонетов только 26 обращены к женщине, 2 сонета обращены к Любви как таковой, в то время как 126 остальных обращены к молодому мужчине, которого автор сонетов называет «другом».

Советские переводчики, в том числе и С. Я. Маршак, или переадресовывают эти «мужские» сонеты женщине — или делают их невнятно-нейтральными в смысле пола, в то время как современная западноевропейская мода однозначно трактует их как воспевание «трансгендерной» темы.

Ю. М. Ключников же, учитывая, что Шекспир жил и работал во второй половине XVI — начале

XVII вв., в эпоху суровой религиозной морали в Британии, твёрдо считает, что поэтическое творчество великого англичанина не могло содержать тем, касающихся человеческой природы «ниже пояса», что в те времена существовал культ одухотворённой дружбы двух мужчин: более образованного и опытного наставника — и молодого, неопытного ученика; именно такие отношения и запечатлены в его переводах «мужских» сонетов Шекспира.

Но есть ещё одна проблема в творчестве Шекспира, о которой рассказывает Ю. М. Ключников и размышляет над ней, — это проблема авторства: и литературоведческая, и переводческая советские школы однозначно воспринимали Шекспира как гениального выходца из «народных низов»; однако после того, как исследователи тщательно поработали с архивными документами шекспировского времени, выяснилось, что актёр и совладелец театра Шекспир был не только малограмотным человеком, но ещё и алчным, жестоким ростовщиком, скупавшим дома и земельные участки, и постоянно судившимся сутягой, что совершенно не совмещается с высочайшей поэзией, блистательным стилевым совершенством, зашифрованностью и скрытыми цитатами его стихотворных текстов, с обширнейшим знанием античной и английской истории в его драматургии. Естественно, и в самой Великобритании, и за её пределами возник вопрос истинного авторства под псевдонимом «Шекспир». Так, британские исследователи находят до 60 претендентов на истинное авторство среди современников Шекспира.

У российских шекспироведов сложилось несколько версий возможного авторства «шекспировских» произведений. Есть своя версия и у Ю. М. Ключникова; вот почему в этой книге, посвящённой переводам сонетов, поэм и некоторых монологов из пьес Шекспира, он делает ещё и переводы многих поэтов шекспировской эпохи, внимательно исследуя при этом, кто из них мог быть анонимным автором под именем Шекспира (или даже это была целая группа авторов?).

Той же теме — поиску истинных авторов шекспировских произведений — принадлежит в этой книге и включённый в неё большой и содержательный очерк-исследование С. Ю. Ключникова «Бездонная тайна Уильяма Шекспира».

Вот об этом постоянном соавторе всех антологических сборников переводной поэзии Юрия Михайловича Ключникова, его сыне Сергее Юрьевиче, хотелось бы рассказать чуть подробней.

Но сначала — небольшое отступление. В 2015 году, воспользовавшись своей тогдашней должностью руководителя Красноярского регионального отделения Литературного фонда России, а также тем, что 2015 год был объявлен в России Годом литературы, мне довелось инициировать издание в Красноярске большой книжной серии «Литературное наследие Красноярья», состоящей из 26 крупноформатных томов с произведениями ушедших из жизни писателей-красноярцев, а также писателей, чьё творчество посвящено Енисейской Сибири, при условии, что книги эти вызовут интерес у сегодняшнего читателя. Но условия издания таких книг требуют также обязательного договора на их издание с наследниками ушедших из жизни писателей. При розыске наследников мы ставили себе ещё одну цель — разыскать архивы ушедших из жизни писателей: неизданные рукописи, дневники, записные книжки… Однако контакты с большинством этих наследников — очень пожилых уже детей, а также внуков и правнуков — оставляли у нас удручающее впечатление: наследники настолько были заняты собственными жизненными проблемами, делением имущества, переездами на новые квартиры и в другие города, что утеряли почти всё, связанное с жизнедеятельностью своих предков-писателей.

И когда я обнаружил абсолютно во всех перечисленных мною выше книгах Ю. М. Ключникова большие статьи-исследования его сына Сергея Юрьевича, а также его обширные научные комментарии и примечания к текстам его отца, а в последующем познакомился и с ним самим (заочно, с помощью телефона и Интернета), а потом услышал от его отца, Юрия Михайловича, как сын помогает ему работать и совершать ежегодные путешествия по России, — я был просто восхищён такой огромной сыновней поддержкой своего престарелого отца-писателя: кажется, впервые в жизни мне удалось увидеть такую мощную и такую трогательную поддержку писателя своим родственником. В данном случае — сыном.

Не говоря уже о том, о чём я рассказал в предыдущем абзаце, — я ведь был знаком в своей жизни со многими писателями, в том числе и — с широко известными, и видел, как, старея и становясь немощными, эти писатели теряют свою известность, которая сходит в конце концов на нет — не потому, что творчество их стало вдруг никому не нужно, а только потому, что рядом нет человека или людей, заинтересованных в поддержании реноме творческой личности.

А ведь Сергей Юрьевич Ключников, как я уже писал выше, — учёный-психолог, культуролог и философ, автор многих книг по практической психологии и смежным ей дисциплинам и человек, явно очень занятый своей собственной работой; однако, одновременно со своей основной деятельностью, он ещё и один из основателей и главный редактор московского издательства «Беловодье» — и, стало быть, ещё и издатель, и распространитель книг своего отца Ю. М. Ключникова, и устроитель представительных презентаций его книг.

Мало того, читая уже упомянутую мною выше книгу Юрия Михайловича «Предчувствие весны» — в частности, те главы, где он коротко пишет о своей семье, — я обратил внимание ещё и на то, что супруга его (в браке с которой он живёт уже более 60 лет) начала заниматься живописью, будучи уже взрослым человеком, осуществила с тех пор много выставок своих картин и издала несколько альбомов своей живописи.

И на основе этой информации у меня возникает естественный вопрос: всё это вместе взятое — благополучное долгожительство героя моего очерка, его бодрость и, несмотря на возраст, ясность мысли, его неиссякаемые творческие силы и бесконечное трудолюбие, долгая и гармоничная их с женой супружеская жизнь, общее стремление всех членов семьи к духовно-интеллектуальному труду, — не является ли всё это благотворным результатом влияния на конкретную крохотную социальную ячейку общества, в данном случае — на семью Ключниковых, нравственно-этического учения Живой Этики?

Итак, много лет занимаясь переводами иноязычных поэтических, философских, религиозных текстов, Ю. М. Ключников в конце концов не стал ни идеологом, ни адептом, ни иллюстратором чужой культуры и чужих философских или религиозных учений; впитав в себя все эти учения, идеологии и культуры, он остался русским поэтом и христианином, лишь обогатив свою душу и свой интеллект и ставши благодаря этому самодостаточной личностью, имеющей собственные твёрдые взгляды на все явления жизни и культуры.

При одной из недавних телефонных бесед с ним вместе с поздравлениями я задал ему банальный и одновременно провоцирующий вопрос: над чем он сейчас работает, и каковы его ближайшие и дальние творческие планы? — и он охотно и решительно ответил мне, что его сборник переводов поэзии Шекспира и шекспировского периода — только часть работы над большой антологией английской поэзии, над которой он сейчас продолжает работать и которую ему бы хотелось поскорей закончить. А там, дальше, есть, конечно, определённые планы поработать и над книгой переводов индийской поэзии, и — американской... — и он лишь посетовал на то, что уже не может, как ещё совсем недавно, сидеть за письменным столом по двенадцать часов в сутки; теперь никак не получается больше восьми...

И напоследок хочется ещё раз, уже письменно, горячо поздравить Вас, Юрий Михайлович, мой дорогой старший товарищ по литературному цеху, со столь высоким юбилеем, выразить своё восхищение Вашими нескончаемыми душевной бодростью, трудолюбием и самодисциплиной и пожелать Вам и дальше, сколько хватит сил, нести свой факел подвижничества и просветительства в наш тёмный век нового варварства, с его безбрежным одичанием и потерей всяческих нравственных ориентиров.

к 90-летию

Юрий Ключников

В наших дальних краях

Земля предков

Её боронили за взрывом и плугом,
В неё хоронили, чтоб сделалась пухом.
В ней вслед за металлом хозяйничал ворон,
Когда не хватало ни силы, ни борон.
Удел её грозен, простор её тесен,
В ней даже берёзам тоскливо без песен.
Траве её в Ницце и где-нибудь в Праге
Всегда будут сниться поля да овраги.
То дубом стоишь, то склоняешься ивою,
Страна моя нежная и молчаливая.
Всё есть у тебя, от Чукотки до Сочи,
Забот не хватает сыновних.
И очень.
Умеешь сворачивать хищникам шеи,
А собственных крыс почему-то жалеешь.
Всем, роющим норы, и бесу, и вору
Лишь машешь рукою:
— Хватает простора!..

В наших дальних краях

В наших дальних краях
На крутых перепадах предзимья
Ветер Арктики южным
Слоистым туманом пророс.
Тёмно-серый платок
И платок ослепительно-синий
То и дело меняют
Безлистые кроны берёз.
Город весь в напряженье,
В раздёрганных жестах и звуках
В ожиданье зимы
Межсезонные правит труды.
Лакированный дождиком
Чёрный провал виадука
Пожирает машины
С гудением судной трубы.
Но бесстрашной травы
Проступают зелёные пятна
Через иней и сор,
Сквозь дыханье декабрьских угроз.
Непривычный ноябрь—
На багровой ухмылке закатной
Пламенеет Венера,
Звезда милосердья и гроз.

К вопросу о происхождении Руси

«Придите к нам и нами володейте»,—
Легенде этой верю как себе.
Мы—дети Солнца,
Да, всё те же дети,
Доверенные ветру и судьбе.
Владели нами викинги и немцы,
Татары и грузины… всех не счесть.
Но коль пришёл—
Попробуй с нами спеться,
Отведать лаптем наших скифских щей.
А нет—катись, как некогда Отрепьев,
Мортирным прахом в снежный наш простор.
То триколор, то флаг багряный треплет
Московский Кремль, то снова триколор.
Ни с чёрным не согласны мы, ни с белым…
Кромсает век измученную плоть.
Дано ему командовать над телом,
Но у души хозяин лишь Господь.
Таинственный, весёлый, непонятный,
Меняющий порядок дня и тьмы.
Известно, что живут на Солнце пятна.
Вот именно.
И пятна эти—мы.

• • •

Я плыл на стрежень,
Но меня сносило,
Я плыл, как рыба, против быстрины.
Когда же мне отказывали силы,
Я чувствовал плечо
Своей страны.
Могучей, несуразной и жестокой,
И нежной, и возлюбленной до слёз,
Страны всесокрушающих потоков,
Дубовых плах
И ласковых берёз.
В конце концов я выбрался на берег,
Хоть отовсюду слышал:
— Быть беде!
Мне говорят,
Что я в кого-то верю.
Я верю в тех,
Кто всё ещё в воде.

Письмо из тверской глубинки

Над просторами шиферных крыш
Кольца дыма, как ангелы, тают.
Самолёты отсюда в Париж,
А тем более в Тверь, не летают.
Словом, царство зелёной тоски,
По понятиям нынешним нашим.
И всего двести вёрст от Москвы
Чудо-город по имени Кашин.
Чем чудесен? Петлёю реки,
В виде сердца закрученной странно.
Жизнью предков смертям вопреки,
Благоверной княгинею Анной,
Мудро правившей в этих местах
Среди вечных российских раздоров…
Весь в сугробах и в древних крестах.
Вот такой удивительный город.
Поседевший до самых бровей,
Словно кисти Васильева мистик,
Прячет лик среди хвойных ветвей…
А ещё здесь заносы не чистят.
Город как из былины упал
Одна тысяча двести…
Не стану
Углубляться в былые туманы,
Сообщу, что с тоски не пропал.
По колено плутаю в снегу,
Размышляю, что город мне ближе
И Твери, и Москвы, и Парижа.
Почему?
Объяснить не могу.

Белуха

Когда расстанусь с плотной оболочкой,
Когда в бесплотный устремлюсь полёт
В бездонно-фиолетовый, полночный,
Луной посеребрённый небосвод,
Налюбовавшись звёздными мирами,
Я возвращусь однажды на заре,
Как блудный сын в новозаветной драме,
К тебе, всё утоляющей горе.
Берели Белой светлая излука,
Кокколя Малого немолчный звон и зов.
Белуха, несравненная Белуха,
Ты для меня—как первая любовь.
В душе моей впечатаны навеки
Снегов твоих целительный простор,
Лазурные улыбки аквилегий,
Зелёный мрамор кедров и озёр.
Я знаю, что и ты, как я, не вечна,
Когда-нибудь твои растают льды,
От всех твоих нарядов подвенечных
Останутся лишь светлые мечты.
Но никакой зигзаг судьбы случайный
Не разлучит нас с очагом Отца.
Живёт в нас ослепительная тайна,
Которой нет и не было конца.

Магадан

Пустынный порт закатной дышит грустью,
Внизу маяча, словно миражи,
Морскую на отливном дне капусту
Вылавливают местные бомжи.
Какой-то тип, на вид из конокрадов,
Навязывает пламенно купить
Пластмассовый мешок варёных крабов.
Торговая, как всюду, жизнь кипит.
Ей хочется забыть, что здесь кипела
Иная, пересыльная страда.
Не знавшая о ней, в ту пору пела
И радовалась юная страна.
Её герои покоряли полюс,
В пустынях возводили города…
На всех парах в коммуну мчался поезд,
Как выяснилось нынче—в никуда.
Так заявляют новые пророки,
Зовущие нас к рыночной мечте.
Но никому не ведомы дороги
Распятой, как и прежде, на кресте
Страны моей. Одно лишь солнце знает,
Зачем оно меняет день и ночь.
Колымская, холодная, родная
Земля, в груди засевшая, как нож…

Великое Число

Москва, Москва, не торопись прощаться
С отвергнутыми числами войны.
Ты вспомни, как шагали по брусчатке
Седьмого ноября твои сыны.
В те месяцы разгромной нашей смуты,
В те дни почти безвыходной тоски,
Воистину, в те страшные минуты
Мир, как дитя, припал к ногам Москвы.
О, как дышал над нивами, над рощами,
Над самым нашим ухом жаркий ад!
А ты, Москва, вела по Красной площади
Парадным строем молодых солдат.
Они надежду нам несли на лицах,
Печать ухода к ангелам в очах…
Не забывай, российская столица,
Свой самый грозный,
Самый звёздный час.
Когда сегодня маленькие черти,
Как тина, вяжут властное весло,
Не дай, Москва, в угоду буйной черни
Топтать твоё Великое Число.
Все остальные числа не порочa,
Держись за это, мужеством горя.
Мы дьяволу сломали позвоночник
Уже тогда, Седьмого ноября.

● ● ●

В преддверии Великого Числа,
что жизнь и честь России сохранило,
хочу понять, какая чудо-сила
через кошмар военный пронесла.
Отец Небесный и земной с усами?
Георгий Жуков? Челюсти зимы?
А может, прав сказавший, что мы сами
спасли всё это, маленькие мы?
Не нужно нам бояться громких фраз—
нет ничего загадочнее нас.

Покаяние

Хорошего воина пули кусают,
Как правило, насмерть в житейскую рань.
Француз говорил: если тридцать гусару
И жив—значит, он несомненная дрянь.
И Пушкин, и Байрон, и Блок, и Есенин
Давно в моём возрасте стали травой.
Прости меня, муза, за годы везенья,
За то, что пишу, и за то, что живой.

● ● ●

В деревянном старом доме
Мы ночуем на соломе.
В этом доме домовые
До утра в сенях стучат.
Что-то очень дорогое
И родное сердце ловит
Друг у друга в потонувших
В чёрном омуте очах.
Не спугнуть бы только словом,
Даже вздохом, даже думой
Из глубин души поднявшееся
Чистое тепло.
Много лет назад за Волгой
Или, может быть, под Тулой
Пролилось оно на сердце
И на дно его легло.
Мы его похоронили,
Нам казалось, и надолго
Заросло оно рубцами,
Да, видать, не до конца.
И теперь опять под Тулой
Или, может быть, за Волгой
Всколыхнула души память,
Растревожила сердца.
Нам бы утром да при солнце
Улыбнуться бы друг другу
И запомнить, и запомнить
Полуночные глаза.
До свидания, деревня,
До свиданья, пятый угол,
Там, где теплится лампада
И темнеют образа.

Раздумья двуглавого орла

В перинах возлежит обрюзгший Запад,
Восток же пробуждается от сна.
Царапает уже тигриной лапой
Китай американского слона.
А что же мы?
Мы по привычке медлим,
Ждём грома, чтобы лоб перекрестить.
Свои копыта поднял Всадник Медный,
Не зная, где и как их опустить.
По-прежнему бредёт вслепую росс,
Орёл двуглавый мучится вопросом:
Рвануться ли вдогонку за даосом
Или засунуть головы в Давос?

● ● ●

Мне Брамса сыграют,—
Я вздрогну, я сдамся.
Б. Пастернак

Везде настигают гремучие ритмы,
Душа отвыкает от тихой молитвы.
Рекламы гремит оглушительный гром.
Зачем мы родились? Куда мы идём?
Возможно, затем, чтобы сесть в этом зале,
Куда меня с Брамсом на встречу позвали,
Где тихо Чайковский вздыхает во сне,
Где вздохи его отдаются во мне.

● ● ●

Поэт, да пребудет с тобою отвага
и волны любить и ложиться на дно.
Душа хороша, если бродит, как брага,
стихи же, когда полежат,—
как вино.

И вновь весна

Ледовые рвутся заторы
На реках Сибири. Бабах!
Повторы, повторы, повторы
Вокруг и на наших губах.
За зимами следуют вёсны,
За солнцем и вёдром—дожди,
За буйством течения—вёсла,
За пляской свободы—вожди.
Я, многим повторам ровесник,
Теперь повторяю одно:
—Приди, наконец, равновесье!—
И знаю: не слышит оно.
Но всё же молитву на страсти,
Как свечку, поставив в душе,
Предчувствую: в русском пространстве
Меняется что-то уже.

* * *

Ах, власть советская, твой час
Был ненадолго вписан в святцы.
Ты гнула и ломала нас,
Пришёл и твой черед сломаться.
Бывало, на тебя ворчал,
Но не носил в кармане кукиш.
И поздно вышел на причал,
Что никакой ценой не купишь.
Когда сегодня Страшный суд
Свои вердикты совершает,
А телевизионный шут
На торг всеобщий приглашает,
Я поминаю дух и прах
Отцов, которые без хлеба,
Отринув всякий Божий страх,
Как боги, штурмовали небо.
Не убивал и не убью,
Не принесу свидетельств ложных,
Но их по-прежнему люблю,
По-детски веривших, что можно
Через кровавые моря
Приплыть к земле без зла, без фальши.
Смешная, страшная моя,
Страна-ребёнок, что же дальше?

Современному стихотворцу

Ты, Есенин, сегодня попей-ка,
Побуянь… Нынче все мы тихи.
Воду пью и пою канарейкой —
Перестали платить за стихи.
Сколько бедной коровой комолой
Мне пощипывать дачный пырей,
Не ответят вожди комсомола.
Ни венков, ни рублей, ни вождей…
Мы с вождями веками не ладим
И не можем без них никуда…
Тучку белую ласково гладит
Приютившая небо вода.
Наслаждаясь закатным покоем,
На цветник опускается взгляд.
Оглушающе пахнут левкои,
Словно свечи, шафраны горят.
И какое-то странное чувство
Проливается в душу мою —
Будто скоро придётся очнуться
Исстрадавшимся людям… в раю.
На земле нашей нежной и новой
В час, когда после долгих тревог
Через нас несказанное Слово
Миру вымолвит любящий Бог.

Ян Бруштейн

Дым империи

Москва: «Русский Гулливер», 2020

* * *

Не дал ни злата мне, ни чина
Насмешливый, плешивый век.
Его я прожил самочинно,
Как вольный ветер в голове.
Когда же бóсым по траве,
Забрав с собой одни морщины,
Седой, заслуженный мужчина,
Отбывший жизнь, а может — две,
Я побреду туда, где свет,
Где горизонт и сед, и розов,
Где сам себе я не знаком,
Где никого, возможно, нет,
Где говорить я буду прозой,
А думать, может быть, стихом.

Водопад

Я живу в километре от края Земли.
Там бездонна вода, там ленивые рыбы,
Там доныне русалки водиться могли бы,
Но за ними пришли и давно замели.

Возвратилась одна, с рассечённой губой,
Привезли в провонявшем селёдкой бочонке,
Старый ватник на ней, да платок на ребёнке.
Стыли жабры, но вспомнил и принял прибой.

И поплыли они прямиком на закат,
Где гремел водопад, обрывавшийся в бездну,
Где когда-то и я непременно исчезну,
Если только они не вернутся назад.

Дарья Мосунова, Илья Новиков

Жить здесь и сейчас

Исполнительный директор благотворительного Фонда имени В. П. Астафьева Дарья Мосунова в завершение 2020 года взяла интервью у новых лауреатов Фонда. В номинации «Поэзия» премия присуждена молодому поэту из Абакана Илье Новикову. Перед вами, уважаемые читатели, запись беседы.

— Добрый день, Илья. Портал Фонда Астафьева рад вас поздравить с премией. Помните, во сколько вы начали писать стихи?

— Здравствуйте! Спасибо вам! Такая награда для меня — неожиданность и серьёзное подтверждение того, что мои способности, мой голос, моё слово имеют ценность в мире современной поэзии. Первые стихи я, к своему удивлению, пробовал писать в двенадцать лет, но это были даже не первые неуверенные шаги, а, скорее, баловство. Первые более-менее настоящие стихотворения я начал писать лет с восемнадцати. Никому не читал и не показывал. Это было больше для себя…

— Пишут, что вы стали сочинять под гитару песни. Как сейчас у вас обстоят дела с музыкой? Пишете ли песни? Наверное, вы были первый парень в школе?

— Был такой период, я даже был частью коллектива. Мы выступили на фестивале «СоРокА», кажется, в две тысячи четырнадцатом году, после чего прекратили своё существование. Сейчас играю для своего удовольствия. Иногда что-то пишу, но серьёзное занятие музыкой требует больших ресурсов времени и сил, которых у меня уже нет в нужном количестве. В школе я, наоборот, был неприметным и тихим. В школьные годы весь внутренний огонь ещё тихонько тлел, не вырываясь наружу.

— Кстати, про школу. Как вы учились в школе?

— Учился средненько, потому что мне трудно давались точные науки, а физику я просто не понимал, но не по вине учителя. Физическая культура и различная массовая деятельность тоже не нравились, потому что не любил, когда на меня обращают внимание.

— Все поэты — влюбчивые люди. Вы влюбчивый человек? Является ли для вас любовь источником вдохновения?

— О да, ещё как. Чаще всего это был коктейль из ярких эмоций и тёплых ощущений с тяжёлым похмельным синдромом. Но в последнее время любовь меня не тревожит, поскольку я избавился от некоторых заблуждений и неправильных взглядов, которые делали меня несчастным. Я думаю, причина моей влюбчивости во многом кроется в заблуждениях, осевших во мне по причине кинематографического бума, который пришёлся на годы моего детства (девяностые). В кино это всегда подаётся как безусловное счастье, не требующее работы над собой, и нечто главное в жизни, доступное якобы лишь избранным. Кино, как и любой источник внешней информации, формирует сознание, действуя на восприятие реальности. Поэтому, на мой взгляд, впечатлительным юным людям время от времени необходим некий отрезвляющий курс для адаптации к реальности, чтобы не витать в облаках (смеюсь). Иначе можно упасть и ушибиться, даже не поняв, что́ пошло не так, потому что делал вроде всё «правильно».

— Одна из ваших тем — человек в современном обществе. Как живётся молодому человеку в современном мире сейчас и как, по словам родителей, раньше — можете сравнить?

— Раньше были уверенность в завтрашнем дне и настоящая дружба народов, лучшее в мире образование, равноправие, множество подвигов и свершений, которыми гордились с самого детства. Сейчас в кумирах у молодого человека, скорее всего, эпатажные исполнители, блогеры, которые формируют мнения и личность будущей нации.

Некоторые родители, если вообще участвуют в жизни своих детей, стараются дать им достойное воспитание. Однако случается такое не всегда, поскольку сейчас у каждого свои проблемы и по большому счёту каждый сам за себя. Надо ли это контролировать и как-то противостоять? Надо ли воспитывать молодёжь? На мой взгляд — жизненно необходимо.

— Что вам не нравится в современном мире?

— Основные темы, которые транслируются сейчас в головы молодёжи: культ денег, призывы к примирению с врагами СССР и очернение Союза любыми способами, порицание патриотизма, мода на терпимость и псевдоуникальность, замыкающая человека на себе. Основная повестка, как мне кажется, сейчас звучит так: «Твоя жизнь — твои проблемы». И ещё такой вариант: «Не парься, а если что-то не нравится — проходи мимо». Очень цинично. Массы разобщены, а проблема голода, которую можно решить за несколько дней, так никуда и не делась, поскольку решать её никому не выгодно. Проблема дорогостоящей медицинской помощи также может быть разрешена не одним лишь путём пожертвований. А на горизонте уже вовсю стоит проблема жилья.

Капиталистический строй не может развиваться без поглощения новых территорий и/или ресурсов. На памяти человечества уже две мировые войны, а сейчас мир стоит на пороге третьей, но многие предпочитают «не париться».

— Как изменилась ваша жизнь за этот год?

— Из-за пандемии? Никак не изменилась, поскольку работаю я удалённо. В две тысячи двадцатом году прочитал несколько новых книг, посмотрел несколько новых фильмов, удостоился публикации в «Литературной газете» и стал лауреатом премии имени Виктора Петровича Астафьева.

— Не хотели бы вы переехать в Москву? Литературная жизнь у вас в Хакасии достаточно бурная?

— Если бы хотел, наверное, уже бы жил там. Я однажды был в Москве проездом, но мне не понравились темп и атмосфера столичного мегаполиса. Литературная жизнь в Хакасии живёт благодаря Дому литераторов Хакасии. Проводятся разнообразные мероприятия, писатели и поэты посещают разные города и сёла, знакомят молодёжь с местным творчеством и особенностями культуры коренного народа.

— Скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Ведь поэзией заработать сложно.

— Уже семь лет я работаю копирайтером, удалённо. Пишу информационно-продающие тексты на разные темы для сайтов заказчиков. Считаю, что труд обязателен, поэтому не поддерживаю авторов, которые предпочитают заниматься лишь поисками вдохновения вместо работы.

— Каких современных поэтов вы бы отметили? Кто из них повлиял на ваше становление?

— Поскольку я рос под влиянием музыки, то могу назвать достаточно много зарубежных и отечественных исполнителей, повлиявших на меня. Что касается поэзии, из школьной программы понравились «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, «Незнакомка» Александра Блока и поэма «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского. Творчеством Есенина, Клюева и Маяковского заинтересовался позже. Из современников могу выделить Виктора Кирюшина, Андрея Лысикова, Татьяну Вольтскую. Как правило, мне нравятся одно-два стихотворения из авторской подборки, поэтому сложно сформировать список самых повлиявших на моё становление авторов.

— Скажите, пожалуйста, захотели бы вы жить в Серебряном или Золотом веке поэзии и почему?

— Нужно жить здесь и сейчас, наслаждаясь тем массивом творчества, которое нам оставили предки, и равняться на лучших авторов, если вы тоже пишете.

— С кем из классиков, ныне не живущих, вы бы с удовольствием встретились? О чём бы вы его спросили?

— Хороший вопрос. О классиках много написано, в том числе целые биографии. С Шекспиром, наверное, хоть мы бы и не поняли друг друга. А если из русскоязычных авторов, то с Сергеем Есениным, пожалуй. Спросил бы его, что произошло в «Англетере» в ту роковую ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое декабря тысяча девятьсот двадцать пятого года.

— А если бы это был Пушкин — пять вопросов, которые вы бы ему задали?

— Наверное, я бы спросил у Пушкина, доволен ли он нынешней Россией, считает ли он кого-либо из современников достойным звания поэта, предчувствовал ли он, что будет убит молодым. Конечно, интересно было бы узнать его мнение о своих стихотворениях и получить совет для дальнейшего творческого развития.

— Вернёмся к Астафьеву. Ваше любимое его произведение? Почему?

— К сожалению, я далеко не всё читал у Виктора Петровича, но хорошо знаком с его малой прозой. Мне врезался в память рассказ «Бабушка с малиной». Хоть в начале повествования и произошла неприятность, но сообща люди помогли пожилому человеку. Здорово, когда литература учит доброте и отзывчивости. В современной жизни этого слишком мало, а люди, на мой взгляд, нуждаются в отзывчивости, доброте и поддержке.

— Скажите, а что нужно сделать, чтобы поэты жили в стране как богатые люди? И нужно ли это? Всегда ли поэт должен быть нищим, бедным, но романтичным?

— Насколько я знаю, сейчас как раз рассматривается идея официального введения таких профессий, как писатель и композитор. Здесь очень важным моментом является система оценки такого труда и квалификация специалиста, то есть получение обязательного образования. Если главным оценочным фактором будет лишь объём и регулярность выхода произведений, то за стабильным окладом выстроятся очереди новоявленных «писателей». Поощрять авторов важно и необходимо, но оплачивать из налогов граждан регулярную зарплату за низкопробную писанину—дело сомнительное и даже опасное. С другой стороны, много ли можно написать на пустой желудок? Вопрос сложный. Поэтому постараюсь посмотреть на проблему под другим углом: важно поддерживать социальными выплатами не только авторов, но и всех малоимущих граждан.

Считаю, что романтичность не зависит от состоятельности. Главное—быть добросовестным, деятельным и богатым внутренне. А поскольку поэзия для подавляющего большинства пишущих людей является скорее хобби, чем профессией, то всегда следует заботиться о наличии основного или хотя бы малого заработка. Я лично не поддерживаю стремление сделать поэзию источником своего дохода, поскольку в таком случае качество неизбежно будет размываться количеством.

— Не хотели бы вы попробовать себя в других жанрах? И над чем вы сейчас работаете?

— А я никогда не ограничивал себя в творчестве. С детства люблю рисовать, вырезать, лепить из пластилина. В последние годы время от времени увлекался рисованием, писал музыку, играл в двух любительских театрах, «Эгоист» и «Белый рояль», а также пробовал себя в прозе. Летом написал поэму, основанную на хакасской легенде о великой матери Хуртуях, а также серию стихотворений, посвящённых переломным моментам в истории религии нашей родины. Совсем недавно спонтанно получилось создать серию коротких рассказов для детей. Прочитал дочке перед сном, ей очень понравилось. Теперь вот появился план сделать из этих рассказиков спектакль, чтобы показывать маленьким зрителям в детском театре. У меня уже несколько лет лежат две начатые рукописи, но проза всегда требует много времени, дополнительных знаний и определённого настроения. Придёт время, и я закончу эти работы, если не вырасту из них.

Надеюсь, всё получится!

ДиН стихи

Илья Новиков

Знамение

Я видел дерево в огне,
И трёх китов на берегу
Белели кости.
Мы плыли в море чёрных рук,
А солнце жглось, как спелый лук,
Тугой от злости.
Я жаждал, жаловал и жал,
Всем досаждал, всё насаждал,
Срывая маски.
Под тучей, выжатой в дуршлаг,
Я кутался в горящий флаг,
Сверкая каской.
Ты что-то спрятала на дне,
Завёрнутое в простыне,
Утешив лаской.
Но робкий луч, прорезав сон,
Суть растворил, как ацетон,—
Гадать напрасно.
Я помнил, в мутной пелене,
Что видел дерево в огне…

Дарья Мосунова, Александр Евсюков

Признаки нового декаданса

Александр Евсюков — прозаик и критик из Москвы, лауреат Фонда имени В. П. Астафьева 2020 года.

— Здравствуйте, Александр! Вы родом из Тулы… Расскажите о своих родителях. Кто привил вам радость чтения? В какие кружки вы ходили? Как учились в школе?

— Добрый день, Дарья! Если взглянуть из Центральной Сибири, то да — я из Тулы. Но если быть совсем точным, то моя малая родина — город Щёкино Тульской области, который находится совсем близко от толстовского имения Ясная Поляна. Мои родители никак не связаны с литературой: мама много лет проработала швеёй, а затем оператором котельной, а покойный отец перепробовал немало разных профессий, в основном связанных с работой по дереву. Но уже в раннем дошкольном детстве они поочерёдно читали мне вслух хорошие книги, сначала сказочные и приключенческие, а потом и более серьёзные. Помню «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого, «Зов предков» и «Белый клык» Джека Лондона, «Последний из могикан» Фенимора Купера и объёмистый роман «Строговы» сибиряка Георгия Маркова. В школе я учился с переменным успехом: очень любил историю и литературу, к физике и химии относился настороженно и терпеть не мог уроки английского (впрочем, как и почти весь наш класс). Очень многое зависит от личности преподавателя: если он или она не только досконально разбирается в своём предмете, но любит его и умеет донести эту любовь детям, то обязательно появляется их ответный интерес. Как таковых кружков у нас при школе почему-то не было, но некоторое время я занимался в секции вольной борьбы.

— А почему именно Литературный институт? Вы рано начали писать? Почему пошли туда? Принято считать, что обычно люди идут туда, уже имея первое образование и многое понимая в жизни…

— Помню, что первое внезапное осознание промелькнуло лет в восемь. Ко мне в гости зашла одноклассница и, увидев толстенную книгу, которую я тогда дочитывал, вдруг заявила, что я обязательно стану писателем. «Читателем?» — решила поправить её моя мама. «Нет, писателем», — повторила одноклассница. Я вроде бы отмахнулся и надолго забыл о самом этом разговоре, но, видимо, какое-то зерно жизненного плана он в меня тогда заронил. Примерно через полгода или через год я написал первое подобие рассказа о мистическом обычае затерянного в джунглях африканского народа. В паузах я разрисовывал поля исписанных страниц всякими фигурками — можно сказать, иллюстрировал. Затем, осмелев, я периодически брался писать большие романы: и приключения, и вестерны, и фантастику. Правда, никогда их не заканчивал — вскоре остывал и увлекался чем-то новым. Однажды в подвале нашего дома мне в руки попался старый номер толстого журнала — не помню, «Звезды» или «Нового мира», — и там я впервые прочитал отрывок из чьих-то воспоминаний о Литературном институте имени А. М. Горького. И вот в тот самый момент я вдруг интуитивно понял, что поступлю именно туда и буду там учиться. Такое вот сбывшееся озарение: вскоре после окончания школы я написал повесть, и она прошла творческий конкурс в Литинституте у самого Михаила Лобанова, легендарного критика, фронтовика, участника Курской битвы, преподававшего литературное мастерство больше полувека. А необходимого прозаику жизненного опыта я набирался и в процессе обучения, и по его окончании.

— Вы учились у Михаила Лобанова, известного критика. Каким вы его запомнили? Многие ли выпускники остались верными профессии? И куда они смогли устроиться?

— Да, Михаил Петрович был рыцарем критики. Необыкновенно скромным в быту, добрым, внимательным и при этом очень пристальным и требовательным мастером. Никогда, ни на секунду не было ощущения, что он думает о том, какие блага он мог бы получить от русской литературы, а только о том, что он может дать ей. И он давал своим ученикам очень многое, помимо собственно знаний, блестящих разборов произведений и необыкновенного ощущения, что ты через одно рукопожатие знаком с классиками двадцатого века: с Леонидом Леоновым, Михаилом Шолоховым, Юрием Олешей,

Борисом Шергиным, Константином Воробьёвым, Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным и многими другими. Все они жили в нём и говорили с нами. И до сих пор он остаётся для меня важнейшим нравственным ориентиром.

Большинство выпускников Лобанова (во всяком случае, тех, с кем я периодически общаюсь) внимательно следят за современной литературой, продолжают писать прозу или критику либо и то, и другое. Среди его выпускников и студентов я могу вспомнить и нескольких коммерчески успешных авторов. Это и недоучившийся до диплома Виктор Пелевин, и популярная в течение нескольких лет детективщица Анна Малышева, и некоторые другие. Остальным приходится зарабатывать на хлеб насущный в офисах, библиотеках, редакциях изданий нелитературной тематики или даже на заводах. Также очень востребованной сферой сейчас является репетиторство. Ну а кто окажется по-настоящему состоявшимся, важным для русской культуры писателем—как всегда, покажет время.

— Окончив Литинститут в две тысячи седьмом году, вы работали охранником, грузчиком, археологом, журналистом, администратором, менеджером по продажам, литературным редактором и так далее—это пишут на многих сайтах в вашей биографии. Как так? Человек с литературным дипломом… а пошёл грузчиком?

— Да, всё верно пишут на этих сайтах. Но, например, Андрей Платонов числился дворником (работал ли он им—споры идут до сих пор)—это сколько-нибудь умалило его литературное дарование?.. А для того, чтобы стать хорошим грузчиком, тоже важны определённые качества: помимо выносливости и сноровки, это хороший глазомер, быстрое взаимопонимание с напарником, а порой ещё и умение грамотно вести переговоры. Кроме того, именно в то время я научился рассматривать многие ситуации не как досадные последствия «понижения в статусе», а как захватывающие приключения и крупицы бесценного писательского опыта.

— Как я поняла, опыт этих профессий пригодился вам в творчестве. А были моменты, когда было очень тяжело в работе? Ведь интеллигентов не очень там любят. Да и выпить всегда предлагают…

— Да, всякое бывало. Но чисто физически тяжело и непривычно, как правило, в самом начале. А потом тяжелее от обманов и разочарований в конкретных людях. Интеллигентов же не любят до тех пор, пока они неумехи и белоручки, а когда осваиваешься с тонкостями профессии, и при этом у тебя лучше работают мозги, больше знаний и интересов, то тебя—порой даже невольно—начинают уважать. А выпить в хорошей компании иногда можно, но я точно знаю, что ярко и достоверно написанная страница даст мне куда больше радости, чем, например, бутылка водки.

— Вы не раз говорили, что вам близка проза Пушкина и Хемингуэя. А почему именно они?

— Не только они двое, конечно. Но у них я вижу сочетание краткости и выразительности, смелость художника в раскрытии новых тем и точность в изображении глубоких переживаний. Но при этом они не стремились уходить от читателя, становиться непонятными для него. И пути, открытые каждым из них, до сих пор остаются очень перспективными.

— И какой список литературы вы бы предложили молодым родителям, воспитывающим детей десяти-двенадцати лет?

— Хорошей литературы, близкой и понятной детям, к счастью немало. Начал бы я, пожалуй, с других своих любимых авторов: Николая Носова и Отфрида Пройслера. Трилогия Носова про Незнайку—ярко раскрывает детскую и взрослую психологию, в наглядной и доступной, но отнюдь не упрощённой форме показывает, как работает и могла бы работать экономика в будущем. «Маленький Водяной», «Маленькая Баба-Яга» и «Маленькое Привидение» Пройслера—это уроки весёлого добра, когда те, кого мы всегда считали отрицательными фольклорными персонажами, осознают себя и раскрываются совсем иначе. Конечно же, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф—главную мысль этой книги о том, как мы сами делаем себя «маленькими» и как непросто вновь стать «большим», не стоит никогда забывать и взрослым. Это и увлекательный роман «Жизнь мальчишки» Роберта Маккамона. И полузабытая сейчас, но совершенно замечательная повесть «Короткое детство» Виктора Курочкина, и рассказ «Уроки французского» Валентина Распутина. Из совсем современных—отмечу повесть Артёма Ляховича «Черти лысые», целый ряд книг Юрия Нечипоренко и только что вышедший в Фонде поддержки и развития детской литературы «Надежда» (город Оренбург) сборник «Чтобы помнили…», объединивший более сорока авторов с документальными и художественными произведениями о Великой Отечественной войне, отобранными специально для детей.

— А что для подростков от тринадцати и до восемнадцати лет?

— Того же Пройслера, но уже с его романом «Крабат, или Легенды старой мельницы», причём фильм-экранизацию можно не смотреть, а вот прочитать—стоит обязательно. Ивана Ефремова с дилогией «На краю Ойкумены». Сэлинджера

и его «Над пропастью во ржи» и «Девять рассказов». Книги молодых авторов: Анны Маркиной (финалистки премии В. П. Астафьева)—«Сиррекот, или Зефировая Гора», и Евгения Рудашевского—«Здравствуй, брат мой Бзоу!», «Куда уходит кумуткан», «Ворон» и серия книг «Город Солнца».

— Что сейчас читает массовая Россия? И как сейчас, на ваш взгляд, идут дела с книгоизданием? Не знаете, сложно ли быть напечатанным?

— По моему ощущению, сколько-нибудь единой читательской «массы» сейчас просто нет как таковой. Есть много совершенно автономных страт, и у каждой свои вкусы и предпочтения. Кто-то читает только фантастику, кто-то—только детективы, узкий круг «болельщиков» следит за так называемой «премиальной» литературой. Как дела с книгоизданием?.. Ну, это с какой стороны посмотреть… Скажем, полиграфия совершенствуется, а круг авторов необыкновенно широк и разнообразен. Напечататься, то есть увидеть и порадоваться собственной книге, сейчас необыкновенно легко; в конце концов, есть же платформы, подобные Ridero, где работают со всеми. Однако найти своего читателя, добиться его любви, эмоционального и материального отклика именно сейчас бывает необыкновенно сложно.

— Что сейчас происходит с читателем? Стали меньше читать?

— Да, читать художественную литературу стали меньше. Она ощутимо сдвинулась в сторону журналистики (причём зачастую низкопробной), блогерства и стала намного ближе к сфере развлечений. Так издатели, а порой и сами писатели стремятся привлечь читательское внимание. Однако здесь вмешиваются два решающих «но»: журналисты и блогеры неизбежно реагируют на актуальные события намного быстрее, а визуальные развлечения—куда как доступнее и проще в употреблении. В итоге, ненадолго привлекая внимание к конкретной книге, такие «стратегии продвижения» чаще всего отвращают людей от самой литературы. Читатели-то ищут в книге не шум и взбитую пену, а образы, рождённые их современником, но пригодные для вечности, точно сформулированные вопросы и пути к ответам на них.

— Сейчас очень многие борются за внимание читателей. Их разрывают телевидение и интернет-пространство, и, кажется, тихо в сторонке стоят молодые писатели… Придёт ли время больших романов? И ещё: как вы думаете, почему режиссёры неохотно ставят молодых писателей?

— Мне видится, что это далеко не так; напротив, многие (к счастью, не все) молодые авторы стремятся к пиару и продвижению любой ценой, часто в ущерб творчеству. Другое дело, что за пределами конкретных тусовок многие их изощрения так и остаются незамеченными и неоценёнными. Кстати, я не уверен, что полноценное литературное высказывание—это всегда только роман. Удачный рассказ или повесть требуют не меньшего мастерства и куда большей концентрации мысли и чувства. Но время глубокого осмысления всех вызовов нашей эпохи уже приходит. Придут и театральные и кинопостановки.

— Раньше были писатели-старцы—к ним приходили за советом, очень важен был их взгляд на какую-то проблему, явление. Те же Распутин, Солженицын, Астафьев. Сейчас этого не наблюдается. Почему? Или я ошибаюсь и время писателей-провидцев не за горами?

— Нельзя дважды войти в одну реку—ничто и никогда не повторяется ни в частной жизни, ни в истории. Отчасти необычайный авторитет писателей в советский период, как мне представляется, был связан с тем, что им приходилось замещать собой религиозные и политические фигуры. Так что, помимо художественных достоинств, люди искали и часто находили в их произведениях и отсвет духовности, и важные, пусть и порою зашифрованные, политические высказывания. При глубоком и цельном взгляде авторов-мыслителей на проблемы, готовности отстаивать и не поступаться своими внутренними принципами—авторитет литераторов неизбежно возрастёт. Но едва ли это произойдёт скоро, так как сейчас куда заметнее признаки нового декаданса.

— Как повлияли соцсети на литературу? Многие модные писатели—к примеру, Цыпкин,—вышли из соцсетей.

— Честно говоря, я не вижу оснований, кроме чисто формальных, считать Цыпкина писателем—не любой человек, у которого выходят книги, автоматически становится писателем. Видимо, он хороший специалист по маркетингу и коммуникациям, но на собственно литературу уже не остаётся ни времени, ни таланта. Соцсети дали возможность прямого и максимально быстрого общения, стремительной обратной связи, это очень удобно, но по той же самой причине литература родом из соцсетей более поверхностна, легковесна и стилистически неряшлива. Точно не стоит тащить любой сиюминутный пост на страницы книги.

— Скажите, а на какого автора ставит сейчас литературная критика? Особенно в советское время было модно сказать—«надежда литературы»… Есть ли сейчас такие надежды?

— Надежды появляются с завидной регулярностью. И они у каждого критика свои, потому что практически каждый сколько-нибудь амбициозный критик бывает счастлив открыть своего

«нового Гоголя» или кого-то ещё. У меня есть свои надежды — и понятно, что все они сбыться не могут, только некоторые. Могу навскидку назвать Наталью Мелёхину, Александра Кирова, Викторию Чембарцеву, Илью Луданова, Альбину Гумерову, Марию Косовскую, Сати Овакимян. А пока лично я внимательно почитаю своих коллег — лауреатов Астафьевской премии: вполне возможно, что именно они скоро окажутся в лидерах не только молодой, но и достаточно зрелой русской литературы.

— Вы сами и критик, и прозаик. Критиков в литературе не очень любят. Если только они не восхищаются. Не обижаются ли на вас ваши коллеги по прозе?

— Дарья, всё-таки, скорее, наоборот: в первую очередь — прозаик, а потом уже критик, так я себя ощущаю, это же подтверждается и соотношением публикаций. Чаще я пишу о тех книгах, которые нахожу чем-то интересными. У меня, конечно, есть и жёсткие отрицательные рецензии, поскольку любой огород, в том числе и литературный, нужно периодически пропалывать от сорняков, но всё-таки это не главное и отнюдь не самое сложное и интересное. А если кто-то из коллег любит обижаться на заслуженную критику, то, согласитесь, это больше его личные проблемы.

— Быть критиком у нас в стране — сложное дело. Платят очень мало. Вы где-то ещё работаете? Как кормите семью?

— Да, конечно. Причём часть моих занятий в ранний период вы уже перечислили в начале разговора. А сейчас я занимаюсь в том числе редактурой, ведением литературных мастер-классов и консультациями по питанию. А ещё премии вот получаю иногда.

— Не хотели бы вы попробовать себя в других жанрах? К примеру, критика кинофильмов. Или написание сценариев к фильмам. Или драматургия.

— Да. Хочу и даже планирую в скором времени. Предложения уже поступают. А «переключение» жанров — это очень увлекательное занятие.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас параллельно работаю над сборником рассказов и эссе под рабочим названием «Двенадцать сторон света» и над документально-художественной книгой о труднических поездках на Соловки, о том, насколько тесно там переплетены времена и судьбы. Также собираю и структурирую будущую книгу критики, которая, по задумке, будет состоять из нескольких больших статей, раздела проблемных высказываний и примерно полусотни рецензий. На сегодня этот сборник готов примерно на две трети.

— Не устаёте ли вы от Москвы? Не хотелось бы вам уехать на год или два далеко, подальше от Москвы, чтобы писать?

— Иногда такое случается. Порой я даже ненадолго выезжал к друзьям за город… Как, например, однажды поздней осенью, чтобы написать рассказ о старом караиме. Дедлайн всё громче стучался ко мне в двери. Я запасся необходимой информацией о традициях, обычаях и истории этого малого народа со Средневековья до конца двадцатого века и напросился к друзьям на необитаемую в эту пору дачу в Раменском районе. Однако специально расположился там вовсе не в большом двухэтажном доме, а в крохотной летней кухоньке. Я охотно прибрался и разложил вещи из рюкзака. Затем вышел, чтобы полюбоваться закатом и надёргать свисавшего гроздьями с веток кислого винограда. Гулял по лесу. Перекопал небольшой парник. По одному разу в день звонил домой и включал старенький телевизор. Ночами, лёжа на раскладушке, прислушивался, как деловито шуршат по углам мыши. Ничего не записывал, кроме самых кратких — в несколько слов — наблюдений. Но уже предчувствовал то самое рокочущее приближение. Как будто выходишь на океанский берег — и совсем скоро тебя подхватит огромная приливная волна. И вот на третий день волна пришла и подхватила меня, как щепку. Это было что-то такое, что сложно в себя вместить. Душа целого народа будто ожила, зашевелилась и теперь проходила сквозь меня и говорила разными голосами. Хотелось переспросить то одно, то другое, но я мог только записывать, строчить, заполняя лист за листом. Боясь лишь одного — всё равно чего-то не успею. Однако через несколько часов я всё-таки поставил точку. Волна укатилась дальше, уже без меня.

— Насколько мне известно, ваша супруга тоже пишет. Как живут вместе двое коллег? Как и где вы познакомились? Обычно такие творческие союзы, если взять, к примеру, Астафьева и Марию Семёновну или Льва Толстого с Софьей Андреевной, приводят к тому, то кто-то становится в творчестве главным, а второй начинает подчиняться ему… помогает вести переписку…

— Мы с Любой познакомились во дворе Литинститута — поступали на один и тот же курс, только в разные семинары: я — на прозу, она — на поэзию. Спустя несколько лет у нас завязались более близкие отношения, которые привели не только к душевному согласию, но и к брачному союзу. Конечно же, мы оба остались самостоятельными творческими личностями, может быть, с немного разным уровнем литературных амбиций. Выручаем друг друга, когда это нужно, но свои переписки обычно ведём самостоятельно…

— Вернёмся к Виктору Астафьеву. «С каким удовольствием с самого детства я читал его, начиная с „Затесей“, „Васюткина озера“ и „Коня с розовой гривой“! А ещё обязательно слушал, как он читал отрывки из своих книг на радио — его манеру и голос было невозможно ни с кем перепутать и так же невозможно было оторваться до самого финала. „Царь-рыба“, „Где-то гремит война“, „Пастух и пастушка“, „Пролётный гусь“ — какой мощный и необъятный языковой простор в каждом из них!» — так вы написали на своей странице в «Фейсбуке». На ваш взгляд — почему многие говорят, что Астафьев тяжёлый, что читать его тяжело? Я, как журналист, встречаю такие мнения у студентов и даже учителей!

— Возможно, речь идёт о разных периодах творчества Виктора Петровича. В его поздних произведениях, таких как «Прокляты и убиты», в самом деле преобладают тяжёлые чувства. Там он стремится докопаться до самой страшной правды и ткнуть читателя в неё лицом. Но в итоге писатель нередко экстраполирует частное на всю эпоху и даже на всю человеческую природу. На склоне лет у великого художника слова Астафьева осталось меньше света. Но в более ранних повестях и рассказах любовь и сопереживание уравновешивают боль, и это необыкновенно важно.

— Скажите, пожалуйста, какие ваши любимые произведения Астафьева? И чем они для вас важны?

— Повести «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка» и его ностальгическая эпопея «Последний поклон». В первых на полном ходу сталкиваются ранняя юность и страшное военное время, полное невозвратных потерь. «Последний поклон» — необычайное богатство языка и характеров, ушедшая деревенская Атлантида, которая всё равно остаётся с нами благодаря огромному таланту Виктора Петровича.

— Хотели бы вы приехать на родину Астафьева вновь или в первый раз? И почему?

— Да, конечно. Я уже бывал в Красноярске, но пока что ни разу не был в Овсянке — надо обязательно восполнить этот пробел. Это важнейшее место, и моя «внутренняя Россия» без него всё-таки неполна.

ДиН проза

Александр Евсюков

На корейской границе

(фрагмент)

— Слушай, — говорила ему бабушка шёпотом, — как снег идёт…

Веня жмурил узкие глаза и, засунув пальцы под шапку, как мог оттопыривал свои круглые уши. Было очень тихо. Только в глубине дома, за двумя дверями, утробно гудел холодильник. Легонько щекоча запястья пухом, колыхались повисшие варежки. А резинка, пришитая к ним, напряжённо вытянулась по спине. Чувствуя ожидающий бабушкин взгляд, Веня сглотнул и задержал дыхание… Тонкий электрический треск сопровождал шаги. Такие вкрадчивые, мягче кошачьих.

— Слышу-у-у, — распахнув глаза, восторженно закивал Веня. — Снег пришёл!

Бабушка облегчённо улыбнулась и, выудив «беломорину» из кармана фартука, сладко затянулась через мундштук. Иногда она вдруг забывалась и курила при внуке. Бабушка пристрастилась к крепким папиросам с молодых лет, но стыдилась этой напасти и, как могла, её ото всех скрывала. Веня думал, что это напрасно — курила она изящно, как в кино, плавными взмахами ладони отводя дым в сторону от него, — но никому бабушку не сдавал.

Она поправила ему шарф, сама натянула варежки, убедилась, что внук не забыл ничего нужного.

— Ну, всё. Дуй, пока светло.

Веня поднял руки и, крепко обхватив её поясницу, блаженно замер на несколько секунд.

Потом развернулся и сбежал вниз по скрипящим ступеням.

Дарья Мосунова, Андрей Антипин

Люблю людей естественного течения мысли

Двадцать девятого ноября, в день памяти Виктора Астафьева, в Красноярске объявили лауреатов Всероссийской премии имени великого русского писателя. Победителем в номинации «Проза» стал иркутянин Андрей Антипин. О том, как воспринял эту новость, об отношении к знаменитым сибирякам Астафьеву и Распутину, о любимом авторе и своей жизни в посёлке на берегу Лены, а также о многом другом он рассказал в интервью, которое предлагается вниманию читателей.

— После школы вы поступили учиться на факультет биологии и охотоведения Иркутской сельскохозяйственной академии, а не на филфак, который в итоге окончили. Что определило первоначальный выбор, и почему всё-таки стали филологом?

— О существовании такой науки, как филология, в школьные годы не знал. Но в любом случае рванул бы в охотоведы, потому что примерно с седьмого класса мечтал стать государственным инспектором в сфере охраны природы. Стать словесником — такой мечты не было. Можно сказать, выбрал филфак от безысходности, потому что охотоведа из меня не получилось — вынужден был покинуть факультет, проучившись полгода…

— И почему?

— На то были свои причины. Не хотелось бы распространяться. Могу лишь сказать, что, когда спустя несколько лет в Иркутской сельхозакадемии прошли чистки на предмет коррумпированности преподавательского состава и всевозможного начальства и по местному тв были показаны кадры задержания известной мне особы, выполнявшей роль связного, я почувствовал пусть запоздалое, но удовлетворение. Справедливость восторжествовала. Правда, прежде я похоронил юношескую мечту.

— Заочно учились на филфаке, теперь вы профессиональный филолог. Помогло это вам в писательстве? Или это скорее для общего образования? Легко ли давалась учёба? Вы ведь ещё и работали… Словом, как справлялись?

— Факультет филологии предпочёл, потому что из всех доступных в Иркутске он более всего отвечал моим писательским амбициям, которые к тому моменту дали знать о себе со всей определённостью. Жил бы в Москве или имел соответствующую возможность — подал бы документы в Литинститут.

Впрочем, на писателя, как принято считать, не учат. Вот и филфак если чем-то и помог мне, то в плане общего теоретического знания о русском языке и русской литературе. Практические навыки приобретал сам.

Учился заочно, работая сторожем в Доме культуры родного посёлка. Понятное дело, вопрос о том, насколько трудно совмещать работу с учёбой, никогда не стоял.

Учился хорошо, игнорируя неинтересное или противное моему сердцу и с увлечением отдаваясь тому, что находило отклик в душе. Для примера: зарубежную литературу недолюбливал — за атеизм и практицизм как две основные мировоззренческие доминанты в западной культуре. Поэтому за пятёрками по этому предмету не гонялся; в дипломе, если не ошибаюсь, напротив графы «Зарубежная литература» значится «удовлетворительно». А вот русская классика была моей Родиной…

— Интересно, какие писатели были вашими любимыми до поступления в вуз и какие — после? Как вообще изменились ваши вкусы? Или не изменились?

— Любимым писателем для меня всегда был Иван Бунин. Факультет не отвратил меня от этого имени, и на том спасибо. А вообще мои «вкусы» за время учёбы на филфаке, безусловно, развились. Но развитие шло скорее на углубление, чем на расширение. Нет, я, конечно, узнал много нового, открыл для себя ранее неизвестные мне персоналии, вообще поднаторел в некой необходимой для писателя культурной географии. Но сейчас так сразу не вспомню, в кого, в какого конкретно поэта или прозаика филфак «влюбил» меня так, чтобы эта любовь жила в моём сердце до сих пор. Я пришёл в университет со своими большими и малыми любовями, с ними и отправился в большую жизнь.

— Ваша мама — библиотекарь. Это, наверное, она привила вкус к чтению? Что посоветуете читать детям — можно прямо список — и почему?

— Мама, безусловно, воспитала во мне любовь к книгам. В раннем детстве мама читала мне русские народные сказки, что-то из классики, в основном стихи. Имён, к сожалению, почти не помню, был слишком мал. Вразброс: Пушкин, Ершов, Андерсен, Бажов, Агния Барто, Михалков… Из того, что осело в памяти, когда я стал старше, могу назвать «Эмиля из Лённеберги» Астрид Линдгрен, её же «Малыша и Карлсона» в переводе Лунгиной (научившись читать, зачитал эту книгу в хлам), книги об индейцах, о первобытных людях. Сам уже читал — по маминому наставлению — любимейшего Эрнеста Сетона-Томпсона («Маленькие дикари»), «Робинзона Крузо» Дефо, культовые повести Аркадия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица», сибирского детского писателя Геннадия Михасенко — повести «Кандаурские мальчишки», «Неугомонные бездельники», «Я дружу с Бабой-Ягой»… Из появившегося в девяностые помню «Приключения Печенюшкина», мне подарили эту книгу на день рождения (тогда ещё дарили книги!). Астафьевское «Васюткино озеро» — тоже из детства, но это уже школьная хрестоматия. Книг было много. Назвал те, что вспомнил сразу, не напрягая памяти.

Но советовать наверняка могу только русские сказки и сказки великих писателей мира (того же Андерсена), русскую и мировую детскую классику. Обязательно — стихи!

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Всё, всё настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти — дави не дави,
В которых так много и злобы, и боли,
В которых так много любви!

«Буря мглою небо кроет…», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Несжатая полоска» того же Некрасова, есенинская «Берёза» — как без этого можно жить? Зачем вообще появляться на свет, если над вашей кроваткой не прозвучат эти волшебные слова? Это — обворованное детство, печальная участь духовного кастрата.

А почему сказки и классику — понять очень просто. Достаточно почитать современные псевдохудожественные поделки, адресованные детям, посмотреть мультики с фиолетовыми уродами в качестве главных действующих лиц, полистать детские комиксы, вызывающие в памяти триллеры Хичкока, как желание вернуться к старым добрым книгам придёт само.

— С каких лет вы начали писать? И как отреагировали близкие?

— Писать начал рано. Точку отсчёта не назову, поскольку трудно определить, что есть начало и правильно ли в качестве такового полагать собственно процесс записывания своих мыслей на некий носитель, будь то тетрадь или забор. Писателем становятся раньше, и этот дописьменный, подсознательный период, вероятно, и следует считать стартом.

От близких скрывал, хотя все знали о моих блокнотиках, которые я старательно прятал. Боялся любопытства, почти так же как боюсь его сейчас, предвидя некоторые вопросы.

— Как вообще относятся в вашем посёлке к вашему творчеству? В курсе, что рядом живёт человек не совсем обычной судьбы?

— Разговоров о своих сочинениях ни с кем из поселковых не веду, все возникающие либо блокирую, либо стараюсь дистанцироваться односложностью ответов. Надо отдать должное землякам: они особо не любопытствуют, к писательству моему относятся терпимо, разница между равнодушием и приязнью не столь велика.

— Все писатели, которые живут вне столицы, нервничают оттого, что далеки от литературных встреч, от людей творческих. Нет желания переехать в Москву? Или ещё не созрели?

— Это заблуждение — думать, что все провинциалы нервничают и днём с огнём, а ночью с лучиной ищут «литературных встреч». Я не нервничаю, не ищу. В моём посёлке не было ни одного знакомого мне писателя и — пока я волен распоряжаться этим — не будет. Это к вопросу о том, обуревает ли меня «желание» переехать в столицу и сколь сильна во мне жажда общения с «людьми творческими». Знаю одно: моя изолированность лишь во спасение мне. Остальное не главное, а может быть, даже лишнее.

Для меня гораздо дороже общение с деревенским стариком или старухой, с женщиной или ребёнком, с рыбаками и охотниками. Вообще, люблю людей естественного течения мысли. Они не обременены необходимостью «подмечать», «фиксировать», «творить», лезть к тебе в душу за-ради художественной корысти. И мне с ними легко, отдохновенно. Душа светла.

— Судя по всему, вы не любите город. Почему?

— Я нигде не писал о своей нелюбви к городу. Вопрос поставлен некорректно. Потом, неприязнь

к городу со стороны деревенского жителя, к тому же если он писатель,—тема устаревшая, нежизнеспособная и, с моей точки зрения, вульгарная.

Зачем сталкивать лбами город и деревню? Там и там живут люди. Там и там они страдают, любят, болеют, бывают счастливы, грустят, смеются, лишаются чего-то крайне дорогого для себя или, наоборот, сами отдают за бесценок, в свой срок—рождаются или рождают, а в отведённый час умирают либо провожают в последний путь.

Дело не в местожительстве, по большому счёту. Все мы ходим под одним небом.

—Над чем вы сейчас работаете? Хотели бы написать пьесу или сценарий для фильма?

—О работе своей предпочитаю не распространяться. Только если есть повод. А он для меня один—публикация. Всё, что этому предшествует,— внутриутробный период в жизни произведения. Интерес к этому периоду считаю патологичным.

Пьесу когда-то хотел написать, но не обнаружил в себе таких способностей. Строчить сценарии для телесериалов на тему современной деревни предлагали, когда я учился на филфаке и уже публиковался как прозаик. Отказался из эстетических соображений: слишком уж отвратным показалось мне «мыло», которое прислали из сценарного отдела одного федерального телеканала, дабы я, так сказать, учёл и проникся. Судя по тому, какого качества кинопродукция заполонила экраны, все эти отвергнутые мной душещипательные истории о милых бурёнках, зелёной травке и прекрасной девице с бидоном впоследствии были экранизированы. Вот такая «Доярка из Хацапетовки».

—Не мешают ли вам поездки? Я знаю, что вы с Тарковским и Василием Авченко собираетесь в Магадан—встречаться с читателями.

—В поездках бываю редко. Поскольку пишу, к сожалению, не чаще, одно другому не помеха.

—Кем и где вы сейчас работаете? Кроме литературы, что́ приносит деньги? И когда получается писать?

—Литература никогда особых денег не приносила, скорее выносила. В разное время приходилось работать сторожем, корреспондентом городской газеты. Но в основном кормился сельским трудом, занимался рыбалкой и охотой.

Отвечая на вопрос о том, когда получается писать, в моём случае нужно говорить не столько о дефиците времени, сколько о недостатке мотивации. При том, что времени на писанину действительно с гулькин нос. Быт деревенского писателя в этом смысле если и рождает идиллические картинки, так только в сознании тех, кто в деревне никогда не жил. Точнее, не жил типично деревенской жизнью. А то ведь история русской литературы знавала и таких любителей пасторали, кто в перерывах между литературной работой тешил самолюбие «хождениями в народ», кладкой печей в мужичьих избах и всяческим другим «опрощением». Говорю это при всём моём глубочайшем почтении к художественному гению Льва Николаевича. Хотя не могу не заметить, что, если бы обстоятельства жизни этого великого писателя складывались в обратной последовательности и на литературный труд выкраивалось бы столько же времени, сколько на печные работы, вряд ли бы в русской литературе вознеслась эта вершина.

К слову, и нынче тьма «дачников» из числа писательских секретарей и прочих прихлебателей. Этим сезонная жизнь в деревне, конечно, только во благо. Знай пиши с утра до вечера, что твой барин. Другого они всё равно не умеют.

—Что вы сами выделяете из прозы Астафьева и к чему возвращаетесь?

—Люблю многое, в разное время перечитываю что-то требующееся в конкретную пору жизни. Особенно ценю рассказ «Пролётный гусь». В нём качество прозы и её деятельная сила явлены в той исключительности, которая представляется мне признаком если не совершенства, то чего-то близкого к нему.

—Кое-кто утверждает, что вы—продолжатель художественных традиций Валентина Распутина. Как вы сами полагаете? «Ваш» Распутин? Может быть, расскажете о личных встречах, если, конечно, таковые были?

—Подтверждать или опровергать факт наследования считаю для себя невозможным. Пусть в этом разбираются другие. Могу только уверить: ни одной строчки я не написал для того, чтобы понравиться ещё здравствовавшему тогда Валентину Григорьевичу. Никогда не старался попасться на глаза, полюбиться, набиться в ученики, не говоря уж о том, чтобы выставить себя «наследником», «продолжателем традиции» и прочее. Это придумали те, кому вообще не чуждо скудомыслие. Ведь всегда проще выстрелить кому-нибудь в спину присоской с привязанной ниткой, чем назвать возникшее явление единственно верными для него словами, избегая сравнений, уподоблений и всего того, что, конечно, вводит это явление в некий культурный контекст, но при этом скорее удаляет от истины, чем приближает к ней.

«Мой» Распутин—«Уроки французского», «В ту же землю», «Нежданно-негаданно», «В непогоду». Второй из списка, наряду с помянутым рассказом Астафьева «Пролётный гусь», считаю венцом малой русской прозы конца двадцатого века. Для меня это драгоценные и, увы, недостижимые образцы, которые я всегда держу перед глазами.

Личных встреч с писателем, по сути, не было, хотя несколько раз видел его. В последний — в Знаменском соборе Иркутска, где Валентина Григорьевича отпевали.

Нас знакомили. Поспособствовал этому иркутский журналист и заядлый книгочей Константин Яковлевич Житов. Это было в сентябре две тысячи одиннадцатого года в фойе иркутской филармонии, перед концертом Евгении Смольяниновой, которую Валентин Григорьевич пригласил выступить в рамках празднования «Дней русской духовности и культуры „Сияние России“». Распутин шёл через зал большими шагами. Так ходят люди, которые хотели бы от всех скрыться, стать незаметными, сесть где-нибудь в углу, лишь бы их не видели, не лезли к ним с высокими словами, тем паче с просьбами дать автограф или встать рядышком для общего фото. Житов, человек вообще бесцеремонный, к тому же добрый приятель Распутина, окликнул его. Распутин приостановился. В ответ на рекомендацию, выданную в отношении меня Житовым, Валентин Григорьевич без всякой эмоции на лице протянул мне руку, сказал: «Извините, мне надо идти!» — и пошёл дальше, ткнулся в одну, потом в другую дверь. Я понял, что он искал ту, за которой ждала выхода на сцену Смольянинова.

Так получилось, что живым писателя я больше не видел.

— Как этот год пандемии сказался на вас? Что-то изменилось в вашей жизни? Может, что-то переосмыслили? Как вы сами ко всему этому относитесь?

— Страшно за больных и пожилых в первую очередь. За всех — переживаю. Всем желаю здоровья. Сам весеннюю волну пересидел в деревне, которая в эти дни будто вымерла, ни одной души на улице. Готовил к изданию сборник повестей и рассказов. Пять лет назад в посёлке появился высокоскоростной Интернет, и такая дистанционная работа, слава Богу, стала возможной. Согласовали текст, сверстали, оформили. Осталось найти средства и напечатать.

— И последнее. Хоть вы сравнительно молоды (кстати, не скажешь по вашей прозе: кажется, её пишет человек намного старше вас), ваши мечты… О чём они? Чего вы ждёте от жизни?

— Очень личный вопрос. Врать не хочу, говорить расхожие слова — тем более. Пусть Господь распорядится мной так, как это записано в Его тетрадях.

БСР

Андрей Антипин

Из книги миниатюр «Живые листья»

Окно

Мама собралась мыть окно и уже занесла и поставила на табуретку тазик с водой, пенно-синей от специального моющего средства, а сама ушла за чистыми тряпочками. Я отогнул гвозди и толкнул раму в палисадник, пошатнув запылённые стекла. В комнате запахло лежалыми листьями и стало слышно, как на ветках рябины колеблются те последние, что еще не опали. И вдруг стало понятно, почему старые люди мало спят, рано встают и какая невозможная сыновья боль в первой седине моей мамы! И как только обо всём этом подумал, так сразу почти физически почувствовал, что с этим грустным прозрением и сам постарел на много лет вперёд, на много шагов приблизился к своему краю и уже сейчас, из этого по-своему единственного утра ранней осени, совершенно явственно, как вот это раскрытое окно, увидел этот край, и то, что за ним, тоже на свою беду увидел.

Косынка и огурцы

В осеннем лесу — листья и перья рябчиков. И стихи:

От старого охотника — тропа
Останется…

Ничего жизнеутверждающего. Листья — падают. Перья — осыпаются после выстрела. Стихи — сочиняются вслух, в воздух, а стало быть, исходят сразу в небо, может быть — к Нему.

Только — до слёз желание: собирать всей семьёй грибы в погожий день ранней осени, где-нибудь в старом светлом осиннике. Чтобы — груздей под сухой листвой полно! И собака чтобы, бегущая с лаем через лес. А в обед котелок с горячим чаем, колбаса на дымном прутике и хлеб с последними домашними огурцами — на развязанной косынке…

Никогда так не было и, наверное, не будет.

А ведь просто всё! Боже, как просто жить! Только лес, только грибы, только пёс, косынка и огурцы.

И стихов — не надо…

Дарья Мосунова, Екатерина Щерба

Не люблю писать о войне

Интервью с маленькой писательницей, лауреатом премии Астафьева. Кстати, хотим заметить, что рукопись Екатерины была отправлена на конкурс библиотекой-филиалом №4 ГУ ЛНР «Центральная библиотека города Алчевска» (заведующая библиотекой-филиалом №4 Тамара Анатольевна Журавлёва). Катя—активная читательница. И именно библиотека посылает её работы на различные конкурсы. Вопросы задавала Дарья Мосунова.

— Когда вы написали первый рассказ? Помните его?

— Мой первый рассказ—«Дневник кота». В школе нам задали проект, а я придумала сделать журнал о кошках. А потом я решила в конце журнала написать дневник кота—смешной рассказ от лица моего питомца Кузи. В нём почти все истории происходили в реальности, но я описала их шутливо, поэтому рассказ оказался смешным и интересным.

— Как отнеслись родители, школьники?

— Родители отнеслись хорошо, поддерживали, особенно мама. Поэтому она возит меня за сорок километров в другой город, в литературную студию. А вот моим одноклассникам было всё равно, чем я занимаюсь, но когда я сменила школу—новый класс меня поддерживает.

— Знают ли школьники, что вы пишете прозу?

— Да, в школе знают, что я пишу рассказы, и я читала им свои произведения.

— О чём вы мечтаете?

— Материально—я хочу фотокамеру, так как я веду блог о другом своём питомце—собаке. А если для души—пожать руку Владимиру Владимировичу Путину и дать почитать ему свои рассказы, а также поехать в «Сириус»—образовательный центр в России, а через два года поступить на сценариста в Питере.

— Вы бы хотели жить в Серебряном или Золотом веке поэзии?

— Нет, мне нравится двадцать первый век.

— Кто ваш кумир в прозе?

— Из классиков—Лермонтов и Паустовский. Из новых писателей—Наталья Щерба.

— Где вы берёте настроение, вдохновение?

— Настроение—от погоды, когда идёт дождь, от моего окружения, эмоций. Вдохновение—после просмотренного фильма, прочитанной книги, но больше всего—от прослушанной музыки.

— Какие ваши любимые места? Расскажите о них.

— Мне больше всего понравился Питер с его дождями, архитектурой, спокойствием. Также одно из любимых мест—Батуми, с красивыми горами, тёплым морем. Но самое любимое—мой дом, где тепло и пахнет вкусным чаем и выпечкой.

— Читали ли вы Астафьева? Какое произведение полюбили и почему?

— Читала, понравился «Конь с розовой гривой».

— Расскажите о своей семье. Как и кто вас воспитывал?

— У меня брат, мама и папа, а ещё к нам часто приезжает бабушка. А ещё я считаю частью моей семьи крёстную тётю Лену, которая для меня много значит, и моих питомцев—кота и собаку. Воспитывали родители и бабушка с дедушкой. С дедушкой я проводила очень много времени, и ему я очень благодарна. Дедушка мне очень много читал, и очень жаль, что его не стало шесть лет назад и он не увидел, чего я уже добилась в литературе. Поэтому эту очень значимую победу я бы хотела посвятить ему.

— Расскажите о своём наставнике.

— Моего наставника зовут Сергей Никифорович Зарвовский. Он руководитель моей литературной студии «Росчерк пера» города Луганска и очень хороший человек.

— Как вам живётся в такое сложное время, ведь Луганск был в зоне войны?

— Во время военных действий я с мамой и братом уезжала из города, но у бабушки каждый день взрывались снаряды, и я очень за неё переживала. Поэтому я не люблю писать о войне.

— Как и что изменилось у вас в эпоху коронавируса?

— Для меня карантин — самое тяжёлое время, бесконечные дни, словно в тумане.

— Хотели бы вы заниматься только прозой?

— У меня есть ещё другие хобби, особенно рисование и фотографирование, ведение блога.

— Несколько советов тем, кто хочет писать прозу и боится это делать?

— Главное — не бояться и верить в себя. Но мне самой иногда этого не хватает.

— Пробовали ли вы писать в других жанрах?

— Да, я пробовала писать ужасы и про любовь, но для меня это сложно. Самым моим любимым жанром по-прежнему остаётся фэнтези. Благодарю за интервью и высокую оценку моего творчества. Для меня очень приятно и почётно получить такую премию.

(1935–2020)

Виктор Аференко

Светлый город

Кто я?

У речки, что зовут Подъёмной,
Стою на маленьком мосту.
Вдаль, за границу окоёма,
Спешит шоссе в райцентр, в Мурту.

В траве петляющая речка,
Каких в России миллион…
Нет, не случайностью беспечной,
А зовом предков, зовом вечным
Сюда я нынче приглашён.
Прими, родная, мой поклон!

Твои роскошные долины
Веками заселял народ,
Кетоязычные арины
Текли сюда — из рода в род.

С холма высокого мой пращур,
Пришпорив рыжего коня,
Как коршун, рядом с ним парящий,
Вдали высматривал меня.

Оттуда, где светило скрылось,
В назначенный богами срок
Славянка птицей белокрылой
Взлетит встречь Солнцу, на восток.

Прозрения степного сына
Воплощены через века
В союзе дочери арина
И сына чудо-казака.

И вот я, их прямой потомок,
Стою на узеньком мосту
У речки, что зовут Подъёмной,
У тракта, что ведёт в Мурту.

Железногорску

Много лет мы с тобою вместе,
Светлый город, россыпь дворцов.
Не хочу румянами лести
Я украсить твоё лицо.

Вечно юным румян не надо.
Удивляют издалека
Меловые твои фасады,
Ожерелье твоё — тайга.

Удивляют масштабы роста.
Часто кажется: на ветру
Парни в робах играют просто
В созидательную игру.

Я встречаю их, скромных внешне,
В фуфайчонках солдатских и без,
Преимущественно нездешних,
Из далёких и южных мест.

Благодарен вам, парни с юга,
За творения ваших рук,
Что в Сибири, где снег и вьюга,
Для меня вы создали юг.

Я обязан не бестолково
За добро отплатить добром —
Страстью сердца и силой слова,
Верным действием и пером.

По проспекту Энтузиастов
Рано утром бегу трусцой.
Говорю, улыбаясь: «Здравствуй,
Светлый город — россыпь дворцов!»

Надежда Дробышевская

Протоиерей Максим Золотухин. Ищущий да обрящет…

Ищите, и обрящете; стучите, и отворят вам…
Евангелие от Матфея (гл. 7)

Протоиерей Максим Золотухин

Город Красноярск, в который меня привело желание пообщаться с ещё одним батюшкой, встретил меня лёгким по местным меркам морозцем (минус двадцать два) и необычного цвета небом.

Созвонившись с протоиереем Максимом Золотухиным (так зовут моего будущего собеседника), сначала немного огорчилась, что наша встреча переносится на следующий день, но потом даже обрадовалась.

Дело в том, что, несмотря на то, что я уже не раз бывала в Красноярске, посмотреть его достопримечательности мне так и не удалось, и я была рада случаю, помогшему мне восполнить этот пробел…

На следующий день, подъехав немного раньше назначенного времени к храму Новомучеников и Исповедников Российских, настоятелем которого и был отец Максим, была поражена красотой и величием того места, где он был размещён.

Храм, стоя на высоком холме, словно свысока «лицезрел» холодные и неприступные воды Енисея, глядя на которые, ощущаешь мощь и силу этой реки до мурашек по коже. Колокольня, слегка выступающая над храмовыми куполами, своей высотой дополняла эту красоту, словно подчёркивая величие храма.

По всему было видно, что построен он совсем недавно, более того — многое ещё было недоделано, о чём свидетельствовала заколоченная досками входная дверь, вернее, не дверь, коей ещё не было, а вход в храм.

Один из рабочих любезно проводил меня в цокольный этаж храма, где в это время проходила служба…

За открывшейся дверью я увидела большую, просторную комнату, войдя в которую, была немного удивлена, так как вместо привычного храмового убранства увидела сооружённый вручную алтарь и несколько икон, размещённых на совершенно пустых стенах.

Было тихо и пусто, и только из алтаря слышалось тихое молитвенное пение…

Присмотревшись, я увидела в углу одинокого мужчину, который, низко склонив голову и часто крестясь, шептал слова молитвы… Тихонько, чтобы не побеспокоить его, я обошла всю комнату, как я потом поняла, временно заменяющую храм, прикоснулась к святыням, коих здесь оказалось немало, а затем так же тихо села на одну из скамеек, стоящих вдоль стены, и стала ждать, мысленно представляя себе своего будущего собеседника…

Как я ни пыталась представить отца Максима, но при его появлении поняла, что созданный в моём воображении образ был совершенно противоположен тому человеку, который размашистой походкой шёл прямо на меня.

На вид ему было лет сорок. Его хорошо сложённую фигуру и высокий рост подчёркивала длинная чёрная ряса. Он выглядел настолько «по-светски», что, встретив его на улице без рясы, я вряд ли бы подумала, что это священник…

— Вы простите, — поздоровавшись, сказал он, — я только закончу службу и буду в полном вашем распоряжении.

И, развернувшись, таким же размашистым шагом проследовал обратно в алтарь…

— К сожалению, я очень поздно понял, что для меня служение Богу и есть то, к чему я стремился всю свою жизнь, — освободившись от своих дел

и устроившись на скамейке напротив меня, начал он свой рассказ.—С самого детства моим желанием было помогать людям, делать для них что-то хорошее, но чтобы стать священником, как-то в голову не приходило. Может, время было такое, а может, что-то иное не допускало до меня этой мысли…

Максим Золотухин родился двенадцатого апреля 1973 года в городе Кемерово. Его воспоминания о детстве связаны с «запахом лекарств, которыми всегда пахло от мамы». Отец же, будучи по профессии инженером, работал в разных местах, «всю жизнь пытаясь найти своё место в жизни».

Так и Максим, окончив школу и «мечтая спасти мир», начинает свои «поиски места в жизни»…

— Ещё когда я был совсем маленьким, помню, как моя прабабушка усердно молилась, и не просто молилась, а совершала богослужения и даже участвовала в таинстве крещения…

Для маленького Максима это было необыкновенным чудом, которое он наблюдал из своей кроватки, стоящей у тёплой печки. И тогда же, засыпая под молитвенное песнопение своей прабабушки, ещё не понимая значения произносимых прабабушкой слов, ощущал невероятное блаженство и покой…

И потом, выбрав своей профессией музыку и пение, он всё время будет стремиться к тому, чтобы снова ощутить такое же блаженство и такой же душевный покой…

Но даже к музыке Максим пришёл не сразу… Сначала был институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники в городе Томске и работа в Томском проектном институте.

Однако, несмотря на интересную работу, чувство неудовлетворённости собой и своими делами постоянно преследовало его. Он всё время вспоминал свою прабабушку и её «дивное песнопение». И в один из таких «дней-воспоминаний» к нему приходит решение попробовать свои силы в пении.

Максим подаёт документы, поступает и с успехом заканчивает музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске, а затем сразу же поступает в Красноярский институт искусств по классу сольного оперного пения.

Действительно, музыка порой творит с нами чудеса, и, конечно же, стремление Максима «нести с музыкой и пением свет» было вполне понятно и объяснимо.

Он и исполнял сольные оперные арии, и пел в театральном хоре, а многие даже пророчили ему неплохое будущее, во что он вскоре поверил и сам. И тогда Максим решил для себя, что, став знаменитым, он сможет «со сцены через музыку нести людям добро, учить состраданию, любви и человечности».

Однако жизнь оказалась намного сложнее всего того, что представлял себе Максим, и даже то, что

Протоиерей Максим Золотухин с детьми после службы (2018)

он ожидал получить от занятия музыкой и пением, оказалось практически невозможным…

И снова бесконечные поиски себя и своего места в жизни…

Чуть раньше, когда Максиму было лет двадцать пять и он ещё жил в Кемерово, тогда, теряя «последние проблески надежды воплотить в жизнь свою детскую мечту о спасении мира», он решается зайти в храм, надеясь там услышать совет местного батюшки—отца Петра. В ту пору храм ещё строился, и службы проходили в холодном ангаре, стоящем неподалёку. Максима тогда даже немного испугали эта неуютная атмосфера и холод, который царил во временном храме, но потом, увидев добродушную улыбку отца Петра, он успокоился и даже откровенно поведал ему о своих сомнениях и жизненных поисках. Батюшка, по-отечески приняв его и внимательно выслушав, предложил ему исповедаться…

Первая исповедь…

— Когда я прошёл через это таинство,—вспоминает отец Максим,—помимо массы новых чувств, всколыхнувших меня изнутри, появилось одно, перекрывшее все остальные,—это чувство некоего облегчения и душевной чистоты, словно ты сбросил с себя тяжелейшую ношу, долгие годы давившую тебя как снаружи, так и изнутри…

И с этим, совершенно новым для него чувством к Максиму пришло понимание того, что в этой жизни что-то нужно кардинально менять. Но что и как—ни понимания, ни даже представления об этом пока ещё не было. Однако было огромное желание «ещё и ещё раз ощутить чувство лёгкости», которое он испытал после своей первой исповеди и причастия…

— Именно тогда я впервые отчётливо осознал, что всё это время просто попусту себя растрачивал… И именно тогда понял, что надо идти к Богу… И, чтобы укрепить это новое для меня чувство, я стал ходить на исповедь… А однажды, уже понимая, что нашёл свой путь, я ещё раз, как

Храм Новомучеников и Исповедников Российских

бы окончательно, решил проверить свои чувства... Это уже было в Красноярске... Я пришёл на исповедь в храм... Там был такой молодой батюшка, что я сначала подумал уйти... Подумал: ну что это за батюшка — без бороды, без усов?.. Но потом всё же решился... И после причастия уже знал для себя точно: храм и всё, что в нём происходит, настолько близки мне и моим мироощущениям, что иного и желать не могу...

К тому времени, когда он пришёл в храм Николая Чудотворца, чтобы остаться там навсегда, он уже на многое смотрел совсем иными глазами... И это уже была не детская мечта «о спасении мира», а осознанно принятое им решение «помогать людям через молитвы»... В ту пору ему был тридцать один год...

Храм Николая Чудотворца был построен в память о жертвах политических репрессий и располагался на правом берегу Красноярска, на том самом причале, откуда когда-то в далёкую ссылку отправляли репрессированных. Настоятелем храма, когда туда пришёл отец Максим, был отец Фёдор Васильев. Он принял Максима радушно. Сначала дал ему послушание на различных хозяйственных работах, затем, видя его усердие и покладистость, разрешил ему пономарить...

Так закончились поиски «места в жизни» Максима Золотухина и началась его новая жизнь, в которой были и свои радости, и горести, да и проблем хватало, только восприятие всего происходящего было уже совсем иное...

— Когда я начал своё служение в храме, я ни одной секунды не усомнился в своём решении... Я понял, что только здесь я смогу поддержать людей во всех их горестях, помочь избавиться от скорбей, смогу как-то утешить и дать надежду... Ведь только здесь, в храме, человек может усмирить свою гордыню, коей мы все так переполнены... И то, что я почувствовал и ощутил в храме, оказалось именно тем, к чему я шёл все свои тридцать лет... Я наконец нашёл свой дом...

В 2011 году Максим Золотухин был рукоположен (хиротонисан) во священнослужителя.

За годы, прошедшие со дня хиротонии, отец Максим успел окончить Московский Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, стал настоятелем храма Великомучеников и Исповедников Российских, расположенного в Академгородке города Красноярска, строительство которого ему ещё предстоит завершить. Он одним из первых в Красноярском крае стал преподавать в школах, не только читая лекции по православию, но и каждым своим словом поддерживая и укрепляя несформировавшуюся психику молодых ребят.

— Я с удовольствием прихожу в школу. Я рассказываю ученикам не только истории храмов, жизни святых старцев, но и совершаю вместе с ними интерактивные путешествия по разным интересным местам мира, куда многим из них, может, и не суждено будет попасть... И самое главное — им всё это интересно...

И сегодня отец Максим, живя в счастливом браке со своею матушкой Наталией и имея двух прекрасных детей — Машеньку и Ванечку, радуется тому, что провидение и промысел Божий привели его именно к тому, кто он есть и что имеет сегодня...

— Я радуюсь тому, что могу делать для людей что-то хорошее, может, и не спасти весь мир, как я мечтал в детстве, но спасти души своих прихожан, за которых я несу ответственность перед Богом...Я помогаю им очиститься от тягот их грехов, которые давят порой так сильно, что, не освободившись от них, человек может и тяжело заболеть... И я буду делать это, пока меня не покинут силы... Это и есть то, к чему я так долго шёл...

Как всегда, прощаясь со своим очередным собеседником, испытываю чувство радости и сожаления одновременно. Чувство радости от встречи с человеком чистых и светлых помыслов, а огорчение — что эта встреча была столь короткой...

Но эта встреча ещё раз убедила меня в том, что «дорога к Богу» действительно «у каждого своя», но при этом всех объединяет одно — желание приносить пользу людям... И это желание у отца Максима столь велико, что всё, что он делает и что ему ещё предстоит сделать, он не просто осилит, а пойдёт дальше, неся в своей душе тот Свет, к которому он так долго шёл и которым он так щедро делится с окружающими...

А ещё я на всю жизнь запомню подарок, который на прощанье мне «преподнёс» отец Максим, — возможность подняться на колокольню. Мало того что я смогла увидеть с её высоты красоту и величие храма, города Красноярска, Енисея, столь близко услышать звон колоколов, но и получила благословение самой принять участие в таинстве под названием «колокольный перезвон». И это невероятное ощущение счастья останется со мной навсегда...

к 75-летию

Владимир Алейников

Зимние стихи

1.

Продолженье вечной темы,
Общей драмы и зимы
В дни, где помнить будем все мы
Света рвение и тьмы.

Снова жертвой стало время
На юдольном алтаре,
Чтоб немыслимое бремя
В каждом пряталось ребре.

Торопились, пропадали,
Всё же выжили — и вот
То, о чём и не гадали,
Кровь отравленную пьёт.

Утоли мои печали,
Припади-ка к роднику,
Где когда-то мы встречали
Всё, что сгинет на веку.

Фантастическое проще
Всей реальности прямой —
Чьи-то ссохшиеся мощи
Так и просятся домой.

И когда найдём однажды
Грань меж чуждым и родным,
То поймём истоки жажды,
Зреньем подняты иным.

2.

Вспомни и воскреси
Час в синеве и хмари
С морем в глухом угаре,
Шедший вокруг оси.

Вспомни и пронеси
Дар свой сквозь все преграды —
Рая восторг и ада
Горечь в пути вкуси.

Вспомни и припаси
Радости хоть немного,
Ибо она — от Бога,
Выстрадай и спаси.

Как бы тебя узнать,
Ждущий меня в грядущем?
Честь и хвала идущим,
Крепость и благодать.

3.

От гиблого шёлка
Пропавших знамён —
Ни духу, ни толку, —
А нужен ли он?

Что, место не свято?
Что, суть непроста? —
Ни злака, ни злата,
А так — пустота.

Кровавая каша,
Круги на воде:
Где ваши и наши?
Неведомо где!

Ни звука, ни взгляда,
Ни слова в ночи, —
Не надо, не надо,
Сдержись и молчи.

Так что же ты знаешь
О том, что прошло?
Ты вновь поднимаешь
Над лодкой весло.

И птица над нами
Расправит крыла —
Как будто меж снами
Зарница взошла.

4.

Водолей, ты мой óберег старый
На дорогах юдольных, в глуши,
Где когда-нибудь мерой и чарой
Станет эра твоя для души.

Во пределах земных и небесных
Ты восходишь над гущей людской.
Ты незримо присутствуешь в безднах,
Дышишь светом из глуби морской.

Овеваемый всеми ветрами,
Несусветных не требуя благ,
Поневоле участвую в драме
И к трагедии делаю шаг, —

Ибо хрупок у нашей свободы
Неустойчивый, рабский хребет —
И шатаются стены и своды,
И народа великого нет,

И мятутся умы запоздало,
И сутулятся молча холмы,
И разруха спешит от вокзала
На окраину долгой зимы.

И, вкусив от покоя и воли,
Непростую приветствуя суть,
Пусть в ней поровну боли и доли,
Небывалый предчувствую путь.

5.

С востока свет на запад перешёл—
Скитальцу, видно, некуда деваться,
Как только дожидаться, расставаться—
Ну вот и стал он скуден и тяжёл.

Мелодия вдогонку прозвучит
И сразу оборвётся торопливо—
И смотрим вслед, нахмурившись пытливо.
А свету что?—уходит да молчит.

У моря суть по-прежнему одна,
И с истиной ему куда сложнее,
Чем нам,—да, впрочем, утро мудренее,
А там надежда, может, и видна.

Знать, не в последний раз передо мной
Ты, Богом вдохновлённая стихия,
Свободная—наверно, не впервые,
Но связанная с мукою земной.

6.

Встанешь рано—и видишь в окошке
Серебристую троицу гор,
И на ощупь берёшь по оплошке
То, что с давних заброшено пор.

Сон ли это, листок ли измятый
С быстрой записью канувших лет?
Пахнет Летой—и, может быть, мятой
Этот шорох воздушный и свет.

У тебя что ни миг, то влеченье,
Слышен рокотом веющий брег—
И, погаснув, летят огорченья,
Словно спички, на гибнущий снег.

Даже сердце разбужено снова—
Оживаешь, вздыхаешь,—и всё ж
За пределами круга родного
Различаешь, где правда, где ложь.

Знать, земное дороже и ближе
Всех чертогов чужих обжитых—
И растерянно смотришь—гляди же!—
На обрывки наветов пустых.

7.

Снова солнце—сколько в мире благ!
А теплу, пожалуй, нет предела!—
Белизна заброшенных бумаг
Под лучами словно порыжела.

Значит, жить—и в тающем снегу
Серебра увидеть отраженье,
Различить в густеющем кругу
Вязкой почвы смутное броженье.

Только всё же чувствуется вдруг
Вдоль хребта холодное струенье—
Это ветер движется вокруг,
Словно память о сердцебиенье.

Разве все исхожены пути
И сегодня некуда податься?
Этот день с восторгом обрети
И попробуй с грустью разобраться.

Жаль, что нет надежды у меня
На решенье скорое задачи—
Той, что вся исполнена огня
И пребудет так, а не иначе.

Наступает время для зеркал,
Для игры без маски и без правил
Здесь, где ты, рискуя, расплескал
Всё, что встарь на донышке оставил.

8.

Как лёгок на помине он опять!—
Тот год ещё пытается вернуться,
Ершиться, напоследок огрызнуться,
Висок сжимать, на пятки наступать.

Надежды уничтожив на ходу,
Он вымотал всю душу мне когда-то—
Но сокрушить всё то, что было свято,
Не смог, хоть и грозил, как на беду.

И я дышал и чувствовал обман,
Уже сквозящий рощами нагими,—
Не знаю, что случилось бы с другими,
Но выжил я, хоть столько было ран.

О, где оно, столь нужное теперь
Умение предчувствовать утраты,
Когда щедроты, может, и крылаты,
Но зло скользит в незапертую дверь?

И вот уже, наверное, могу
Сказать о том, что близится решенье
Шагнуть вперёд,—отринуто крушенье,
И вновь я перед веком не в долгу.

И горя отдаляется обрыв,
И вглядываюсь в годы я пытливо—
И голову подъемлю молчаливо,
Всем тем храним, чем въявь доселе жив.

9.

Где в жилах выплеска сегодня заждалась
Кровь половецкая, таимая веками,
Страны утраченной закаты над степями
В себя вобравшая,—не просто ведь влилась

В славянскую, но, вспенив, разбудив
Её дремоту, пахнущую мёдом,—
Земля моя, представ пред небосводом,
Защиты ждёт—и взгляд её правдив.

Где всякой невидали вдоволь—и зима
Ещё пытается в событьях разобраться,
Хотя увиденное может оказаться
Ещё бессмысленней, вконец свести с ума,
А то и хуже,—то-то в каждый дом
Сквозит украдкой холод оружейный,
Иглою позвонок пронзает шейный
Под утро боль—поднимешься с трудом,

С трудом поднимешься,—не вам ли говорю,
Сады окрестные?—и выглянешь в окошко,
И видишь только снежную окрошку,
Дорожку старую, да зыбкую зарю,
Да свет с востока,—нет, я различаю
Иное—знаменье ли это?—сожжены
Мосты непрочные,—вопросы не нужны—
Я сын без родины—устало понимаю.

10.

Кто труды твои днесь разрешит
Показать только верным и близким?
Всё, что с натиском свет совершит,
Будет связано всё-таки с риском.

Он не хочет, чтоб ты разгадал
Это слишком наивное рвенье,
Словно гул, заполняющий зал,
Услыхал бы весны дерзновенье.

Слишком рано ещё—и тепла
Полновесного вряд ли дождёмся,
Прислонясь к перемычке стекла,
Где весёлому солнцу смеёмся.

В сердцевине ищи февраля
Этот сдвиг, этот знак поворота
К той поре, где уйдёт, не юля,
Холодов запоздалая нота.

Партитуру округи открой,
Что ещё не пылится в забвенье,
Призови же своею игрой,
Словно вести, с небес дуновенье.

Сын гармонии, музыки брат,
Стань с годами внимательней, что ли,—
Нет, отзывчивей стань во сто крат
К назревающей с волею боли.

11.

Крепнет голос петушиный
На приволье по утрам,
Шорох пиршества мышиный
Затихает по дворам.

Каждый миг свои заботы
У живущих на земле—
Не во множестве щедроты,
А в единственном числе.

То-то каждому даётся
Путь единственный сквозь дни,
Где немногим достаётся
То, что нажили они.

Только выжить бы покуда,
Только б ночку скоротать—
Видно, времени причуды
Стали помыслам под стать.

И ступают осторожно
Вдоль по глине, по меже,
Чтобы свидеться, возможно,
На последнем рубеже.

Там раздоры, там разделы,
Там всеобщая беда—
Но своя рубашка к телу
Ближе, стало быть, всегда.

12.

Лоза прислонилась к стеклу,
Стекло, помутнев, запотело,—
Хотя бы от бед похвалу
Душа услыхать захотела.

Ведь всё-таки стойкость при ней,
Пусть прежде вслепую металась,
И утро всегда мудреней,
Но с ним и сильнее усталость.

И спаяны тело и дух
Какою-то силой особой,
Чтоб в мире дышать мне за двух—
Но ты подражать и не пробуй.

И если чутьё мне дано
От Бога на свет и на слово,
То сызмала, значит, оно
К лишеньям и жертвам готово.

Недаром, рождённое петь,—
Надорвано горло с годами—
И надобно выжить суметь,
Чтоб дни укрепились трудами.

Когда же сквозь мрак над страной
Сиянье взойдёт Водолея—
То встретятся люди со мной,
О долгом пути не жалея.

13.

День может стосковаться по цветам—
Он помнит всё, хоть груз такой не важен,—
И бродит здесь, чтоб высказаться там,
Где прочен шум и дальний гул протяжен.

Чтоб вырасти нежданно перед ним,
Пичужий щебет ширится и льётся—
И седина чредой прошедших зим
В горах окрестных еле узнаётся.

Немало всё же было, согласись,
Угаданного, зримого заране,—
И эта глубь, вся—вдруг, и эта высь,
Ещё вот здесь—но вновь уже на грани.

Оставленное мною на потом
Себя не выдавало ль с головою—
И мыслью обвивало, как жгутом,
В кругу пространства древо мировое?

И вот она, заждавшаяся ширь,
Где знаки породнились с письменами,—
И звуку впрямь не нужен поводырь,
И злаку явь открыта временами.

Когда же чуешь то, чего понять
Ещё нельзя, но выразить возможно,
Весь мир как есть готовишься принять
И ринешься вперёд неосторожно.

14.

К югу и за холмы,
За перепады кряжей,
С умным лицом зимы,
С тысячью персонажей,
Стоптанных башмаков,
Сорванных капюшонов,
Сталкиваясь, толков,
Ветер летит со склонов.

Балка, пещера, щель—
Всё для его свирели,—
В яблочко, в сердце, в цель,
Чтоб доказать на деле,
Что неспроста знаком
С гаммой своей, с азами,
С облачным молоком,
С поднятыми глазами.

Как это он успел
Всласть наиграться, зная,
Что не напрасно смел,
Сор на пути сметая,
Что, проторив тропу,
Выдув подобье шара,
Грохнет с небес в толпу
Тяжесть такого дара?

Будет ещё блажить,
Струны перетирая,
Где обречён прожить,
В жилы простор вбирая,
Где ни к чему, пойми,
Чей-то огонь бенгальский,—
И, молчалив с людьми,
Ветер летит февральский.

15.

Вне страдания и свиданья
Мы не встретились бы сейчас,
Ожидание—оправданье
Той надежды, что въявь сбылась.

Торопилось уйти, что было
Слишком тяжким для нас двоих,
Что уже ничего не скрыло
Из грехов и подобий их.

Было с дымом колечко свито,
Ну а выпало—золотым,
Да и со свету мы не сжиты
Всем, что стало и впрямь пустым.

Ни за что нам никто не скажет,
Что случилось и что влекло,
Что кручёною нитью свяжет
Слово чуткое и число.

Подожди—я с тобою вместе
Поброжу по холмам весной.
Уж не счастье ли—честь по чести
Причаститься любви земной?

16.

Вздохнуть бы о прошлом,
Да что ему вздох?—
Меж пришлым и дошлым
На грани эпох
Ненужным и лишним
Упрямо стою—
И ведомо вышним,
О чём я спою.

Но слишком известно,
Что песня и боль
Всегда поднебесны—
И вкривь, а не вдоль,
При доме—вне дома,
Вне правил и благ,
От смуты и дрёмы—
На пядь иль на шаг.

И слишком знакомы
Приметы беды—
От зимнего грома
До талой воды
Легло расстоянье
Без троп и дорог,
И слава—за гранью,
Свидетелем Бог.

Да много ли надо?—
Лишь выйти, пойми,
Из чуда и сада
Для встречи с людьми!—
Когда бы не слово,
Что сделал бы я
Для света и зова
В кругу бытия?

17.

Подморозило—и пригрело,
Передумало, привело
Всё, что ночью в саду скрипело,
Ну а в полдень глядит светло.

Не растаяло, не пропало
Всё, что к прошлому тянет след,—
Жилы жалости, ржави жала,
То ли взбухшие, то ли нет.

В этом роде ли?—в этом роде,
В этом ракурсе и стыде,
В давних помыслах—то о броде,
То о таинстве и звезде.

Призадумалось—и забилось,
Взяв наперсником под крыло,
Не надеялось—но явилось,
Озадачило и ушло.

18.

Не для тебя,
Не для меня—
Всё возлюбя
Или кляня,—
Или храня
В темени лет,
В семени дня
Имя и свет.

Утихомирь
Пыл свой, птенец:
Времени ширь—
Делу венец;
И наконец
Выбери сам
Путь свой, гонец,
По небесам.

Но для земли
Сердце оставь—
Здесь и вдали
Веру прославь;
Не прекословь
Зову с высот—
Всюду любовь
Душу спасёт.

19.

Узнаёшь ли скитаний огни,
Различаешь ли нынче хоть малость
Этих лет, что с тобой искони,
Ну а с ними печаль и усталость?

Не влекут они больше—вотще!
Может, кровь разогрев по старинке,
Выйдешь к морю в шуршащем плаще
По широкой хрустящей тропинке?

Всё, что вспомнишь, свободно твердя,
Может, всё же приветишь нежданно—
То ли шум проливного дождя,
То ли с неба упавшую манну?

Может, всё-таки встретишь ещё
То, что время, косясь, пощадило,
Чтобы тяжесть легла на плечо,
Но ничем тебе впредь не вредила?

Скажешь нежности: ты-то со мной!—
Свежесть ветра, безумье, безлюдье,
Всё, что молча прошло стороной,
Чернокнижья корявые прутья,

Запах сонный, сиреневый вал,
Что обрушивал страсти лавиной,—
Всё, что в юности всё же знавал,
Что спаслось—и явилось с повинной.

20.

Я вернуться хочу туда,
Где окно в темноте горит,
Где журчит в тишине вода
И неведомый мир открыт.

Я вернуться туда хочу,
Где свечу иногда зажгут,
Где и ночью тепло плечу
И сомнений слабеет жгут.

Я вернуться туда бы рад,
Потому что и ключ, и речь,
И рачительный свет, и лад
Смогут душу мою сберечь.

Я вернуться бы рад туда,
Потому что и клич, и плач
Будут рядом со мной всегда,
Будет голос мой жгуч и зряч.

Будет слух тяготеть к лучу,
Будет крепнуть с минувшим связь,
Где к луне до сих пор лечу,
А над нею звезда зажглась.

Подожди меня, рай, поверь,
Что с тобою давно светло,—
Потому и могу теперь
Поднимать над бедой крыло.

21.

Не случайно будешь ты жить
Здесь, где век завершает путь,
Чтобы птицам в небе кружить,
Запах гари вбирая в грудь.

Не напрасно будешь дышать
В дни хао́са, когда пора
Что-то всем понять и решать—
Не для худа, а для добра.

Был ты в слове всё-таки смел,
Стал теперь на подъём тяжёл—
И ещё остаёшься цел,
Отрешась от жал и от зол.

Миновали, видно, года,
Где довольно было тепла
Для того, чтоб в небе звезда
Над землёй беспечно взошла.

Закалён в горнилах твой дух,
Почва семени ждёт с весной,
Жаждет зренья крепнущий слух,
Осязанья—голос ночной.

Жилы кровью полнятся вновь,
Рядом плещется вал морской,—
И спасеньем станет любовь
От ненастной смуты людской.

Дмитрий Косяков

Культурный фронт

Красноярск: «День и ночь», 2020

Дмитрий Косяков получил, я бы сказала, наивысшее гуманитарное образование. Не берусь перечислять всевозможные образовательные площадки, которые так или иначе к этому причастны, назову лишь одну, самую для меня весомую: автор этой книги—выпускник Красноярского литературного лицея, мой ученик. Позднее Дмитрий Николаевич сам вкусил педагогического хлеба—работал и по сей день работает со школьниками, и это, на мой взгляд, не могло не отразиться на его литературном творчестве. Но не столько учёба как таковая сформировала этот художественный вкус, эту гражданскую позицию, эту горячую, полемически заострённую речь.

Дмитрий Косяков от младых ногтей бесстрашно погружался в бурный поток общественной жизни рубежа эпох, переживая очарования и разочарования, пробуя на прочность самые устойчивые и самые новые идеи, изобретая небывалые формы творчества, странствуя и возвращаясь на родные пепелища… Так же, как великий пролетарский писатель Горький, к неполным сорока годам Митя (так, по-домашнему, я привыкла его называть) мог бы написать несколько томов «Моих университетов». Впрочем, он и написал такую книгу. С ней взыскательный и пытливый читатель может познакомиться на страницах нескольких номеров журнала «День и ночь». Митя—автор изысканных и причудливых стихов. Блестящий мелодекламатор. Режиссёр. Сценарист. Учитель. Короче говоря, литературный многостаночник. Всё испробовал. Всё получается. И всё же, когда речь зашла об издании книги в серии «Попутный ветер», мы решили остановиться на публицистике. В этой сфере Дмитрий Косяков добился, по-моему, самых впечатляющих результатов. Иногда, следя за развитием мысли на страницах его очерков и статей, невольно ловишь на себе пристальный взгляд… Добролюбова? Или, может быть, даже молодого Владимира Ульянова: «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества! пролетариат положил конец этой гнусности, от которой задыхалось всё живое и свежее на Руси».

Это публицистическое слово без оглядки—свободно. В нём чувствуется свежее дыхание того «завтра», от которого мы, переживающие тотальную фальшь и ужас беспардонно топчущего человечество «сегодня», заблаговременно открестились. А оно есть, такое «завтра»! По крайней мере—как один из вариантов пути, за выбор которого Митя Косяков ведёт свою бесстрашную и беспощадную борьбу. Всё ещё с юношеским максимализмом. Всё ещё я не всегда в состоянии принять его правду. Но по большому счёту это—выбор и путь, за который стоит побороться.

В первом опубликованном стихотворении Дмитрия Косякова (кажется, это был сборник произведений красноярских школьников «По Красноярску на Пегасе») рассказывается о рыцаре, который упорно чистит свой меч в предвкушении грядущих битв со злобным драконом. Таким нередко вижу Митю и сейчас—в образе рыцаря, отважного, но терпеливого. Только теперь его меч отточен на славу. Что до драконов… они кругом буквально кишат. Так что работы у рыцаря—хоть отбавляй!

МАРИНА САВВИНЫХ

Марина Саввиных

Пленник пламенных звёзд, или Поэзия последней свободы

О стихах Асламбека Тугузова

1.

Литератору, привыкшему строить оценочные суждения вокруг явлений современной поэзии, о таких стихах говорить трудно — они слишком просты по форме и слишком «крупны» по содержанию.

Просты? Асламбек Тугузов в совершенстве владеет всем арсеналом русской силлаботоники, каковой она доросла до начала двадцатого века. Никогда ни единой, даже нарочитой, погрешности против ритма, ни единой попытки поиграть ударениями или паузами, поэкспериментировать с рифмами. Максимум, что в этом смысле он позволяет себе, — почти непроизвольные анжамбеманы-переносы на стыке строк:

> И кажется, что ничего не болит,
> Что счастье — да вот оно, рядом сидит,
> И смотрит большими глазами,
> И что-то читает губами
> По памяти…

Или — если о рифмах: «погрущу» — «покрошу», «достать» — «асфальт», «дрябло» — «яблонь», «вечен» — «подвешен»… Это, пожалуй, максимальная вольность, которую дотошный аналитик версификаций обнаружит в стихах Асламбека Тугузова. Формально у него всё всегда до предела точно, всякий шар ложится в лузу, словно заранее для него приготовленную. И приготовленную — очень давно. Так и слышу сердитый возглас поборника необходимой для поэзии двадцать первого века возрастающей «новизны»: Тугузов пишет так, как будто до него не было ни Маяковского, ни Сельвинского, ни Вознесенского, ни тем более — Бродского… Эти стихи лишены «филологической избыточности», на которую обычно реагирует воспитанный в духе постмодернистских ожиданий читательский слух.

Но как только мы отказываемся от этих ожиданий и освобождаем восприятие для даровой, не отягощённой новаторскими поползновениями лирической красоты — энергия огромной силы приподнимает нас над землёй. Потому что содержание, смысловой объём стихов Асламбека Тугузова — значительны и масштабны. Причём этот масштаб, эта «крупность» — не от стремления предстать «крупным», хотя бы самому себе в собственных поэтических грёзах: в этом грехе Тугузова заподозрить невозможно. Его поэзия — серьёзна от самого первого посыла, от корней. Серьёзна и необратима, как пламя, в котором форма бесследно сгорает, становится незаметна и удерживает на себе мысль, образ, метафору, как удерживает отражение не видимая зрителю чистейшая зеркальная поверхность.

2.

Вот ведь парадокс: начинаешь рассуждать о стихах, по форме вроде бы совсем не модных, — и тут же ввязываешься в бой с целым роем прогрессивных знатоков и ценителей.

Читаю недавно о стихотворении молодой «актуальной» писательницы: ах, как замечательно она «всё снижает». Отлично! Значит, главное в современной поэзии — как можно основательнее «всё снижать»?

Так вот, у Тугузова — наоборот. Вопреки уже устоявшимся художественным канонам, он постоянно и настойчиво *поднимает* читателя до той планки духовного зрения, до которой дотянулся сам. А планка установлена высоко. Лирический герой Асламбека Тугузова — рыцарь-паладин духовного пути, или, говоря языком ислама, мюрид на дороге к истине. Не зря читатели уже усмотрели в образной системе его поэзии ростки суфизма. Да, конечно, влияние суфизма, самой прекрасной и привлекательной ветви ислама, у Тугузова очевидно: погружаясь в его лирическую стихию, читатель всё время чувствует абсолютную вертикаль бытия, увенчанную мудрым замыслом Творца, которая, как несгибаемый алмазный позвоночник, несёт на себе ускользающе малую — с точки зрения вечности — жизнь смертного человека. При этом герой Тугузова отнюдь не по облакам шествует. Его судьба — война, разруха, смерть, боль, бесконечные утраты. Ему пришлось пережить беды, на которые столь щедрым оказалось роковое порубежье тысячелетий. Но испытания, выпавшие на его долю,

ведут не к отрицанию Бога и мира, а к приятию основ жизни, не к «снижению», а к возвышению «твари Божией» — к смирению перед Абсолютом, к прощению врагов и согласию с мирозданием.

Надо жить, увеличив в разы
Жизнелюбия стойкое пламя.
В эти светлые дни уразы
Я хочу разговеться с врагами.

Я хочу их понять и простить,
Потому что я тоже не вечен,
Потому что за тонкую нить
К тем же пламенным звёздам подвешен.

Так что, если продолжать о влияниях, — придётся вспомнить и блистательную плеяду русских писателей, начиная, может быть, с Лермонтова. Помню своё детское впечатление от стихотворения «Выхожу один я на дорогу...». Такое чувство, будто поэт видел картину кавказской ночи — *сверху*. Как? Ведь то, что увидел поэт, с вершины самой высокой горы не увидишь, даже в иллюминатор самолёта, пожалуй, не увидишь... да и не было тогда самолётов... И я решила, что дар «видеть сверху» — это и есть поэтический дар. Асламбеку Тугузову способность «видеть сверху» присуща от рождения, потому что приобрести её нельзя — никакое влияние, никакое учение, никакие тренировки этого не дадут. Или ты — поэт, или — не поэт. И здесь — другой аспект вопроса, которого не могу не коснуться.

3.

Что такое дар? Как распознать в человеке дар художника, особенно художника слова? Одного желания называться поэтом — мало. Вон сколько их расплодилось за последнее время, жаждущих славы... Мало того, скольких жаждущих отметили милостями сильные мира сего! И — что? Кто из них действительно одарён, а кто ухитрился стать модным? У кого — критерии, право судить по «гамбургскому счёту»? Время, кажется, все карты спутало, все вехи снесло, все краски перемешало... И всё же.

Важнейшее качество стихов Асламбека Тугузова — глубокая, подлинная органичность, естественность. Он поёт — как птицы поют, потому что петь — их родовое свойство. Редкое по нынешним временам для писателей качество. Тем более когда речь идёт о лирике философской, о разговоре человека с чем-то высшим, нежели он сам; вернее, об осознании человеком себя как чего-то высшего, нежели он сам, и переживание этого всем своим земным, тварным, чувственным существом. Нарочно такое не придумаешь! *Это* рвётся из тебя на волю, как выдох после глубокого вдоха.

Светает. Над сумрачной бездной,
Свернув золотые шатры,
Отряды небесных созвездий
Старательно гасят костры.

А я, занесённый под самый
Мерцающий купол небес,
Смотрю, как, играя тенями,
Внизу проявляется лес

И как потихоньку, не сразу,
В папахах из льда и сурьмы,
Могучие горы Кавказа,
Как нарты, выходят из тьмы.

Дальнейшее — дело мастерства. И тут снова парадокс. Давненько не встречала я у наших русских поэтов столь чистой, внятной, празднично яркой, ироничной и опрятной русской речи, как у чеченца Асламбека Тугузова. Он — кровное дитя двух разных, порой противоречащих друг другу культур. Поэт настолько же русский, насколько чеченский. И самый воспалённый, самый сверлящий нерв его поэзии — внутренний раскол между двумя пластами фундамента, на котором зиждется весь его космос. Однако такое «движение тектонических плит» отчасти и делает эту мелодию уникальной. Наверное, какой-нибудь критик-блохоискатель, придирчиво потроша сборник Тугузова, обязательно зацепит ехидным пером пару-тройку неловкостей, оплошек и грехов по части русской грамматики. Ну и что? Бывают такие неловкости и оплошки, без которых стихотворение теряет очарование. У Лермонтова, помните? «Из пламя и света рождённое слово...» Попробуйте чем-нибудь заменить это «из пламя»! Пушкин же вообще уверял: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Асламбек Тугузов поэтически настолько умён, что нисколько не тяготится время от времени быть детски наивным, апеллировать то к состраданию читателя, то к его способности испытывать священный трепет, то к его, читателя, собственной памяти, подчас тревожащей и больной.

Здесь как раз та степень творческой свободы, когда Поэт — «сам свой высший суд». Асламбек Тугузов не страшится чуть споткнуться в стремительном беге, потому что слишком хорошо знает, что дальше — полёт. Там, на вершинах, — область абсолютной свободы, последней свободы, доступной человеку. Там столько нежности, любви и печали, что становится слышно, как в каждом земном создании просыпается вечность...

Ничего не хочу, только эту волну ощущенья,
Что есть некая связь между гаснущим небом и мной.
Больше красок, мой брат, больше свежести и вдохновенья,
Больше света души и надежды, надежды земной.

Асламбек Тугузов

Светом жив

● ● ●

Моросило вовсю, моросило,
Непонятно—дождём или снегом.
Мы его положили в могилу,
Не глубокую для человека.

Написали фамилию, имя
На бумажке, заляпанной глиной,
И в флаконе от пенициллина
Положили записку в ботинок.

Он лежал, а за ним как-то дрябло,
Словно жизнь или смерть их продула,
Две шеренги израненных яблонь
Стыли, словно бойцы караула.

Он лежал даже несколько браво,
Руки, ноги—всё чётко и прямо,
Краем губ улыбаясь лукаво
Из своей не докопанной ямы.

А над ним, как из лейки над грядкой,
Моросило да всё моросило,
И, как зубья, пилила загадка:
Что же это его рассмешило?

Мысль крутилась быстрее лопаты:
Что же, что? Получалась заминка.
Неприличная скорость обряда
Или эта записка в ботинке?

И с того становилось неловко,
Что действительно очень спешили.
Мы прикрыли улыбку циновкой,
А циновку землёю прикрыли.

Так бывает, что будни реала,
Умножая количество битых,
Упрощают процесс ритуала,
Сокращая размеры молитвы.

Но зато отливало сияньем:
То ли нимб, то ли факел тротила
Поднимался над крышами зданий
И, тоскуя, кружил над могилой.

Шли обратно по слякоти склизкой,
Я скользил и сбивался с тропинки,
Словно этот флакончик с запиской
Тянет ногу и ноет в ботинке.

● ● ●

Открывается сердце навстречу тому,
Что зовётся любовью на нашем наречии.
Возвращается пламя, хоть тесно ему
В утомлённой и узкой груди человечьей.

Говорят, что года убивают мечту.
Но откуда тогда эта поздняя нежность?..
Буйным цветом пометив деревья в саду,
Уходящий апрель взволновал всю окрестность.

И, согласно природе, согласно всему,
Что ещё не остыло и теплится в теле,
Возвращается юность в цветах и дыму,
Возвращается песня вишнёвой метели.

● ● ●

В этом странном, летящем кино
Жизнь земная—как общая данность:
Для кого—золотое руно,
Для кого—грозовая туманность.

Надо жить, увеличив в разы
Жизнелюбия стойкое пламя.
В эти светлые дни уразы
Я хочу разговеться с врагами.

Я хочу их понять и простить,
Потому что я тоже не вечен,
Потому что на тонкую нить
К тем же пламенным звёздам подвешен.

● ● ●

Светает. Над сумрачной бездной,
Свернув золотые шатры,
Отряды небесных созвездий
Старательно гасят костры.

А я, занесённый под самый
Мерцающий купол небес,
Смотрю, как, играя тенями,
Внизу проявляется лес

И как потихоньку, не сразу,
В папахах из льда и сурьмы,
Могучие горы Кавказа,
Как нарты, выходят из тьмы.

● ● ●

Падал снег, и вьюжили снежинки
Над седыми сопками Карпинки,
Над Нефтянкой и над Ташкалой.
Заметая чёрные воронки,
Падал снег, стремительный и тонкий,
Словно вестник истины благой.

Падал снег, и было очень тихо,
Словно, отступив, уснуло лихо,
Словно вдруг за эти полчаса
Кончились у времени патроны,
Все его проклятия и стоны,
Все его гудки и голоса.

Падал снег, свободный и крылатый,
Весело царапая бушлаты
Павших и оставшихся лежать
Навсегда под этими снегами,
Белыми холодными руками
Цепко вгрызшись в ледяной асфальт.

Падал снег, и век прощался с веком
Навсегда, как будто с человеком
Близким и навеки дорогим.
И душа, свернувшаяся в льдинку,
Принимала каждую снежинку,
Окликая именем одним.

Падал снег и бился в перепонки,
Бел как саван или как пелёнки
В темноте космической трубы,
Где уже ни смерти, ни томленья,
Только это вечное круженье—
Белый танец снега и судьбы.

● ● ●

Я вздремнул на досках возле стенки
Старого подвала Ташкалы,
Подтянув озябшие коленки
Ближе к сердцу, чтобы не ушли.

А из щели рядом прямо в темя
Дуло чем-то злым и ледяным.
Но уже остановилось время,
Жалко скрипнув колесом кривым.

Я оттаял, отлетел, теплея,
За пределы самого себя,
Чтобы в душных сумерках Морфея
Отдохнуть от треска бытия.

Я лежал как будто в колыбели,
Первенец и баловень судьбы,
Непричастный к подлой канители
Цикла жизни—смерти и борьбы.

Я лежал, сопя, как дух в Эдеме,
Упиваясь мёртвой тишиной,
А из щели так же дуло в темя
Снежной пылью, ветром и войной.

● ● ●

В этой жизни, где каждый враждует с тобой,
Привыкай ко всему, что зовётся судьбой.

Помни: в мире хулы и тотальной войны
Даже близкий кусает тебя со спины.

Сын Адама в нужде не покажет кулак,
А окрепнет—опаснее своры собак.

Берегись, ибо время летит, как стрела,
Меркнет свет, и повсюду сгущается мгла.

На дворе суматоха, и дьявольский рог
Кличет паству к обочинам пыльных дорог.

Страх, берущий за горло сильнее чумы,
Поражает сердца и калечит умы.

Ты не джинн и не ангел, и сущность твоя—
Не субстанция света, не пламя огня.

Почему же тогда ты кичишься своей
Комбинацией мяса и хрупких костей?

На треножнике шатком, любуясь собой,
Почему ты вознёсся над этой толпой?

● ● ●

В час, когда над горами забрезжит рассвет,
Беспросветный и всё ещё робкий,
Я альпийских цветов ароматный букет
Наберу у подножия сопки.

Отряхну от росы и поставлю в стакан
Родниковой воды из ущелья
Эдельвейсы, ромашки и дикий тюльпан
Моего приворотного зелья.

Так красиво и чудно горят лепестки
В полумраке, и жаль, что отсюда
Мне не хватит и самой длиннющей руки,
Чтоб тебе протянуть это чудо.

И сказать, не стесняясь нахлынувших слов,
После долгого мрака ненастья:
Не венком, а короной альпийских цветов
Я тебя короную на счастье

В час, когда, покидая седые зубцы
Звёздных башен над куполом мира,
Отпустив тетиву, исчезают Стрельцы
И тускнеет печальная Лира.

Знаю я, что сейчас ты не слышишь меня
И не видишь букета в стакане…
Вон Возничий рванул, и скатился с коня,
И пропал, захлебнувшись в тумане.

Всё равно это чудо—рождение дня,
Когда солнце над сопками встанет.
Знай: беда никогда не коснётся меня
И корона твоя не завянет.

● ● ●

На стареньком снимке—четыре юнца,
Четыре давно пожелтевших лица,
Но домик саманный белеет,
И с верхнего края алеет

Полдневного солнца размытый кружок,
И деревце с ветками наискосок,
Как лишнее, ёжится сбоку,
По Фету и даже по Блоку.

А мы, как солдаты—подмога живым
И мёртвым, на корточках важно сидим
И смотрим в глазок объектива,
Как в вечность, кто прямо, кто криво.

И кажется, что ничего не болит,
Что счастье—да вот оно, рядом сидит,
И смотрит большими глазами,
И что-то читает губами

По памяти, тихо, строку за строкой,
А солнечный зайчик, весёлый такой
Чертёнок, не знает покоя,
Как будто он знает такое,

Такое, чего здесь не знает никто—
Ни старый фотограф в потёртом пальто,
Ни эти четыре балбеса
Из сказки чеченского леса.

Не знают, стреляя глазами в упор,
Что Марс покраснел и завис, как топор,
Что Аннушка масло купила
И смерть никого не забыла.

● ● ●

Заливай стихами или прозой—
Всё равно скучна моя анкета.
Дед мой умер от туберкулёза
В сорок пятом около Чимкента.

Может, в мае, может быть, в июле,
Молодой, почти ещё салага,
От простуды чёрной, не от пули
Где-нибудь у здания Рейхстага.

Не полковник, не отец солдатам,
Голый ноль без палочек и баллов.
Не ходить мне с праздничным плакатом
Около твоих мемориалов.

Что сказать мне сгинувшему деду
Вдалеке от дома и отчизны?
Может быть, спасибо за победу?
Ну, хотя бы за победу жизни.

● ● ●

Я слишком слаб, чтоб что-то изменить,
И слишком стар, чтоб начинать сначала.
Но я ещё попробую доплыть
Вон до того последнего причала

Не торопясь—соленая вода
Не любит тех, кто судорожно дышит.
А я устал, такая вот беда,
Пойду на дно… никто и не услышит.

Но я гребу и силы берегу,
Глотаю соль иссохшими губами
И вижу: кто-то там, на берегу,
Зажёг фонарь и машет мне руками.

● ● ●

Знобило. У вашей калитки
Мне стало немного теплей.
А мимо, как будто улитки,
Шли толпы усталых людей.

У памяти все дорогие,
От близких друзей до врагов,
А мы, молодые такие,
Стояли на стыке веков.

Октябрь седой позолотой
Не радовал больше земли,
И два голубых самолёта
Кружили над нами вдали.

У юности страшная сила,
Её не сломаешь судьбой.
Меня не эпоха страшила—
Страшила разлука с тобой.

Хотя и беспомощна лира,
И красок таких не найдёт,
Кто видел крушение мира,
Тот вспомнит и сразу поймёт.

Предчувствия хуже занозы
Терзают сердечной тоской.
Из глаз твоих брызнули слёзы,
Когда ты махнула рукой

И скрылась за ширмой калитки,
Как будто уже навсегда.
И не было горестней пытки,
Чем эта тупая беда.

Знобило. Крылатый лазутчик
Угрюмо гудел над страной.
Шли тучи, косматые тучи,
Смеркалось, и пахло войной.

• • •

Найду тебя, как камень на погосте,
Там, где трава соперничает в росте

С деревьями, чьи чёрные макушки
Подстрижены из дальнобойной пушки,

В таком-то неприветливом году…
В землянке обвалившейся найду,

За бруствером, в кустах чертополоха,
Где корчилась от ярости эпоха

И, пьяная от мутного вина,
Смывала кровью наши имена

С доски судьбы без всякого почёта.
Найду тебя у волчьего болота,

Где мокрые сплетения тропинок
Ещё хранят следы твоих ботинок,

Не стёртые ни ветром, ни дождём.
Найду тебя за огненным хребтом,

В долине гроз, где крепость нашей славы
Ещё рычит в тройном кольце облавы,

И всё ещё, весёлый и густой,
Как дева юная под всхлип аккордеона,

Танцует снег на площади пустой,
И век прощается, гремя бронёй дракона.

• • •

Я, как крот, допив тоску столетия,
Вгрызся в землю в шаге от другого,
Мутного, как сон, тысячелетия
Рождества Иисуса Христова.

Словно вся наличность гороскопа:
Рыбы, Львы, Стрельцы и Скорпионы,—
Над моим кубическим окопом
Проносились смерчи и циклоны.

Как за счастье трудового класса,
Друг за другом в сумерках бессонных
Шли лавины пушечного мяса,
Мальчиков кровавых батальоны.

И как будто колесница Дария,
Растекаясь красными серпами,
Нёсся вихрь, кося пассионариев,
Че Гевар с молочными клыками.

Вот тогда сквозь смертную икоту,
Взяв на грудь всю тяжесть долголетия,
Обманув танкистов и пехоту,
Разменял и я тысячелетие.

• • •

Я на дорогу выйду, погрущу
И, как итог моих дневных скитаний,
Сухую булку птицам покрошу,
Чтоб не скудел багаж благих деяний.

И пусть себя уже не изменить
В безумной гонке атомного века,
Но что мне стоит птицу накормить
Или утешить словом человека?

Сказать ему: живи и здравствуй, брат,
Пока в свой час не породнишься с глиной;
Среди тревог, печалей и утрат
Ты не оставлен звёздным властелином.

Он был и есть—и будет Он всегда,
И в этом вся конечная отрада.
Арык бежит, журчащая вода
Смывает основание ограды.

И высоко, рукою не достать,
Последний листик кружит над дорогой.
И воробьи, слетевшись на асфальт,
Клюют, давясь от щедрости убогой.

Торопятся, с оглядкою на сук,
Озябшие от холода и страха.
Благословенно крошево из рук,
Когда оно из житницы Аллаха!

Иду домой. От ветхого плетня
Ложится тень на зеркало канала.
Блажен распределивший доли дня,
Когда не блажь, а сердце указало.

• • •

Ходит пёс по брустверу окопа.
Кто пальнёт в такого остолопа?
У кого поднимется рука?
Тишина. Ни звука, ни щелчка,
Никакого грохота и топа.

Ходит пёсик, высунув язык,
Он уже безжалостно привык
К диалекту оружейной речи.
Воздух пахнет резче, чем балык,
Слаще кости, даже человечьей.

Дует в морду тёплый ветерок.
Ходит пёс, почти ещё щенок,
Маленький и всё ещё неловкий.
То ли шарик, то ли колобок
В окуляре снайперской винтовки.

Елена Литинская

На краю

Аритмия

Накатила аритмия. Чем ты, сердце, недовольно?
Выбиваешься из ритма. Видно, хочешь мне сказать,
что мой век достиг предела, призываешь к предкам в Вильно?
Скоро август. Там и осень… Налеталась стрекоза.

Хоть мой век весьма почтенный, я ещё не налеталась.
Я ещё не станцевала роковой осенний вальс.
Вот расправлюсь с аритмией, прогоню взашей усталость
и хореем или ямбом напишу стихи для вас.

В нашей жизни всё ритмично—от секунды до столетья.
И магическое время, разыграв по нотам блюз,
уничтожит аритмию резким, жёстким взмахом плети.
Я ко времени взываю, жду, надеюсь и молюсь…

● ● ●

Пришла весна. Ей вирус—не помеха.
Она, как прежде, радостно цветёт.
Смеётся Солнце. Давится от смеха.
Не тронут облаками небосвод.

Природа, я тебя боготворила,
фанаткой верною твоей была.
А ты нам щедрою рукой дарила
то россыпи добра, то щебень зла.

Одной страны тебе отныне мало.
Решила в прах весь мир ты превратить.
Уйми своё тлетворное начало
и побори губительную прыть.

Дай задышать нам полной грудью снова.
И маскарад печальный обнули,
чтоб, не страшась друзей, как язв Иова,
мы без перчаток руки жать могли.

● ● ●

Пруды на Пресне. Юности порог.
Настроить линзы в памяти-бинокле,
чтоб разглядеть туманности тревог
среди созвездий. Ливень. Мы промокли,
под деревом спасаясь. Ты не смог
меня согреть дрожащими руками,
мой верный рыцарь! Память душит смог
десятилетий. Но и время, маг
всесильный, не перечеркнёт мазками
то ретро: робость рук твоих и дождь…

● ● ●

Время—недруг: мы стареем.
От зари до темноты.
Повитали в эмпиреях
и сорвались с высоты.

Отлюбили, отгорели.
То женитьба, то развод.
Во дворце росли, в норе ли—
жизнь одна, один исход.

Расплодились многодетно
иль родили одного,
в шёлк ли, в рубище одеты—
то не значит ничего.

Все равны пред высью Неба:
поп, раввин, король и раб.
Не закинуть в небо невод.
Не поймать созвездье Рыб.

● ● ●

Мои ровесники уходят
в миры иных планет.
Мы—карты битые. В колоде
нам места больше нет.

Когда-то были козырными:
туз, дама и король.
Не обольщайтесь! Наше имя—
для будущего—ноль.

Грядёт другое поколенье—
хозяева земли.
Атлантика—им по колено.
И холмиком—Олимп.

Они накроют, как цунами,
нас быстро и легко.
И всласть потешатся над нами:
«Сбор старых дураков».

Всё повторяется по новой.
Мы в юности точь-в-точь
над предками смеялись вдоволь
и убегали прочь…

● ● ●

Я давно у тебя не была.
Между нами—мосты и дороги.
И дела, каждый день дела
Неотложные—видят боги!

Между нами—снегов полотно,
ураганы, торнадо и штормы.
Между нами—глухое окно,
где навеки задёрнуты шторы.

Между нами—граница миров
на крутом, роковом косогоре.
Я приду к тебе на Покров.
Или завтра. Ну, словом, вскоре.

Все заботы перечеркну.
Ты—моё неотложное дело.
И к холодному камню прильну.
«Вот несчастная, очумела!

Встань, простудишься!—пробурчит
могильщик, старик-бедолага.—
Вишь, на юг улетают грачи»,—
и откроет заветную флягу.

● ● ●

Объятья тесные твои
тогда казались кандалами.
Смерть их отбросила. Ну и,
свободная, машу крылами.
Но не взлететь, не воспарить.
Канатно привязала нить
к твоим рукам, что знали толк
в алхимии прикосновений
и пробудили кровоток,
погнав его по сонным венам.

Как безвозвратно мне милы
те ласковые кандалы…

● ● ●

Я забываю, забываю
дрожь от касаний твоих рук.
И в память гвозди забиваю
ударами бессильных строк.

Я забываю, забываю
тех лет зыбучие пески.
Верёвкой горе завиваю,
вяжу на память узелки.

Я забываю, забываю.
Тонка воспоминаний нить.
Женою Лота застываю.
И не могу забыть.

● ● ●

Мы нынче все упрятались в футляры.
Перчатки, маски, тёмные очки
и шляпы. Не шуты и не фигляры.
В игре за выживанье игроки.

Прохожих мы обходим стороною.
Ни «здрасьте», ни «привет» и ни «пока».
Отделены невидимой стеною
на расстоянии ковид-плевка.

Июль, жара. «В зобу дыханье спёрло».
Так хочется, отбросив камуфляж,
вдохнуть во всё дыхательное горло
и, как в былые дни, рвануть на пляж!

Всё то, что было попросту рутиной,
к чему привыкла я за сорок лет,
отныне—лишь музейная картина.
И слишком дорог в тот музей билет…

● ● ●

Мы смертны. Не страшись конца, поэт!
От неизбежности спасенья нет.
Колен дрожанье на краю карниза
уйми. Проникнись мудростью Гафиза.

Взгляни на град в полу́ночных огнях
и вспомни лет прошедших переливы.
Не так уж мало было дней счастливых.
Возрадуйся и думай лишь о них.

Ты был избранник, баловень судьбы.
Слагать стихи и трепетать крылами
в полёте—то не всякому дано.
И коль пришла пора уйти на дно,
быть может, выстлано оно
подводно-дивными цветами…

● ● ●

Пирует, царствуя, июль.
Жара сжигает всё подряд.
Стрижёт безжалостно под нуль
листву, лишая тени сад.

Ни зонт, ни шляпа не спасёт.
И голова раскалена.
Плутает мысль, минуя вход.
И ждёт какого-то рожна.

Июль, уйми свой жар и пыл!
Пошли спасенье ветерка!
Изнемогаю. Нету сил.
И вянет, как цветок, строка…

Варвара Юшманова

Вечное объятье

* * *

Пока не время говорить.
Ни дна, ни краха.
За хвост приходится ловить
Секунды страха.

Они, как мыши, стерегут
Любую крошку.
Но я не трушу. Зря ли Бог
Послал мне кошку?..

Её спокойствие и взгляд —
Всему наука.
Пусть день и ночь грачи галдят
Из ноутбука.

Не всколыхнётся окоём.
Не дрогнут плечи.
Любую боль, когда вдвоём,
Нести полегче.

День

Сегодня Господь подарил мне:
тучи, идущие стороной,
принятие себя,
день без слёз,
фисташковое мороженое,
распускающийся цветок,
поцелуй ребёнка,
воспоминание,
новое знание, взятое изнутри,
песню в нужный момент,
разрешение,
время подумать,
чистые сны,
слово.

Чем я отблагодарю Его:
принятием себя,
честной работой,
поцелуем ребёнку,
искренней радостью,
минутой для заката,
спокойствием,
мыслью,
молитвой,
словом,
этим стихотворением.

Старый дом

Я — словно дверь в какой-то мир,
Веду в слепое завтра.
А он стоит как перст один
Средь пустоты и правды.
Я подойду к нему в тиши,
Коснусь стены потёртой.
В нём звуки молодой души.
Молчит, стареет, гордый.

* * *

Сегодня мокро, и знакомо
Светает в мире заоконном.
Нет звёзд. Всё небо в молоке,
Но тучи будто налегке:
Воздушны, сплетены узором,
Разбрасываясь снежным сором,
Стирают пестроту дворов.
Макушка осени. Покров.

* * *

На юге небо пенится.
Ни жарко, ни тепло.
Гигантская вечерница
Расправила крыло.

Бессуетно, размеренно
Просматривает мрак.
Уверена, намерена
Расшевелить овраг.

Брезгливо травы прячутся,
Но звёзды высоки.
Беззлобная захватчица
Вспорхнула у реки.

Ни писка, ни шуршания,
Но дух не спрятать в сон.
Покорное лежание,
Невысказанный стон.

Сгребает раздобытое:
Скорей, скорей, скорей, —
И сладости убитые
Несёт для дочерей.

● ● ●

Слишком много в моей голове огней,
Из-за них мы стали бедней.
Монументами жизни стоят ТЦ,
А внутри—человек, в кольце.

Двери настежь, если они на вход,—
Заходи, вводи промокод.
А внутри—кто там его разберёт:
Где фуд-корт, а где дымоход?

Слишком много в моей голове детей,
Не узнавших вины людей.
Как подсолнушки жили они на земле,
А теперь—в моей голове.

И давно я их у себя ношу…
Дай хоть выпишу—напишу,
Помолюсь Марии и Малышу
И прощения попрошу.

Слишком много в моей голове смертей,
Но болит она без затей:
Нурофен и жажда закрыть глаза,
Но нельзя закрывать, нельзя.

А иначе мы сами тогда сгорим,
Не ответив на горечь им.
Сядем в кресло, о чём-то поговорим
И посмотрим
последний
мультфильм.

● ● ●

Усталый воздух в комнате моей
Сокрыт от мира в кубике квартиры.
А за окном фигуры тополей
Стоят в метели, как ориентиры.
И всё в движенье, в холоде, в зиме,
Весь город будто не в своём уме.
Всё сыплется, всё падает, летает,
Мешает жить, ходить и—нет, не тает.
А я смотрю на это из окна
И думаю: как кстати я больна.

В парк

Выходит девочка и думает о том,
Что будет парк и солнце, а потом
Мороженое, целое, большое,

Что будет белка, ждущая орех,
Индеец с перьями, и музыка, и смех,
И все вокруг своё, а не чужое.

Выходит женщина и думает не так.
Она давно планировала парк.
Но отдыхать уж очень непривычно.

Пусть кашель недолечен и хрипуч,
Но парк прекрасен, свеж и всемогущ.
Ребёнок рад. И значит, всё отлично.

Комета

— Я раздвину шторы пошире.
Не надо вставать,—
Он глядит на свою уже престарелую мать
И, как это ни больно осознавать,
Понимает:
Он для неё один в целом мире.

— Без очков—что тень для меня, что свет…
А сейчас и в очках совсем ничего не вижу.
Да и то не беда. Беда—это обездвижеть…
Ты бы сел поближе.
Ну, видно там что-нибудь?
— Кажется, нет.
....
А сестра сестре пытается указать:
— Ты не думай сдаваться! Это твоя судьба!
И какая бы между вами ни шла борьба,
Нужно много попыток—не раз, не два…
Замирают слова.
Поднимают наверх глаза.

Кареглазые обе, чуткие, как вода.
— Может быть, и судьба. Но лодка к семи годам
Не разбилась о быт, но плавно идёт ко льдам.
А свернёт—не свернёт…
Видишь? Видишь её? Вон там!
— Что-то вижу. Да.
....
А другие в комнате ждут:
— Пусть не верит, а я не брал!
Пусть я хулиганил много, но никогда не крал.
Это он всё про деньги: «сделка», «кредит», «аврал»…
А я и без денег крут.

Смотрят в узоры звёздного полотна.
— Я не хочу загадывать наперёд…
Думаю, он найдёт и тогда поймёт:
Стыдно винить того, кто тебе не врёт.
Это его убьёт.
Вскакивают у сумрачного окна:
— Вон она! Вон она!
....
Кто созерцает, кто загадывает успех…
Каждый в своей строке небесного списка:
Этот—повыше, этот—довольно низко…
Но комета летит максимально близко
И видит их всех.

● ● ●

«Полароид» выцвел, но храню.
Папины усы, спина прямая.
Маму молодую обнимая,
Он подобен богу и огню.
А ребёнок—куколка, цветок.
Разве шьют теперь такие платья?!
Это фото—вечное объятье—
Мой сердечный клапан, кровоток.

Дмитрий Косяков

Направление

Благодарение мудрой природе: личного бессмертия нет, и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас,—людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть, чудесною силою соединённых воль победят смерть. Радостный привет людям будущего!

Максим Горький

Вместо пролога

Дороги, дороги… Они зовут нас вперёд, они уводят назад. Кто-то так стремится на запад, что оказывается далеко на востоке. Правое гордо именует себя левым. Борьба со вчерашним днём приводит воителя в день позавчерашний. Из-за всей этой путаницы иные мудрецы и вовсе говорят, что и нет никакого движения, что нет ни завтра, ни вчера, ни ближе, ни дальше, что есть только вечное возвращение или незыблемое равновесие, единая мера и одно измерение.

Часть 1

Короче, он решил ехать. В Питер. А что? Все ведь едут. А те, кто не едет, без конца говорят о том, как они собираются уехать. По крайней мере, среди его знакомых. Иногда они возвращаются, и от них исходит мистический свет: они побывали *там*, они вдохнули тот воздух и навеки возвысились над толпой безликих провинциалов.

Те, у кого родители побогаче, едут прямо в Европу или США. Но это он считал предательством родины. А в том, чтобы переместиться из провинции в Санкт-Петербург, ничего непатриотичного нет. Даже наоборот: ведь истинная Россия где? Вообще, что такое истинная Россия? На этот вопрос он давно себе ответил.

Вопрос о России вставал перед ним непрерывно на протяжении многих лет—в виде скинхедов, которые горланили: «Слава России!»—на рок-концертах, а потом подкарауливали и били «волосатых» на выходе или в туалете; в виде нацистских газеток, которые подсовывал ему студент-историк; в виде пьяных гопников, почему-то именно ему желавших отомстить за смерть русских солдат в Чечне.

Для себя он решил: Россия—это русская культура. Стало быть, Россия—там, где в данный момент читают Достоевского и слушают Чайковского. И уж, конечно, в Питере этим занимаются куда чаще, чем в его городе. В его городе знаменитые писатели останавливались лишь пару раз, да и то проездом. На некоторых домах висят мемориальные доски, но на них значатся имена ненавистных упырей-революционеров или каких-нибудь купцов местного значения. Никаких тебе Достоевских или хотя бы Высоцких. Правда, ходила легенда, что Высоцкий однажды был в их городе и даже исполнил несколько песен для горожан с какого-то гаража. Но из гаража, который даже и не сохранился, легенду себе не сделаешь. Местные церкви тоже ничем не прославились. Хотя в один из храмов, кажется, заходил царь, в честь чего кресты были украшены золочёными коронами, но и это не особенно вдохновляло.

Другое дело—Питер. Этот город является средоточием не только старинной, классической, но и современной культуры. Это город Гоголя и Гребенщикова, Достоевского и Шевчука… Причём если тебя больше интересуют Гоголь и Достоевский, то ты валишь в Санкт-Петербург, а если Гребенщиков с Шевчуком—то в Питер. Аркаша, конечно, собирался в Питер. Перед писателями прошлых веков он преклонялся в школе, сейчас же в его сердце царствовали русские рокеры. Когда Егор Летов ревел: «Лишь рок заставляет меня оставаться живым и открытая дверь»,—или БГ нашёптывал: «Пограничный господь стучится мне в дверь, звеня бороды своей льдом»,—казалось, что они знают нечто такое, недоступное обычным людям, какую-то тайну жизни и смерти, способную сделать его, обычного смертного Аркашу Сухорекова, бессмертным. Сколько таинственности, сколько божественной отстранённости было в этих эстрадных идолах, пророках с электрогитарами. А Аркаше как раз нужен был такой всезнающий гуру, чтобы выпутаться из западни, в которую он попал.

Да, он чувствовал себя в ловушке. Эта ловушка состояла из его окружения, из обстоятельств, из его города и из всех людей, населяющих этот город, а может, и вообще из всего, что есть на свете. Аркаша чувствовал, что задыхается, что он чужой во всех местах, в которых он бывал, в которых работал, чужой со всеми знакомыми

ему людьми, что есть в нём что-то, не находящее применения и выхода, какая-то птица, которая не смогла вовремя вырваться на волю, задохнулась в нём и теперь гниёт.

В свободное время он кружил по улицам города, словно искал что-то и никак не мог найти. Во всех разговорах со знакомыми он неизменно сворачивал на споры о смысле жизни, но знакомые либо, разинув рот, слушали его разглагольствования о смерти и о Боге, либо противопоставляли его философской казуистике что-то мелкое, приземлённое. Друзья в лучшем случае мечтали о славе поп-певцов, в худшем—вообще ни к чему не стремились и не заглядывали дальше послезавтра. Да и вообще все амбициозные люди уезжали из города в тот же Питер или в Москву. В Москву—за деньгами, в Питер—за богемной жизнью. А те, кого Аркаша видел вокруг, вызывали в нём жалость или презрение.

Жалость вызывали глуповатые, добрые, придавленные жизнью, которые просто вечно боролись с обстоятельствами, никому не делали и не желали зла, наслаждались своими маленькими радостями и удачами.

К ним относился, например, металлист Назаретх (так он произносил название любимой группы). Сутулый, шаркающий стоптанными башмаками, с отвисшими на заду джинсами и в мешковатой куртке, он был фанатом местных метал-групп, таскался к ним на репетиции и в качестве единственного слушателя тряс под их инструментальный долбёж копной нечёсаных и немытых курчавых волос. Он быстро надоедал, поскольку не был горазд на пьяные выходки и собеседником был никчёмным, вообще говорил, сильно заикаясь, и тогда его выгоняли. Он не спорил, только хлопал своими воловьими глазами с загибающимися ресницами и уходил, а через некоторое время появлялся на репетиции у другой метал-группы. В принципе, провинциальные музыкальные команды не существуют дольше трёх лет. По истечении этого срока группа либо уезжает и бесследно исчезает в столицах, либо обзаводится семьями и распадается. Появляются новые группы с молодыми и самоуверенными участниками, которые играют точно такой же долбёж, как и все предыдущие. И снова у них на репетициях сутулый, преданный Назаретх. Кстати, говорили, что он работает на каком-то заводе и вроде бы даже получает неплохие деньги, которые тратит на лечение больной матери. Эх, достоевщина…

Были вокруг и ловкие, успешные ребята, такие, которые всегда носят рубашки и пиджаки и шутят по любому поводу. Пошутят там, пошутят здесь, глядишь—а они уже помощники депутата в местной администрации. Вот их Аркаша презирал. Хотя и пришибленные добрячки вроде Назаретха вызывали в нём брезгливость.

Эти два типа—добренькие лузеры и успешные ловкачи—являли собой противоположные концы одной оси, между которыми, как бусы, были нанизаны все, кого знал Аркаша. Даже девчонки.

Было дело, Аркаша увлёкся девушкой из церковного хора. Он познакомился с ней в православном молодёжном клубе, приходил на церковную службу слушать её пение, провожал, читал стихи… И в тот момент, когда она первый раз склонила голову ему на плечо, он с ужасом убедился, что в её жизни нет ничего, что эта жизнь бесцветна, холодна и дурно пахнет. Люди представлялись ему дверями, за которыми скрывались некие помещения—их жизни. Вот так, познакомившись с церковной певчей, он словно бы заглянул в тёмный сарай: родители её были бедны и неласковы, книг она не читала, ничем, кроме религии, не интересовалась. Но в тот самый момент, когда она положила голову ему, Аркаше, на плечо, он вдруг понял, что религия ей нужна лишь как подпорка в унылой жизни и что она с радостью избавится от этой подпорки и обопрётся на Аркашу, на их совместный быт. Он, конечно, мог бы поделиться с ней всем тем, чем был наполнен сам: приучить к своей любимой музыке, заставить прочесть кое-какие книги, но… вылепил бы собственное зеркало, к тому же ещё и кривое. Скучно. И страшно. О, это ужасное чувство, когда на твоё плечо ложится голова девушки!

Впрочем, может быть, он из стыда сгущал краски и сбежал от той девчонки потому, что, прознав о ней, его снова поманила к себе Соня, любви которой он безнадёжно добивался вот уже несколько лет. Сонечка была с ним холодна и капризна, но как только он исчез с горизонта, вдруг стала писать жалостливые эсэмэски и зазывать в гости. А уж впервые испытав прикосновение Сонечкиных горячих, вечно чуть обветренных губ, он на следующий же день разорвал не успевший начаться роман с хористкой. Он понимал, как ранил этим влюблённую девочку, но серьёзное чувство к ней в нём так и не пробудилось, зато с неожиданной силой зажглась прежняя страсть к Сонечке.

Сонечка была совсем другой. Она не собиралась ничем жертвовать, она знала себе цену. Даже более того: эта цена постепенно неуклонно росла. Сонечка читала книги—фантастику религиозно-философского содержания: Толкиена, Льюиса, Честертона, Булгакова, Шмелёва; закончила музыкальную школу по классу фортепиано, также недурно играла на гитаре, сочиняла стихи и песни, просто музыку, рисовала мультики на компьютере—короче, развивала в себе различные таланты, любила танцевать и наряжаться в длинные платья и вообще тянулась ко всему изысканному и изящному. Родственники обожали её и заботились о ней. Получалось, что она может не только развлечь себя сама, но и украсить, может

быть, даже усложнить и запутать жизнь того, кто будет рядом. Она была бы в состоянии понять не только самые сложные Аркашины идеи, но и нахвататься где-нибудь иных, ещё более бредовых идей. Она рассказывала ему то про музыку сфер, то про нотные шифрограммы Баха. Пожалуй, ей даже и не нужно было Аркашиных идей, ей было довольно собственных, она упивалась, любовалась собой. И Аркаша почувствовал, что его мягко подталкивают к роли той же невзрачной девочки-хористки, которая своей пустой душой, как губкой, всасывает чужие идеи. Но его душа уже была переполнена! Он сопротивлялся, становился капризным, обидчивым, терял уверенность и обаяние, пробовал увлечься другими девушками. Ничего не выходило: Сонечка сидела в его сердце, как заноза.

Да, пора было валить, спасаться бегством от любовных вавилонов, которые он успел тут нагородить.

Покидать рабочие места было не жалко, с ними получалось как с девушками: их было много, и нигде не получалось ничего серьёзного. По полставки в пресс-службах двух учреждений культуры да спецкурс в одной гимназии — разве можно это сравнить с уделом Пелевина или Высоцкого? Но Пелевины и Высоцкие бывают только в столицах. Ничего не поделаешь, надо ехать. Все едут или говорят о том, как уедут.

Надо только порвать нити обязательств, отпроситься или уволиться с работы, раздобыть откуда-нибудь много-много-много-много-много денег на три дня в поезде или изыскать какой-то иной способ путешествия и — туда, где нас нет! Ну, не сию минуту, конечно: сперва хорошо бы излечить свой вечный насморк, помочь родителям выкопать картошку, отдать и собрать долги.

Да, он немного иронизировал над собой и над своими мечтами, но в глубине души всё равно надеялся. Надеялся, и всё тут. А как же иначе? Не для того ли телеэфир был заполнен фильмами и передачами о людях, которые пробили себе дорогу из самых низов? Главное — верить в себя и в свои силы, и тогда у тебя всё получится! «Вся жизнь впереди — надейся и жди», — повторяли на разные лады новые герои нового мира. Только место доброй феи занял рынок. Про Билла Гейтса рассказывали, что он первым додумался создать операционную систему для домашних компьютеров, когда никто и представить себе не мог домашнего компьютера, Стив Джобс якобы первый догадался тыкать пальцем в экран, и рынок обдал их золотым дождём. Русские рокеры, несмотря на суровые советские времена, сидели в подвалах и пели свои запрещённые песни. И так истово повторяли они: «У-у-у, транквилизатор…» — что рухнула тоталитарная безбожная империя, и в трещины железного занавеса хлынул всё тот же золотой дождь свободы и вознёс рокеров на вершины успеха и славы. И разогнули спины интеллигенты, и ударили в колокола новоявленные попы, и диссиденты вынули из карманов свои фиги и радостно подняли их к солнцу, и режиссёры наконец показали по телевизору сиськи, и писатели наконец стали писать с матом и про Бога. В общем, наступил полнейший духовный ренессанс.

Но важно учесть, что петь про транквилизатор надо обязательно в одной из столиц. Шевчук просиял только после того, как перебрался из Уфы в Питер, то же самое и с Башлачёвым, и с Суриковым, и с Ломоносовым. Пожалуй, один только Егор Летов сумел пробиться, не вылезая из Сибири… Короче, в Москву, в Москву! Точнее, в Питер, в Питер!

Первым делом предстояло решить две главные задачи: жильё и работа. Во-первых, ещё не объявляя широко о своём намерении, он стал активнее переписываться со знакомыми рокерами, которые уехали в Питер чуть ранее. Нужно было ненавязчиво выяснить их квартирные условия и подтвердить благодаря общению свой дружеский статус, чтобы не стыдно было напроситься пожить у них несколько первых дней. Ценную помощь неожиданно оказала мама. Оказывается, в Питере жил один знакомый её детства. Она написала ему, и тот вроде как обещал оказать содействие с жильём.

Ох, жильё, жильё… В этом плане Аркаша не так уж много терял, покидая родимый город. Он делил двухкомнатную секционку со своей сестрой, её мужем и новорождённой дочерью. Отношения с сестрой и раньше были неважные, а на почве квартирного вопроса они испортились окончательно. Общий коридор и санузел вечно становились полем битвы. Кто на какой крючок повесил одежду, кто как долго моется и как громко испражняется — поводом к перепалке могло послужить всё что угодно. Каждое утро начиналось с того, что собирающийся на работу зять оглушительно харкал в раковину. Он знал, что Аркаше это неприятно (Аркаша сам неоднократно говорил об этом), но отговаривался тем, что у него пыльная работа и больное горло. Он вообще любил пожаловаться, всякая работа ему была непосильно тяжела, так что он работал лишь время от времени, бóльшую же часть года проводил дома за компьютером, сражаясь с виртуальными монстрами. Перегородка между комнатами была тоненькая, так что был различим даже стук клавиатуры. Зять был толстый, весь заросший чёрным волосом; Аркаша вообще удивлялся, как в их комнатушке ещё оставалось место для его сестры и племянницы. Сестра и правда ходила постоянно какая-то пришибленная. Зачем же эта вечная отличница, прочитавшая немало умных книжек, вышла замуж за бесформенное волосатое животное, не развитое ни интеллектуально, ни морально, ни физически?

Как они планируют воспитывать появившееся у них крохотное существо? Постоянные раздумья о жуткой бессмыслице жизни людей за стенкой мешали Аркаше сосредоточиться, ему хотелось возвыситься или, по крайней мере, оторваться от того, что они воплощали, ему было страшно, что вот в такую же безысходность упрётся и его собственная жизнь, что через стенку к нему просочится апатия и проникнет в мозг. И это тоже прибавляло очков в пользу отъезда.

Проблема работы распадалась на две задачи: более сложную — отыскать вакансию на новом месте, и более простую — уволиться с текущих мест работы. Что и говорить, увольняться по собственному желанию (то есть действительно по собственному желанию, а не с такой формулировкой под давлением работодателя) — это одно из величайших и возвышеннейших наслаждений в современном мире. Чувство свободы, когда ты идёшь по коридору уже не как служащий, а как частное лицо, переполняет; выходишь на улицу, а там в любом случае — хорошая погода. Да, Аркаше было приятно сообщать о своём отъезде и видеть огорчение на лицах добрых директрис гимназии, детской библиотеки и Дома творческих союзов; приятно было на вопрос о причине ухода говорить с апломбом: «Вот, в Петербург собрался». А они в ответ кивали с пониманием: конечно, все молодые и перспективные уезжают в столицу, нашими зарплатами их не прельстишь. Приятно было рвать корни.

А вот поиск новой работы не приносил такого удовлетворения и вообще проходил совсем не так гладко. Вакансий в культурной столице было много, но все они были разбросаны по разным сайтам, так что приходилось регистрироваться на них и писать там резюме; более того, большинство работодателей требовали выполнения конкурсных заданий, ссылок на странички кандидата в соцсетях. Аркаша чувствовал себя конём на ярмарке, которому каждый норовит заглянуть и в зубы, и под хвост. Работодатели были исполнены важности и высокомерия, а Аркаша, хотя ещё не получил от них ни копейки, был обязан заискивать и писать подобострастные сопроводительные письма.

За неделю ему удалось лишь нащупать неполную занятость в одной школе-интернате. Больше ничего. От сайтов, вакансий и версий собственного резюме у него уже голова шла кру́гом и даже слегка подташнивало.

Итак, работа никак не находилась, перспективы терялись в тумане, но мосты были уже сожжены. Он назначил Сонечке встречу, чтобы в очередной раз окончательно всё решить. Сонечка великодушно согласилась. Может быть, в глубине души он надеялся, что она попросит его остаться, и тогда поездку можно будет отменить. Ну а нет так нет — тем более невыносим и ненавистен станет ему его провинциальный город, в котором нет ни одного Шевчука или хотя бы половинки Гребенщикова и в котором никто не в состоянии оценить его тонкую и таинственную поэтическую душу.

Однако не в добрый час задумал он паковать чемоданы. Всё это происходило летом 2008 года. Аркаша не знал, что этот год запомнится людям как первая волна мирового экономического кризиса. Да и откуда ему было это знать? Открывал новостные сайты в Интернете он со смесью растерянности и брезгливости. Мировой хаос обрушивался на него всей своей запутанностью, а главное — грязью. Эпизоды кровавых войн перемежались сообщениями о сексуальных скандалах из жизни поп-звёзд, за историей о массовой голодовке на заводе следовал рассказ о котёнке на дереве. И всё это тонуло в цифрах — статистических показателях, процентах, датах и, конечно же, деньгах, деньгах, деньгах…

Между тем и сама его жизнь начинала потихоньку теряться в этом хаосе: всё становилось зыбким, почва под ногами понемногу таяла, расплывалась, вот уже он нигде не работает, никаких далеко идущих планов… Единственной моральной опорой в эти дни для него стали статьи и лекции любимого православного проповедника.

> Однажды сердце ожигает мысль: «зачем я тут? Что такое человек? Что такое моя жизнь? Просто тире между двумя датами на могильном памятнике? А человек — просто покойник в отпуске? Меня не было целую вечность и потом не будет тоже вечность. И вот из этой тьмы меня отпустили на побывку. В этом ли смысл моей жизни? Это ли „всё, что останется после меня“?». И тогда понимаешь: моя биография не сводится к истории моего тела, то есть в конце концов к истории моей болезни — от первого зуба до последнего инфаркта.

Так говорил проповедник на рок-концерте в перерыве между выходами рок-групп, и Аркаша, глядя видеозапись этого выступления в Интернете, с лёгкостью решал загадки проповедника, ведь отгадку священник носил на своём пухлом животе. Бог — ответ, который религия даёт на все вопросы. Если человек не навсегда, то он не имеет смысла. Значит, зачем я здесь? Затем, чтобы отыскать бессмертие. Жизнь коротка, счётчик запущен — если не успеешь спастись, то сгниёшь в могиле. Единственный, кто может дать человеку бессмертие, это Бог… Если Он существует. А если нет? Неужели тогда в жизни человека нет никакого смысла?

Разобраться в этом всём Аркаша тоже намеревался в столице. Там — старинные величественные храмы, там самые преосвященные священники, там самые боговдохновенные рокеры. Они помогут Аркаше подобрать отмычку от райских врат,

ну, или, как пел Цой: «Если к дверям не подходят ключи—высади двери плечом». Рокеры постоянно пели о Боге, пели так, как будто не просто были абсолютно уверены в Его существовании, но будто Он жил в соседней квартире и порой к ним за солью приходил.

Загадочным, непонятным исключением среди них был Егор Летов, так и не перебравшийся, несмотря на свою бешеную популярность, ни в одну из столиц, затворничавший в своём холодном Омске. «Замедленный шок, канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, раскалённый асфальт…»—стонал Летов, явно наблюдая данный пейзаж из собственного окна или во время уединённых прогулок, однако, несмотря на окружавшее его уныние, отказывался расстаться со своей малой родиной. Казалось, он ближе всех подошёл к черте потусторонних миров… И вот уже несколько месяцев, как он умер. Ничья смерть не производила ещё на Аркашу такого сильного впечатления, ни одну утрату он не воспринимал так лично. Бабушка и дедушка по маминой линии скончались на другом конце страны, а Летов жил много лет рядом с Аркашей внутри магнитофона, рассказывал свои страшные сказки и цветные сны…

Теперь его не стало, а значит, единственный человек в мире, кто привязывал его к российской провинции, кто мог изменить маршрут «периферия—Питер—царство Божье»,—это была Сонечка. Когда Аркаша смотрел в пропасть её чёрных глаз, ему казалось, что от Сонечкиных объятий до рая путь ещё короче. И если даже за Сонечкину любовь пришлось бы заплатить путешествием в ад, а то и полным исчезновением, Аркаша был согласен и на такой расклад. Однако шансы на завоевание Сонечкиного сердца в последние полгода всё уменьшались.

Есть в отношениях с девушкой такой момент, когда ты начинаешь ей писать и звонить чаще, чем она тебе. Ты спохватываешься, пытаешься поправить ситуацию, но ничего не получается: ты молчишь день, ожидая, что она сама даст о себе знать,—и она молчит день, молчишь другой—и она тоже. И всё это время тебя грызут сомнения: может быть, ты что-то не так сказал? чем-то обидел? Ищешь объяснений и оправданий для её поведения и для того, чтобы всё-таки написать, позвонить, зайти… Рука так и тянется к телефону. Не успеешь оглянуться, а уже сам отправил злосчастное сообщение. Что-нибудь такое жалкое, шутливо-заискивающее. А в ответ тишина или что-нибудь односложное. Вы, конечно, ещё встретитесь (предлог всегда можно найти), но стоимость твоих акций упала на несколько пунктов… Да, отношения, которые знал Аркаша и которые знали все вокруг (за исключением только литературных персонажей),—это был грубоватый и не сильно честный торг, слегка прикрытый романтикой, как салфетка в ресторане прикрывает поданный на подносе счёт.

В конце концов, из чего они состоят, эти отношения? Из подарков, из совместного хождения по магазинам, то есть из траты денег на бесполезную ерунду, из посещения кино, кафе, поездок куда-то (опять же не бесплатно). Причём стоимость подарков, уровень кафе, объём совместных покупок—всё это безжалостно и в лучшем случае бессознательно подсчитывалось, суммировалось, после чего подводился итог.

Сонечка влюбилась в него четырнадцатилетней девочкой, а теперь ей уже перевалило за двадцать, и она осознала, что свет клином на Аркаше не сошёлся и что ей ещё предстоит оценивать и выбирать.

Аркаша снова не сумел проявить выдержку—прибыл на свидание сильно заранее. Да и в чём смысл этой «выдержки»—в том, чтобы имитировать равнодушие, когда твоё сердце трепещет, как пёрышко на ветру? К чему превращать любовь в театр, если она—единственный шанс для человека стать чуть живее и естественнее?

Он назначил встречу в самом романтичном месте, какое знал. Кстати, оно и находилось неподалёку от Сонечкиного дома.

У берега реки ещё в индустриальные советские времена была создана бухточка для ремонта кораблей; наверху насыпи, отделявшей бухточку от реки, посадили тополя и устроили аллею. Сейчас проход к аллее был перегорожен, и попасть сюда мог только тот, кто обладал лодкой или знал про дырку в заборе. Аркаша и Сонечка относились ко второй категории.

Сначала Аркаша миновал многоэтажку с очень узеньким двориком, потому что сразу за ним дорога резко уходила под откос—к реке. Он прошёл вприпрыжку по неровным растрескавшимся ступенькам, отыскал место, где прутья ограды были разогнуты каким-то неведомым силачом, и погрузился в разнотравье. Машины боялись ездить или парковаться здесь, поскольку берег имел свойство периодически осыпаться; чиновники тогда ещё не догадались осваивать бюджет на выкашивании травы—и зелень на берегу произрастала совершенно неподконтрольно: крапива и иные кусты поднимались выше пояса, деревья раскачивали непричёсанными гривами, всё дышало, шелестело вокруг, гасило рёв ближайшей автострады. Слева сверкала река, справа за кустами, переплетёнными с ветхой проволочной оградкой, как потусторонний мир, виднелась территория старого детского садика с его загадочными и чудесными строениями: верандочками в виде домиков, вросшими в землю качелями, сделанными из раскрашенных покрышек, или вырезанными из пней

фигурами сказочных персонажей. Сколько раз Аркаша ни проходил этой дорогой, территория садика всегда пустовала, словно время за оградой остановилось в момент сон-часа. Скорее всего, конечно, летом садик не работал.

Наконец он вышел на насыпь. Теперь справа тоже была вода, но не бойкая речная, а неподвижная и задумчивая вода бухты, в центре которой, как призрак, застыл ржавый остов катера. Высоченные тополя протягивали друг другу руки с разных сторон аллеи, их объятия смыкались над Аркашиной головой. Ему хотелось верить, что это место обладает чудесной силой примирять сердца, что у корней этих тополей однажды будет зарыт топор вражды и отчуждения, невесть откуда возникших между ним и Сонечкой.

Он не умел медленно ходить, всегда двигался быстро, даже когда гулял, даже когда гулял с Сонечкой, и ей постоянно приходилось его осаживать. Вот и теперь, хотя Аркаша прибыл слишком рано, он шагал так, словно боялся куда-то опоздать, и очень скоро оказался в самом конце насыпи, на небольшой асфальтовой площадке. Теперь вода была с трёх сторон: слева, справа и впереди. Он оглянулся назад, на изогнутую дорожку. Из-за поворота, из-за ряда тополей должна была показаться Сонечка. Растрескавшийся асфальт был устлан листвой. Август перевалил за середину, и какой-нибудь лист нет-нет да и возвращался к корням с голубой высоты. Единственный дворник этого участка, ветер, иногда сметал часть листьев в реку, и они терялись среди солнечных бликов на поверхности воды. Аркаша поёжился. В последнее время он слишком часто стал думать о смерти. Мрачные мысли могли появиться по любому поводу: при звуках музыки уже умершего композитора, при воспоминании о своих родителях или при встрече с любым пожилым человеком. Ему хотелось чем-то ухватиться за жизнь, вцепиться в неё зубами, чтобы ничто не смогло разлучить его с небом, ветром, гаснущим огнём заката. Да Бог с ними, с большими и прекрасными вещами, если бы можно было сохранить от всей Вселенной хотя бы коробок спичек, или зубную боль, или только звук собственного имени, произносимого незнакомым голосом… Он отлично понимал, что с ним творится неладное, но не знал, чем себя исправить, где же тот святой отец, который усмирит его страхи, избавит от одиночества и приведёт к Богу. Обращаться к психологу он и не думал, и не только потому, что вообще с недоверием относился к науке, не хотел доверять свою душу тем, кто не верит в её существование, но и ещё потому, что образ психолога, в основном почерпнутый из американских фильмов, образ гладкого, респектабельного, самодовольного филистера с лошадиным оскалом и притворным сочувствием во взгляде вызывал в нём отвращение. Если психология призывает превратиться в нечто подобное, причёсанное и гладко отполированное, то он бы предпочёл хранить свои страхи и свою тоску как величайшую ценность.

Иное дело священники! Собственно, образ мудрого гуру впервые явился ему в фильмах про кунг-фу: всезнающий учитель наставляет героя на путь добра и помогает победить внутренних демонов. За спиной у шаолиньского гуру стояла древняя традиция, а за спиной у американского психолога стоял торшер и висела пошлая фотография какого-нибудь курорта. Уже в девяностые отечественный кинематограф переработал китайского гуру в православного священника. Он появлялся в сюжете всего на несколько секунд и ближе к концу, когда герой уставал от борьбы и терял веру в собственные силы. Священник с мерлиновской бородою произносил несколько дежурных фраз, лил запредельный свет из глаз, и герой мигом преображался, обретал духовную силу и решал все свои проблемы. Примерно на такой же поворот сюжета рассчитывал и Аркаша.

Но священники, с которыми ему доводилось общаться, всегда говорили одно и то же: надо больше молиться и чаще ходить в церковь. Если же они отступали в своих речах от этой ясной любому верующему идеи, то становились похожи на самых заурядных людей, таких же, как и большинство Аркашиных знакомых, не облечённых мистической силой и не облачённых в длиннополые мантии, и говорили нечто обыденное, ничего нового не дающее ни уму, ни сердцу. И от этих обыденных речей ему становилось ещё тоскливее.

Чтобы не думать о смерти, он стал думать о Сонечке, собрал всё внимание на чувстве к ней, но мысль прыгала туда-сюда. Тогда он стал сочинять стихи, чтобы при помощи слов дать разуму нужное направление. И вот что у него получилось:

Парус лазурный на мачте распят,
Ветер дрожит на канатах,
Волны невольно под килем кипят,
Пьяные кровью заката.

Сколько мы вместе проделали миль
И горизонтов минули,
И, наклоняясь над краем земли,
Смерти в глаза заглянули.

Прощай, каравелла, прощай,
Отныне я связан с землёй.
Прости мне мою печаль:
Мне трудно расстаться с тобой.

Будет команду теченье нести,
Прочь отгоняя тревогу,
Одних я повесил, других—покрестил,
Благословляя в дорогу.

Ты — Санта-Роза, ты Дочь Зари,
Нет уже трапов над бездной.
Солью забрызганы щёки мои,
Сердце заходится песней.

Прощай, каравелла, прощай,
Отныне я связан с землёй.
Прости мне мою печаль:
Мне трудно расстаться с тобой.

Плыви, каравелла, плыви
И курса вовек не меняй,
К берегу новой любви
Отправишься ты без меня.

Аркаша остался доволен написанным, рифмованное заклинание сработало и по крайней мере дня на два окружило его сердце защитным куполом, непроницаемым для сумрака сомнений. Стихотворный образ установился в нём, как стержень, вокруг которого упорядочился хаос мыслей и чувств.

Это было весьма кстати, поскольку из-за поворота аллеи появилась едва различимая фигурка, в которой Аркаша мгновенно узнал Сонечку. Прежде чем стало различимо лицо или хотя бы цвет волос, он опознал её характерную неровную походку, особенную угловатость, порывистость движений. Но эту походку он считал прекрасной, потому что это была *её* походка. Сонечка приблизилась. На ней было новое яркое платье цвета морской волны. В остальном это была прежняя Сонечка, с её смугловатой кожей, которая всё же казалась бледной, поскольку глаза её были черны, как безлунная ночь, а губы безо всякой помады имели тёмно-малиновый цвет, словно бы кто-то истерзал их жадными поцелуями. Конечно, Аркаша мог ручаться, что до сих пор эти губы целовал только он, а он делал это крайне осторожно и трепетно. Но… такие уж это были губы! Тёмные волосы волнами спускаются на плечи. Над глазами густые брови, что выдаёт страстную натуру. Когда она улыбается, видно, что клыки хищно выдаются вперёд. Но сейчас она не улыбается. Она напряжена, очередная встреча с Аркашей ей в тягость.

И он сразу почувствовал это и захотел чем-то растопить возникший между ними лёд, но не знал как. И он не знал, как заговорить с ней. Может быть, ему и следовало просто честно изложить всё это — дать вырваться первым словам, которые пришли в голову, поскольку он был всё-таки поэтом, и когда отключал разум, голову его заполняли не особенно глубокие, но искренние стихи.
— У тебя новое платье, — в итоге сказал он.
— Тебе нравится? — спросила Сонечка, она слегка картавила.
— Да, — сказал он, хотя на самом деле ему было всё равно: его интересовало то, что под платьем… То есть… Ну, в смысле, сама Сонечка, а не её одежда.
— Вот увидишь, скоро все будут так ходить. Помнишь, прошлым летом я ходила в розовом, а к концу лета все стали так наряжаться? Теперь я снова предугадаю моду.

Аркаша подумал, что нет ничего хорошего в том, чтобы стать таким, как все, ещё раньше остальных, но вслух лишь пробормотал:
— А мне кажется, что все так и будут в розовом ходить.
— Много ты понимаешь в моде! — обиделась Сонечка. — Ты вон даже обувь себе новую не можешь купить, хотя я тебе говорила.
— Слушай, мы ведь не для этого с тобой встретились, — поспешил переменить тему Аркаша.

И тут же задумался: сначала сказать про свой отъезд, а потом прочесть стихотворение, или наоборот? Обе карты были козырные.

Он решил начать с отъезда и предложил девушке выбор: либо сразу ехать вместе с ним, либо он один поедет готовить плацдарм для их совместной жизни в Петербурге. Сонечка ведь давно мечтала о жизни в столице и не упускала случая в разговоре с Аркашей указать на убогость провинциальной действительности и на насыщенность культурной жизни в центре, точнее, на западе России. Правда, Сонечку «рвало» немножко в другую сторону.
— А почему не в Москву? — спросила она с убийственным равнодушием.
— Ну, в Питере культура, а в Москве деньги.

Сонечка обиженно хмыкнула и принялась перечислять ему знаменитые московские театры, институты искусств, деятелей культуры, проживающих в Москве. Но Аркаша возразил:
— Да дело ведь не в этом. Не в том, сколько Макаревичей проживают в Москве. А в том, что там они теряются под толстым-толстым слоем бабла. Когда мы с тобой туда ездили, я же видел, что весь центр — сплошная карусель из дорогущих ресторанов, магазинов, банков и министерств…
— Ага, а кто со мной ходил в рок-кафе на концерт группы «Тарарам»?
— Я не говорю, что там совсем ничего нет… Кстати, это рок-кафе было втиснуто в какой-то простенок на тёмных задворках.
— Задворках? — ещё больше возмутилась Сонечка. — Малашин переулок — вообще культовое место!
— Что-то я впервые про него тогда услышал.
— Ещё бы, — дёрнула плечом Сонечка, смерив его презрительным взглядом, цыкнула, вздохнула с подрёвыванием, давая понять, что в такой дыре, которую в данном случае он, Аркаша, олицетворяет, никто и не может знать о Малашином переулке, а если бы и знал, то это было бы оскорблением глубокоуважаемого переулка.

Аркаша видел, что она настроена воинственно, но ничего не мог с собой поделать: в нём как будто сорвалась с резьбы долго и безжалостно

закручивавшаяся гайка, и теперь он дал волю накопившейся обиде. Тем более что Сонечка вовсе не просила его остаться, а просто хотела, чтобы он уехал от неё не в Питер, а в Москву.

Изломали копья, прошлись, молча выпуская пар, но так и не остыли. Конечно, он прочитал ей стихи, но они не произвели на пресыщенную его поэтическими посвящениями Сонечку должного впечатления. Она легко разгадала систему символов стихотворения, высказала догадку, что под «командой» имеется в виду местная рок-группа «Чёрные цветы», для которой Аркаша писал тексты, и с усмешкой заметила, что напрасно Аркаша ставит себе в заслугу суицидальные потуги их бывшего басиста. Финал встречи скомкался, удручённый и озлобленный Аркаша поспешил откланяться, а два билета на поезд так и остались лежать в кармашке его рюкзака.

На обратном пути, прижавшись лбом к автобусному окну, он думал: как так вышло, что за какой-нибудь год с прелестнейшего котёнка облетел нежный пушок, из-под которого появилась колючая щетина? Конечно, тут и его вина: он был старше, но не сумел уберечь, сохранить… А теперь жестокий хирургический эксперимент, который они проделывали друг над другом, завершён, и никто из них не в силах повлиять на дальнейшую судьбу другого. Значит, надо отбросить воспоминания и снова начинать поиски любви с самого начала…

«Тем лучше. Тем лучше»,—повторил он себе несколько раз, а потом, чтобы не забыть, принялся мысленно декламировать недавно сочинённое стихотворение и настроил радиолу своей души на умиротворённо-лирическую волну. «Пускай я потерял Сонечку, но уж это стихотворение у меня никто не отнимет. А стихотворение-то хорошее»,—с удовлетворением подумал он. И уже на следующий день назначил «прощальное свидание» другой девушке.

Девушку звали Жанна. Она была неглупа, хотя и не так блестяща и талантлива, как Сонечка. Правда, Жанна увлекалась фотографией, но ведь всякий молодой человек, накопивший денег на полупрофессиональную камеру, уже считается фотохудожником. Главное же, Жанна обладала тем, чего не было у Сонечки,—роскошным телом.

Она была выше Сонечки и полнее, но не слишком, а так, что руки, ноги, плечи вместо Сонечкиной демонической угловатости имели приятную округлость, мягкость. Эта сочность, этот достаток подчёркивался тонкой талией. Спину она держала прямо, в то время как Сонечка вечно сутулилась за своим фортепиано. Движения Жанны были плавны, почти танцевальны, не в пример резким жестам Сонечки. Грудь Жанны была округла и упруга, девушка не упускала возможности похвастаться ею, наряжаясь в обтягивающие кофточки или платья с глубоким вырезом. Вообще же одевалась она без особой претензии (ей нечего было доказывать и нечего стыдиться), предпочитала лёгкие яркие ткани, подражая героиням Болливуда. Её тянуло в сторону Индии, Аркаша подозревал её в кришнаитстве.

Увлечение религиями Востока широко распространилось среди молодёжи, особенно девушек. Девушки переставали есть и осваивали техники ритмического дыхания. Однако любопытный нюанс: ведические книги, которые Аркаше на улице предлагали молодые люди экзотического вида, все были сплошь написаны авторами с английскими фамилиями. Плейлист Жанны был заполнен мантрами в обработке Джорджа Харрисона, а с афиш заезжих гуру буддизма или индуизма на Аркашу голубыми глазами смотрели блондины с улыбками тех самых психотерапевтов из американских фильмов. У Жанны были карие глаза и толстая чёрная коса, что лучше сочеталось с индийским образом. Вообще лицо её было очень красиво, хотя и не озарено огнём вдохновения, как у Сонечки. Брови у Жанны были тонкие, и она умела приподнимать только одну, когда удивлялась слегка (а когда удивлялась сильно, приподнимала обе, как все). У неё был аристократический нос с горбинкой, однако своей грузинской или армянской фамилии Жанна почему-то стеснялась и подписывалась в Сети как Жанна Солнечная. Несмотря на свою редкую красоту, а может, в некой загадочной связи с этим своим качеством, Жанна принципиально не любила фотографироваться. Возможно, это было связано с какими-то суевериями. Аркаша, почитавший иконы и бывший не прочь разжиться фотографиями прекрасной Жанны, пробовал разубедить её. Но на его христианские доводы девушка не реагировала и вообще отзывалась о православии с иронией, что несколько коробило Аркашу. Да, слишком во многом они были несходны, и всё же желание припасть к бюсту Жанны было превыше любых религиозных противоречий.

Для объяснения можно было бы пригласить Жанну к себе, но предыдущая попытка устроить романтический вечер дома позорно провалилась: когда дело дошло до бутылки вина, оказалось, что у Аркаши нет штопора, он попытался вынуть пробку при помощи ножа и вилки и сильно поранил палец. Жанна не переносила вида крови—вечер был испорчен безвозвратно.

Аркаша понимал, что девушку полагается водить в ресторан или кафе, но в подобных местах он чувствовал себя скованно и робко; сейчас же ему необходима была уверенность, чтобы поманить Жанну за собою в Северную столицу. Да и читать стихи в ресторанах было совершенно невозможно, поскольку там постоянно играла музыка. А ведь у каждого стихотворения—своя мелодика, его нельзя исполнять «под чужую дудку».

Поэтому он выбрал местом встречи заросший травой и редкими деревцами остров — последнее зелёное лёгкое задыхающегося в бензиновом угаре города. Жанна снова была притягательно-прекрасна: она распустила косу, нарядилась в юбку и кофточку тёплых цветов, надела блестящие украшения и теперь сделалась похожей на цыганку. Это несколько обнадёжило Аркашу: может быть, поостыло её увлечение ведами? Но, в лучших российских традициях, разговор о предстоящей поездке невольно сполз на споры о Боге.

Жанна на Аркашины проповеди ответила строчкой из песни Егора Летова (надо сказать, что познакомились они на концерте «Гражданской обороны»). Жанна заявила, что призыв Летова: «Убей в себе государство!» — она распространяет и на государственную религию. Аркаша стал горячо возражать, что Егор сам считал себя православным, а призыв его относился к безбожному советскому строю.

— Стало быть, песни Летова умерли вместе с Союзом? Пара лет — недолгая жизнь… Зачем же он их пел на том концерте? — Жанна приподняла одну бровь.

Аркаша словно споткнулся о невидимый порог. А потом стал уговаривать девушку почитать труды того самого проповедника, не боявшегося выступать на одной сцене с рокерами. Сам Аркаша при чтении богословских статей с готовностью подчинялся логике батюшки, в юности закончившего факультет научного атеизма, и он был уверен, что хитроумные аргументы сокрушат сопротивление Жанны и загонят заблудшую овечку в церковное стойло.

Девушка же в ответ рассказала ему восточную притчу:

— Юноша пришёл к одному мудрецу и стал расспрашивать его, что он думает по поводу тех или иных учений. Пока юноша говорил, мудрец наливал чай. И вдруг юноша увидел, что мудрец льёт в его чашку через край, и сказал ему об этом. «Так и ты, — сказал мудрец, — переполнен излишними знаниями».

— Вот мудрец-молодец, — усмехнулся Аркаша. — Нет бы честно сознаться, что ничего он по поводу вопроса юноши не знает и сказать ему не может. Ещё и пролитый чай сюда приплёл. Аналогиями можно доказать всё что угодно. Юноша бы мог в ответ вылить весь чай из кружки и делать вид, что пьёт из пустой, сказав, что так же и этот «мудрец» притворяется, что наполнен чем-то, а в самом же деле пуст, или стукнуть старика палкой по голове и сказать, что его речи, как эта палка: причиняют головную боль, но не вразумляют.

Жанна приподняла обе брови:

— Не ты ли пытался убедить меня, что причастие необходимо, сравнивая его с лекарством? Тоже ведь просто аналогия — не более.

Аркаша прикусил язык. Получалось, что его критика прочих религий легко обращалась против его собственной веры.

— Хорошо, ты призываешь меня отказаться от моей религии и вообще перестать забивать себе голову всякими теориями, книгами, перестать задумываться над проклятыми вопросами. А что ты предлагаешь взамен? Что надо делать-то?

— Да просто жить, — воскликнула Жанна. — Жить, наслаждаться жизнью!

— То есть давайте будем жрать? — напомнил он ей другую строчку Летова.

— Во всяком случае, это лучше, чем постоянно молиться и забивать себе голову чем попало.

Аркаша пожал плечами: мол, на вкус и цвет…

Над ними раздалось карканье вороны, похожее на звук саксофона. Они двигались по узкой тропинке, то рядом, то друг за другом. Аркаша с грустью смотрел на мелькающую впереди, то пропадающую за высокой травой, то снова возникающую фигуру, напоминающую язычок пламени, пламени, у которого он так бы хотел согреться. Но так уж выходило, что разница взглядов разрушала всё то, что выстраивали взаимное любопытство и общность темпераментов. Он бросал вослед девушке какие-то доводы и обещанья. Он как будто спешил вытряхнуть из себя все скопившиеся внутри слова и засыпать ими девушку или выстроить из них высокую стену, прочный фасад, чтобы спрятать за ним свою издёрганную душу.

— Не поеду я с тобой, — вздохнула Жанна, обернувшись. — Ты меня цитатами замучаешь или анафеме предашь.

Аркаша вздохнул: он ожидал такой развязки. А потом прочитал ей прощальное стихотворение о каравелле. И тут случилось неожиданное: Жанна опустила голову, и из-под закрывших лицо чёрных прядей закапали частые слёзы.

— Что же я могу поделать? Разорваться? — всхлипывая, проговорила она, и нельзя было понять, чтó заставляет её разрываться.

Аркаша был потрясён. Слёзы Сонечки, которая любила пожалеть себя, каждый раз трогали его сердце, а тут плакала сильная и гордая Жанна! Он поспешно забормотал что-то благородное и утешительное, что-то в том духе, что он всё понимает, ничего не требует, никуда не торопит и желает ей только добра, ничем не ограничивает её свободу и готов ждать столько, сколько ей будет угодно.

На том и расстались.

В автобусе Аркаша всю дорогу слушал, как один парень рассказывает другому о новой компьютерной игре «Alone in the Dark». Он подробно пересказал её мистический сюжет и мрачную атмосферу, описал игровую механику, выбор оружия, все настройки, тактические приёмы борьбы с монстрами и даже курьёзные случаи из своего личного игрового опыта в данном виртуальном мире…

«И ведь не надоедает им,—подумал Аркаша.— Интересно, одобрила бы Жанна такой способ „просто жить“ и не забивать себе голову лишними вопросами? Нет, наверное, не одобрила бы. Ведь это не жизнь, а её имитация. В её представлении, наверное, „наслаждаться жизнью“—значит, цветочки нюхать или на пляже под солнышком коптиться. Впрочем, если бы я заявил, что каждый имеет право выбирать те наслаждения, которые ему по вкусу, то она бы, скорее всего, вынуждена была согласиться. А я бы тогда сказал, что в таком случае и я имею право выбрать наслаждение поиском истины. Пожалуй, она бы опять согласилась, но попросила бы заниматься этим без неё…»

По словам Жанны выходило, что каждый человек свободен лишь в пределах невидимого шкафчика, покидать пределы которого он не имеет права, а уж тем более заглядывать в чужой шкафчик. Аркаша посмотрел в окно автобуса и увидел целый поток железных футляров на колёсах, внутри каждого из которых сидел человечек с напряжённым лицом. «Нет, я не согласен с такой свободой. Всё-таки христианство мне нравится за его невсеядность, за то, что оно предъявляет к человеку высокие нравственные требования, ставит какие-то задачи. Вот уж и правда, не сошлись бы мы с ней характерами».

«Как же так? Всё происходит романтично, красиво, но я всё равно остаюсь один! А главное, почему я просто не умею быть один? Романтическим героям или святым это удавалось так легко и артистично…»—думал Аркаша той же ночью, лёжа на своём продавленном холостяцком диване.

До отъезда оставалось двадцать дней. Собраться с мыслями мешал храп из-за стенки.

«Разные веры и культуры разделяют людей. Вот бы было здорово, если бы все люди на земле стали христианами!»—подумалось ему, и юноша даже не вспомнил, как часто христиане истребляли друг друга; вместо этого он обратил свой гнев против восточных притч.

Он встал с постели, включил компьютер и заглянул в Интернет, наугад потыкал странички электронных друзей во «вконтакте», почитал их любимые цитаты.

> «Не рой другому яму—пусть сам роет».

> «Люди могут пить вместе, могут жить под одной крышей, могут заниматься любовью, но только совместные занятия идиотизмом могут указывать на настоящую духовную и душевную близость».
> *Макс Фрай*

> «Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им тяготится и невольно тянется к вину».
> *М. Успенский*

> «О вреде алкоголя написаны тысячи книг. О пользе его—ни единой брошюры… мне кажется, зря».

Как-то так получалось, что за многими «мудростями» его знакомых скрывалось что-нибудь нехорошее: жестокость к ближнему, пьянство, стремление тратить жизнь на пустяки. А красивые, смешные или просто подкреплённые авторитетом древности или знаменитостей фразы оправдывали это всё и потому считались мудрыми.

И вот тогда он сочинил первые притчи о мудром дедушке Габхо.

Источник мудрости дедушки Габхо

Один юноша очень хотел познать истину, но не меньше любил бухать. Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:
— Учитель, что означает алкоголь на Пути Ищущего Свет?

Просветлённый старик подошёл к холодильнику и достал бутылку рисовой водки. Они долго пили, но дедушка Габхо ни слова не сказал по сути вопроса. Когда же юноша отправился домой, он едва мог стоять на ногах и в конце концов упал в грязь. В грязи было холодно, зато мягко. И тут его осенило: «Алкоголь—одновременно и источник, и решение всех наших проблем!» Он устроился поудобнее и уснул. С тех пор он стал бухать ещё больше и засыпал только в грязи.

Очищение дедушки Габхо

Один юноша любил изменять своей невесте с девушками из одного недорогого заведения. Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:
— Учитель, когда по утрам я говорю своей ревнивой невесте, что всю ночь в образе Бэтмена боролся с преступностью, она мне не верит и ругается! А когда извиняюсь перед гейшами, что не бываю у них днём, они только улыбаются и делают мне массаж. Почему так?

Просветлённый старик задумчиво почесал бороду… потом живот… потом спину… А потом, не сказав ни слова и даже не извинившись перед гостем, пошёл мыться. И ученик понял: «Никогда не надо оправдываться. Твои враги всё равно не поверят, а друзьям это попросту не нужно». Так юноша понял, кто ему друг, а кто враг.

Справедливость дедушки Габхо

Один юноша украл у бедной вдовы миллион долларов, а чтобы она ничего не заметила, зарядил ей в глаз. Потом его поймали и решили посадить в тюрьму. Юноша решил скорее обратиться за советом к дедушке Габхо. Но его не пустили из-под стражи, и к просветлённому старику (благодаря весьма шелестящей просьбе юноши) пошёл сам судья. Судья поклонился дедушке так низко, что чуть не потерял парик, а потом спросил:
— Учитель, в чём причина тех поступков, которые мы совершаем?

— Ась? Чаво? — убелённый мудрец сделал недоумевающее лицо. — Лучше помоги мне передвинуть шкаф.

И вот, когда они двигали шкаф, сверху упал тазик и стукнул судью по голове. Сначала судья обиделся на тазик, но понял, что это глупо. Тогда он обиделся на шкаф, но это тоже было глупо. Тогда он обиделся на дедушку Габхо, но это было невежливо. А на себя судья вообще не привык обижаться. И тут свет озарения настиг его: «У моих поступков нет причины. Я — совместное усилие всех тех, кого я когда-то знал!» И обрадованный судья отпустил юношу и посадил в тюрьму всех его друзей.

Уже на следующий день Аркашины притчи нахватали кучу лайков. Однако некоторые знакомые — что любопытно, совсем не те, у которых он взял «мудрые сентенции», — сочли себя уязвлёнными, о чём и заявили в комментариях. Даже Сонечка задала вопрос: «Вторая притча — это про нас? Грязно».

«Вот он, парадокс, — подумал Аркаша. — Как только начинаешь сочинять какой-нибудь сюжет, знакомые первым делом принимаются разыскивать среди персонажей себя, а потом заявляют, что они совсем не такие».

Следующей кандидатурой на поездку в Питер была Настя. Она постоянно витала где-то на периферии Аркашиной жизни, за ней ухаживали некоторые из его друзей, но Настя оставалась сама по себе и иногда предпринимала в направлении Аркаши шаги, которые можно было расценить и так, и сяк; иногда такие же шаги в Настином направлении предпринимал сам Аркаша. Например, она подарила ему на Новый год баночку леденцов, на крышке которой были изображены мальчик и девочка, отдалённо напоминающие Аркашу и Настю. Она сочинила пару шутливых романтических четверостиший о нём, и он отвечал ей тем же. Они ходили вместе на каток, но всё ещё сохраняли определённую дистанцию.

Ехать на другой конец страны одному не хотелось, а потому Аркаша подумал, что, может быть, расстояние между ним и Настей пора сократить.

Настя была ровесницей Сонечки, ещё недавно они состязались друг с другом на районных школьных олимпиадах. Явных талантов у Насти не наблюдалось: в свободное время она занималась спортом, училась одинаково хорошо по всем предметам, поступила на что-то связанное с экономикой. В то же время она не производила впечатления совершенной простушки, поскольку быстро усваивала стиль общения своих знакомых. Вращаясь в рокерской тусовке, она научилась неплохо ориентироваться в музыкальных группах, получила общее представление о современных музыкальных стилях; особенно ловко она схватывала шутки и оценки людей, бытовавшие в среде, в которую она погружалась, а потому всякий считал её своим человеком. Её охотно приглашали на всякие посиделки, тусовки и концерты, на местные мероприятия она ходила только бесплатно, но не злоупотребляла своим уровнем доступа, никому не навязывалась, держалась с чувством собственного достоинства. Кстати, о достоинствах: с ней действительно было легко, она умела говорить с собеседником на его языке, всегда могла рассказать что-нибудь забавное. Что касается внешности, то Настя обладала скорее пышным, несколько расплывчатым телом. Можно сказать, что вместе с Сонечкой она образовывала противоположные полюса Аркашиного вкуса, золотой серединой между которыми являлась Жанна. При мощном теле, которое даже несколько подавляло щуплого Аркашу своим изобилием, голова Настеньки была маленькой, что, однако, компенсировалось пышными золотыми волосами. На маленьком лице всё тоже было маленькое, что делало его выражение неуловимым: прохладные голубые глазки, аккуратный носик, небольшие ушки, губы небольшого рта были бледноваты. Вообще, от всего облика Насти несколько веяло холодом: кожа её была бледна, волосы, как уже говорилось, светлые, косметикой она не пользовалась принципиально (что Аркаша считал бесспорным достоинством). Следует добавить сюда ещё определённую монументальную малоподвижность. Если развивать сопоставление трёх дам Аркашиного сердца, то они различались и голосом: у хрупкой Сонечки он был низким и грудным, как у настоящей певицы, виртуозно владея его оттенками — от трепещущего шёпота до мощного вокала — она управляла и Аркашиной душой; у статной Жанны голос был резкий и ломкий, легко переходящий при возбуждении в фальцет; а вот у Насти голос был тихий и слишком спокойный.

Идти на приступ твердыни под именем Настя, с одной стороны, было страшновато, а с другой, Аркаше очень любопытно было взглянуть, что кроется по ту сторону нерушимой стены её уравновешенности; кроме того, его самолюбию польстило бы обладание столь большим телом.

Настя предложила встретиться у неё дома, и это был добрый знак, но всю дорогу Аркаша спрашивал себя: точно ли он хочет связать с ней свою судьбу? Некий пронзительный голос не утихал в его голове, требуя женщину. Этот голос исходил изнутри Аркаши и одновременно доносился извне. Разговоры с друзьями сводились к девушкам, о любви пели рокеры, вокруг любви вращались сюжеты голливудских фильмов, причём не просто вокруг какой-то там абстрактной любви, а той самой, объектом которой может быть только девушка с соблазнительным телом. Все остальные плюсы уже относились к разряду бонусов. Собственно, секс и представлялся кульминацией

сложной многоступенчатой торговой операции под названием «отношения». И на поводу (или даже на поводке) у этой логики Аркаша двигался по направлению к Настиному дому.

Настя встретила его одетой по-домашнему — в спортивных штанах и футболке; домашняя обстановка также произвела на него впечатление простоты, даже некоторой пустоты. В комнате Насти стояли кровать, стол с компьютером, учебниками и тетрадями, взгляду было не за что зацепиться: ни книжной полки, ни икон или плакатов на стенах. Точнее, был плакат, посвящённый фильму «Звёздные войны», но это также не предоставляло пищи для размышлений: всё-таки «Звёздные войны» — это не «Андрей Рублёв» Тарковского и даже не «Бойцовский клуб».

Вся эта обстановка вселяла неуверенность, Аркаша не решался переступать установленных между ним и девушкой границ и пока говорил о пустяках. Потом Настя пригласила его на кухню и стала угощать. От дарового угощения он не отказывался, даже когда бывал сыт, есть привык быстро и жадно: то ли сказывались воспоминания о голодных девяностых, на которые пришлось его детство, то ли опыт ребёнка из большой семьи.

— Жуй хорошо, — наставительно сказала Настя. — Кто долго жуёт, тот долго живёт.

Эта поговорка окончательно убила в Аркаше желание что-то там преодолевать и сокращать. Он посмотрел на кружку с чаем, которую пододвинула ему хозяйка, и ему показалось, что эта кружка объяснила ему очень многое. Кружка была большая, с розовым цветком на округлом боку. А чай внутри был жиденький и чуть тёплый. Аркаша даже дух перевёл, ощутив, что удержался от большой ошибки. Он ещё немного потрепался обо всякой ерунде, чем весьма позабавил Настю, и покинул её квартиру. На улице он попытался разобраться в своих ощущениях: «Ведь Настя неглупа. Просто не хватает в ней какого-то огонька. Слишком спокойное сердце. Есть ли оно там? Впрочем, если у человека нет сердца, то откуда возьмутся мозги? Одно без другого не бывает…»

К себе он возвращался уже вечером и, проходя мимо соседнего дома, заметил тёплое мерцание. Присмотревшись, Аркаша разглядел, что на асфальте рядом со стеной дома горят какие-то бумажки или тряпочки. Небольшой огонёк бросал блики на стёкла нижнего окна, однако Аркаша решил совершить гражданский поступок и затоптать источник возгорания. Он уже приблизился было к огню, когда услышал приглушённый голос:

— Не надо.

Неподалёку на скамейке сидела женщина. Она была закутана в чёрное и расплывалась в сумерках мрачным пятном; может быть, потому Аркаша и не заметил её сперва. Женщина пробормотала что-то в духе: «Это моё». И Аркаша отошёл в сторону. Шагая к своему крыльцу, он догадался, что женщина колдует, или гадает, или что-то в этом роде. Сперва он вздрогнул, а потом, поразмыслив, плюнул: мол, вот крыша поехала у тётеньки! Наверное, мужика привораживает или от водки заговаривает. Напомним, что в отношении чужих суеверий Аркаша умел рассуждать строго и здраво.

Дома он сперва уткнулся в компьютер. Раз уж все три феи оказались непригодны для дальнейшей жизни, может быть, стоило начать всё с самого начала? Открыл «вконтакте», зашёл в «Поиск людей» и стал листать бесконечную вереницу профилей девушек в своём городе, а также и в Петербурге. Он отсортировал их по семейному статусу («В активном поиске») и по убеждениям («Христианство»), но всё равно девушек получилось бесконечно много. Впрочем, профили не блистали разнообразием. Многие девушки, располагавшие красивым телом, фотографировались в полуголом виде. С одной стороны, такое предложение товара лицом не могло не радовать Аркашиного внутреннего жеребца, но с другой — ему было ясно, что, всячески выпячивая телесные стати, эти девушки стремятся скрыть отсутствие мозгов и сердца. Впрочем, возможно, это отсутствие считалось достоинством? Мол, ничего лишнего, беспримесный секс. Но ещё неприятнее было сознание того, что эти выставленные напоказ снимки обнажённых девушек демонстрируют и полное пренебрежение к уму и сердцу и даже к телу «покупателя». Красивые голые тела меняются только на богатство. Не обязательно прямо на деньги, но на красивые вещи, дорогие подарки, поездки, вообще жизненный комфорт. А без этого всего — просьба не беспокоить. Многие девушки не снимались голыми, но оттопыривали губы, как будто хотели чмокнуть фотообъектив. Таких Аркаша тоже отсекал сразу: очевидно, что дуры. Ему бы хотелось найти девушку симпатичную, но уж если не талантливую, то хотя бы оригинальную, читающую книги и слушающую рок.

Сонечка и Жанна поставили себе на аватарки не свои изображения, а нечто постороннее: Сонечка — карандашный рисунок рожицы, а Жанна — слоноголовое божество. Поэтому он стал присматриваться к страничкам девушек, которые пользовались не портретными аватарками. Это было утомительным занятием: приходилось копаться в фотоальбомах, чтобы понять, как выглядит та или иная кандидатка в музы. Увы, чаще всего оказывалось, что странные картинки на свои аватарки зачастую ставят девушки, которым не нравится своя внешность. Так что, просидев до полуночи за компьютером и ничего не добившись, Аркаша прекратил поиски.

Когда же он погасил свет, чтобы лечь спать, ему в голову стал настойчиво лезть случай с колдующей тёткой.

Когда Аркаша уже, казалось бы, начал дремать, ему померещилось, что темнота складывается в фигуру женщины, сидящей на стуле. Сперва она была похожа на ту старуху, но очень скоро превратилась в изящную молодую женщину в длинном платье и с пышной причёской.

«Так ты отрицаешь колдовство?» — спросила она, почти не шевеля тёмными пухлыми губами.

«Я против колдовства», — ответил Аркаша ещё прежде, чем успел удивиться. Сентенции религиозных мыслителей и доводы проповедников, постоянно просившиеся из его головы наружу, срывались с языка почти помимо его воли.

«Это другое», — сказала женщина, подняв одну бровь. О да, она была похожа на Жанну. На Жанну и Сонечку одновременно! И ещё на кого-то третьего, кого он не мог сейчас вспомнить.

«И я не верю в колдовство, — произнёс Аркаша менее уверенно, поскольку на этот счёт мнения его учителей раздваивались: одни верили в колдовство, другие утверждали, что... — У сатаны нет реальной силы...»

«Но ты не отрицаешь существование в мире потусторонних сил? — перебила его красивая женщина и продолжила, как будто диктовала: — Не отрицаешь мистическую основу мира и то, что мир солнечный стоит на мире лунном, как тело существует, пока в нём есть душа, как народ существует, пока жива его культура? От этой главной исходной мысли не отречётся ни один человек, если он не душевнобольной или не материалист, что в конечном счёте одно и то же. Но далее из этой точки ведут разные пути. И ты, конечно, выбрал тот, который указует учащая церковь», — закончила она с насмешкой.

«Кто ты?» — Аркаша, наконец, произнёс тот вопрос, который следовало задать с самого начала.

Она рассмеялась так, словно он привёл её в ювелирный магазин и сказал: «Выбирай», — а она невысоко ценит украшения.

«Иные называют меня Сатанесса».

Это не испугало Аркашу, скорее показалось немного нелепым.

«Так ты против церкви?» — спросил он.

Она не ответила. Лишь поднялась со стула, встала напротив Аркашиного самодельного иконостаса и перекрестилась по-православному, а затем по-католически. У неё были нежные музыкальные руки, стиснутые узкими манжетами старомодного, видимо голубого, но в темноте казавшегося фиолетовым платья с высоким воротником.

Тут Аркаша заметил, что на стуле осталась её тень. И даже не тень, а сутулый, скомканный человечек в серой пиджачной паре. Из аккуратно подстриженной бороды торчали большие уши и нос, а глаза с холодной злобой смотрели на женщину. Впрочем, похоже, злы они были сами по себе, и человечек не ненавидел ту, которая назвала себя Сатанессой, больше, чем весь остальной мир.

Между тем гостья снова заговорила:

«Я против самоумаления, самоприниженния. Добровольное рабство — худший грех».

Аркаше и нравились, и не нравились эти слова.

«А как же любовь? Разве она не требует если не самозабвения, то хотя бы самоограничения?»

Взгляд Сатанессы кинулся к сидевшему на стуле и разбился об лёд его глаз. Между взорами ночных посетителей произошёл короткий диалог, потом человечек провёл в воздухе пальцами, стряхивая невидимую паутину.

«Люблю я себя как Бога», — сказала женщина, повернувшись к Аркаше.

«Быть влюблённым в самого себя — скучный сюжет для романа».

«Это остроумно. И всё же творчество требует определённого дерзновения и перехода определённых границ. Ведь ты считаешь себя поэтом».

Аркаша утвердительно промолчал, и ночные посетители усмехнулись.

«Поэзия — это признак неудовлетворённости данностью, стремление к тому, чего нет на свете, заклинание потусторонних сил, то же колдовство».

«Уж лучше молитва», — пробормотал Аркаша.

«А чем молитва отличается от магии? Стремление выкрутить Господу руки при помощи верно произнесённых формул. Неужели Бог в неизречённой мудрости своей не знает сам, как ему поступить и что тебе нужно?»

«Обращение к Богу, скорее, нужно самому молящемуся, это полезно для души...»

«Вот прекрасно! Так значит, говоря с Богом, ты на самом деле говоришь с самим собой? Быть может, и сейчас, говоря с нами, ты просто обращаешься к самому себе?» — Сатанесса даже обиженно топнула ножкой.

И тотчас сон закончился. Аркаша оказался один в своей комнате.

Как это обычно бывает, сперва сон помнился ему ясно и отчётливо, образы таинственных гостей ярко рисовались перед глазами, и он даже огляделся вокруг: вот стул, на котором они сидели, вот иконы, на которые она крестилась... дальше — старый шкаф, в котором он любил прятаться в детстве, полка с книжками: «Ласковая кобра. Своя и Божья», «Иисус неизвестный», «Вечные спутники»...

Но лишь стоило ему включить свет, как воспоминание о сне стало таять, растворяться, оставляя после себя лишь навязчивую идею устроить собственный мистический ритуал в форме поэтического представления. Не попытаться ли достучаться если не до самого Господа Бога, то хотя бы до людей? На представление можно будет пригласить всех трёх своих муз, чтобы попытаться в последний раз всколыхнуть их чувства... а заодно

и дополнительно подзаработать на предстоящую поездку.

Он тут же вскочил с постели и до утра просидел над сценарием предстоящего действа, вдохновляясь сценическим поведением Джима Моррисона и символизмом фильмов Тарковского, но главное—театром Петра Мамонова. Мамонов вдохновлял простотой, даже примитивизмом своих постановок: ни декораций, ни реквизита, ни сценического действия они практически не требовали. На передней части сцены Мамонов читает непонятные стихи и кривляется (правда, кривляется довольно круто, профессионально), а на заднем плане маячит какой-нибудь мужик и размахивает воздушным шариком. Волей-неволей начнёшь выискивать в этом всём глубокий смысл. Понятное дело, это—Мамонов, который стал знаменит задолго до того, как смог позволить себе на сцене такую халяву, но ведь и Аркаша в своём городе личность небезызвестная…

Когда утром раздался звонок в дверь, он даже не шелохнулся: по договорённости, он дверь открывать никогда не ходил, опасаясь повестки в армию.

—Аркаш, это к тебе!—крикнула сестра и успокоительно добавила:—Не из армии.

Аркаша натянул трико и вышел в коридор. Там стояла пожилая женщина с бумагами в руках.

—Здравствуйте! Вы—Аркадий Сухореков?

Спросонок он чуть было не ответил утвердительно, но выработанное за последние годы чувство тревоги сработало, как система защиты на атомной электростанции:

—А… я его друг. Зачем он вам?

Тётенька удивлённо поправила очки.

—Ему повестка из армии.

У Аркаши ослабели колени и пересохло в горле.

—Так… ведь его нет. Я не знаю, когда он придёт,—с трудом проговорил он.

—Может быть, вы можете передать ему повестку при встрече?—тётенька чуть улыбнулась.

Похоже, она не верила Аркаше. Да и как она могла не слышать слова сестры, назвавшей Аркашу по имени?

—Нет, я… я не могу. Я ведь… и вообще мне пора уходить,—пролепетал он.

Тётенька пожала плечами и ушла. Быть может, она просто сжалилась над перепуганным юношей. А юноша, вернувшись в свою комнату, немедленно оделся, схватил свой рюкзачок и, не умывшись, выбежал на улицу. Ему казалось, что в любую минуту в его дом нагрянет вооружённая облава. Надо было деться куда-то, спрятаться, для начала хотя бы просто отойти подальше от дома и собраться с мыслями.

Ощущение погони, слежки не покидало его с момента окончания университета, то есть последние четыре года. На этой почве в его и без того наполненном фобиями мозгу крепла и развивалась ещё одна мания.

Даже на протяжении студенческих лет вопрос военной службы периодически возникал перед ним благодаря телевизионным репортажам о зверствах армейской дедовщины, о трупах молодых солдат, в мирное время прибывавших из частей в опечатанных гробах, о дезертирстве затравленных новобранцев, перестрелках между сослуживцами. Некоторые его однокашники умудрялись «отмазаться» и по нескольку дней ходили счастливые и окрылённые, а над ним, Аркашей, и ему подобными призыв висел как дамоклов меч, и этот меч опускался всё ниже с каждым днём. Что делать? У тех, кому посчастливилось иметь родственников-врачей, внезапно обнаруживались редчайшие заболевания, освобождавшие их от службы. Тем, кто имел родственников в военкоматах, было ещё проще. Иным везло при медицинском осмотре. Существовала некая хитрая формула, позволявшая освободиться от службы за недостатком или избытком веса. Но разобраться в ней не мог никто, а значит, оставалась возможность, что приёмная комиссия будет пользоваться ей по своему усмотрению. На всякий случай Аркаша стал меньше есть. Теперь при росте сто семьдесят восемь сантиметров он весил около пятидесяти килограммов. Может быть, дать взятку? Но кому и как? Пресса сообщала об успешной борьбе со взяточничеством в призывных комиссиях. Это, безусловно, означало, что вместе с риском для армейских и медицинских чиновников возросли и размеры взяток. Одновременно с этим говорилось и о существенном недоборе призывников. Это значило, что требования к здоровью новобранцев будут снижаться, принимать будут всех подряд.

Помнится, как ещё на пятом курсе вместе с однокашником Женькой (все, естественно, называли его Джоном) ходили к одному доктору по этому вопросу. Но знакомство с доктором было слабое, он темнил, и не объяснял, что планирует предпринять и сколько это будет стоить. Когда ему задавали этот вопрос, он испуганно шипел и махал руками. Встречаться с ним было крайне трудно: на проходной сидели бдительные бабушки, подозрительность которых с каждым днём всё возрастала. Доктор был круглый, со щекастым лицом, широким носом и маленькими свиными глазками, и всем своим видом напоминал шаблонного кинозлодея. Сначала Аркаша, а потом и Джон бросили к нему ходить: они поняли, что зря теряют с ним время.

Так что страх вылететь из университета сменился после выпуска уже прямым страхом попасть в армию. Вопреки закону, им попытались всучить повестки вместе с дипломами, так что Аркаша и Джон и, наверное, многие им подобные предпочли остаться без дипломов. Так, с дрожью в коленках,

проходила молодость. Каждый звонок с неизвестного номера, каждый стук в дверь заставляли сердце сжиматься. К дверному глазку подходили на цыпочках, опасаясь увидеть там незнакомого человека с бумагами.

И вот теперь надо же какую свинью подложила ему сестра! Где же предел злобе и подлости человеческой?

Телефон в кармане брюк затрепетал и запищал мелодию «Оды к радости», на экране высветился неизвестный ряд цифр. Вот оно!

— Алло?—он постарался ответить чужим, низким и деловым, голосом.

— Гражданин Сухореков? Вас беспокоят из районного военкомата.

Рубашка мгновенно прилипла к спине, а потом в трубке раздался смех:

— Привет! Это Ковшик.

Тут только Аркаша узнал голос Серёги Ковшова и судорожно выдохнул:

— Ну и шуточки у тебя, Серёга!

— Испугался?—в трубке было слышно, как Серёга от смеха шлёпает по столу ладонью.—Запиши мой новый номер, а старый удали. Как твои делишки? Уговорил Сонечку в Питер ехать?

Аркаша ответил отрицательно.

— Ясно. Ну, надо бы ещё до твоего отъезда встретиться—пивка попить.

Попить пивка в данном случае означало, что Серёга будет пить пиво, а Аркаша—чай. И это Аркашу вполне устраивало, ибо от пива ему становилось нехорошо, а поговорить с подвыпившим Серёгой он любил. Они поверяли друг другу свои сердечные заботы, делились соображениями о Боге, играли друг другу песни, читали стихи. Серёга тоже был поэт, и вся его жизнь казалась похожей на один сплошной верлибр—стих без структуры и смысла: трудовые будни незаметно переходили в полукриминальные похождения, концерты превращались в попойки. Аркаша понимал, что записывать Серёгин номер почти бессмысленно: на очередной гулянке он опять потеряет телефон.

— Ты слыхал, как мы грузинам наваляли в Цхинвале? Кстати, неплохая рифма: «В Цхинвале—наваляли»,—продолжал болтать Серёга.

— Нет, не слыхал,—Аркаша не смотрел телевизор.

— Ну, они на осетинов полезли, а мы в ответ ка-а-ак ударили, так что у них только пятки засверкали.

— Да, круто…—согласился Аркаша.

Ему было приятно, что «мы» наподдали каким-то «им», но по завершении телефонного разговора он продолжил размышлять о том, куда бы спастись от призыва в армию.

В раздумьях он сам не заметил, как дотопал до центральной площади, на которой проходил какой-то очередной митинг. Ещё издалека Аркаша услышал звук громкоговорителя и заприметил пёструю толпу у подножия памятника Ленину. Каменный Ильич, прищурясь, глядел на городской парк и подался вперёд, как будто хотел прокатиться на колесе обозрения и увидеть с его высоты город. Интересно, как оценил бы он произошедшие перемены? Ленина Аркаша не любил; правда, знал о нём только, что он во главе большевиков сделал революцию. А о большевиках знал только, что они расстреляли царскую семью и разрушали храмы. Не без злорадства Аркаша подумал, как Ильичу резанул бы по глазам блеск куполов и крестов на восстановленных и новых храмах, которые буквально заполонили город. В остальном, правда, город с советских времён не особенно изменился: ну, навтыкали тут и там уродливых высоток, в помещениях заводов открыли торговые центры, автодороги расширились и сожрали тротуары, а парковки сгрызли детские площадки. Автомобильные реки разлились и притиснули людей к стенам домов, машины активно проглатывали пешеходов и, переваривая, превращали их в автовладельцев или давили их на пешеходных переходах и автобусных остановках… «Ничего. Главное, что церкви есть»,—успокоил себя Аркаша.

Как и полагается поэту, мысленно Аркаша противопоставлял себя «безликой толпе», но делал это умозрительно, не любя, скорее, слово «толпа», в то время как на самом деле его тянуло к большим скоплениям народа—на всякие митинги, демонстрации: хотелось потолкаться среди людей, услышать, что они говорят. «Наверное, это связано с детскими воспоминаниями о майских и ноябрьских шествиях»,—думал он.

Юноша подошёл к площади и увидел, что на ней в основном собралась молодёжь, причём преимущественно относящаяся к готам и эмо—самым популярным субкультурам второй половины нулевых. И те, и другие были одеты в чёрное, но у эмо стрижки были короче, а у девушек-эмо, помимо чёрного цвета, в одежде присутствовал ещё и розовый. «Разбавили готическую мрачность розовыми соплями»,—отметил Аркаша. С пьедестала памятника Ленину ораторствовал Саня Самоваров по прозвищу Пердяй:

— Депутаты Законодательного собрания края предложили запретить в школах субкультуры эмо и го́тов. Господам чиновникам они кажутся слишком мрачными. Но нет! Это они там слишком мрачные и не умеют одеваться. На самом деле им просто хочется зажать рот молодёжи, не дать ей самовыражаться так, как она хочет. Мы за полную свободу личности! Ведь если нам запретят одеваться так, как мы хотим, то в чём же тогда будет различие между людьми? Поэтому все, кто выступает в поддержку субкультур, пусть заклеит в знак протеста себе рот. Липкую ленту выдают наши активисты. Это наш флешмоб!—скандировал Саня, потрясая сосульками немытых жёлтых волос.

И правда, у сцены уже стояло несколько молодых людей со ртами, залепленными жёлтым скотчем. Одним из них был, естественно, вездесущий и покорный Назаретх, который и без всякого скотча был всегда скромен и безответен. Санькина боевая соратница Люська стояла рядом и держала наготове жёлтый моток.

Окончание Санькиной речи Аркаше не дала дослушать журналистка местного телеканала—она попросила у Аркаши разрешения взять интервью о митинге. Юноша согласился, и оператор нацелил на него объектив камеры.

— Как вы относитесь к намерению депутатов запретить субкультуры?

— Я считаю, что этим они окажут субкультурам большую услугу. Сейчас все они представляют собой лишь разные стили одежды—не более того. Если же субкультуры запретят, создадут неформалам имидж гонимости, тогда они станут чем-то бо́льшим, и протестные настроения у определённой части молодёжи усилятся.

— То есть вы поддерживаете запрет субкультур?—журналистка даже растерялась.

Она-то думала, что берёт интервью у завзятого неформала. Вид у Аркаши был яркий: волосы ниже плеч, гавайская рубашка в цветных разводах, руки унизаны нитяными и бисерными фенечками.

— Я за мирное сосуществование молодёжи с государством,—улыбнувшись, сказал он.

А когда его попросили представиться, сказал:

— Аркадий. Преподаватель.

Конечно же, он был патриотом, но ко всяким там «несогласным», вроде Саньки, относился не с ненавистью, а с иронией. Кстати, вот и сам Санька уже идёт к Аркаше сквозь толпу, протягивая руку:

— Здоро́во, поэт.

— Привет, Пердяй.

— Э, зови меня теперь Летов. После того как Егор умер, я принял на себя его миссию.

Аркаша чуть не рассмеялся Саньке в лицо: каков ловкач! Не успел великий рокер отойти в мир иной, а его корону уже примеряют! И кто? Местный крикун—не то скинхед, не то панк, не то вообще непонятно кто, автор единственной песни «Дерьмо в Занзибаре», в которой, кроме этих трёх слов, никакого другого текста не было.

— Я к тебе вот по какому делу,—продолжал тем временем Санька.—Ты же в Доме творчества работаешь? Я хотел предложить провести круглый стол по теме субкультур. Видишь, какие дела у нас творятся.

— Вообще, я увольняюсь. Но заманчиво, чёрт возьми. Тема острая. Давай я схожу поговорю, потом тебе отзвонюсь.

— Во! Зашибись. Аншлаг мы тебе обеспечим. Слушай, так может, тебя подвезти? Я теперь на колёсах. И не только в наркоманском смысле, гы-гы,—Санька махнул рукой на припаркованную у площади зачуханную легковушку.

— Значит, и ты теперь стал человеком в футляре. А давно ли всех автовладельцев называл мажорами?

— Так я не для понта, а по надобности.

— По какой это?

— Из соображений безопасности: я—человек известный, меня побить могут.

— Ну нет. Я лучше пешком.

— Ну, пока, Аркаш.

— Пока, Пердяй.

Перед уходом Аркаша внимательно осмотрел митингующих и с удовлетворением отметил, что среди них нет ни одного из его бывших учеников. Спецкурс собственной разработки, который он вёл в школе, назывался «Молодёжные субкультуры».

По дороге к Дому творчества Аркаша сочинил ещё одну историю о дедушке Габхо.

Дедушка Габхо—против системы

Один юноша был бунтарём и ненавидел систему. Именно поэтому, когда он смотрел MTV, он всегда делал недовольное лицо. Он был не таким как все и поэтому играл на гитаре рок и одевался в специальных магазинах одежды для не таких как все.

Однажды он пришёл к дедушке Габхо и спросил:

— Как мне победить систему?

Дедушка Габхо стоял на пороге и смотрел на него сонными глазами. И тут юноша понял, что имеет в виду гуру: «Первый закон антиглобалиста: надо пробудиться от сна. И делать то же, что и все, но при этом думать, что они дураки, а ты умный!»

И вдруг он заметил, что дедушка после сна не вытащил из ушей затычки. И юноша понял, о чём ему намекнул мудрец: «Второй закон антиглобалиста: никогда не слушай чужое мнение. Не надо обсуждать с кем-то свои мысли—так ты станешь в тыщу раз умнее!»

И тут он заметил, что на великом учителе трусы чёрного цвета. И юноша понял: «Третий закон антиглобалиста: надо носить трусы чёрного цвета!»

Дедушка пошамкал губами и одёрнул майку.

— Хватит меня лечить! Теперь я и так смогу победить систему!—воскликнул юноша и отправился восвояси.

С тех пор он стал ещё усерднее играть на гитаре, и скоро его взяли на MTV.

Директор Дома творчества встретила Аркашу приветливо и была очень рада его предложению провести перед отъездом ещё одно, последнее мероприятие. Она даже пообещала оплатить его проведение, и это было весьма кстати: для поездки пригодилась бы любая копейка. С уходом Аркаши коллектив Дома творчества становился исключительно женским. Даже стало немного жаль этих влюблённых в свою работу тётушек. Кто же теперь

найдёт им нужную кнопку на компьютере? Кто поможет открыть форточку с тяжёлой металлической рамой? Но всё же не для этого появился на свет российский гений Аркадий Сухореков. Его ждёт Петербург, и оглядываться назад недостойно мужчины.

Он вышел на крыльцо Дома творчества, окинул взглядом Театральную площадь, заставленную автомобилями. Куда податься? Где переждать преследования со стороны горячо любимой им родины?

И тут Аркаша вспомнил про Милу. Она возникла на его горизонте совсем недавно—уже после того, как он сообщил друзьям, что собирается в Питер. Они успели пару раз погулять вместе, поговорить, и Мила выразила сожаление, что он уезжает, и звала Аркашу в гости. Теперь он решил воспользоваться этим приглашением. Может быть, удастся посидеть у неё до вечера, что-нибудь перекусить.

Вообще, Мила казалась ему не особенно привлекательной, и в качестве возможной спутницы он её не рассматривал. Не было у неё ни аристократической утончённости, как у Сонечки, ни бесспорной статной фигуры, чёрной косы или светлых кудрей, как у Жанны и Насти. Мила была среднего роста, фигуру её невозможно было рассмотреть, поскольку она носила широкую и предпочтительно мужскую одежду. Её тёмно-русые волосы были острижены в каре. Лицо—пропорциональное, без недостатков; может быть, разве что лоб был несколько тяжеловат и нависал над голубыми глазами, отчего они легко оказывались в тени, становились тусклыми, невыразительными. Мила охотно и много смеялась, что опять же не вязалось с Аркашиным представлением о романтическом идеале. При этом, когда она смеялась, глаза оставались неподвижными, их уголки были чуть оттянуты вниз, и потому смех казался неискренним. Впрочем, Аркаша понимал, что ещё слишком плохо знает Милу, чтобы судить о её чистосердечии. Они как-то гуляли по дворикам и по набережной, Мила рассказывала о том, как занималась танцами и как повредила ногу, о том, почему она бросила институт, о своём увлечении фотографией, Аркаша читал ей стихи. Мила не поддерживала разговоров на темы философии и искусства, назвала лишь пару любимых писателей и музыкантов, но слушала Аркашу очень внимательно.

По дороге в гости Аркаша успел ещё зайти в один подвальный театрик и договориться о проведении поэтического спектакля. Его там знали и дали добро.

В автобусе слушал в наушниках группу «Кино». Особенно зацепила его на этот раз песня «Генерал». «Где ты теперь и с кем? Кто может стать судьёй, кто помнит все имена?»—пел Виктор Цой, и Аркаша чувствовал себя этим самым разжалованным генералом, чувствовал, как рвутся все связи, что родной город для него уже почти чужой, что мысленно он уже «там», но совершенно не представляет, что ждёт его в Северной столице. Ощущение пустоты, потерянности, но и небывалой лёгкости. И ещё надежду давала строчка: «Может быть, завтра с утра будет солнце и тот ключ в связке ключей». Да, именно за ключами всех тайн он и отправлялся в Питер, надеялся сблизиться со средой великих и мудрых рок-гуру, которые помогут ему распутать все противоречия, вырваться из ловушки бессмысленных, однообразных дней.

Дом Милы находился далеко от центра, в невзрачном квартале хрущёвских пятиэтажек, и это тоже настраивало Аркашу не в пользу Милы. Место, в котором она жила, грязная улица, серость однообразных домов невольно сливались с её образом и тянули его вниз. На автобусной остановке пара обшарпанных ларьков, дальше загаженный собаками скверик с тощими деревьями, растрескавшаяся асфальтовая дорожка ведёт к серой кирпичной пятиэтажке, напоминающей скорее стационар больницы, чем жилой дом.

Квартира Милы тоже произвела на Аркашу унылое впечатление: выгнувшееся пузырями напольное покрытие, выцветшие обои, старая мебель. Конечно, Аркаша помнил, что христианство отдаёт предпочтение именно бедным, но внутренняя регистрация убогой обстановки происходила помимо его сознания, он просто ощущал неловкость, скованность, стеснённость, Мила становилась для него менее интересной. Конечно, если бы кто-то вдруг сказал ему: «Аркаша ты судишь об этой девушке по её материальному положению; если бы она была богачкой—ты бы отнёсся к ней совсем иначе»,—он бы возмутился, причём, может быть, и против себя самого, против своих невольных мыслей, оценивающих девушку вкупе с её окружением. А с другой стороны, что ему ещё было в ней оценивать? Пока что ничего интересного она ему о себе не рассказала, не проявила каких-либо особенно оригинальных черт натуры.

Из комнаты к нему вышел на трясущихся ногах дряхлый и больной пудель. Кудрявая шерсть на нём свалялась, от него дурно пахло. Пудель посмотрел на Аркашу мутными глазами и стал издавать странные звуки—не то икать, не то шипеть. «И зачем меня сюда понесло?»—с тоской подумал Аркаша.

—Граф, уходи!—прикрикнула Мила, но пудель не двигался с места, трясся и смотрел то на хозяйку, то на гостя.

Мила сначала повела Аркашу на кухню, где был выпит чай, а потом в комнату. Ещё она сообщила, что любит рассказы Эрнеста Хемингуэя, песни Шевчука и дизайн-студию Артемия Лебедева.

Аркаша пробежал глазами предложенный рассказ Хемингуэя, но не нашёл в нём упоминаний о Боге или хотя бы намёков на что-нибудь потустороннее — напротив, рассказ был предельно земной, бытовой, и Аркаша отнёсся к нему холодно.
— Я в каждом произведении искусства ищу что-то, что поможет мне решить проклятые вопросы бытия. Понимаешь? — сказал он, но Мила не поняла.

Даже в песнях Шевчука каждый из них, похоже, находил разное. Аркашу приводили в священный трепет слова «душа» и «Россия», а Мила пропускала эти слова мимо ушей и вообще заявила, что ей больше нравится сама музыка.

Она долго перелистывала перед его глазами на экране картинки с сайта дизайн-студии Артемия Лебедева, зачитывала объяснения к ним, но Аркаша остался равнодушен, а через какое-то время даже стал отчётливо ощущать к ним враждебность: бабочки, сердечки, шрифты, бабочки, сердечки, шрифты — рекламы и так слишком много вокруг, она нагло лезет в глаза, забирается в мозг, вгрызается в самую душу.

Мила показала ему коротенькие, плохо нарисованные комиксы про кота и его хозяина, при просмотре которых полагалось умиляться и сладко вздыхать, но болезненно-настороженным разумом Аркаша взламывал блестящую скорлупу этих историй.

Например, кот лежит и размышляет: «Если очень долго думать, то в голове обязательно появится хорошая идея». И идея приходит. «Пойду-ка поем», — решает кот. Или такой сюжет: хозяин что-то ищет на спине у кота. «Смотри внимательнее!» — говорит кот. «Да нет здесь никаких крыльев», — отвечает хозяин. «А повыше? Я ведь их чувствую», — настаивает кот. «Ну, разве что совсем маленькие», — соглашается хозяин.
— Я бы добавил в конце ещё одну картинку, — сказал Аркаша.
— Какую?
— Хозяин выбрасывает кота из окна: «Ну так полетай!»

Мила улыбнулась, но глаза её, как обычно, остались невесёлыми:
— Почему?
— Да потому что всё, что в человеке есть, должно проявляться в поступках. Я же понимаю, о чём это: все мы тешим себя мечтами о своей необыкновенности, о своей особенной духовности, или душевности, или внутренней свободе. И эти мечты позволяют нам оставаться обыкновенными, несвободными и пустыми. Если у тебя есть крылья — докажи, взлети. Если у тебя есть талант, сотвори что-нибудь талантливое; если у тебя есть сердце, сделай кому-нибудь добро. А без поступков — это всё один трёп.
— А надо обязательно творить добро?
— А как же иначе? — удивился Аркаша.

Мила слушала его и улыбалась.
— И откуда ты взялся такой удивительный? — сказала она, и Аркаша смутился, потому что он ведь тоже ещё не совершил в жизни ничего заметного.

Но он возлагал надежду на свой поэтический спектакль, который должен удивить знакомых и незнакомых.

Совершенно неожиданно Мила сообщила, что мамы сегодня не будет дома, и предложила Аркаше остаться. И всю ночь за дверью комнаты стучал по полу когтями и кашлял старый пудель...
— Возьми меня с собой, — сказала она ему утром.
— Хорошо, — ответил Аркаша, — но должен предупредить тебя, что я христианин.
— А что это значит? — спросила девушка.
— Ну, это значит, что мне не наплевать на вопросы веры, что для меня это всё очень важно, что я хотел бы жить по Евангелию.
— Понятно, — отозвалась она спокойно, словно он сообщал ей позавчерашнюю погоду.

Эта ночь не вступила в противоречие с его христианскими взглядами. Сонечка сама отказалась от него — стало быть, он ни в чём ей не изменил; а Милу он намерен взять с собой в дорогу и постарается полюбить её — стало быть, он никого не обманул и не предал. А то, что в его сердце всё ещё кровоточит образ Сонечки... что ж, это надо исправить. От этого всем будет только лучше.

За утром наступил день. И были ещё другие дни, и новые встречи, и новые ночи. И Мила была хороша. И он был хорош — по крайней мере, так говорила Мила. А ему всё казалось, что звук соединяющихся тел похож на стук лопаты о сырую землю и что он роет глубокую яму, но не знает, как долго ему ещё копать.

Аркаша также много времени уделял подготовке спектакля. Он договаривался с участниками и администрацией площадки о времени репетиций, собирал реквизит, просил знакомых девчонок из художественного института об изготовлении необходимой бутафории, зубрил текст, репетировал даже в одиночестве. Ночевал он то дома, то у Милы. До отъезда и до премьеры оставались считанные дни, темп жизни ускорялся.

Но однажды по пути к дому своей новой подруги он вдруг вышел на совсем другой остановке и направился в сторону здания музыкального училища. Он шёл не торопясь, ни о чём не думая, как будто назначил себе перекур. Училище находилось на крутом берегу реки, и потому казалось, что за ним мир обрывается, исчезает, тает в голубоватой дымке. И Аркаша повернулся к этой дымке, мысленно улетая, погружаясь в неё. Он так постоял немного, а потом зашёл внутрь училища. В вестибюле он остановился, огляделся, а потом сел на одно из деревянных откидных сидений у стены, на которой висела доска с расписаниями. Здесь училась Сонечка.

Да, он позволил себе эту моральную измену, это интеллектуальное прелюбодеяние. Он не рассчитывал встретить её здесь, он лишь вдыхал аромат её присутствия. Он знал, что во время учебного года она сдаёт одежду в этот гардероб, читает эти объявления и листки расписаний, скользит взглядом по этим стенам, может быть, сидит на этом самом сиденье, а скорее всего, кладёт на него сумку, когда одевается… Это место пропитано и освящено Сонечкиным присутствием — Аркаша ощущал это. У него щекотало в животе, как бывает на каруселях для старших, когда тебя переворачивает вниз головой или сильно толкает на повороте.

Теперь он почувствовал, что бредящей столицей Сонечке он тоже представлялся не сам по себе, а в совокупности окружающей его обстановки. Вот если бы он был богат, то и обстановка была бы другой: они бы встречались не на остановках общественного транспорта и не толкались бы в набитом автобусе чтобы отправиться в кино или (изредка!) в кофейню; а он заезжал бы за ней в роскошном удобном авто, и они мигом бы добирались до шикарного ресторана или аэропорта, а оттуда — в любую точку планеты, где их ожидали бы пляжи, дорогие отели, он бы засыпал её цветами и изящными украшениями… И всё это создало бы атмосферу романтики, лёгкости и красоты. И тут достаточно было бы просто не быть окончательным подонком или совершеннейшим уродом, чтобы вполне сойти за идеального мужчину, принца на белом коне. А так… Глядя на него, представляя своё будущее вместе с ним, она видела этот скучный провинциальный город, его тесную квартирку, его нехитрый гардероб — вот, собственно, и всё, что он мог принести вместе с собой, чем он мог обогатить её вселенную. Правда, были ещё стихи… Но что такое стихи?

Теперь уже слишком поздно
Влиять на то, что будет после:
Вынуты пинцеты, зажимы сняты, игла завершает стежок.
Всё, что стяжает мой постриг, —
Грузить уголёк на остров,
Снова и снова, и снова с нуля память стирать со щёк…

Потом Аркаша решительно встал и пошёл своей дорогой. Мила встретила его одетой в его рубашку, которую он оставил у неё в прошлый раз.

До отъезда и до премьеры спектакля оставались считанные дни, но ещё раньше состоялась запланированная дискуссия в Доме творчества. Саня Самоваров постарался на славу — актовый зальчик оказался забит молодёжью. Ради самопиара Пердяй был способен на многое. Среди аудитории преобладали неформалы — готы, эмо, панки; правда, попадались и молодые люди, музыкальные предпочтения которых было трудно определить по внешнему виду. Готы были одеты богаче и выглядели утончённее и ухоженнее, чем панки. Они следили за своими волосами, щеголяли чёрными нарядами и металлическими украшениями, которые было не так легко достать. Весь стиль панков заключался в поношенной одежде и плохо вымытых волосах.

Аркаша вспомнил, как он встречался с одной готессой по имени Маша. Её мама была преуспевающим юристом, квартирка у них была обставлена недурно, но… Богатая обстановка сковывала и подавляла его: всё это было ему чужое, и он начинал стесняться за свой рюкзачок, свои ботинки. Пару раз они целовались на кладбище, но и среди могил он чувствовал себя так же неуютно, как в сытой квартире. А когда настал классический момент и девочка раскапризничалась и перестала отвечать на звонки, он махнул рукой, ведь всё равно в его сердце жила Сонечка.

Пока Аркаша предавался воспоминаниям, Самоваров уже начал ораторствовать. В принципе, говорил он то же самое, что и в день митинга, — что запрет субкультур уничтожает свободу молодёжи, что чиновникам надо дать отпор и что нужно собирать подписи. Панки одобрительно гудели, разукрашенные лица го́тов были неподвижны и оттого казались отупевшими и безразличными.

— А давайте я им в окно «молотова» подброшу! — выскочил из заднего ряда какой-то всклокоченный панк с оттопыренными ушами.

Самоваров вздрогнул, и его испуганный взгляд заметался по присутствующим. Но, похоже, он отлично знал всех приглашённых, поскольку очень быстро его глаза нащупали говорившего.

— За-за такие пэ-предложения, я буду удалять с собрания! — крикнул Самоваров, заикаясь.

— Ну, может, им хотя бы табличку яйцами закидать? — не унимался панк.

Но тут уж на него зашикали сидящие рядом, ушастый террорист умолк, и к Самоварову вернулось самообладание. Он перестал заикаться.

Потом на правах организатора слово взял Аркаша. Ему хотелось найти некий компромисс между субкультурами и властью.

— На каком основании чиновники хотят запретить субкультуры эмо и го́тов? — спросил он.

— Они, типа, говорят, что эти субкультуры суицидальные, что, короче, молодёжь из-за них самоубийства совершает, — ответил Самоваров.

— А это не так? — спросил Аркаша, обращаясь к аудитории.

В ответ раздался негодующий ропот.

— Конечно, нет! — воскликнула сидевшая в первом ряду девочка в розово-чёрном. — Суть эмо в том, чтобы наслаждаться жизнью, глубже чувствовать всё.

— В этом же смысл сатанизма! — откликнулся сидевший рядом увешанный металлическими украшениями парень в чёрной кожаной косоворотке. —

Люцифер учит людей ценить жизнь и свою личность.

«Сейчас он ещё скажет, что Дьявол дал людям десять заповедей на горе Синай»,—раздражённо подумал Аркаша, но совладал с собой и предложил представителям субкультур учредить что-то вроде института шефства опытных и продвинутых го́тов и эмо над начинающими, чтобы разъяснить подросткам суть их субкультур и предостеречь от суицида и наркомании.

Аркаша импровизировал, заинтересованное внимание публики подхлёстывало его. Он предложил осуществить пиар-ход—провести акцию «Готы подметают кладбище». Это бы привлекло внимание журналистов и создало готам положительный имидж. На этот раз даже готы заметно оживились и стали выказывать одобрение Аркашиной идее. Но Самоварову она совсем не понравилась, он по-прежнему выступал за сбор подписей и потрясал в воздухе уже заготовленной петицией. Перебивая Аркашу, он стал вслух зачитывать текст своего документа.

Аркаша был опытен в проведении публичных дискуссий и знал, как поступать с нарушителями регламента. Он застучал по столу и, повысив голос, строго оборвал Самоварова. Но и сам несколько смутился, вспомнив, что он скоро уезжает, а значит, не сможет помочь в организации акции. Он почувствовал, как струна, соединявшая его со слушателями, ослабла…

И тут, прося слова, руку поднял парень, сидевший с краешка в первом ряду. Это было выходом: пусть поговорит, а Аркаша пока соберётся с мыслями, куда же ему направить заблудшее патлатое стадо.

— Да пока вы будете пороги чиновников обивать да всякие бумажки подписывать, Пердяй себе партийную карьеру сделает и сам в пиджак и галстучек переоденется,—начал парень, обращаясь к залу, а на попытку Самоварова протестовать тут же спросил его, в какой партии он состоит.

И тут оказалось, что Самоваров состоит в партии «Яблоко».

— Солидно,—отозвался парень.—А ведь ещё года три назад ты был национал-большевиком, причислял себя к лимоновским радикалам. Вовремя ты спрыгнул с тонущего-то корабля.

Панки загудели. Сорвиголовы из НБП им были гораздо ближе, чем гладенькие мальчики Явлинского. Готы и эмо пожимали плечами. Но и им было неприятно замешиваться в депутатно-чиновные дела. Аркаша оторвался от своих дум и присмотрелся к говорившему.

Роста среднего, но широк в плечах, одет он был просто, даже несколько официально: серый пиджак, рубашка, джинсы, ботинки. На носу очки, волосы по сравнению с остальными участниками были достаточно короткими.

— Да вы посмотрите на него! Он даже не нефор,—закричал Самоваров, и его дребезжащий голос снова сорвался на визг.—От какой конторы тебя сюда за-заслали?

А Аркаша подумал, что если бы этот парень вздумал отращивать волосы, то они бы, наверное, у него не висели бы на плечах, а поднимались бы замысловатой курчавой папахой к потолку. Чувствовалась в нём примесь восточной крови.

— Я не считаю, что надо обязательно выделяться внешним видом. Важно, какие у тебя идеи и убеждения в голове. Вот этим и надо отличаться. Да и то—смотря от кого. От хороших людей я отличаться не хочу, наоборот, хотел бы быть на них похожим.

В его голосе, в манере поправлять очки было что-то мягкое, интеллигентское, но когда он говорил, когда прямо смотрел в глаза собеседнику, то его коренастая фигура казалось сложенной из камней, и его слова тоже казались сложенными из камней. Аркаша почувствовал под этими простыми словами некий прочный фундамент. Забавно, что он ведь думал ровно то же самое, но не смог бы сказать это так же спокойно и уверенно, как будто произнося одни и те же фразы, Аркаша и этот парень всё-таки говорили бы разное.

Парень обвёл глазами собравшихся:

— Думаю, среди вас найдутся такие, которые стилем своей одежды заменили себе мозги. Отрастил человек себе хайр и будто бы такое большое дело сделал, что больше ни мозгами шевелить, ни книг читать ему не нужно. Ничего геройского в этом нет.

Тут уж начавшие было сочувствовать оратору неформалы обиделись и загудели:

— А вот ты походил бы с выбритыми висками по Верхнему Черему вечерком—узнал бы, есть или нет в этом геройское!

Ушастый террорист снова выскочил с заднего ряда:

— Мне знаешь сколько раз от гопоты в морду прилетало!

Самоваров понял, что сейчас лучше не мешать народу самому расправиться с его оппонентом.

— Так ведь дело не в том, чтобы по морде почаще получать, а в том, чтобы что-то поменять. Вы уж, наверное, и забыли, откуда все эти субкультуры пошли и зачем вы вообще к ним примкнули.

— Чтобы стадом не быть!—промычал кто-то сбоку.

— Чтобы тусоваться!

— Чтобы по кайфу!

Парень горько улыбнулся:

— Чтобы по кайфу? Ну-ну…—и опустился на своё сиденье.

Тут снова оживился Аркаша. И мигом провёл своё предложение про уборку на кладбище. Неформалы стали оставлять на листочке свои контакты и расходиться.

— Ты ведь, кажется, уезжаешь? — подрулил к нему Самоваров.
— Ага, — сокрушённо кивнул Аркаша.
— Ну так давай я всё организую! В лучшем виде замутим.

Пришлось передать ему бумажку с телефонами. Самоваров вцепился в неё, как чёрт в список душ, и, опасливо шмыгнув мимо своего сегодняшнего оппонента, покинул помещение. А Аркаша, наоборот, подошёл к этому парню.
— Послушай, не обращай ты внимания на Пердяя. Он того не стоит. А вообще я с тобой согласен, я тоже считаю, что внешнее не должно подменять собой внутреннее.

Познакомились. Парня звали Павел. Разговорились, решили пройтись. Аркаша рассказал пару сказочек про дедушку Габхо. Павел сразу ухватил суть и похвалил. Оказалось, что он тоже не любит притчи.

Мест для прогулок в захваченном автомобилями городе было немного; гуляя, они неизбежно оказались на том же самом острове, на котором Аркаша прощался с Жанной. Но на этот раз он был свободен от любовной жажды и полностью наслаждался природой и разговором, отдыхал от городской угловатой рекламно-витринно-гаражной мешанины, позволяя взгляду свободно путешествовать по перспективе, скользить по изгибам небольших холмов, утопать в трепете листвы, следить за молитвой трав. Упоение природой нисколько не мешало ему вникать в суть разговора: напротив, странным образом красота деревьев и трав становилась полноправной участницей беседы.
— За что я не люблю панков, го́тов, вообще все эти субкультуры — это за то, что им, в сущности, уютно и приятно в своём подвале, — говорил Павел.
— Причём каждому в отдельном, — вставил Аркаша.
— Во-во! Они даже между собой поладить не могут. А настоящий андеграунд — он ведь нужен лишь для того, чтобы накопить силы и наконец выйти из подвалов на улицы. Субкультура должна претендовать на роль основной культуры, стремиться к установлению своей гегемонии…
— Как христиане, — добавил Аркаша.
— Ну, например, — согласился Павел.
— Вот с этим я совершенно согласен. Если ты веришь, что твои идеи правильные, а твоё искусство прекрасно, значит, ты должен стараться донести их до максимального количества людей, должен бороться за то, чтобы твои идеи восторжествовали над чужими, ложными.
— Правильно! — обрадовался Павел. — Истина — штука авторитарная.
— К чёрту толерантность! — подхватил Аркаша.

Он сразу почувствовал в новом знакомом что-то родное, ещё там, на мероприятии, когда тот готов был ругаться сразу со всеми ради своих убеждений. Далее Павел охотно поддержал беседу о книгах и не пытался перевести разговор на мультики или модные поп-группы. Он был ещё студентом, учился на философа; оказалось, что он знает многих из Аркашиных преподавателей с кафедры филологии и журналистики и даже пишет о них критическую статью. Аркаша приветствовал это начинание: трунить над преподавателями он любил.

От учёбы на филфаке у него осталось какое-то неприятное чувство. Ощущение, что его то ли обманули, то ли чего-то недодали, то ли просто зря отняли время и истрепали нервы. С одной стороны, его раздражал бюрократизм (ведь он впервые в жизни с ним столкнулся именно в университете): все эти сдачи и пересдачи, обходные листы, отработки, списки и галочки. И хуже всего, что именно это и было главное, а само содержание образования — писатели, их произведения и идеи, заложенные в этих произведениях, — выступало, напротив, как нечто формальное, только в качестве повода для галочек и росчерков. Поэтому, когда высшие университетские бюрократы приложили последние печати к его диплому, Аркаша почувствовал себя вышвырнутым в чужой и совершенно непонятный мир, о котором он совершенно ничего не знал и не был никак подготовлен к существованию в нём.

Что он вынес, что приобрёл за эти пять лет сидения за партой?

Сергей Иваныч Буботкин (по прозвищу Бубен) лекции читал равнодушно, пытался иронизировать над писателями и произведениями, о которых рассказывал, но выходило у него скверно. Мария Ивановна Частина, напротив, восхищалась всем без разбору, каждый автор для неё был «блистательным»; правда, радовал её в основном стиль, а не суть. Татьяна Петровна Бучинская, похоже, просто выучивала наизусть учебник и полтора часа подряд шелестела сухими фактами и датами. Самым лучшим лектором считалась пожилая Фаина Эдуардовна Кальмарова: она умела рассказывать подробности жизни писателей с таким смаком, что у студентов слюнки текли. Но в конце концов Аркаша был вынужден признать, что это были именно подробности жизни — не более того. Выходило, что смысл жизни и творчества Пушкина и Ахматовой сводились к тому, чтобы галантно общаться с противоположным полом, блюсти своё достоинство на балах и вечерах и изредка эпатировать публику своим внешним видом. Ах, вечно этот внешний вид, внешнее, поверхностное!

Про Бога чаще всех говорила Лариса Сидоровна Шакирова, но её Бог был сварливым старикашкой, который требовал от женщин носить платки, а от мужчин… от мужчин тоже чего-то требовал,

раз уж Аркашин хипповый внешний вид принёс ему тройку на экзамене, к которому он был прекрасно готов. Ещё о религии говорил Кирилл Мефодиевич Иванов (по кличке Колобок), но то, что он говорил, было неуловимо, как Божье присутствие. Он заявлял, что Бог, безусловно, существует, и книги российских и даже советских авторов—тому доказательство, но когда он, казалось бы, уже подводил слушателей к порогу тайны, уже готов был проговориться, Кирилл Мефодиевич вдруг замирал и умолкал в загадочной и значительной позе, уставив вытаращенные глаза в пустоту, давая понять студентам, что он знает секрет, к которому они пока ещё не готовы. Слушая его лекции, Аркаша невольно вспоминал, как в детстве снял с ветки новогодней ёлки конфетку, развернул обёртку, а под ней оказалась другая, стал разворачивать следующую—разворачивал-разворачивал, а оказалось, что, кроме туго скомканной обёртки, там ничего и нет…

Короче, Аркаша пообещал Павлу ознакомиться с наброском его статьи, поделиться своими соображениями.

Павел понравился Аркаше, даже несколько его озадачил. Он не был похож ни на простака-Назаретха, ни на ловкача-Пердяя. Кроме «лузеров» и «успешников», Аркаша также привык делить собеседников на тех, которые любят слушать его, и тех, которые любят слушать себя. Павел относился к тому редкому типу, который умеет и слушать, и говорить. Более того, говорил Павел очень просто, но убедительно, совсем не так, как университетские преподаватели, умел и увлечённо спорить. Например, они с Аркашей совершенно не сошлись в понимании слова «интеллигент».

Для Аркаши это слово в первую очередь ассоциировалось с преподавательницей Фаиной Эдуардовной и её кругом:

— Интеллигент—это тот, кто живёт ради соблюдения правил хорошего тона. Ложечкой они об стакан не звенят и думают, что этим все вопросы разрешили.

— Да нет же!—горячился Павел.—Это вовсе не интеллигенты, а самодовольные мещане. Настоящий интеллигент должен искать истину и бороться за народное счастье.

— Я считаю, что истину следует искать в церкви. А русская интеллигенция пожелала подменить собой церковь—отсюда и все катастрофы начала двадцатого века.

— Ну уж прямо и все! И Первая мировая война тоже?

Про Первую мировую войну Аркаша ничего не знал и вынужден был уступить:

— Я бы предложил для тех, о ком ты говоришь, выбрать какое-нибудь другое слово: подвижники или, там, культуртрегеры…

— Культур-чего?

— Да, дурацкое слово,—согласился Аркаша, и оба рассмеялись.

Прощаясь, условились зафрендиться в соцсетях и тому подобное. Но, несмотря на то, что Павел показался Аркаше интересным и даже странным, а может быть, и благодаря этому, к вечеру в объятиях Милы юный поэт уже забыл о новом знакомом. Он и Мила обсуждали рок-группы, а за дверью по-прежнему бродил и мучительно всхрапывал больной пудель…

Отзвучали неуверенные приветственные аплодисменты, сцена погрузилась в темноту, и в этой темноте заиграла музыка. Мягкое звучание электрогитары мерно раскачивалось, перекатывалось, как шарик, и каждый звук тянул за собой эхо, а потом на всё это наплыл синтезаторный фон… Появился тусклый свет, на сцене стали видны небольшой стол и три стула. На столе стояла бутафорская чаша. Гитарный перебор стал чуточку быстрее, и в пятно света вступили трое, последним из них—Аркаша. Они сели за стол с трёх сторон и чуть склонили головы, глядя не то в чашу, не то в себя. В их фигурах чувствовалось спокойствие и умиротворение. Потом Аркаша взял стул и сел чуть поодаль, а те двое достали шахматную доску и стали расставлять фигуры, но все фигуры были одного цвета.

Пока они играли, Аркаша взял микрофон и постарался разобраться в себе, понять, куда делось чувство покоя и откуда взялся страх, заставляющий искать забвения в обществе девушек, а счастья—на другом конце страны. Рассуждая об утраченном рае, пытаясь найти всему потустороннее объяснение, он читал отрывок написанного им фантастического романа из жизни ангелов.

А пока он читал, те двое вели свою бессмысленную партию. Наконец они закончили, закончил и Аркаша. Музыка сменилась на нечто более электронно-ломанное, но под треском сэмплов бился мерный пульс. Двое ушли, а Аркаша заметался по сцене в поисках маркера, который он забыл за кулисами. Наконец, он отыскал шариковую ручку и стал читать стихи, в паузах рисуя на выставленном планшете падающие перья. Так он и представлял свою жизнь—лёгким пёрышком во власти немилосердного ветра. Нынче здесь, завтра там, ничего устойчивого, ничего постоянного, пока не успокоишься в земляной пыли.

Я был белою ленточкой
На ледяном берегу.
Я был серым кроссовком,
Уставшим скрипеть на бегу.
Я был чёрной бедою
В руках одиноких ночей,
Я летел над водой…
Я летел над водой…

Аркаша замахал руками, разрывая невидимые наручники, взлетая, распинаясь на невидимом кресте. Всё у него было невидимое, неощущаемое. Человек-ветер — назвала его однажды Жанна.

Его глаза привыкли к темноте, и во время чтения он присмотрелся к зрителям, ища в их взглядах отклика и поддержки. Он не увидел в зале ни Сонечки, ни Жанны, на что тайно надеялся. Миле он почему-то не сказал про концерт. Неожиданно он разглядел в числе присутствующих готессу Машу, с которой когда-то встречался, но возле неё сидел парень с длинными чёрными волосами, и взгляд Аркаши не остановился на ней.

Слепым дождиком заплакало фортепиано, потянуло за собой нити скрипки; Аркаша подошёл к столику и положил на него тетрадку. Он делал вид, что читает из неё. Но на самом деле он помнил все свои стихи наизусть — от первой до последней строчки. Эта тетрадка была нужна ему лишь для того, чтобы унять дрожь в руках. Отыскав, наконец, около колонки синий маркер, он нарисовал на другом планшете дерево с крыльями вместо веток — ещё один образ, найденный в ходе размышлений о духовной свободе. Особенно старательно он прорисовал корни…

В завершение Аркаша нарисовал у себя на щеке синюю точку в качестве намёка на свой самый первый поэтический «хит», с которым у многих ассоциировалось его имя: «У тебя под глазом синенькая точка…» — но само стихотворение читать не стал.

Музыка пропала, фонари погасли, зрители стали ему не видны, и уже не с ними, а с шевелящейся темнотой за пределами света свечи он стал делиться своими воспоминаниями о первых страшных снах:

— …Память пробирается в прошлое, карабкается во тьму, подкрадывается всё ближе к первоначалу… Вокруг темно, и поэтому страшно закрывать глаза. Зачем выключили свет? Ведь именно в темноте, когда зрение невольно начинает подсвечивать предметы и от этого белёсого подслеповатого света их контуры становятся расплывчатыми, словно пушистыми, когда за окном синие ветки переплетаются с собственными тенями… Тогда… Тогда приходят все они. Странные обитатели полусна. Если закрыть глаза, то бледные пятнышки вытряхиваются из-под век и превращаются в маленьких юрких зверьков. Открываешь глаза — а они уже заполонили комнату. Это хорьки калба. Нужно срочно закрыться одеялом и подоткнуть его так, чтобы не было отверстий. Иначе эти странные ловкие хорьки доберутся до тебя. Но чем же это опасно? Никто не знает, что будет дальше, и всё же чутьё, само естество твоё шепчет: «Берегись!» И так со всеми обитателями ночной полуяви. Они не такие, как ты, и любой контакт, соприкосновение навсегда изменят тебя, разлучат с солнечным миром. Именно в темноте понимаешь, насколько крепко ты привязан к солнечному свету, к миру реальности. Но даже одеяло не убережёт тебя от Синего Теонтика, Богонуни и уж тем более от Герцогини. Она широкая и приземистая, со странным аристократическим головным убором и прозрачной мантией. Вся серая и неясная, она пересекает комнату на четырёх вращающихся квадратных ножках-веретёнцах. И тут уж одно спасение — громко закричать и позвать на помощь.

Затем он зажёг тусклый фонарик и стал окрашивать отдельные части обстановки голубоватым светом, отчего они становились мёртвыми, призрачными. Ему нравился синий, цвет духовности и непостижимых тайн, за то, что он отрывал от действительности, затягивал, уносил в какую-то высь или глубину, помогал замкнуться в себе. Но, сгущаясь, синий цвет неизменно переходит в чёрный; из этой-то черноты в его неземную синеву стали входить уродливые существа, искажённые, покалеченные, с вывернутыми руками и ногами, лица их были скрыты подобиями противогазов или масок. Они слепо натыкались на столы и стулья, ища его, а он, скованный страхом, не мог отвести от них своего дрожащего фонарика. Они приблизились к нему, и тогда он назвал их «злобные-съедобные» и выключил фонарик. Разминувшись с ними в полной темноте, он снова зажёг синий огонёк и бросил его за кулисы…

А когда снова смог видеть, он был уже один. Аркаша подошёл к краю сцены и продолжил свой рассказ:

— А потом зажжётся тёплый мандариновый свет ночника, и добрый мамин голос спросит: «Чего ты испугался, глупый?» И всё ночное и страшное исчезнет, потому что комнату наполнит мир маминой доброты. Она посмотрит сверху своими усталыми глазами (впрочем, что ты сейчас можешь понимать о её трудностях и печалях?), возьмёт тебя на руки, поднесёт к окну и станет укачивать, тихо напевая. И мир за окном будет раскачиваться — то исчезать за белыми кружевами, то снова возникать из тюлевого тумана. Снаружи тлеют фонари, лишь мелькают огни проезжающих автомобилей, да светофор роняет зелёные и красные капли на их скользкие спины. Цветы на подоконнике поднимаются выше изуродованных деревьев вдоль автострады, и оттого кажется, что вся улица утопает в зелени. И слышится песня об израненных людях, которые идут по горам и долинам к далёкому морю… и несут с собой знамёна… и входят в города, которые встречаются им на пути. Огоньки шевелятся, подрагивают, сливаются, текут ручейками, и вот уже ты спишь, но не видишь снов, потому что не накопил для них достаточно впечатлений…

Зазвучала колыбельная без слов, напетая для него одной знакомой вокалисткой. Аркаша сел под рисунок с падающими перьями так, чтобы

получалось, что они сыплются на него, а сам всё вглядывался в зал, ища того, кому именно он будет рассказывать оставшуюся часть истории. Кто-то сидел, скрестив руки, как бы защищаясь от того, что происходило на сцене, большинство лиц на первом ряду не выражало каких-то ярких и ясных чувств, задние тонули во мраке. Потом он приметил одного юношу, выглядывавшего со второго ряда и ловившего происходящее широко распахнутыми глазами, и решил, что будет обращаться поочерёдно то к нему, то к Маше.

Когда фортепианные переливы стали тревожными, он произнёс следующие строки:

Не открывай коробочку,
Под крышку не смотри.
Не открывай коробочку:
А вдруг там чёртик внутри?

Он нащупал невидимую ниточку и стал тянуть её на себя, вытягивая нечто из аудитории, и, пока он говорил, со злорадным удовлетворением видел, как тень испуга пробежала по некоторым лицам. Он умел, когда хотел, напустить туману, нагнать страха на впечатлительных, даже Сонечка порой пугалась его, считала способным на что-нибудь эдакое. Вот тут и наступил самый подходящий момент для кульминации первого действия: динамики исторгли нечто напоминающее призыв инопланетного фюрера, и под марш электронных басов поэт выхватил из-за пазухи кровоточащее сердце, продемонстрировал его залу, а потом шмякнул о подмостки. Аркаша упал на колени и закрыл лицо руками, согнувшись под тяжестью музыки, и сразу из-за кулис выскочили злобные-съедобные в своих масках-противогазах с болтающимися шлангами и стали пинать сердце друг другу, а наигравшись вдоволь, принялись крушить и разбрасывать всё на сцене; измазав руки в синей и красной краске, испачкали рисунки на планшетах, превратив их в подобия авангардных картин; разыскали тетрадь со стихами и стали рвать её, засыпая клочками зрителей. Когда же последний исписанный лист взвился над залом, свет погас, и Аркашин голос объявил антракт.

Когда начался второй акт, он вышел с бутылкой вина, осмотрел учинённый на сцене разгром, подобрал с пола несколько измятых страниц, вернул стол в надлежащее положение, придвинул стул и стал пить, перемежая глотки с обрывками монолога, бессвязного, как будто в бутылке и было настоящее вино. Зрители следили пристально и слушали внимательно, особенно готесса Маша и тот мальчик во втором ряду.

— Ах, как искал я своё имя, а находил чужие ярлыки…—говорил Аркаша.

Он стремился рассказать о том, как трудно разобраться в себе и во всём окружающем, как хочется и как трудно добиться понимания, как в бездействии и одиночестве вянут душевные силы, как хочется быть чем-то бóльшим, чем тело, обречённое на смерть; и злобный-съедобный хитро выглядывал из-под стола.

Далёкий невидимый трубач затрубил всеобщий отбой, переходя на печальную и красивую мелодию. И, в очередной раз смирившись с утратой всех своих прежних любовей, Аркаша заговорил, подолгу задерживая взгляд на лице растроганной готессы:

— Хорошо прощаться с любовью весной, когда краски мира нежны и свежи, когда природа тянется к возрождению. Как хорошо в такие дни наслаждаться самой жизнью. Пусть любовь ушла, но осталось это чистое небо, это тёплое ласковое солнце, эта изумрудная листва на деревьях. И кажется, что всё ещё впереди, что жизнь обещает много удач, приобретений и завоеваний. Кажется, что любовь прямо-таки растворена в окружающем воздухе и ты можешь взять столько, сколько тебе нужно в любой момент. Твоё сердце готово любить весь мир, зачем же зацикливать его на одном человеке? И уж совершенно глупо прощаться с любовью осенью или зимой. Ещё секунду назад ты был счастлив, и тебе было тепло. А потом тебя выталкивают из этого спасительного уютного пространства, и ты уходишь прочь, а впереди только суета серых снежных хлопьев или стены дождей. И куда бы ты ни пошёл отныне—везде тебя ждёт одно и то же: суета снега или стены дождей…

О Маше он бы сегодня и не вспомнил, если бы не увидел её в числе зрителей, но в данную минуту ему хотелось произнести хоть кому-то со сцены то, что он хотел и не сумел сказать Сонечке.

И пока он всё это говорил, а труба с синтезатором состязались в лиризме, злобный-съедобный заклеил планшеты свежими листами, как будто крылатое дерево и осыпавшиеся перья и вправду занесло снегом, а потом стал на одном из белых листов рисовать кирпичную стену, рисовал, как будто строил, рядами снизу вверх по одному кирпичику. Аркаша всё говорил и говорил, и каждая его фраза превращалась в дополнительный кирпич в стене. Так с ним и получалось всегда: красивые слова не помогали ничего вернуть, ложились между ним и Сонечкой пусть красивыми, но прочными и высокими стенами.

И вот он махнул рукой на всё, отрёкся от попыток что-то понять и наладить:

Самая печальная история:
Мне слепили запасную голову.
Старую размазало по городу,
Унесло на волю вместе с облаком…

Но музыка, проделав полный круг, уже снова возвращалась к той мелодии, с которой всё началось, только теперь она сделалась тревожной,

накапливала силы, чтобы прорваться криком, задумчивые блуждания гитары превратились в испуганные метания, чистый звук исказило, перекосило в скрежет, и набравшиеся сил и смелости злобные-съедобные кинулись в последнюю атаку, появившись сразу с двух сторон, отрезая пути к отступлению. Тогда Аркаша схватил планшет с чистым листом, поставил его в центре сцены и поспешно нарисовал вокруг себя и него меловой круг. Злобные-съедобные наткнулись на границы круга, но не остановились—принялись описывать кольца, не сводя с поэта окуляров своих масок. Музыка изливалась грязным потоком, а Аркаша, затравленно оглядываясь через плечо, принялся рисовать на чистом листе солнце с изгибающимися языками пламени по краям. Он умел. Он специально тренировался.

Оглянулся на зрителей, но уже не различил лиц—слишком важный и волнующий был момент, итог задуманного ритуала: всё смазалось в единую серую массу, злобные-съедобные сорвали с себя маски, и на секунду Аркаша увидел под ними лица его ночных посетителей—Сатанессы и её спутника. И спутник впервые заговорил с Аркашей:

— Мы встретились и больше чем подружились—сроднились, как роднятся люди в одной великой цели. Не так ли?

И Аркаша коснулся протянутой ему маски, и человечек, схватив поэта за руку, выдернул его из спасительного круга, а сам занял его место. Злой человечек встал у планшета так, что нарисованное солнце за его спиной выглядело нимбом, и словно бы впервые вздохнул полной грудью, а Аркаша остался на краю с маской в руках. Он постоял немного в раздумье (хотя какие могут быть раздумья под такую тяжёлую музыку?) и натянул странный противогаз. Похоже, что дышать без него можно было только внутри круга. Тем временем злобные-съедобные уже поменялись местами, и женщина, прикрыв свои русалочьи глаза, жадно дышала, сунув голову в нарисованное солнце.

Наконец настала очередь Аркаши, и злобные-съедобные, нехотя и будто бы даже с горечью, снова напялили маски и вышли из круга. Но поэт не стал притворяться святым: он вдруг почувствовал, что затеял весь свой спектакль не ради благосклонности потусторонних сил, а ради любви и понимания простых живых людей, которые собрались в зрительном зале. Он встал на колени и нарисовал у солнца собственное лицо. И у серой массы перед его глазами тоже проступили лица, он почувствовал взгляды, пристальные, живые, заинтересованные. А злобные-съедобные снова превратились в его брата Сашу и бывшего однокашника (и вечного студента) Женю, которого все называли Джоном.

Вот только солнечный лик он нарисовал перевёрнутым—со ртом наверху и глазами внизу. Почему так? Он видел растерянность зрителей. Конечно, у него было заготовлено объяснение: что-то про то, что в потустороннем мире всё всегда наоборот; но на самом деле ещё больше ему просто хотелось удивить, озадачить зрителей, пошатнуть их жвачную самоуверенность, заронить в них сомнения и побудить к поиску.

И, по крайней мере на мгновение, ему это удалось. Когда поток тяжёлой музыки провалился в ад, после мгновения полной тишины зазвучали светлые аккорды, и все трое вышли из образов и из-за кулис на поклон, зал взорвался аплодисментами, многие встали, как в настоящем театре. Готесса Маша, кажется, утирала слёзы.

Приёмы странной игры, которую Аркаша разыграл перед нею и другими зрителями, запутали её, сбили с толку и в итоге заставили просто подчиниться, поддаться логике разворачивавшегося действа. Более того, строчки произведений, образы, озвученные и показанные со сцены, откликнулись на нечто дремавшее в её голове: страхи, детские воспоминания. Ей даже показалось, что в ней пробудилась давно забытая тоска, которую она испытывала на пороге юности, когда она была стеснительным, неуверенным в себе подростком.

Когда, всё ещё находясь под впечатлением от спектакля, Маша вышла из тёмного помещения на улицу, ей показалось, что перед ней сияет не настоящее, а то, нарисованное Аркашей, солнце, даже город показался чуточку незнакомым. Она не разрешила своему кавалеру провожать её и по дороге домой в автобусе сочиняла некое подобие письма Аркаше, а может, просто мысленно говорила с ним, с собой или с персонажами спектакля.

Она вспоминала, как взрослый мир отталкивал и пугал её именно потому, что, как ей казалось, не отвечал ожиданиям, смутным надеждам романтической души. Ей хотелось, чтобы жизнь напоминала прочитанные в школе романы Тургенева и старые фильмы-сказки, чтобы в ней было побольше доброго, возвышенного и просто красивого: чтобы девушки ходили в длинных платьях, чтобы парни были галантны и элегантны; ну, или просто хотя бы чтобы не приходилось лгать и иметь дело с теми, кто тебе неприятен.

Но как-то так выходило, что детские фантазии и надежды—это всё не так важно, а вот притворяться и делать то, что не нравится,—просто необходимо. Приходилось постоянно лгать на учёбе, и вот теперь нужно было снова лгать для устройства на работу. И, в общем, это даже перестало её раздражать, стало настолько привычным, что уже прекратило быть ложью, потому что та, юная Маша давно и надолго уснула, а эта, новая, которая сначала была просто маской, давно уже привыкла жить сама по себе. А теперь юная мечтательница словно бы пробудилась и осмотрелась вокруг удивлённым взглядом.

Маша смотрела в своё отражение на автобусном окне и барабанила пальцами по стеклу. Всё не то, всё не так… Но что же теперь прикажете делать? Порвать свой диплом экономиста? Отказаться устраиваться на работу?

А потом она вернулась в свою привычную квартиру, поела, пообщалась с матерью, обсудила ближайшие планы, принялась за уборку, а потом позвонил её нынешний кавалер и пригласил на концерт, и маленькая мечтательница внутри сперва задремала, а потом и заснула крепким сном, а после концерта готической группы воспоминание об Аркашином спектакле поблекло и частично растаяло, оставив в памяти лишь отдельные эпизоды.

С наиболее впечатлительными зрителями произошло нечто подобное, но в ещё меньшей степени, ибо у них-то романа с Аркашей никогда не было.

Пожалуй, наиболее длительное воздействие представление оказало на самого Аркашу. Для него тоже зажглось нарисованное солнце. Вместе с поэтом из театра вышли исполнители роли злобных-съедобных Саня и Джон. У Сани были «тоннели» в ушах и на плече татуировка в виде механического дракона. На этом описание его личности можно считать исчерпывающим. Про Джона тоже не скажешь много, поскольку всё в нём было для Аркаши загадкой: и его вечная вялость, и скептицизм при остром уме и живой фантазии, и нежелание серьёзно заниматься творчеством при бесспорном таланте, и постоянная критика Аркашиных начинаний, и готовность пить в компании полных ничтожеств, и то, почему, несмотря на всё это, он согласился участвовать в Аркашином спектакле. Поэт тянулся к Джону, искал его общества, а тот то открывал ему душу, делился своими оригинальными мыслями, то вдруг становился презрительно-замкнут, и это мучило Аркашу, пожалуй, не меньше, чем разлад с Сонечкой.

— Вот это было круто! Эх, жалко, что ты уезжаешь, а то бы можно было ещё что-нибудь подобное замутить!—радовался Саня (кстати, это была его идея выйти на сцену спиной вперёд, нацепив противогаз на затылок, чтобы получить «вывернутого» монстра).

— И этим ты собрался покорять столицу?—усмехнулся Джон.

— А что? Чем это хуже мамоновских моноспектаклей? Он там вообще просто туда-сюда по сцене бегает, кривляется да стихи читает.

— Ну, к Мамонову ходят не ради его кривляний и даже не ради стихов, а потому, что это Мамонов. Он уж заработал себе капитал доверия и любви народной. Они за те же деньги согласились бы просто за ним в туалете подглядывать. А может быть, за это ещё и доплатили бы. А что он там вещает, мало кого волнует.

— И что же, по-твоему, должен делать начинающий автор?

— Ну, насчёт переезда—это, наверное, правильно. Вон один писатель, забыл какой, продал квартиру в своём городе, купил какую-то халупу, на самом краешке Москвы и год за годом таскался на тамошние литературные тусовки. Ну а через несколько лет и правда стал московским, то есть настоящим, писателем. Всё-таки как ни крути, а у нас тут задница. А все большие дела делаются только через Москву или Питер.

Аркаше невольно вспомнилась притча о двух мышках в молоке, которую часто рассказывали в Интернете или в разговорах. Две мышки упали в молоко и стали тонуть. Одна попробовала выбраться—не получилось, тогда она решила, что ничего не поделаешь, сложила лапки и утонула. А другая, несмотря ни на что, продолжала барахтаться изо всех сил. В итоге она взбила молоко в сливки и выбралась наружу. Но он вообще не любил притчи, и чем-то ему не нравилась и эта. То ли тем, что вторая мышка бросила первую, то ли тем, что они изначально не попробовали выбраться вместе, то ли тем, что спасение стало результатом бессмысленного барахтанья, а не здравого рассуждения и поиска, то ли вообще тем, что люди приравниваются к мышам.

На ходу они с Джоном обменивались вялыми возражениями: собственно, всё это уже было говорено-переговорено, их спор давно упёрся в границы того, что было в их головах оформлено в слова, а дальше уже начинались смутные ощущения, которые сами они не могли ещё выразить, но которые мешали им договориться. Саша просто вертел головой туда-сюда и не вникал в спор. Он уже давно решил стать диджеем, а остальное его мало волновало.

От разговора их отвлёк звук синтезатора. На углу стоял старичок и тыкал в клавиши. Собственно, основную работу за него делала автоматическая минусовка, дедок лишь периодически добавлял от себя по паре нот (Джон сам был клавишником и понимал в этом толк). У его ног стояла коробка для подаяний.

— Кстати, к разговору о творчестве,—мрачно усмехнулся Джон.

Дедок повторял одну и ту же несложную мелодию, словно в компьютерной игре. Одет он был достаточно прилично: рубашка и брючки были хоть и старомодны, но отутюжены, на голове соломенная шляпа с заломленным краем. И всё же сам он производил жалкое впечатление: тщедушный, с потемневшей кожей, он как-то измученно улыбался и пытался приплясывать. Когда парни проходили мимо, он и вовсе нацепил очки с приделанным пластмассовым носом. Аркаша не выдержал и выгреб из кармана мелочь. Он отдал её не за приятную музыку, а из жалости к старику.

Сашка тоже чего-то кинул. А Женька только загадочно улыбнулся: мол, вот какая подлая штука жизнь. И всем было понятно, что не от хорошей жизни и не удовольствия ради этот дедок приплясывает в жару посреди улицы и заглядывает в глаза прохожим, выдавливая из себя улыбку.

«Вот поэтому и еду. Потому что нельзя плыть по течению, потому что надо совершить какой-то ход конём, иначе эта жизнь сожрёт и выплюнет нас, заманит в ловушку. Да мы уже в ловушке»,— подумал Аркаша. Вот только никак не мог понять, в чём заключается эта ловушка.

— Чтобы пробиться, надо делать не мелодекламацию, а рэпчик, как у «Кровостока» или у рэпера Сявы,— сказал Джон.

Аркаше как будто плюнули в лицо.

— Эту похабень?

— В порядке юмора.

— Ни в каком порядке я с этим связываться не хочу. Эх ты… А как же «Колыбель зари»?

Аркаша говорил о песне, точнее, даже о романтическом образе, который Джон придумал ещё в школе,— колыбель зари, сделанная из крыльев всех сгоревших мотыльков. Аркаше очень нравились этот образ и музыка, которую Женька написал для песни… которая так никогда и не появилась. Он и любил-то Женьку именно за этот романтизм и всё ждал от него осуществления прекрасных и возвышенных замыслов. И вот теперь такое предательство. Неужели ради какого-то паршивого успеха можно вывернуть наизнанку свою душу? Воспеть то, что раньше презирал, и предать то, что боготворил…

Холодно попрощавшись с Джоном, он решил, что заберёт образ колыбели зари себе. Заря, рассвет и всё прекрасное, что они собой символизируют.

В автобусе он читал пьесу «Тот, кто получает пощёчины» своего любимого Леонида Андреева. Благодаря сегодняшнему творческому успеху, на этот раз чтение Андреева не приводило его в ужас, а навевало тихую грусть. Клоуны и акробаты выясняли между собой отношения, но Аркаша-то отлично понимал, что пьеса вовсе не про цирк, что всё это— метафора человеческого общества, в котором одни забавляют других за деньги. «Всегда так было и так же будет,— рассуждал про себя Аркаша.— Всегда были деньги, и жизнью распоряжались те, у кого их больше. Почему так выходит?» И он сочувствовал размалёванным клоунам тогда, когда под улыбающимся гримом они скрывали слёзы или злость.

Вспомнились слова песни:

Я видел плачущего клоуна,
Он не казался мне смешным.
Колпак и туфли, фрак и бабочка
Да розовый печальный грим…

Наверное, образ клоуна тем и хорош, что он делает очевидной фальшь улыбки современного человека, её нарисованность, приклеенность. Люди с вездесущих рекламных плакатов скалятся так, будто им вырывают ногти. А клоун всем своим нарочитым видом говорит: я смеюсь потому, что вы меня хотите видеть таким, но знайте— это ложь.

Чем Аркашу привлекали безрадостные творения Леонида Андреева? Не только тем, что они не закрывали глаз на трагизм бытия, но и тем, что ни автор, ни его герои не смирялись с установленным порядком вещей, даже если чувствовали свою неспособность что-либо изменить. «А где ты видел красавицу в лохмотьях?— вопрошал тот, кто получает пощёчины.— Не этот купит, так другой. Всё равно всё прекрасное покупают они». И в этом слышалась не то скорбная жалоба, не то гневное обвинение в адрес тех, кто покупает себе всё…

— И всё-таки вдохновение не купишь!— решил Аркаша и с удивлением обнаружил, что сказал это вслух.

К счастью, у него зазвонил телефон и избавил его от чувства неловкости.

Звонил отец и предлагал прямо сейчас ехать на дачу к старикам— Аркашиным бабушке и дедушке, повидаться перед поездкой.

— Завтра вечером я тебя привезу, у тебя будет целая ночь на сборы!

И Аркаша согласился. Сразу по ряду причин. Он любил внезапности, любил куда-то ехать (даже больше, чем приезжать), любил общаться с людьми, любил деда и, по-своему, отца. Приятно было сорваться куда-то с уже намеченного маршрута. Поэтому он убрал Леонида Андреева в рюкзак и выскочил из автобуса. В вечерних сумерках они уже катили на отцовском автомобильчике вон из города.

Впрочем, город их выпустил не сразу: на выезде начались пробки, и какое-то время они неторопливо плелись через спальные районы, утыканные многоэтажками. Квартиры в них покупались вяло, горели лишь некоторые окна, но строительные компании не могли позволить себе передышку, и продолжали круглосуточно рыть котлованы, вколачивать сваи, громоздить этаж на этаж, бетонировать небо.

Там, куда ещё не дотянулись застройщики, начиналась территория мелкого бизнеса: вдоль дороги побежали ларьки и конторы: шиномонтажки, автосервисы, продажа бруса, минимаркеты, дешёвые отели. Прямо на обочине кто-то торговал арбузами и грибами, как будто кого-то могли прельстить продукты, пропитанные бензиновой гарью.

— Если бы мы ехали утром, то застали бы ещё один товар,— проговорил отец, искоса глянув на Аркашу.

— Цветы?— не особенно задумываясь, откликнулся тот.

— Нет,—покачал головой отец,—рабочие руки. По утрам тут обычно стоят подёнщики.
— М-м,—отозвался Аркаша.

Ему как-то сразу стала неинтересна эта тема, но отец после короткого молчания продолжил:
— Те, у кого профессия востребованная, особенно в естественнонаучной области, конечно, так стоять не будут. А те, у кого не востребованная…
— Особенно в гуманитарной области,—продолжил за него Аркаша.
— Особенно в гуманитарной области,—с нажимом повторил отец, давая тем самым понять, что хоть сын и предугадал его мысль, от этого она не потеряла своей важности и актуальности, а коль скоро отец прав, то нелишне будет выслушать его до конца,—те вынуждены приспосабливаться и продавать себя на тех условиях, которые предложит заказчик. Ты пойми, что за сотни лет ничего не изменилось, миром, как и пять, и десять веков назад, правят бандиты. Технических специалистов они вынуждены уважать, поскольку не могут без них обойтись, а всё остальное для них—из разряда развлечений. То есть, когда они поделили между собой добычу, сами наелись до отвала, они могут кое-что кинуть скоморохам, которые их развлекают.
— Ты так об этом рассказываешь, как будто такое положение дел тебе нравится.
— Нравится или не нравится, об этом нас с тобой никто не спрашивает. Есть определённый порядок вещей, и с ним надо уметь жить. Это закон джунглей: кто не приспосабливается—тот погибает.
— Я уж лучше погибну,—обиженно проговорил Аркаша.

Ему и вправду казалось, что лучше умереть, чем жить по тем правилам, которые провозгласил отец. В мире, который он описывал, было нечем дышать. Аркаша невольно припомнил, как отец играл с ним много лет назад. Это было одно из самых ранних Аркашиных воспоминаний: огромный, дышащий жаром отец берёт его на руки и начинает тискать. Маленький Аркаша задыхается, он боится, что отец придавит его, а главное, он никак не может вырваться, потому что отец более силён и ловок. Аркаша ревёт и рвётся прочь, отец хохочет…
— Говорил я тебе, что надо было тебе на физика поступать. Но ты ведь жизнь лучше меня знаешь,—продолжал между тем отец, но уже жалующимся голосом, как будто его незаслуженно обидели.—Ну а если тебе непременно хотелось писателем становиться, так надо было в столицу и поступать. Ты пойми, в университете главное—отнюдь не знания, которые ты там получаешь, а тусовка, частью которой ты становишься.
— Ну, вот видишь, еду,—сказал Аркаша, просто чтобы хоть чем-то успокоить отца и завершить нудный, давно уже надоевший разговор.
— Так теперь поздно уже! Впрочем, ладно…—сказал так, словно рукой махнул: мол, чёрт с тобой, живи как знаешь.

Дальше ехали молча.

Дача бабки и деда располагалась аккурат посередине между двумя станциями электрички. Дед всё время сетовал, что приходится одинаково долго топать от любой из остановок, даже собирался писать письмо мэру с предложением сделать ещё одну станцию между этими двумя, но так ничего и не отправил—то ли застеснялся, то ли не совладал со стилем.

На веранде домика горел свет, дед встретил их на крыльце. Аркаша обратил внимание, что на столике лежит большая тетрадь, исписанная до половины.
— Что пишешь?
— Так, ничего,—ответил дед и закрыл тетрадь.

Аркашу уложили наверху. Он долго не мог уснуть: ему казалось, что это не листья шумят за окном, а дед шуршит своей тетрадкой. И Аркаша всё ломал голову, о чём он там пишет.

Глухая сибирская провинция. Посёлок Усть-Кутский. Место живописное: здесь речушка Кута впадает в Лену, горизонт изогнут покрытыми тайгой холмами. Климат как раз для широких натур—с морозной зимой и жарким летом. Но до ближайшего крупного города, Иркутска, чуть не тысяча вёрст по бедовым российским дорогам, вечно разбитым распутицей.

И хотя некоторые говорят, что сердце России находится в глубинке, всё-таки её судьба вершится в столице, и не может не рваться туда, на запад, молодой, мятежный, ищущий дух.

Правда, сейчас особое время. Лучшие умы, самые светлые души удаляются из столиц. Удаляются не по своей воле. А тут, в Усть-Кутском, старинное место ссылки. На здешнем солеваренном заводе трудились ещё пленные поляки, участники Январского восстания. И разве сам он ждал чего-то другого, когда вступил в Южно-русский союз рабочих, а потом и стал одним из его руководителей?

Ссылка для многих стала не только университетом, но и суровым испытанием, проверкой. Впрочем, он уже испытан многими и многими месяцами тюрьмы, и они не сломили и не согнули его. Даже в тюрьме он пользовался любой возможностью, чтобы читать книги и излагать на бумаге свои мысли. Записи у него отобрали, но сохранилось главное—жажда мыслить и формирующийся литературный стиль.

Чем же после всего грозит ему ссылка? Изоляцией? Несвободой? Он прошёл одиночное заключение. Голодом и бытовыми трудностями? Он не боится труда, и кроме того—с ним теперь Александра, такая же заключённая, ссыльная, товарищ

по несчастью и борьбе. Они обвенчались в заключении и теперь будут преодолевать ссылку вместе. Он влюблён, как только может быть влюблён юноша, едва вырвавшийся из тюремных стен, и он уважает свою молодую супругу, они больше чем влюблённые — они соратники по борьбе. Возможно, в их соединении был элемент здравого расчёта: в маленькую деревушку двух единомышленников не отправят, а вот для супругов, пожалуй, сделают исключение, ведь чиновники так уважают церковные таинства. И всё же их расчёт гораздо возвышеннее и духовнее мещанской корысти, направляющей иные браки, подсчитывающей размеры состояний и приданого, сличающей социальные статусы и даже внешнюю красоту исчисляющей в звонкой монете, подменяющей духовную близость близостью двух бездуший. И наконец, разве Александра не хороша собой? Небольшая, изящно сложённая, с правильными чертами лица, большим чувственным ртом, высоким лбом, может быть, чуть нависающим над глазами, отчего они смотрят словно бы из тени. Но особенно хорошо это лицо, когда Александра увлечена спором, когда говорит и думает о том, что её волнует. Тогда каждая чёрточка светится, с лица слетает усталость, которую так старается привить обывателям российское правосудие. Оно жаждет растоптать, стереть человека, сделать его тупым и равнодушным.

С наиболее слабыми это удаётся, люди начинают пить, замыкаться в кругу обыденных, животных проблем. Иные не сдаются, но и не выдерживают — сводят счёты с жизнью.

Белое безмолвие укрыло весь мир, белое безмолвие сыпалось с небес и выходило вместе с дыханием, ладони снега были готовы в любой момент собрать в горсть чёрные избёнки, в которых ютились люди. И всё-таки огонь его сердца был сильнее. Юноша вошёл в избу, которую они недавно заняли. Обстановка была скудна: лавка, стол, печь, кое-какая посуда. Его взгляд задержался на единственных предметах его любви, источниках силы и бодрости — жене с десятимесячной дочкой и двух стопках книг.
— Значит, решил? — спросила Александра.
— Да, буду писать.
— В счетоводы больше не собираешься? Смотри, Энгельс этим не брезговал, — её губы трогает улыбка.
— После месяца работы у Черных, у этого торгового феодала? — он невольно передёргивает плечами. — И кроме того, Саша, больше никого подходящего в округе нет: этот паук всё прибрал к рукам, а с ним мы уже рассорились из-за этой истории с краской.
— Подумаешь, один раз ошибся в цифрах.
— В их мире ошибок не прощают. Хотя сам Черных, я ведь говорил тебе, даже не умеет своего имени написать, ставит крестик в бумагах. Нет, с миром капитала у нас война. Поверь, в журналистике и сумею заявить о себе, и обеспечу нас всем необходимым. Буду писать, — ещё раз твёрдо повторил он.
— В «Восточное обозрение»?
— Ну, это для начала. Туда можно отправлять политические заметки и рецензии. Но надо осмотреться, должны быть ещё какие-нибудь газетёнки.
— «Восточное обозрение» — наиболее культурная газета. Там публиковались и Брешковская, и Зайчневский с Коваликом. Вряд ли другим газетам понадобятся статьи на философские и социальные темы.
— Зайчневский? А что он там публиковал? Начну с «Обозрения», конечно. А затем будем штурмовать другие. Всем ведь нужны фельетоны, информация с мест. Почему бы жителям городов не поинтересоваться, как живут обитатели кормящих их деревень? Разве наш Усть-Кут не типичен? Взять хотя бы высокую смертность детей и подростков.

Он заметил, как Александра невольно прижала к себе дитя.
— Не горюй, Саша, не пропадём. А там, глядишь, нам позволят-таки перебраться на юг, поближе к нашим, товарищи поддержат, да и поле работы там пошире. Кстати, прошлой ночью я уже набросал кое-что.
— А имя выбрал? — снова улыбнулась Александра. — Фауст, Август…
— А ведь верно, — и он зашагал по комнате, глядя то в пол, то в потолок.

Наконец взгляд его упал на словарь итальянского языка. Он подошёл к столу и наугад развернул книгу:
— Antidoto… Антидото… Нет, пусть будет Антид Ото.
— Лекарство?
— Скорее, противоядие. Будем лечить ссыльную братию от яда анархизма, либерализма и пережитков народничества.

Дальше у молодожёнов завязался долгий разговор на тему господствующих направлений общественной мысли, пока ребёнок не проснулся и не напомнил о себе. И почему это дети просыпаются с плачем? Разве им снится что-то дурное? Тогда они занялись бытом. Новоявленный Антид Ото отправился за водой.

Он ещё раз окинул взглядом свою типичную сибирскую деревню — горстку убогих лачуг, в которой читать-то умеют единицы, а между тем его обуревали широкие литературные замыслы…

Утром, когда Аркаша спустился с верхней комнатки, на веранде была бабушка. Она готовила еду — нарезала овощи. Сразу принялась выспрашивать про работу, и внук вынужден был сознаться, что всё бросает и уезжает в Петербург.
— Ну что ж, — рассудила бабушка, — поезжай. Звони оттуда, рассказывай, как и что.

— Хорошо.
— И в церковь ходить не забывай,— назидательно сказала она.

Бабушка принимала большое участие в жизни ближайшей церкви, не пропускала воскресные и праздничные богослужения. Аркаша вспомнил, как однажды случайно проходил мимо этого храма и заглянул внутрь. Там шла литургия, какой-то особенный её момент, требовавший, чтобы все стояли на коленях. Вход находился не напротив алтаря, и все прихожане и прихожанки стояли к юноше боком. В одной из них он узнал бабушку. Бабушка заметила его и строго посмотрела из-под платка, подумав, наверное, что внук пришёл отвлекать её от молитв.

Вот и сейчас она говорила строго и серьёзно:
— Хоть и далеко едешь, через всю страну, а в церковь ходи. Церкви и там есть, всё-таки Россия. Страна наша без христианства не держится, и вера Христова без России не стоит.

В такие минуты Аркаша, хоть и считал себя православным, чувствовал хулиганское настроение: хотелось острить, дерзить, спорить. Но он знал, что в разговоре с бабушкой свои мысли надо выражать очень коротко: больше двух-трёх фраз подряд она выслушивать не станет.
— Не потому ли произошло разделение церквей, что разные государства захотели присвоить Христа себе?
— Как раз наоборот это произошло. Это они сами от Бога истинного отвернулись, только церковь православная в России веру сохранила.
— Уж очень соблазнительно в политических целях объявлять всех иностранцев нехристями. Тем более тогда непонятно, кого проповедует православная церковь: не то Бога, не то нашего президента.

То ли бабушка не расслышала его слов, то ли не нашлась что ответить. Она махнула рукой с ножом в сторону огорода и сказала, что дед там и неплохо бы внуку пойти и пообщаться с ним.

Аркаша вышел на крыльцо. Весь участок был занят грядками. Дедушка больше любил деревья и мечтал о саде, а бабушка больше любила огород, и она была главней. Единственные два небольших деревца, ранетки, росли за домом. И дедушка как раз снимал с них урожай. Они поздоровались, и Аркаша стал помогать. Ему хотелось поговорить с дедом, но он не знал о чём. Дедушка всегда был молчалив и обычно не начинал разговаривать первым, в кругу семьи его реплики сразу прерывали его жена или дочь (Аркашина тётя) чем-нибудь пренебрежительным в духе: «Ага, щас»,— или: «Ну, конечно». Пожалуй, по-настоящему Аркаша общался с дедушкой только в раннем детстве, когда дед учил его играть в шахматы. А в остальном… Аркаша знал, что дедушка раньше работал водителем электровоза и теперь ещё подрабатывает сторожем, что у него есть гараж, в котором он хранит какой-то хлам и иногда что-то там перетаскивает. Да, ещё, кажется, он играл на балалайке. Эта музыка пробивалась к Аркаше откуда-то из глубины памяти, из самого детства. Сейчас дома у бабушки с дедушкой балалайки нет. Может, она хранится в гараже?

Хотя он почти ничего не знал про деда, Аркашу тянуло к нему, казалось, что дедушке есть что сказать ему.
— Привет,— сказал он и пожал сухую дедушкину руку.
— Привет,— ответил дед и придвинул ведро, чтобы внуку было удобнее.

Какое-то время работали молча.
— А что это ты писал, когда мы приехали?— спросил Аркаша.
— Да так,— ответил дедушка и только несколько ранеток спустя спросил:— Скажи, Аркадий, вот ты же пишешь что-то, сочиняешь?

(Дедушка произнёс «сочиня-ашь»— так говорили в его родных местах.)

Внук смущённо кивнул. Если бы дедушка попросил что-нибудь ему прочитать, то что бы предъявил ему Аркаша? «Я был белою ленточкой…»? Или дедушка бы понял?
— Но ведь для того, чтобы рассказывать другим, учить их жизни, надо самому в ней много повидать, узнать её хорошенько.
— Ты прав, конечно, но я ведь пишу для таких же, как я, для молодёжи своего поколения, у которой похожий опыт. Что-то я всё-таки повидал и пережил, этим и делюсь.
— Ну да… ну да…— проговорил дедушка и снова замолчал, а потом проговорил:— А ты читал классиков?
— Конечно! В университете мы всех проходили.
— Ну, проходить— это одно… Вот у Толстого хорошо написано.

Аркаша пошарил в памяти: а что он читал у Толстого? Нет, ничего не читал, побрезговал. Ведь Толстого отлучили от церкви, да и, говорят, с женой у него были нелады. А на экзамен они тогда Кириллу Мефодиевичу всей группой преподнесли какой-то редкий кофе, так что четвёрки он всем поставил без экзамена, и отвечать остались одни отличники.
— А бывает у тебя так, что берёшь перо, да призадумаешься (призадума-ашься): как об этом писать, да и стоит ли? Зачем ворошить старые обиды?

Взял ведро и понёс в дом. Больше Аркаше и не удалось поговорить с ним. За столом ораторствовала бабушка, старая комсомолка. Кажется, Аркашин папа как-то сказал про неё, что она и в церковь верит, как в комсомол семидесятых. Аркаша не любил всё коммунистическое скопом и не интересовался, чем комсомол семидесятых отличался от комсомола каких-нибудь других лет.

А во второй половине дня они с отцом уехали.

Время до часа икс пронеслось быстро и суматошно, и вот уже Аркаша стоит вместе с Милой на перроне возле гостеприимно открытой двери вагона, а против них стоит небольшая горстка провожающих. И тут Аркаша понял, что эти люди и есть то единственное, с чем ему жалко прощаться. Пришли Настя, которую он чуть не поманил с собой, новый знакомый и пока неразгаданный Павел, поверившая в Аркашин талант готесса Маша и даже тот самый удивлённо-восторженный парнишка из зрительного зала, пришёл злобный-съедобный Саня. Пришёл и отец, и на этот раз его лицо было каким-то особенным, смягчившимся.

Сонечка, Жанна и Джон не пришли, и это было как три выстрела в спину. Он невольно до последнего искал их глазами в вокзальной толчее. С другой стороны, если бы они пришли, прощание ведь было бы тяжелее. А так они оттолкнули его, и он оттолкнул мысли о них, как отталкиваются веслом от берега.

Саня и Маша разыграли прямо на перроне небольшую шутливую сценку, пародию на Аркашин спектакль. Настя подарила напоследок Аркаше перевязанную белой ленточкой коробку, в которой не оказалось ничего. Снова двусмысленный подарок, который можно истолковать как угодно.

Проводник поторопил, все засуетились, и Аркаша впервые, смущённо и торопливо, обнял отца, не глядя пожал протянутые руки и помог Миле войти в вагон. Всё поплыло, побежало, отдалилось, отделённое грязным стеклом, стало чужим, мертвенно-бледным, как на старой фотографии.

Прощай, огромный, загромождённый автомобилями город, город магазинов, прощай, неразделённая любовь, прощай, равнодушие! Здравствуй, прекрасное далёко, где люди живут во дворцах и говорят только о высокой философии и классической литературе, где наверняка никто и слыхом не слыхивал о попсе и шансоне, где добродушные и мудрые рок-звёзды поют в каждом подъезде и зазывают прохожих к себе на чай, где ходят призраки Достоевского и Блока, где нет бизнеса и, может быть, есть сам Господь Бог.

Окончание следует

ДиН симметрия

Марина Цветаева

Как закон голубиный вымарывая…

● ● ●

Как закон голубиный вымарывая,—
Руку судорогой не свело,—
А случилось: заморское марево
Русским заревом здесь расцвело.
Два крыла свои—эвот да эвона—
. . . . истрепала любовь…
Что из правого-то, что из левого—
Одинакая пролита кровь…
Два крыла православного складеня—
. . . . промеж ними двумя—
А понять ничего нам не дадено,
Голубиной любви окромя…
Эх вы правая с левой две варежки!
Та же шерсть вас вязала в клубок!
Дерзновенное слово: товарищи
Сменит прежняя быль: голубок.
Побратавшись да левая с правою,
Встанет—всем Тамерланам на грусть!
В струпьях, в язвах, в проказе—оправдана,
Ибо есть и останется—Русь.

● ● ●

На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь.

Эй вы, обратные по трахту!
Поклон великим городам.
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам.

Поклон тебе, град Божий, Киев!
Поклон, престольная Москва!
Поклон, мои дела мирские!
Я сын, не помнящий родства…

Не встанет—любоваться рожью
Покойник, возлюбивший гроб.
Заворожил от света Божья
Меня верховный рудокоп.

1921

Геннадий Белошапкин

Заглянуть за горизонт

Юность

Лучше гор могут быть…
Владимир Высоцкий

Новенькие «вибрамы» — горные ботинки в картонной коробке — я забыл в троллейбусе. Он вёз меня в Рижское лётно-техническое училище от памятника Свободы, далее по мосту через Даугаву на улицу Пилоту, дом один.

Ботинки я купил в Москве, в спортивном магазине. В столицу приехал впервые. До начала учёбы оставалось три дня, поэтому у меня было время посмотреть город.

Купил билет до Риги, сдал вещи в камеру хранения и стал изучать достопримечательности Москвы. Побывал на ВДНХ, сходил в ГУМ, посетил Мавзолей, простояв в очереди четыре часа. Прошёлся по Красной площади. Спал урывками на Рижском вокзале и в метро. Случайно попал в театр на Таганке на сборный концерт, где выступал Аркадий Райкин. Я же наивно мечтал увидеть Владимира Высоцкого. Незадолго до этого на экраны страны вышел фильм «Вертикаль», и песни из него стали очень популярными.

Отучившись первый курс, поехал в отпуск к себе на родину — в посёлок Майна, находящийся в окружении Саянских гор. На летние каникулы там собрались мои одноклассники. Я предложил сходить на Борус — пятиглавый хребет, который был виден из нашего посёлка. Его высота составляла две тысячи триста метров, это сравнимо с Фудзиямой в Японии. Согласились пойти в поход четверо: Вова Шептюк, Саня Высоких, Витя Дырков и приехавший на лето к нам из Новокузнецка мой двоюродный брат Женька Чернаков. Витя Янушкайтис — друг по занятиям футболом, боксом и борьбой — по какой-то причине с нами не пошёл.

В человеке с древних времён живёт жажда познания неизведанного, желание заглянуть за горизонт, увидеть, что же там, за горами, за лесом, за поворотом реки. Борус всегда привлекал меня своей недоступностью, манил к себе блеском снеговых вершин. Он обычно стоял на первом месте в моих мечтах таёжного бродяги…

Собрались быстро. Взяли с собой тушёнки, сгущёнки, хлеба. Не забыли овощей с огорода. Я прихватил ружьё, палатку, топор и фотоаппарат. Вот бы где пригодились мне «вибрамы», которые потерял в Риге! Планировали подняться на Борус, затем спуститься в долину Джойской Сосновки, построить плот и на нём сплавиться до Майны.

Ранним августовским утром доехали на автобусе до посёлка Черёмушки. Перебрались по мосту через Енисей и по Таловому логу стали подниматься в горы. Сначала тропа шла вдоль ручья, изредка пересекая его. По пути лакомились брусникой и орехами, подбирая на ходу кедровые шишки-падалицы.

Мы часто останавливались на отдых, с наслаждением пили прозрачную ледяную воду и, положив рюкзаки под голову, лежали на мягком мху в тени деревьев. Ручеёк весело журчал, искрился брызгами, протекая между корней пышных кедров и разлапистых елей. Небольшие скалки были покрыты широколистным баданом и пахучим багульником. Смолистый запах разомлевшей под солнцем тайги казался особенно приятым нам — уже городским жителям. Пёстрая кедровка, перелетавшая с одного дерева на другое, недовольно «закеркала», явно прогоняя нас со своей территории. Мы, как бы соглашаясь с ней, молча начали собираться в путь.

Скоро лес поредел, но вершины хребта ещё не было видно. Одна тропа пошла на подъём, другая продолжала идти вдоль горы. Мы остановились и начали спорить, как двигаться дальше. Мнения разделились. Я доказывал, что надо и дальше следовать вдоль горы. А Виктор Дырков убеждал, что лучше подниматься вверх. Минут пять мы выплёскивали свои эмоции. Потом я шутя согласился с предложением Виктора. Остальные поверили нашему доводу, что «это наши горы — они помогут нам»…

Тайга заканчивалась. Тропа перескакивала через россыпи небольших камней, вилась по крутому склону. С нами взбирались одинокие лиственницы да кедровый стланик, который цеплялся своими корнями за любую почву, способную вдохнуть жизнь в этой «казённой пустыне». Иногда под базальтовыми плитами было слышно журчание ручья — это таял накопившийся с зимы лёд.

Постепенно растительность уступала место россыпям крупных камней — курумнику. Подъём

становился круче, и нам приходилось то и дело обходить препятствия. Солнце опустилось к западным хребтам, когда мы подошли к скале, за которой виднелся вершинный гребень. Идти дальше уже не оставалось сил—следовало сделать здесь привал на ночёвку. Тем более что тут можно было насобирать хворост и обломанные ветки сухостоин лиственниц и кедров, закрученных злыми ветрами, но не поваленных. На защищённой от ветра площадке разбили лагерь. Расстелили брезент, зажгли костёр и приготовили нехитрый ужин.

В горах темнеет быстро. Лишь только солнце на западе скрылось за саянскими хребтами, как из распадков поднялась тьма. Она охватила тайгу, и скоро на фиолетовом небосклоне появились первые звёзды. Закат угасал, становилось тихо, наступала ночь. Здесь, в поднебесье, на суровых вершинах гольцов, среди скал и безжизненных курумов, человек как нигде чувствует себя малой песчинкой перед огромным, всевластным и бесконечным миром и тем, кто им правит.

Мы лежали, обессиленные тяжёлым подъёмом, пытались по еле приметным огонькам угадать наш посёлок Майну. Молча испытывали гордость за то, что наш костёр на вершине хребта, наверное, видят за много километров отсюда. Луны ещё не было, а огромные звёзды стали так близки! Казалось, что мы находимся в центре мироздания, а горы повисли на коромысле Млечного Пути.

Утром мы встали вместе с солнцем, которое осветило сначала вершину. Потом оно нежно коснулось нас своими тёплыми лучами, прогоняя холод и мрак уходящей ночи. Над Енисеем клубились облака, а по таёжным распадкам стоял белёсый туман.

Быстро попив чаю, мы собрали вещи и двинулись вверх. Через час достигли вершины. Увиденное поразило нас! Перед нами во всём своём величии возвышался Борус. Мы оказались на одном из отрогов главного хребта. Внизу лежал каменный цирк, на дне которого маленьким изумрудом зеленело озеро. Какое-то время мы молча озирались по сторонам, силясь охватить и запомнить эту сказочную красоту—таёжные дали, рассечённые серой лентой Енисея, саянские гольцы на горизонте и желтеющие вдали хакасские степи. Сделали фото на память и начали спуск.

Мы рассчитывали выйти к увиденному водоёму, на берегу которого находилась изба. По пути я тщетно оглядывал скалы, надеясь заметить горных козлов, о которых читал в книгах. К вечеру достигли озера. По его берегам росла сочная трава. Вода была изумрудно-зелёной. Она оказалась такой прозрачной, что даже на глубине виднелись все камни.

Мы вволю напились ледяной воды и по едва заметной тропинке вышли к избе, которая была сложена из нетолстых брёвен. Внутри имелись нары, небольшая железная печка. У маленького застеклённого окна располагались грубо сколоченный стол и огромная лавка. Неожиданно из-под нар выскочил горностай и внимательно осмотрел нас своими чёрными бусинками глаз. Он, наверное, привык к частым посещениям жилища туристами. Зверёк немного посидел и, недовольно «уркнув», исчез под нарами.

Сил на решающее восхождение на основную вершину Боруса у нас уже не осталось. Решили отложить штурм горы на завтра. Но утром в горах испортилась погода. Пошёл мелкий дождь, небо затянули низкие, без просвета, серые облака. В таких условиях взбираться по скользким камням было опасно.

Целый день мы валялись на нарах. От скуки затеяли турнир, соревнуясь в меткости стрельбы по мишени. На кону была банка сгущёнки. В итоге не без лёгкого плутовства я и Виктор, к явному неудовольствию других участников, выиграли этот приз.

Утро следующего дня встретило нас моросящим дождём, который выводил на крыше свою грустную мелодию. Всё было окутано промозглым туманом. Затяжной дождь шёл всю ночь. Несмело нарождался новый день. Природа молчала. Тишина угнетала всё живое. Даже так полюбившийся нам смелый белогрудый зверёк не появлялся из своего убежища. В лесу не слышно было птиц. Только в горах глухо гремели камнепады, уныло скрипела сухостоина за окном, да пару раз каркнула в ночи ворона.

Еда у нас заканчивалась. Да ещё один участник нашей группы получил травму. Это случилось утром. Вовка Шептюк колол дрова, и отлетевшая щепа поранила ему глаз. Мы решили возвращаться домой. Стали собираться и на полке нашли журнал восхождений на Борус. Сделали запись о том, что покорили вершину, которая оказалась отрогом главного хребта. В шутку окрестили её «пиком Дураков». Приехав в Майну через тридцать лет, я с удивлением узнал, что это название сохранилось в среде горовосходителей.

А мы налегке, почти бегом, спустились вниз к Енисею и к вечеру вернулись в свой посёлок. У нас навсегда сохранилась мечта подняться когда-нибудь на вершину Боруса. Об этом походе я сложил несколько строк: «На Борусе дожди. Меня уже не жди. Умоется слезой осенний листопад…»

В Саянах прошла моя юность. Там я полюбил сверкающие громады гор и бесконечные таёжные дали, где слушал волшебную музыку живой природы, и, возвращаясь через много лет к себе на родину, как святая святых пронёс в своей душе любовь к этому суровому и прекрасному краю.

Заглянуть за горизонт

Когда-нибудь, страшно подумать—когда,
Сбудется день иной,—
Тогда мы, дружище, вернёмся туда,
Откуда ушли давно.
Ю. Визбор

Ранним осенним утром 2016 года поезд Абакан—Москва подошёл к станции Ачинск. Стоит он около часа—меняют тепловоз на электровоз, который ставят с другой стороны, в голову состава. Было по-осеннему прохладно. Я закутался в казённое железнодорожное одеяло, вышел на перрон и сонно прогуливался по бетонной дорожке мимо дремлющих ещё в столь ранний час вагонов с одной стороны и стеклянным вокзалом с другой. Вечно юный Ленин всё так же сиротливо стоял под вечнозелёной ёлкой и грустно смотрел на содеянное им сто лет назад страшное потрясение России.

Составы с лесом, нефтью и углём бесконечной материально-денежной чередой тянулись из нашего кармана на запад, выполняя его святое завещание, что наши дети будут жить при коммунизме. Ста лет не прошло с того бурного времени, когда обманутый народ поверил этому наивному обещанию. Развалили державу, разграбили нажитое поколениями, растоптали веру и, заменив локомотив, устремились в противоположное направление, к своему светлому будущему. А в конце двадцатого века в очередной раз сменили машиниста и направление, дружно попёрли в ещё более светлую страну под названием «капитализм».

Мои мозги продуло свежим дорожным ветерком. Я зашёл в вагон и, взбодрённый утренним кофе, погрузился в воспоминания о нашей с сыном, который сладко посапывал на нижней полке, поездке на свою родину, в посёлок Майна. Попасть туда я стараюсь каждый год, и эту поездку ждал с особенным нетерпением.

На то были свои причины. Два года из-за болезни совсем не выезжал из города Омска. Потом год ушёл на продвижение и выпуск книги, куда вошли мои воспоминания о юности, проведённой в Саянах. Сын тоже был занят. И тут во второй половине сентября—как благодать сверху накрыла: картошку на даче убрали, здоровье благодаря ежедневной утренней зарядке, пробежкам босиком по росе и таблеткам стабилизировалось, и появилась уверенность в благополучном исходе нашего с сыном путешествия. Он тоже подгадал свой отпуск к этому времени, брат нас ждал, да и я очень соскучился по Саянам, Енисею, сыну, родственникам, охоте, грибам, своему посёлку. А главное—очень надеялся совершить восхождение на Борус. Мне уже шестьдесят два года, неважное здоровье и другие причины давали мне, наверное, последний шанс повторить поход юности.

В Абакан приехали рано утром. Пересели в маршрутный автобус, заполненный юными футболистами, и уже через полчаса катили по прямой, как детская мечта, автостраде по направлению к Саяногорску. Впереди лежала жёлтая хакасская степь с тысячелетними древними курганами и светлыми озёрами. После очередного затяжного подъёма на лысый холм увидели зубчатую громаду хребта Борус, возвышающуюся над синими горами.

Дорога, как стрела, выпущенная из крутого хакасского лука, упирается в таёжное предгорье, где на месте села Означенное—форпоста России с девятнадцатого века—раскинулся на степном просторе красавец Саяногорск. По широкому и немноголюдному утреннему проспекту устремляемся к берегу Енисея, вдоль которого крутым серпантином ведёт дорога в посёлок Майна. Чистый, уютный, в большинстве своём состоящий из одноэтажных деревянных домов, родной посёлок до сих пор вызывает во мне щемящее чувство свидания с родиной. Сердце учащённо бьётся в груди, с волнением узнаёшь близкие тебе с детства скалки на берегу Енисея, возле Майнского ключа, островок соснового леса на придорожном бугорке, где до сих пор сиротливо стоит плакат со словами Ломоносова: «Могущество России будет прирастать Сибирью». Старое кладбище, заросшее березняком, заброшенный Екатериновский рудник и знакомые очертания предгорий, уже раскрашенные кистью печального художника по имени Осень.

Когда то в далёком 1975 году, в студенческие каникулы, мы с друзьями не смогли подняться на вершину Боруса и заглянуть за горизонт, о чём я написал в своём рассказе. И вот, без особой подготовки, собрались мы аврально за полдня: прикупили продуктов и спальник для сына, остальное нашёл в шкафу своей майнской квартиры. Из её окна, в узком разрезе речных енисейских откосов, виднелся главный хребет Боруса, раскрашенный сине-белыми цветами, как маковки церкви за моим домом. Она была перестроена из бывшего старого садика, в который я ходил в детстве.

Одежду, обувь, палатку, посуду, полиуретановый коврик, одеяло распределили по рюкзакам. Сын привёз с собой станковый рюкзак, куда мы запихнули объёмные вещи. Быстро наварили пельменей, заправились на дорожку, загрузились в машину к брату и поехали по тому же пути, как и полвека назад,—через Черёмушки, по мосту через Енисей и по Таловому логу до начала тропы на Борус. Там перегрузили на себя нелёгкую поклажу из вещей и прожитых лет, поблагодарили брата, попрощались и, вдохнув глубоко смолистого таёжного воздуха, бодро поспешили вверх по извилистой, хорошо утоптанной, переплетённой корнями кедров тропе.

Первый привал сделали на развилке от основной тропы к водопадам. Я сходил к ручью за водой. Облегчил рюкзак сына, которого от непривычной крутизны и чистого озона слегка начало покачивать. Свои ботинки, одеяло и топор спрятал под колоду и прикрыл мхом.

Постепенно мы втягивались во вьючно-ходячий ритм движения вверх. Навстречу попались двое молодых людей с измученными, слегка постаревшими лицами, которые провели на горе неделю. При подъёме попали под снег, мёрзли в палатке, но всё же поднялись на Малый Борус и теперь почти бегом возвращались домой из негостеприимных каменных чертогов.

Мы торопились до темноты преодолеть перевал, дойти до ручья и успеть встать лагерем как можно ближе к вершине. На повороте тропы не заметили указателя и ломанулись, как маралы, вниз в Пойлов лог, но вовремя спохватились, увидели, что тропа не хожена, повернули обратно и через час вышли к курумнику. Ориентиром вверху служила глыба гранита, раскрашенная красной краской. К ней мы и устремились. Мне было привычно скакать по большим камням, округлённым временем, водой, льдом. Наверное, ноги помнили юношеские походы, и я шустро, иногда опираясь на четыре своих конечности, почти без передышки поднялся к границе кедрового стланика. Передохнул, оставил свой рюкзак и уже налегке, опираясь для равновесия лыжными титановыми палками, спустился к сыну, забрал у него пакет с едой, и уже вместе мы, не торопясь, поднялись на перевал. Я, конечно, переживал за сына: он имел уже опыт подъёма на окружающие посёлок горы, но по таким кручам ему карабкаться ещё не приходилось. Мы успели до сумерек, которые быстро наступают в горах, преодолеть самый сложный участок. Появилась надежда на удачу при восхождении на вершину. Прогноз на хорошую, без дождей, погоду был только на два дня, и я не хотел, чтобы опять мечта улетела от меня синей птицей.

Сверху в уже закатном солнце виднелись хребет и его вершины — Большой и Малый Борус. К ним вела лежащая внизу долина ручья, куда мы поспешили с сыном.

Место для ночлега выбрали на сухом пригорке у тропы, возле коренастого кедра. На ровной площадке, покрытой светлым мхом, поставили палатку. Сын пошёл за водой к шумящему на камнях ручью, а я быстро, до наступления темноты, стал собирать хворост для костра. Мы так спешили на подъёме, что не успели проголодаться, и вот, когда из котелка на костре потянуло запахом каши и тушёнки, мы почувствовали, как устали и хотим есть. Только утром были в Абакане, а уже вечером поднялись на километр в горы, сидим у вечернего костра под хребтом, едим кашу и пьём ароматный чай. Любая еда в тайге кажется самой вкусной, вода волшебной, а чай божественным.

Ночь в горах наступает быстро. Только вершины хребта какое-то время подсвечивались косыми лучами заходящего солнца. Всё это напоминало картины великого художника Рериха. Такие неземные краски можно увидеть только в горах. Небо постепенно меняло цвета — от бирюзового при закатном солнце до фиолетово-чернильного, когда ночь уже накрыла своим чёрным плащом полмира.

Наш костёр освещал лишь маленький уголок лежащего у нашей поляны огромного мира, и мне представлялось, что этот крошечный светлячок на горизонте видит такой же, как я в детстве, мальчуган и так же, как я, мечтает подняться на Борус. А вверху ярко-жёлтая луна — свеча ночная — растворяла тени и наполняла тайгу своим холодным, призрачным светом.

Ночью было прохладно, пришлось натягивать на себя всё, что было под рукой, а нагретые в костре камни я сложил в котелок и занёс его в палатку. Это спасло положение, но ненадолго.

Утро выдалось на редкость тихим и солнечным. Где-то в кустах деловито щебетали таёжные птахи, пел свою песню говорливый ручей, кедровка приступила к своей работе по требушению шишек. Я проснулся рано, взбодрил костерок, набрал в котелок воды, разогрел еду и дал сыну выспаться, отдохнуть после трудного перехода. В горах нужно особенно тщательно следить за ногами: важно, чтобы были хорошие носки, лёгкая, удобная, хорошо подобранная по размеру, нескользкая обувь. Желательно иметь палки для облегчения нагрузки и устойчивости при подъёме и спуске. Перед отъездом в горы я всё лето тренировался по утрам: делал зарядку, бегал босиком по траве, — и до перевала шёл легко, без одышки. А ещё я бродяга, охотник, рыбак, горнолыжник, пенсионер, самодеятельный художник и писатель, радиотехник, энергетик, муж красавицы-жены, дед и просто самый счастливый человек в этом суровом и прекрасном мире.

Мы позавтракали, залили костёр, сложили в палатку свои вещи, взяли с собой конфеты, воду и налегке двинулись вверх по тропе. В нескольких местах пересекали ручей. На полянах отдыха было относительно чисто и порубок деревьев и кустарников не было. Это радовало, хотелось замечать только красоту окружающей природы, а не человеческие безобразия.

В конце тропы, там, где висели предупреждающие плакаты об опасном газе радоне, стояли две жёлтые палатки. Дальше виднелся небольшой водопадик, где мы попили вкусной холодной воды, поклевали мелкую, но вкусную ягоду чернику. Нас догнали мужчина с женой и парнишкой лет двенадцати, из Абакана. Они шли ходко, без ночёвки, и это их восхождение было не первым. Мы

постарались от них не отставать. Через сто метров, за последним на этом склоне кедром, корявым от сильных ветров, со сломанной вершиной, на которой чудом зацепилась пара шишек, повернули влево и стали подниматься по каменистой осыпи, кое-где прореженной мелким кустарником. Через полчаса поднялись на полку, отдохнули и полезли на гребень. По нему собирались добраться до вершины Малый Борус.

Этот путь занял около часа. Мы достигли края осыпи. А дальше было ущелье, заваленное камнями, обломками скал, верхний склон которого был испещрён глубокими бороздами, образованными, наверное, сползающим вниз по склону льдом. Идти вверх по гребню стало проще. Отдельные валуны были огромны и достигали в диаметре шести метров. В некоторых местах были заметны следы восхождения — светлые борозды от стальных триконей на поверхности серых камней.

Дальше подъём пошёл круче, чаще на нашем пути вставали каменные стены, которые надо было обходить стороной. Поднявшись на очередную полку, мы с изумлением увидели куст кедрового стланика, который чудом зацепился за небольшой островок мха, на котором, что самое удивительное, росли три маслёнка. Рядом, у края обрыва, застыл в прыжке каменный барс с тёмными узорами лишайников на шкуре. И это на высоте двух километров. Мы сфотографировали это чудо и полезли вверх. Нас окружало царство курумов и каменное безмолвие гор.

Вершина открылась неожиданно. Мы просто увидели гурий с воткнутой в него палкой и, уходящий влево и вправо от него хребет. Мы были выше гор. То, что чувствует человек, поднявшийся на вершину, а тем более исполнивший свою полувековую мечту, словами не передать. Я кружился на месте, пытаясь охватить взглядом и понять умом своё местоположение. Высота завораживала. А пространство, занятое горами, тайгой, переходящее на горизонте через туманную дымку в светло-синее небо и сияющее над тобой солнце, окрыляло тебя, и возникало чувство исполнения заветного желания, к которому ты стремился много лет, мечтал, и вот теперь ты счастлив, стоя на вершине, — ты выше гор! А за гребнем круто уходит вниз скальный обрыв. Внизу среди скальных осыпей видны два озера с зеленоватой водой. Саяно-Шушенская ГЭС дугой перегораживает Енисей, образуя перед собой зеркальную гладь уходящего на юг водохранилища. Вдали виднелась высокая вершина горы Голой. За Енисеем белел мраморный карьер, а за ним спящим медведем лежал голец Гладенькая. Справа горделиво смотрел на мир пик Кошурникова, а слева Большой Борус уходил своим зубчатым хребтом в сторону Ергаков. На юге сквозь сизую дымку можно было различить посёлок Майна, а в бинокль рассмотреть торговый центр, школу, церковь и притулившийся возле неё мой дом. Представить обратное — то есть когда брат из посёлка смотрит на Борус, где я стою на вершине и машу ему рукой, — было для меня трудной задачей.

Мы присели на тёплые камни, отполированные шальными ветрами. Стояла необъятная тишина, не было ни ветерка, осеннее солнце распахнуло саянские дали, а в светло-голубой вышине парили орлы.

Спускаться всегда труднее, чем подниматься. Вода закончилась, я собирал под камнями снег и пытался им утолить жажду. Жиденький ручеёк нашли уже в конце осыпи, перед выходом на карниз. А ещё ниже, в каменном цирке, лежало озеро Венеция с изумрудной водой, из которого вытекал ручей. И тут я вспомнил, как в том далёком юношеском походе мы солнечным осенним утром с горы, названной нами пиком Дураков, увидели этот пейзаж. Пик этот был продолжением отрога горы Кошурникова с которого мы спустились к избе у озера, где пережидали непогоду, надеясь всё же подняться на Борус.

Обратно шли не торопясь, тем же путём, осматривали окрестности, любовались горами, подмечали детали неземного пейзажа, которые, выражаясь словами Владимира Высоцкого, «не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь». Вдыхали терпкий запах рододендрона, на альпийских полянах пытались отыскать волшебную лечебную травку саган-дайля, пили кристально чистую воду горного ручья. Я собрал на суп немного маслят, которые росли в большом количестве на седом мху. Вечером хорошо поужинали, запаслись топливом.

А вверх по тропе мимо нашего лагеря всё шли группы туристов. Торопились занять хорошие места, подняться повыше, чтобы завтра, в субботу, рвануть вверх, на вершину. Один отряд из десяти человек, возглавляемый высоким бородатым мужиком, был чисто женским. Женщины шли за ним молча, без слов, как бурёнки за своим пастухом. Четверо школьников с торбами за плечами прошли вниз, в тайгу, брать чернику. Молодёжь, красиво одетая, радостная и счастливая, с гитарами, занимала поляны вдоль ручья. Ставили цветные палатки. А вечером ещё долго не умолкали музыка, песни и смех возле костров, которые жёлтыми светлячками зажигались на склоне горы по долине ручья.

Лучи заходящего солнца осветили группу островерхих лиственниц на хребте. Они вспыхнули, как маковки Спаса на Крови, и горели в осеннем пламени на каменистом склоне, пока жёлтое светило не утонуло за дальними горами.

Дымный костёр — вечный спутник бродячего люда — освещал каменистую площадку, растопыренные навстречу огню ветки кедра, как бы

желающие погреться, напитаться теплом на долгую зиму. Блики огня играли на наших усталых лицах, ветках багульника, на широких листьях бадана, а искры костра взлетали к ночному небу, рассеивались и оставались сверкать в глубине мироздания. Особенно густо насыпало мерцающих огоньков над хребтом: видимо, горы притягивают к себе не только людей, но и звёзды. Мохнатые кедры и стройные ели стерегли вечернюю тишину Саян. Было тепло, уютно и затаённо-грустно от исполнения мечты, от неповторимости прошедших событий и понимания конечности нашего пути на этой прекрасной планете по имени Земля. Всё перемелется — камни в горах и беды наши. Всё перемолится — и грехи, и желания. Но останется выбранная нами судьба и путь, по которому идти нам и нести свой крест. Когда мы уйдём, я верю, в этом пятиглавом поднебесном каменном храме найдутся те, кто помолится нам вослед.

Утром сделал уборку площадки: побросал в костёр, что могло сгореть, прочий мусор сложил в пакет, чтобы унести с собой. Повесил над костром кастрюлю, в которую сложил всё, что у нас осталось из еды, — решил приготовить сборный суп рататуй, а сам удобно устроился у костра и стал шелушить шишки, чтобы не тащить с собой лишнего. Занятие оказалось не только полезным для снижения веса поклажи — мысли упорядочились, потекли спокойно, связанно и свободно, как журчащий неподалёку ручей.

Неожиданно эту идиллию прервал скрипучий голос вороны. Она уселась на вершину кедра, что прикрывал нашу палатку своими пушистыми ветвями-руками, и, склонив набок свою надменную, безусловно умную голову, картаво обращалась ко мне с вопросом на своём древне-вороньем языке. Я, как интеллигентный человек, вежливо поклонился в ответ хозяйке местных лесов, скал и водопадов:

— Ну как поживаешь, старуха? Вот видишь, я вернулся!

— Поживёшь с моё — узнаешь. Всё шаритесь, всё ищете, чего не потеряли, — прокаркала старая мудрая птица.

Я, соблюдая местный этикет, оставил без внимания её колкости и с улыбкой ответил:

— Приятно поговорить со старой знакомой — сорок лет не виделись. Человек — вредное животное, поэтому и живёт недолго, чтоб не натворить чего-нибудь.

— Да уж! Вижу, что вы натворили с Енисеем — никаких врагов не надо. Дождались уже милости от природы! Она, матушка наша, ничего не прощает. Вон как вы на Бабик рванули, когда авария случилась. Всё вам мало, — прокаркала она мне. — Прощай!

Усмехнулась горько и легко спланировала в утренний сумрак ущелья.

Возможно, всё это мне пригрезилось в этой волшебной стране гор и водопадов. Сказались усталость последних дней, горный воздух, обилие впечатлений и эмоций. Разве вороны умеют смеяться и говорить человечьим языком? Но всё равно приятно было побеседовать с умным… чуть не сказал — человеком! А вдруг и правда они умнее нас, а всё, что мы о себе выдумали, — это всё наша гордыня?

Мои мысли прервал проснувшийся сын. Он вылез из палатки, сладко потянулся, улыбнулся и спросил:

— Ты с кем это здесь беседовал?

— С вороной, — коротко ответил я.

— А, бывает.

Он взял полотенце и пошёл к ручью. Мы позавтракали и начали собираться. Палатку свернули и оставили возле тропы; послужила она нам на Севере, пригодилась и здесь, в Саянах, авось пригодится кому-нибудь ещё. Поднялись на перевал, попрощались с горой не как с бездушными скалами, а как с родным человеком, вернее, как с очеловеченной мечтой. Будто перенёсся в свою юность на эти три дня. Молодость богата романтикой мечты. С приходом старости наши желания и возможности уползают вниз, как седой вечерний туман в горах. Но пока ты можешь дойти, доползти, дотянуться до своей цели, ты можешь считать себя счастливым человеком, оставшимся верным своей мечте.

Мы ещё немного постояли на заветном перевале. Нас радуют растворённая по краям бездонная синева осеннего неба, разлившаяся до бесконечности, дали саянской тайги в тончайшей лазоревой дымке и наполненность всем этим наших душ.

Когда шли вниз по тропе, я собирал опавшие с кедров шишки. Кедровки заметили во мне конкурента, гнусаво кричали, преследовали нас, перелетая с дерева на дерево. Под большим кедром нашёл тяжёлый металлический барабан для переработки шишек. По мху, нисколько нас не боясь, деловито сновали сеноставки. Маленькие, толстенькие, с большими ушами, с травой в зубах: они были похожи на маленьких медвежат, и говорят, что от их помёта получается легендарное горное лечебное мумиё. Рыженькая белка мелькала в ветвях высокой ели.

— Мики, мики! — поманил я белочку — так подзывают их в парке Кадриорг в старом Таллине.

Все жители леса были заняты заготовкой припасов на зиму и не обращали внимания на «народ бродячий».

Из-за поворота показалась вереница людей. Я сошёл с тропы, пропуская группу с объёмными рюкзаками за плечами, во главе которой уверенно шёл паренёк с весёлыми глазами, лет четырнадцати от роду.

— А где песня, командор? — спросил я, поддавшись их увлечённому напору, с каким они поднимались

по тропе, и сам задорно затянул: — А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер. Моря и горы ты…

Группа подхватила мой песенный призыв, сначала нестройно и невнятно, а потом грохнула во всю саянскую:

— Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоёт…

Испуганные кедровки брызнули от такого а капелла во все стороны, а их бодрая песня уходила вместе с ними вверх по тропе.

— Так держать, командор! — крикнул я вслед и помахал рукой.

Усталость в ногах почувствовали уже на подходе к визит-центру заповедника «Шушенский бор». Рядом с тропой был установлен плакат с пожеланием:

Доброй горы,
Чистого неба,
Родниковой воды,
И никакой беды!

Через час подъехал брат, мы набрали воды из родника с двумя источниками — как он пошутил, с живой и мёртвой водой, — загрузились и отправились к себе домой в Майну.

Вернувшись из похода, мне ещё долго казалось, что я всё время куда-то шёл, чего-то тащил, лез вверх, спускался вниз, преодолевал, ехал, бежал, планировал, беспокоился, выполнял, проверял и опять куда-то торопился. Дух бродяжничества, заложенный нашими беспокойными предками, неистребимо живёт в нас. Когда я смотрю на Борус — с весёлой печалью вспоминаю первый поход на гору в далёкой юности, когда мы с друзьями легко и смело лезли вверх; а сейчас остался только один путь — вниз, вместе со своими светлыми, как горные снега Боруса, воспоминаниями, по тропе с названием «Жизнь». Так бывает, что однажды сделанный шаг в неизвестность оставляет нам подарок в будущем, а Бог даёт радость осуществления своей мечты.

Человечество, наверное, делится на тех, кто ходит в горы, и тех, кто с недоумением и непониманием смотрит на них снизу. Они шарятся по своим душным городам и пыльным дорогам, высматривают себе выгоду, а не созерцают красоту. Их чувства — зависть, трусость и жадность, они тупо лезут в компьютерную паутину, а не смахивают лёгкие паутинки с лица в осеннем лесу. А те, кто стремится в горы, тайгу:

- восхищаются, а не завидуют;
- созерцают, а не высматривают;
- стремятся возвысить свою душу, а не подмять под себя других;
- подают руку, помогают в беде, а не предают;
- верят, а не врут;
- смотрят в глаза, а не скользят по лицам;
- собирают камни, а не кидают их в других;
- улыбаются, а не кривят губы;
- преодолевают трудности и просто живут по человеческим законам и Божьим заповедям.

ДиН симметрия

Василий Александровский

Мы

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплёскиваем души,
Мы каждый день выходим солнце слушать
На смуглые ладони площадей…

Что горячée: солнце или кровь? —
Око и мы стоим на вечной страже,
Но срок придёт, и мы друг другу скажем,
Что горячée, — солнце или кровь…

Мы пьём вино из доменных печей,
У горнов страсти наши закаляем,
Мы, умирая, снова воскресаем,
Чтоб пить вино из доменных печей…

У наших девушек бездонные глаза,
В голубизну их сотни солнц вместятся,
Они ни тьмы, ни блеска не боятся…
У наших девушек бездонные глаза…

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплёскиваем души,
Мы каждый день выходим солнце слушать
На смуглые ладони площадей…

1921

Виктор Бирюлин

Далёких молний не бывает

Крест Бабича

Этот небольшой участок земли вдоль волжского обрыва давно привлекал моё внимание. Диковатый на вид, заросший жёсткими цепкими степными цветами вперемежку с вихрастым ковылём. С одной стороны его ограничивают дачные постройки. Другой он выходит к окраинам старинного села Хмелёвка. Напротив, через дорогу, зеленеет большое ухоженное Хмелёвское же кладбище.

Но с десяток старых крестов, пошатнувшихся ржавых оградок есть и на участке. Один крест на самом краю обрыва виден издалека. Подошёл к нему. Железный православный крест с кружочками на семи концах. Внизу—большая табличка из нержавейки. На ней свежая гравировка:

БАБИЧ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
5.01.1863–27.02.1936

Под моими ногами, всего-то копнуть несколько раз, лежали останки человека, увидевшего свет полтора века назад. Ворохнулось в душе. Судя по датам, воевать Бабичу вряд ли пришлось. Разве только в Гражданскую. Но вот голодать на своём немалом веку наверняка приходилось.

Чем же ты занимался, Яков Васильевич? Рыбачил? Огородничал? Хлеб сеял? Богато жил или бедствовал? Добрая ли у тебя жена была? И работящие ли дети? Очень хочется верить, что жил ты, может, и не без греха, но по-человечески, как всем нам заповедано. Трудился не покладая рук, встречал, как положено, праздники, заботился о семье. Одним словом, пользовался благом, когда везло, и терпел, когда приходили несчастья.

Поэтому тебя и не забывают. Вот и табличку обновили, и цветы бумажные не чужие же люди принесли. Значит, род твой продолжается.

И тут только пришло в голову, что этот сиротливый уголок земли был когда-то обычным кладбищем. А бугорки, по которым так неудобно ходить,—остатки могил.

Судя по всему, кладбище было устроено на высоком берегу, как и сама Хмелёвка. Скорее всего, участившиеся оползни вынудили хмелёвцев перенести его подальше от обрыва. Потом старое и новое кладбища разделила дорога. И оставшиеся на краю могилы оказались предоставлены сами себе.

Закрапал собиравшийся с утра дождь. Но я побродил между уцелевших надгробий, прочитал надписи, где они сохранились. На самом старом кресте просматривалась иконка Божьей Матери. На нескольких крестах уцелели фотографии. Один огорожен новыми блестящими цепями. Но бóльшая часть крестов и пирамидок со звёздами клонится к земле.

Проглянуло наконец солнце сквозь скопившуюся небесную хмарь. Горячие невидимые лучи вновь обласкали всё живое. Ещё раз оглядел участок, редкие оградки и крест Бабича. Подумалось: а хорошо бы, если через сто лет и мой будущий крест так же упрямо смотрел в небо.

Мамины пироги

Кто пробовал пироги моей мамы, тот на всю жизнь запомнил вкус тающего во рту, хорошо пропечённого сдобного теста и всегда ароматной, в меру сочной начинки.

Казалось бы, не так и трудно испечь пирог. Рецептов хватает в любой кулинарной книге. Составные части, как правило, немудрёные. У мамы это были молоко, сахар, яйца, маргарин, растительное масло, дрожжи, соль, столовая ложка водки, ваниль на кончике ножа и мука. А начинка сгодится любая.

Вперёд, хозяюшки!

Только вначале, по совету моей мамы, не забудьте вынуть на ночь из холодильника яйца и маргарин. И дрожжи проверьте на солоноватость. И тесто замесите не крутое, а мягкое, чтобы отставало от руки. И дырочку сделайте в центре, когда пирог ещё подходит на противне. А когда вытащите его из духовки, не забудьте накрыть чем-нибудь лёгким.

И ещё с десяток мелочей не забыть бы.

Но даже самое строгое следование рецепту не гарантирует удачи. И приготовленный опытным профессиональным кулинаром пирог не всегда становится украшением стола.

Мама рассказывала, что первые свои пироги она, не дожидаясь прихода со службы отца, выбросила в мусорную корзину. Но моя мама училась искусству выпечки, не жалея сил. Ей нравился сам процесс затевания пирогов. И очень хотелось порадовать близких людей.

Запомнилось её всегдашнее волнение, ведь любая мелочь могла свести на нет весь труд, начиная с бессонной ночи, поскольку приходилось вставать затемно, чтобы не упустить подходящее тесто. Она всегда оправдывалась перед гостями: мол, тесто не таким пышным оказалось, начинка немного подвела, надо было — вот не догадалась! — сделать по-другому, лучше. Гости не очень-то прислушивались к этим сетованиям. Они просто наслаждались редким угощением.

Мы переезжали с места на место, следуя офицерской судьбе отца, менялись наши домашние очаги, но румяные мамины пироги по-прежнему оставались самым желанным лакомством. Они были для нас маленьким семейным чудом, живой сказкой. Как бы ни шли дела, душа согревалась от ожидания очередных праздничных пирогов. Хорошо бы с курагой! Но и с яблоками хорошо, и с капустой…

Мама постарела, пироги затевать ей уже не под силу. Сменщиков, увы, не оказалось. Мы с женой попробовали пару раз и забросили — образ жизни у нас иной, всё что-нибудь мешает.

Жаль.

Ах, крокусы…

В конце зимы, прихватывающей, как правило, и март, невольно затоскуешь от нескончаемых морозов и снегопадов. И тогда начинаешь всё чаще вспоминать о крокусах. Ждёшь встречи с ними.

И вот апрель. Утром покрапывало. Но потихоньку тучи разошлись. Голоса птиц оживляют ещё пустынные садовые окрестности. Глазами быстро ощупываешь знакомое место. И вот они, крокусы, выглядывают из чёрной влажной земли. Не подвели. Их ещё зелёные остренькие макушки осторожно осматриваются. Недалеко от них красуются пышными плотными листьями тюльпаны. И настойчивые нарциссы высыпали кружком. Но первыми зацветут маленькие нежные крокусы.

Несмотря на свою малость, крокусы цветут ярко, открыто утверждая своё явление в мир. Это тоже трогает. Жаль, что долгожданное садовое чудо так быстро отцветает. Только что жёлтые и фиолетовые слегка озорные верхушки прямо из земли взмывали к солнцу. И вот они уже завяли, оставив вытянутые, со светлой продольной полоской, листочки, которые быстро затеряются в общей зелёной массе. В саду продолжает разворачиваться привычный порядок жизни. На смену неустойчивой весне спешит жаркое лето с другими прекрасными цветами.

Но взгляд ещё не раз скользнёт по заветному уголку земли. И прыткую тяпку всякий раз останавливаешь, чтобы не поранить в земле драгоценные луковички. Через год они опять порадуют душу.

Пусть звучит дудук

Когда хочется немного отдохнуть душой, включаю нежную мелодию дудука. И с первых звуков доверчиво погружаюсь в её грустный переливчатый поток. Отчего же так завораживают сердце живительные звуки старинной армянской трубки, которую и в руках-то не довелось держать?

Под мягкое звучание дудука вспоминаю о коротких встречах, случайных разговорах с армянами. В жизни таких встреч и разговоров было немало.

Ещё в солдатские годы узнал от сослуживцев-армян, что на их родине в народные праздники всей семьёй идут вначале на могилы русских воинов, спасших армян от турецкой резни в начале двадцатого века, и только потом — к другим святыням.

А со студенческой газетной практики в далёкой степной Питерке запомнил добродушные сетования армянских строителей на то, что они всю жизнь работают на свадьбу и похороны: свадьба должна быть царской, а на могиле должен быть выстроен хотя бы скромный мавзолей.

Недалеко от моего дома среди разноцветных торговых ларьков стоит и будка сапожника. За открытым окошком — знакомое лицо ещё молодого, лет за тридцать, но уже грузноватого армянина, с утра до вечера колдующего над обувными колодками. Раз-другой в год сдаю ему в починку обувь. Работает он неторопливо. Но уж сделает на совесть. Однажды разговорился с ним об армянском хачкаре — вертикальном камне с высеченным на нём узорчатым изображением креста. Такой крест-камень красуется в одном из сквериков недалеко от саратовской набережной. После этого здороваемся, встречаясь и на улице.

На моей кухонной полке стоят два небольших кубка, искусно выточенных армянским мастером из оникса. Иногда наливаю в них коньяк, по возможности армянский, лучше которого для меня по-прежнему разве что французский.

И всё-таки не нахожу ответа, отчего так спокойно моей душе при негромких звуках этого незатейливого музыкального инструмента. Да и нужен ли ответ?

Пусть задерживает взгляды прохожих красавец-хачкар, приветливо открывается с утра окошко в мастерской знакомого сапожника-армянина. И пусть звучит печальный дудук, когда просит душа.

Кочевники поневоле

В недостроенной и заброшенной даче недалеко от автобусной остановки поселилась семья таджиков. Парень, подросток, девушка в шароварах. Это кого я увидел. Вежливо поздоровались со мной. Парень с подростком выгоняли через дорогу в поле стадо коз на выпас. И немалое стадо, в несколько

десятков голов. В дачном дворе уже и загон соорудили из палок и досок.

Представил себя в их положении — среди чужих людей, в постоянной заботе о пропитании и пристанище. Вряд ли был бы счастлив. А они спокойны, доброжелательны. Девушка, закрыв ворота, безмятежной походкой возвращалась в дачу. Может, лепёшки испечёт к завтраку? Парень с подростком направили стадо в ложбинку со свежей травой. Их неторопливые движения, искринки в глазах говорили о том, что они довольны своим положением. Наконец они устроились как дома. Пусть и ненадолго. Сегодня — их день. Даст Бог, и завтра день будет их.

Вскоре таджики со своими козами и в самом деле уехали. И загон разобрали, увезли. Заброшенная дача по-прежнему зияет прорехами на втором этаже. Двор опять пуст и никому не нужен.

Лепёшка по древнему рецепту

Где-то вычитал, что в древние времена пастухи ставили плоский камень на два других, служивших ему опорами, и под ним разводили костёр. Когда плоский камень становился тёплым, его смазывали маслом, а когда раскалялся — на нём пекли лепёшки. Пастухи бережно укладывали их в свои видавшие виды сумы и отправлялись со стадом в дальнюю дорогу.

Казалось бы, ничего особенного в пресных лепёшках. Только завораживает уже замешивание теста. Неведомый тебе хлебопёк тысячи лет назад, как и ты, расчётливо насыпал в подходящую посудину или прямо на стол, любую ровную чистую поверхность меру муки, бросал щепотку соли, наливал из кувшина тёплой воды и заботливо мешал руками эту чудесную смесь.

Невольно вспоминаешь, как ловко вымешивает тесто мама, затевая свои тающие во рту пироги, и напрасно стараешься повторить её движения, у тебя всё равно выходит угловато, по-мужски. Но вот тесто готово. Какое-то время оно ещё держит тепло твоих рук. Сбиваешь его в колоб и накрываешь полотенцем, чтобы оно успокоилось, отдохнуло перед превращением в хлеб наш насущный. Радующее глаза готовое тесто, жар согревающего и озаряющего огня во все времена поддерживали чувство уверенности в сегодняшнем, значит, и в завтрашнем, дне.

Пусть твои тонко раскатанные лепёшки, похожие на армянские лаваши, пекутся не на раскалённом камне, а на сковороде, на газовом аккуратном пламени. Всё равно каждая испечённая лепёшка с простым, казалось бы, вкусом, солнечным образом своим в один миг соединяет тебя со всем человеческим родом.

До первых пресных лепёшек судьба людей была ещё, может быть, под вопросом. С колесом лепёшки она устойчиво покатилась в будущее, добравшись и до наших, далеко ещё не последних дней.

У прилавка с сушёными фруктами

Обычный прилавок в современном продуктовом павильоне с высокой стеклянной крышей. На узких полках разложены сухофрукты и пряности. Мимо проходят озабоченные хозяйки, не обращая особого внимания на выставленные лакомства. А у тебя разбегаются глаза.

Конечно, разноцветные цукаты из корок дыни и арбуза, чернослив с масляным отливом, сладчайший урюк, светло-серый загадочный инжир, россыпи изюма всех цветов и размеров, смеси сухофруктов из яблок, слив, груш и вишни тебе хорошо знакомы. Но твой личный вкусовой опыт растворяется у прилавка, над которым время, кажется, замерло. Библейская смоква, или инжир, финики, курага и их соседи по полкам тешат людей с глубокой древности. Верблюжьи караваны и парусники с просмолёнными бортами без устали перевозили из одного края света в другой тщательно упакованные тюки с плодами жизни. Правда, о них говорят куда меньше, чем о поднятых со дна моря античных амфорах и статуях. Они ведь не исчезали и остались такими же, как и в те давние времена.

От пряностей голова идёт уже кру́гом. Драгоценные стручки ванили, рогатый имбирь на все случаи жизни, бодрящая корица, ароматный кардамон, целительный чёрный тмин, жгучая гвоздика, заветный шафран! Чудится в них, изысканных и дорогих, блеск сокровищ из сказочных пещер. Редкие в наших кухнях зира, пажитник, куркума и кунжут соседствуют с привычными красным перцем, анисом, кинзой, барбарисом, укропом, петрушкой, мятой и базиликом. И ещё с десятком-другим перетёртых в порошок и заманчиво пахнущих растений, помогающих блюдам раскрывать свои вкусовые богатства. Все они надёжно хранят память о летней огородной зелени.

С трудом отрываешься от созерцания волшебных полок. Кажется, веет от них лёгким ароматом плова и тонким запахом выпечки.

Наконец встречаешься глазами с уже знакомым улыбающимся хозяином прилавка. Ему лет сорок. Невысокий, со смуглым круглым лицом и сам весь округлый, уютный. На голове его непременная тюбетейка. В праздничные дни он бережно держит в руках раскрытый Коран. Обходительный, уступчивый, желающий здоровья, от души благодарящий за покупку и с готовностью выходящий из-за прилавка, чтобы помочь уложить её в пакет, он тоже напоминает торговца из восточных сказок. Для полного сходства ему не хватает разве что полосатого халата и платка вместо пояса.

— Салям алейкум, Зариф!

— Алейкум салям, дорогой! Что пожелаете?

Пасечник с горящими глазами

В сельской глубинке на краю берёзовой рощи в окружении лугов и пашен раскинулась пасека ульев на семьдесят. На пасеке вас встретит высокий, ладно скроенный, ловкий в движениях сорокалетний красавец-мужчина. «Костя»,—представится он. И улыбнётся тепло, открыто, как улыбаются люди, знакомые, по крайней мере, со школьных лет.

Костя расскажет вам о жизни и смерти пчёл. Поймает трутня и объяснит его отличие от рабочей пчелы. Покажет и воскотопки собственного изобретения, и роёвни, закинутые до времени на деревья, и вырезанную на всякий случай дубину. Проводит к гнезду зяблика рядом с пасекой. Угостит чаем, заваренным с чабрецом и зверобоем, тут же мимоходом сорванными. Предложит к чаю целое ведро медовых обрезков. Восседая с сияющими глазами возле шаткого столика из ящика и досок, он в довершение наглядно покажет и свою весеннюю прививку от пчелиных укусов. На лету поймает пчелу, кажется, специально к нему подлетевшую, приставит к тыльной стороне ладони, подержит немного и выдавит жало.

Костя легко переносит дожди, холода, комаров, одиночество и ночь непроглядную. Главное, чтобы утром солнце не подвело. Всего важнее для Кости и его пчёл проснуться пораньше и с ходу взяться за привычное, любимое дело, которое кормит семью и с которым не собьёшься с дороги.

Рассказ хозяина пасеки вместе с близким не замолкающим гудением и мельтешением завораживают. И уже сам хозяин с его неутомимостью, приятно гудящим баритоном кажется вам большой доброй хозяйственной пчелой. А его видавшая виды будка—ещё одним ульем, только тоже очень большим.

Будь его воля, Костя полетал бы со своими пчёлами. Ради удовольствия увидеть сверху блеск цветущих полей, почувствовать зов нектара, ощутить брюшком желанный атлас медоносов и вернуться домой обременённым сладкой тяжёлой добычей. Может, подобное желание возникает и у лётчиков. Желание самому взмахнуть в небо, не в железной капсуле с приборами управления, а подобно птицам, свободным в своём полёте.

Внутри деловито жужжащего пчелиного мира не верится в его предрекаемую учёными гибель. Но если до этого дойдёт, то изумлённым взорам людей однажды предстанет летящий рой во главе с человеком. Это Костя поведёт пчёл в края, свободные от болезней, бескормицы и человеческой жадности. Они будут лететь, не останавливаясь, пока не доберутся до своего вечного медового пути.

Возможность горизонта

Вышел рано утром из зелёной садовой лагуны и налегке отправился к манящему небосклону. Радость охватила, стоило только пройти несколько шагов по мягкой песчаной колее, поросшей невысокой травой. Небо хмурое, но солнце золотит восток.

Говорят, что до горизонта, если его видимую линию обозначить каким-нибудь деревом или холмом, всего километра три-четыре. Но дойдёшь-то до дерева или холма. Горизонт по-прежнему будет впереди. Он похож на взрослого человека, протягивающего ребёнку игрушку, побуждая его двигаться. Каждый раз, когда маленькая рука готова схватить забаву, игрушка отодвигается дальше. И человечек опять идёт вперёд, слегка покачиваясь на ещё слабых ножках.

Во время праздной одинокой ходьбы мысли приходят самые неожиданные. Вспомнилась вдруг сцена из недавнего фильма «Ной», в которой небесные стражи говорят: «Мы поможем этому человеку построить ковчег». Подумалось, что всегда найдётся человек, которому стоит помочь.

Дорога вьётся между холмов. Холмистая местность. Звучит обыденно. Но вот несколько холмов расположились друг за другом наискосок, и я увидел сразу несколько горизонтов. По одному над каждой верхушкой. Образовалась своего рода прерывистая линия, ведущая к всё более далёким горизонтам.

Как-то разговорились с приятелем о годах и болезнях. Увы, они берут своё незаметно и необратимо. Порассуждав, пришли, однако, к выводу, что дело не столько в годах и болезнях, сколько в ясности мышления, которое редко кому удаётся сохранить до глубокой старости. Но обнадёживает, что кому-то это удаётся.

Ещё говорят, что горизонт всегда у нас под ногами. Только это чужой горизонт. Может, и наш под чьими-то ногами, да за расстоянием не видно. Поэтому горизонт всегда выглядит чистой линией, пусть изломанной холмами или даже горами.

Это как счастье. У каждого оно своё. Например, для жителей Фарерских островов, по их словам, счастье невозможно без тишины, душевного спокойствия, размеренной понятной жизни. Они хотят точно знать, что будут делать через полгода в четверг. Другие бы от такого счастья заскучали. И всё-таки у каждого оно связано с радостными ощущениями.

Прошёлся немного берёзовой рощей вдоль дороги. Сквозь зелень листвы проглянули лёгкие белые облака на голубом небе. Задышалось легко, пахну́ло лесной свежестью. В высокой траве заметил стайку кормящихся скворцов. Застучал дятел по стволу. Словно отбойным молотком прошёлся. Рядом со мной неожиданно «крякнула» иволга и тут же выдала короткую мелодию на флейте.

И опять вышел на припорошённую пылью дорогу.

Наконец она вывела на высокий волжский берег. Великая река широким, блестящим под солнцем полотном уходила на север и юг. Кажется, вместе

с рекой взгляд дошёл бы до соседних городов, а там и до дальних. За спиной раскинулась давно обжитая земля. А за Волгой—бескрайняя степь. Днём перед бредущими по ней пастухами колышутся марева, а ночью они видят со всех сторон мерцающие таинственные огоньки.

Видения в осеннем саду

В поздний осенний день, ещё светлый, не слишком холодный, но уже пустынный, в саду, бывает, как наяву увидишь родных тебе людей, гулявших, хлопотавших здесь погожим летним временем.

То почудится, что Тима пробежал с палочкой в руке, что-то, как обычно, напевая. Куда он бежал? Наверное, к качелям за баней. Там, в тени яблонь, его ждут улыбающийся двоюродный братик Никитка с большим мячом в руках и добродушный шарпей Ричи, устроившийся на прохладной травке.

Собираешь упавшие недозрелые зимние яблоки и на автостоянке из щебня с проросшей травой вдруг представишь Ванюшку, неторопливо укладывающего в багажник рыболовные снасти.

Посмотришь в сторону холма—погрезится, что под дубом возится с жуками-оленями «дядя Боря», приехавший погостить на недельку из далёкой Эстонии. В руках у него фотоаппарат с внушительным объективом.

Воображение разыгрывается. Стоило подойти к беседке, как показалась жена, несущая на большом подносе завтрак для меня. Невольно дёрнулся, чтобы помочь ей спуститься по крутым ступенькам террасы, но видение растаяло.

Зато беседка за спиной наполнилась голосами. Отчётливо донёсся добродушный, со смешинкой, голос свата, к нему добавились жизнерадостные интонации сватьи, тонкие, по сути девчоночьи, восклицания невесток и густой баритон Кирилла. Обернулся, но только виноградные подсохшие листья прошелестели под порывом ветра.

Вспомнилось, как украсил наши застолья в беседке старинный абхазский кувшин для вина, доставшийся от приятеля.

Где они, дни семейных сборов с приятными хлопотами и дни разъездов, напоминающие иной раз итальянскую комедию с её суетой и неразберихой?

Давно растаял в зелёных окрестностях дым от мангала. И дым из банной трубы достиг, наверное, высоты, к которой он раз за разом настойчиво и бодро устремлялся.

В вечернем саду тихо. Доносится только слабое стрекотание редких осенних сверчков.

Новое вино на Зелёном

Мы опять с другом на Зелёном острове. Вокруг песок и царственные дубы в окружении мелких зелёных зарослей.

Находим виноградник приятелей и пробираемся густыми рядами кустов с резными листьями к тихому волжскому заливу. Выходим к деревянному причалу. К нему привязана лодка, приготовленная к рыбалке. Забытый уголок.

И вот уже сидим на берегу возле бани за крепким столом на удобных широких лавках и пробуем новое вино.

Разговор наш незатейлив—о том, что видим и слышим.

В камышах показалась пара диких чёрных уток с белыми клювами и белыми пятнами на лбу.

— Это лысухи,—говорит мой друг, знаток лесов, водоёмов и их обитателей.

— Если у лозы загнутый край, значит, она растёт, тянет урожай,—замечает хозяин виноградника, сам похожий своим сухим гибким телом на матёрую лозу, такую же сухую, витую из древесных мускулов, крепкую.

— Виноград так влечёт к себе, что про усталость забываешь,—добавляет улыбчивая хозяйка, расставляя на столе закуску под вино—хлеб, сыр и зелень.

Что-то неуловимое зашумело над нашими головами. Мы посмотрели вверх и увидели над собой бескрайний и бездонный небесный океан, свободный, как и наши сердца в этот миг.

— За впечатления! За лучшие впечатления!—прозвучал и мой тост.

Сухое вино гранатового цвета оказалось терпким на вкус, с ароматом чернослива и немного вишни и чёрной смородины.

Бокал домашнего вина!
Как согревает душу он.
И думается легче.

Решили, что доброе вино стоит хорошей книги, ласкающей слух мелодии или яркого живописного полотна.

— Утром возле ёмкости с водой нашли спящего ежа,—продолжают хозяева.—Свернулся клубком и спит себе, ни о чём не беспокоясь, только брюшко тихо вздымается.

По веткам порхает молчаливая сорока. Из-за забора показался молодой чёрный кот, тихо мяукнул, поглядев в нашу сторону.

Вчерашний дождь увлажнил землю. Солнце нежаркое, июньское. Каждая травинка радуется жизни.

Мягкий хмель тем временем потихоньку кружит голову.

Над нашим дружеским столом витает лёгкий дух беззаботности.

Последние волхвы

Опять поспорили с Яшшой из-за рукописи в литературный альманах. Хотя, казалось бы, чего спорить? До него и дела-то никому нет, за исключением нескольких таких же, как и мы, чудаков.

Но, с другой стороны, чудаки на многое способны. Тот же Яшша, обрусевший осколочек удинов,

исчезающих с лица Земли, мог и не состояться как писатель. Но он наперекор всему состоялся. И теперь память о горестях и радостях кавказского народа, принявшего христианство ещё в четвёртом веке, будет жить и в его книгах.

Зародилось в душах нескольких пишущих чудаков желание собрать под одну обложку авторов, уважающих каждое своё слово и подмечающих вокруг себя в первую очередь блеск солнца, дыхание растений, голоса птиц и человеческую любовь. И вот мы с Яшшой колдуем над очередным номером альманаха, чтобы не задуло ветром равнодушия его чистый огонёк, раздвинуло тьму хотя бы вокруг нас.

Тираж альманаха невелик.

Немногочисленны и его читатели.

Мы как последние волхвы, покинутые паствой ради других богов. Но мы ещё живы и по-прежнему одухотворённо смотрим на окружающий нас мир. И всё так же хотим передавать людям свои тайные знания. Мы почему-то уверены, что они им пригодятся.

Когда-то считалось, что книги в старости остаются единственными друзьями, когда уходят живые. Люди искали покоя и находили его опять же с книгой.

Вернутся ли эти времена, и что будет дальше?

Далёких молний не бывает

В саду с утра шелестит дождь. Неожиданно со стороны Волги блеснула молния. И сразу, без обычной задержки, раздался оглушительный удар грома. И вновь мерный шум дождя, будто ничего и не было.

Накануне разговорился на автомойке с владельцем дорогой иномарки — хорошо одетым, подтянутым и ухоженным мужчиной лет шестидесяти. Разговор после короткого обмена информацией о растущих ценах на бензин и машины свернул в неожиданную сторону — мы заговорили о превратностях человеческих судеб. И мой случайный собеседник, назвавшийся Анатолием, рассказал историю своей семьи.

— Мои корни в Большой Казачке, что за Калининском, бывшей Баландой. Семья была бедняцкая, перебивались с хлеба на квас. По семейным преданиям, дед, когда дети выросли, собрал всех и сказал: «Расходимся на два года зарабатывать, потом сойдёмся, сложимся и заживём как следует». Сыновья нанялись работниками к богачам, сам дед стал пасти свиней, некоторые из женщин христарадничали. Через два года сложили заработанное и сразу встали на ноги — купили землю, скотину, плуги, бороны и другие необходимые в хозяйстве вещи. Но вскоре грянули революция, Гражданская война, а за ними и коллективизация. Вступать в колхоз дед наотрез отказался: «Столько горбатились всей семьёй, а теперь отдавать нажитое чужому дяде?» Его с ещё одним отказником отвезли в кутузку возле Лысых Гор, километров за сорок от дома. Посадили, как говорится, на воду и солому, чтобы взять на измор. Но они не соглашались, сидели, пока помирать не стали. Тогда их отпустили. Как раз перед посевной. Дед идти уже не мог, попросил молодого сокамерника помочь: мол, потом родня расплатится. Тот тащил, пока хватало сил. Но тоже ослаб. Еле добрался до села, передал родным деда, где его искать. За ним поехали, нашли на обочине с выклеванными воронъём глазами. Но живого. Так он слепым и доживал. А младший сын его, мой отец, во время войны попал в плен. Выжил, можно сказать, чудом. На родине отца ещё на три года в лагеря отправили. Правда, ему повезло — строил метро в Москве.

Закончив рассказ, Анатолий пожал мне руку, и мы разъехались каждый в свою сторону.

А услышанное всё не отпускает. Из головы не шла дорога между Лысыми Горами и Большой Казачкой, хорошо знакомая и мне. Она и сейчас не везде обсажена деревьями. По обе стороны одни поля, пересыхающие летом русла ручьёв, овраги, где-то за ними крыши редких сёл. Пустынный и в наши дни край.

Неизвестно, где был оставлен дед Анатолия. Примерно на полпути дорога выводит на вершину высокого холма. С него он мог бы увидеть Баланду, от которой рукой подать и до Большой Казачки. Но, скорее, он остался лежать ближе к Лысым Горам. Вряд ли обессиленный односельчанин смог его далеко протащить. Самому бы спастись.

Наверное, поначалу ещё недавно крепкий мужик, привыкший пахать от зари до зари, пытался как-то двигаться вперёд, хоть на карачках, ползком. Но где-то за полдень, когда и весеннее солнце припекает, силы могли его оставить. Тогда он упал на спину или перевернулся на неё, бессознательно стремясь к свету.

Представилось, как дед Анатолия беспомощно лежал, раскинув руки, на покрытой свежей травой обочине. Рядом жужжала одинокая пчела. В небе заливался жаворонок. Ветерок доносил с полей запах влажной земли.

О чём ему думалось?

Может, он звал жену, детей? Вспоминал свою большую деревенскую родню? Может, вся жизнь промелькнула перед ним в одно мгновение? Или ему припомнился запах расцветающей сирени возле лавочки за забором, жар домашней бани с запахом дубового веника, до которых он был большим охотником?

Вряд ли он услышал хлопанье птичьих крыльев, только пронзила его последняя перед забытьём боль от острого клюва, заглушившая приближающийся лошадиный топот и скрип крестьянской телеги со стоящими на ней сыновьями, напряжённо оглядывающими окрестности.

В Монастырском

Довелось заехать в село Монастырское, родину известного советского писателя Михаила Алексеева. Первый же встречный на вопрос, а где здесь дом Алексеева, ответил: «Да я в нём живу».

Бывший дом Героя Труда и лауреата многих премий и наград со всех сторон окружён густыми рядами картофеля. В большом кирпичном квадратном здании, выделяющемся среди обычных деревянных домов, когда-то было одиннадцать окон. Половина их заделана. Хозяйка объяснила: «Он стихи писал, ему света больше надо было, а нам к чему столько окон?»

До этого в доме, уже после Алексеева, жил председатель местного колхоза имени Горького. Литературному классику посередине площади поставлен памятник: молодой Горький с книгой в руке, с развевающимися волосами, стройный, высокий, бодро смотрит вдаль и одновременно на дом Алексеева.

А вокруг пустой, в ухабах, площади—деревенское безлюдье, серые незавидные постройки. Село доживающее. Уже закрыта школа, а с ней и школьный музей с алексеевскими экспонатами.

Не знаю, где писал Алексеев своих «Драчунов», но трагедия голодомора, о которой он рассказал на страницах романа, разворачивалась вот на этих пыльных улицах, окрепших было и захиревших уже при продовольственном изобилии.

На этой изъезженной, истоптанной земле страдала верная Журавушка, здесь тянула свой тяжёлый воз старая, ленивая, но надёжная кормилица Карюха, где-то должен быть и Вишнёвый омут в протекающей рядом речке. Может, смотрелись в него, волнуясь от влекущей тайны, и эти две девчушки, спокойно, весело переговариваясь, прошедшие по своим делам за околицу.

Я не нашёл алексеевского «гнезда». В его доме, о котором писатель при жизни тепло вспоминал, живут случайные люди. Канул в лету и окружавший его, казалось, на века, колхозный мир.

Но заросли деревьев вокруг села по-прежнему густы и зелены. На песчаной речной отмели привычно играют дети. Далеко вокруг раскинулись поля новых хозяев сельской жизни с колосящейся пшеницей, кормовыми травами и подсолнухами. Они весело смотрели после прошедших дождей в чистое голубое небо.

Смерть Пегаса

В далёкие советские времена моего отца, офицера-пограничника, перевели служить на заставу, стоявшую на украинском берегу Западного Буга. Застава была обособленным миром. Но он сообщался, например, с миром колхозным. Колхозникам разрешали косить густую высокую траву в заливных лугах нейтральной зоны. Взамен они снабжали пограничников мясом, салом.

Однажды на заставу привели списанную колхозную лошадь по кличке Пегас. Он был весь в рыжих и коричневых пятнах. И был очень худ. Одни кости да кожа. Мне объяснили, что его откормят и пустят служебным овчаркам на мясо.

Несколько раз в день я выпрашивал у матери и приносил в летнюю конюшню хлеб и сахар. Пегас аккуратно брал их с моей ладони нежными трепетными губами, встряхивал головой, с одобрением, как мне казалось, поглядывал на меня. Поначалу я с опаской посматривал на его огромные жёлтые зубы. Но вскоре привык. К строевым коням подходить запрещалось. А возле него можно было постоять, дотянуться и погладить ладонью его бархатную щёку.

Он был обычной рабочей конягой, тихой и нетребовательной, привыкшей к ежедневному хомуту. Но постепенно взгляд его веселел, бока округлялись. Во время учений на границу отправилась большая группа солдат. Лошадей не хватило, и оседлали Пегаса. Возвращаясь, устроили соревнование—кто быстрее доскачет до ворот. Отъевшийся Пегас обогнал пограничных лошадей. Я радовался за него, во мне зародилась надежда, что, может, его оставят и он будет служить как все.

Выйдя как-то утром на хозяйственный двор, я увидел солдата с понуро стоявшим возле него Пегасом. Одной рукой солдат придерживал его за поводья, в другой держал пистолет. Потом приставил дуло к замершему лошадиному уху. Пегас не дёрнулся, не вскинул голову. Он всё так же понуро стоял, поджав ногу. Прозвучал негромкий хлопок. Когда я подошёл, Пегас уже лежал на боку, подмяв под себя редкую сухую осеннюю траву и вытянув голову с застывшими равнодушными глазами. Во двор заходили ещё солдаты, чтобы разделать тушу.

Над сосновым лесом за полем всходило, как всегда, солнце. За забором, возле жилого корпуса заставы, слышались командные голоса. Всё вокруг было обыденно, спокойно. Только вороны кричали громче обычного, видимо, возбуждённые скорой поживой.

На заставе все хозяйственные дела совершались открыто. В свои шесть лет я уже видел, как отрубали топором головы успокоившимся курам, вбивали штык-нож в горло визжавшей свинье. Поэтому не заплакал при виде поверженного Пегаса. Развернулся и побрёл домой. Но меня смущали новые, горькие чувства. Ведь куры и прочая живность для солдатской кухни были мне чужими, как пойманная в Буге снулая рыба или дерущиеся из-за хлебных крошек воробьи. Я не относился к ним по-товарищески. А о Пегасе заботился и всем сердцем желал ему лучшей доли. В его убийстве была жизненная необходимость, оправданность. Я понимал это, несмотря на свои малые годы. Но была в его смерти и явная для меня

несправедливость, нечестность по отношению к простому коню, который стал скакать быстрее строевых.

Мне было жалко Пегаса. Мне его и сейчас жалко. Руку солдата, приставленную к уху обречённо стоявшего коня, и хлопок пистолетный помню, как будто это случилось вчера.

Лёгкий стук молотка

Дождь шёл всю ночь и утро. Стоило ему утихнуть, как всегда бодрая воробьиная семейка, деловито чирикая, тут же устроилась на проводе напротив лоджии. Мокрый сад по-своему хорош.

Когда опрыскивал клубнику, подлетела пчёлка, села на верхний ободок стоящей под краном лейки, чтобы попить. И когда я лейку понёс, она всё ещё пила воду.

Перед баней сидит, нахохлившись, птенец. Судя по молча порхающему рядом чечету—его. Маленький замерший пушистый комочек в ожидании помощи.

Трясогузка по-домашнему похаживает в беседке, покачивая хвостиком и не обращая на меня внимания.

Уже и зимние яблони доцветают, и поздние жёлтые тюльпаны.

Хожу, что-то делаю, а сознание витает как бы вне меня, само по себе, со стороны осмысляя мою жизнь.

Не представляю её без садовой зелени, неумолчного щебетанья птиц, ласковых солнечных лучей или умиротворяющего постукивания дождевых капель.

Не могу жить и без постоянных размышлений обо всём на свете, начиная с домашних рыжих муравьёв, так докучавших одно время, и заканчивая загадками Вселенной, не дающими спокойно спать астрономам.

Тянет к мудрецам и талантливой молодёжи.

Недавно весь день переписывался по электронной почте с писателем Ириной Сотниковой из Крыма, сказавшей, что мир изменился везде, в каждой точке, и он больше не измеряется деньгами. Тем временем сварил густую ароматную гороховую похлёбку и картофель испёк к приходу жены со службы.

Сегодня я один. Грустновато. Но разве я не винодел? И у меня в погребе нет вина? И вот передо мной бокал с вином, кусок сыра с домашним хлебом. А вино недурное—терпкое, с молодой горчинкой, свежее. И грусть потихоньку испаряется. Вновь ощутил в себе и вокруг сладостный ток жизни. Его легко нарушить лёгким стуком молотка по дереву. И невозможно прервать грохотом железных исполинов, взлетающих с заволжского аэродрома.

Перед заходом солнце напоследок осветило сад. Воздух ещё потеплел.

Хорошо бы умереть хорошо

Чехов считал, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать. Умер он в гостиничном номере, вдали от родины и преданных ему друзей. Сказал по-немецки: «Я умираю»,—отвернулся к стенке и затих. Сказал по-немецки, потому что умирал в Германии, куда его, спасая, привезла жена. Значит, у его смертного ложа стояли она, чужой ему, по сути, человек, и чужой немецкий доктор.

Какая, казалось бы, разница, где и как умирать?

Почему же так трогают—стоит только дать волю воображению—собственные похороны, поминки с прощальными прочувственными речами? Оплакивание твоей преждевременной смерти близкими людьми размягчает душу, вызывая настоящие ответные слёзы. Может, потому, что ты ещё жив, а это всего лишь игра воображения—безопасная и утешающая.

А хорошо бы умереть хорошо.

В преклонном возрасте, в окружении семьи, в своём доме и без боли, по крайней мере, излишней. И чтобы в здравом уме и без страха. Собственно, вот как Чехов.

И никакого рая не надо. Нажился, хватит.

Славное бордо

Жизнь—материя вязкая, далеко не всегда удаётся отвлечься от ежедневных хлопот, чтобы оглядеться, задуматься не только о хлебе насущном. И уж тем более написать книгу о своём жизненном пути с трудами, заботами и любовью, осветившей и укрепившей его.

И вот такая книга у меня в руках. Я в гостях у её автора, много послужившего, видевшего и испытавшего. Ему за восемьдесят, он статен, черты его лица правильны, благородны, годы только смягчили их.

Мы сидим за столом, накрытым белой скатертью. Белым чехлом накрыто и моё кресло «для почётных гостей». Хозяин угощает меня тушёной сёмгой и бордо.

А на Волге уже начал таять лёд.

И бордо—славное!

Хозяин ходит по своей большой, опустевшей после смерти жены квартире, рассказывает, спрашивает, подсаживается к столу и всё читает, читает из своей книги то, на что ему очень хочется обратить моё внимание. Читает чистым, хорошо поставленным голосом, а по его щеке то и дело скатывается одинокая слеза. Он извиняется, смахивает её и опять читает, и новая слеза наворачивается.

Что поделаешь?

Душа не может всё время взмывать вверх. Ей тоже нужны передышки. И она снижается, вводя человека в уныние. Но потом, отдохнувши, опять дарит ему надежду, вновь тянет его вверх, к свету.

Говорят, что человеку нужно многое, весь мир. Но достаточно и малого. Скромного сада на высоком волжском берегу и островка напротив, над которым развеян дорогой прах, как было завещано. Ведь в этом тихом, родном уголке необъятной Земли прошли лучшие дни твоей и её жизни.

А бордо и в самом деле славное!

Наш разговор прерывает звонок сына с Ямала.

Хозяин показывает фотографию дочери сына — красивой молодой женщины с улыбающимся младенцем на руках. Фотографиями улыбающихся детей, внуков и правнуков заставлены все полки.

Считается, что русские любят вспоминать, но не любят жить. А рядом со мной читает вслух свою книгу русский человек, который и жить любил и любит, и вспоминает об ушедших годах с любовью, хотя всякого хватало.

Славное, славное бордо!

Последний птеродактиль

В советские времена фотолаборатории на предприятиях и в учебных заведениях часто устраивали в туалетах. Почему-то считалось, что их слишком много, а обустройство выходило недорогим. Вода подведена, есть слив, и затемнять помещение не надо, поскольку нет окон.

И эта действующая с первых послевоенных лет фотолаборатория размещена в длинной узкой комнате с торцевой стеной из мутных стеклопакетов, прикрытых чёрной упаковочной фотобумагой. С двух сторон тянутся полосы потерявшей цвет кафельной плитки. Над ней — оголившиеся красные кирпичи в белых прожилках известкового раствора. В нескольких оставшихся кабинках урчат холодильники с хранящимися в них фотоматериалами. Ряд обычных кранов нависает над внушительной бетонной ванной на месте давно забытых толчков. В ней когда-то привычно стояли лотки с проявителями и закрепителями, тоже полузабытыми. Впрочем, здесь и сейчас можно изготовить фотографии по старинке.

Лаборатория неспешно, но неустанно работает. В ней тесно от фототехники и бутафории на все случаи жизни. Для её заведующего, известного фотографа, она давно стала вторым домом, вся его профессиональная деятельность сосредоточена в этих уже музейных стенах.

Говорят, что лучший день для посадки дерева — сегодняшний: деревья растут долго. Пожалуй, и лучший день для фотосъёмки — сегодняшний, ведь завтра мир станет другим.

Вычитал, как в двадцатые годы прошлого столетия фотограф работал с деревянным штативом и двумя деревянными кассетами с четырьмя стеклянными фотопластинками. Он неспешно ходил, ставил штатив, смотрел, шёл дальше. К вечеру делал всего четыре снимка, таская все эти тяжести. Сегодня такие фотографии на вес золота.

«А я размышляю над фотомонтажом о последнем птеродактиле на Земле, — рассказывает заведующий. — Его единственное оставшееся яйцо разбито — больше птеродактилей не будет! Потеря оплакивается всеми, кто рядом. Это созвучно мыслям о последних людях на Земле. Когда-то ещё такой момент наступит, а печаль на сердце уже сейчас».

В глазах мастера, повидавшего столько лиц, впитавшего в себя столько чужих взглядов, светится неистребимое любопытство человека, с детских лет заворожённого чудом рождения образа на чистом листе бумаги.

Люди уходят, техника меняется, здания рушатся, когда-то наступит черёд и этой повидавшей виды фотолаборатории, но что-то остаётся нерушимым.

Что?

Квартира с видом на луг

Мартовское небо с утра нахмурилось, закрапал дождь, сырой воздух на глазах сгустился до туманной дымки. Но с девятого этажа моего дома видно, как в наполненной талой водой мелкой выемке, устроенной на пустынной земле бывшего авиационного завода, плавает пара диких уток-крякв. Чтобы удостовериться, посмотрел в бинокль. Да, самец и самка. Отчётливо видны зелёные голова и шея селезня, бурые перья его подруги. Она держится впереди. Он заботится о её безопасности, не важно, что вокруг никого нет. Плавают спокойно по большой луже, слегка обрамлённой прошлогодней высохшей травой. Откуда они взялись? Им и есть-то здесь нечего.

Эх, воля вольная — ты одна чего-нибудь стоишь!

Утки — птицы небольшие, уступают в размахе крыльев гусям и орлам. Но летуны они прекрасные — и под облака взлетят, и сотни километров за день отмахают.

Наверное, не я один наблюдаю за пернатой парой. Большинство моих соседей — из бывших самолётостроителей. О чём думается им при виде отдыхающих уток на месте порушенных цехов?

Завод был историческим, гордостью стольких поколений. И людей на нём хватало одарённых, увлечённых своим делом. Но это не помешало мошенникам разграбить предприятие, выпускавшее в последние годы надёжные и неприхотливые пассажирские Яки.

Завод ушёл в прошлое, да и утки — не будущее этого загороженного городского луга, зарастающего травой и кустарниками в ожидании новых хозяев, далёких от всяких полётов. Свободным птицам ничего не стоит сняться с мелководья и вновь встать на крыло.

После обеда хмарь развеяло, и небо заголубело.

В очередной раз взглянул на одинокий водоём — он был пуст.

Корова, сестра моя

Летом Владимир Петрович гостил у деревенской родни. Помогал по хозяйству, ходил за околицу на небольшую, заросшую камышом речку, пристраиваясь с удочкой на шатких мостках, бродил по недалёкому лесу в поисках земляничных полян. Было непривычно тихо вокруг, спокойно, мирно.

Однажды соседи, муж и жена, позвали помочь с коровой, которая не смогла разродиться. Вслед за хозяевами Владимир Петрович зашёл в сумрачный небольшой хлев. Терпко запахло свежим навозом. В углу жалобно мычала лежащая на измочаленной соломенной подстилке корова. Владимир Петрович разглядел светлые пятна на тёмной шерсти. И ещё понял, что дела её плохи. Телёнок был мёртв, надо было спасать саму роженицу. Хозяева попросили Владимира Петровича подержать ей голову, пока они попытаются вытащить незадавшийся плод. Ещё сказали, что если не удастся, то корову увезут на забой. А она молодая, здоровая, жалко такую терять.

Корова, несмотря на своё удручающее положение, с коротким любопытством скользнула по незнакомому лицу. Своими печальными с поволокой глазами она неожиданно напомнила Владимиру Петровичу давно умершую старшую сестру. Он положил крупную коровью голову с аккуратными рогами-серпиками себе на колени, стал поглаживать шерстяные щёки и приговаривать успокаивающие слова, которые говорил бы и ребёнку:
— Чу, чу, не бойся, всё будет хорошо…

Корова, уже не отрываясь, глядела на Владимира Петровича. Доверившись ему, она перестала мычать и вздыхать стала реже и не так глубоко. Владимир Петрович даже почувствовал некую душевную ниточку, связавшую их обоих в одночасье. Он продолжал утешать её словами, судя по недоуменному взгляду хозяйки, не принятыми в обращении с животными. В ставших вдруг близкими выпуклых глазах под густыми ресницами легко читалось выстраданное желание: «Может, и в самом деле всё будет хорошо? Закончатся мои мучения, я отдохну, встану, и меня отведут пастись на ближний луг».

Меж тем муж с женой, что-то отрывисто говорившие друг другу, разом замолчали, обречённо опустив измазанные в крови руки. Владимир Петрович ещё какое-то время бережно поддерживал коровью голову, не в силах оставить её. На него по-прежнему неотвязно смотрели глаза сестры. И в них ещё жила надежда.

Выйдя на свет, Владимир Петрович стал машинально отряхивать брюки от густо налипших коричневых шерстинок. Не попрощавшись, побрёл домой.

Кто ты?

С возрастом острее примечаешь, как всё вокруг вертится в привычном чередовании. Это верчение напоминает бег на месте. И нарастает желание остановиться, прекратить толчение воды в ступе.

Бывает, что размышления о суете жизни подталкивают к затаённой мечте.

Я уже седой, дети давно обзавелись семьями, а мне всё грезится чудесная жизнь без сожалений и страха перед будущим, где я выгляжу обаятельным, умным, ловким, окружённым красавицами, где всё кажется ярче, изысканнее, дела вершатся сами собой и каждый день светится радостью.

Со временем пришло понимание, что все эти сладкие, терпкие грёзы относятся не ко мне, а к другому существующему внутри меня человеку, которому я не позволил развернуться в предназначенные ему ширь, мощь и красоту.

Человек этот не имеет отношения к моей душе, с которой я веду постоянный разговор, или к моим мыслям, с переменным успехом пытающимся разобраться в окружающем мире, не является совокупностью моих неосуществлённых способностей и качеств…

Так кто же этот человек, оставшийся во мне зародышем, тревожащим, будоражащим всю жизнь? Откуда он появился? Почему его несостоявшаяся жизнь так желанна и мне?

У магазина

У крыльца продуктового магазина встретил пожилого мужчину, можно сказать — старика. В каком-то малахае на голове, в поношенной зимней куртке, с рюкзачком на согнутой спине, клюшкой в руках и летних кроссовках на распухших ногах. Он просяще посмотрел на меня, пробормотав, что, мол, скользко, не за что ухватиться, чтобы на крыльцо подняться. Помог ему зайти в магазин. Возле кассы опять встретились. Он укладывал в рюкзачок покупки. Увидев меня, заулыбался. Придержал ему тамбурные двери. С крыльца его снял, обхватив руками за бока, как ребёнка, заходивший в магазин большой высокий парень.

Старик, осторожно передвигая ногами по ледяным колдобинам, отправился восвояси. Вид у него жалкий, неухоженный. Но он не бездомный. Об этом говорило и спокойное выражение лица, и то, как он привычно расплатился за покупки.

Скорее всего, живёт один.

Кострища больше нет

Из-за винодельни пришлось убрать молодой абрикос, собрав с пару килограммов прощальных ароматных плодов. Я его вёл с саженца, проклюнувшегося из соседской косточки, пересаживал, ухаживал, ждал первого урожая.

Пришлось убрать и кострище.

Всего-то, казалось бы, небольшой круг обожжённой земли, обложенный дикими камнями, пара самодельных лавок и шаткий круглый стол в тенистом углу. Но камни были не случайными,

со своей историей. Старый стол, притащенный с мансарды после покупки дачи, слегка подлатанный, навевал мягкие мысли о давно прошедших временах.

Огонь кострища притягивал. В колеблющихся под любым ветерком и настойчиво рвущихся вверх языках пламени можно было найти покой, порой, напротив, затаённую угрозу и одновременно подсказку, как выйти из очередного жизненного тупичка. Вокруг кострища по большей части молчали, а если говорили, то не о том, как день прошёл. Прошёл и прошёл…

Возле винодельни соорудили широкую «палубу» из толстых досок. Поставили на неё пару пластмассовых стульев. Сели на них с сыном, призадумались.

Днём по садовым дорожкам ползал опоздавший на праздник своей короткой жизни жук-олень. Жалко тыкался во все стороны. Всё было при нём — блеск чешуи, грозные рога. Но уже не было самок, соперников, и сок дубовый оказался не нужен.

Красота, решили мы, спасает мир, а спасёт или нет — кто знает? Даже ночью, бывает, чувствуешь присутствие солнца.

Эх, кострище, где ты?

Анастасия Астафьева

Для особого случая

Вологда: Киселёв А. В., 2020

Эта книга — о жителях современной российской деревни, об их чувствах, взаимоотношениях, о поисках выхода из трудных ситуаций, в которые их ставит судьба. Каждый надеется обрести понимание и поддержку, но не каждый способен вести себя достойно у той черты, за которой нельзя уже лгать ни себе, ни другим. Однако рано или поздно всем предстоит сделать выбор между чужими и своими, между падением и взлётом, между ненавистью и любовью.

Книга будет интересна не только молодому поколению, ищущему ответы на вечные вопросы, но и взрослым людям, чей жизненный опыт так или иначе перекликается с сюжетами этих рассказов.

Иветта, Лизетта, Мюзетта…

«А ведь в переносном смысле так и жизнь нас захватывает сначала за ноги, тянет вниз гирями проблем и потом проглатывает, даже не чавкнув, как будто и не было вовсе ни твоего голоса, ни каких-никаких радостей, ни больших и малых надежд, а медведь памяти лишь поразбросает то, что ты собрал в рюкзак, да и раздавит, как клюкву, за ненадобностью…»

Лариса Бесчастная

Для особого случая

«Замечательный рассказ, глубокий, неторопкий, основательный и очень добротный — настоящая деревенская проза о реальном. С первых строк застучало пульсом: русскими весями сильно и сохранно Отечество. И очень захотелось, чтобы и в глубинке люди жили радостней, как того заслуживают…»

Анна Дудка

Непутёвый

«С ужасом ждала, как же развернутся события: подобно героине, сжалась внутри в начале текста, расслабилась в середине и опять напряглась к концу… Жуть жуткая эта беда народная, и никто не останется равнодушен к судьбе Пани. Тем более что описано всё настолько живо, зримо, детально, чувственно, что диву даёшься: и про тянущиеся дни, подобные сеющемуся осеннему дождику, и про мошкару, мешающую окучивать картошку, про запах от влажной земли… Да всё, всё истинное, дышащее в этом рассказе! Хотя ничего необычного и не случилось, кажется. Однако случилось! Литература… За которую и спасибо…»

Нина Веселова

(Отзывы читателей с портала «Проза.ру»)

Владимир Вещунов

Родительский день

После окончания педучилища Катя прибыла в распоряжение Казанского роно. Но там её, молодую, энергичную, перехватили партийцы из отдела культуры и предложили, как комсомолке, заняться культурно-просветительской работой в Благодатном. К середине 1960-х в стране осталось около шести тысяч сельских изб-читален. В послевоенные годы насчитывалось пятьдесят тысяч. Их заменили библиотеки, клубы, Дома культуры. Благодатненцы же утешились старым добрым очагом культуры — своей избой-читальней.

Село Благодатное подковой раскинулось на берегу Бездонного озера. Летом здесь и впрямь благодать. А зимой на Бездонном гнездятся ветры и дуют, дуют во все стороны, во всякую погоду гонят на село белых змей — позёмку за позёмкой.

Вечерами благодатненцы — всякая изба сама по себе — чаи гоняли да слушали стариковскую побывальщину. Повесила Катя красный флаг на избе-читальне, написала лозунг: «Ученье — свет, неученье — тьма». И стали собираться по вечерам на избачёвский огонёк стар да мал. Она им ругает проклятых империалистов, радуется освоению целинных и залежных земель. Учит грамоте, выдаёт книжки по силам: кому «Сказку о рыбаке и рыбке», а кому букварь. Закроет позднёхонько избу-читальню, а какая-нибудь старуха не уходит, мнётся возле избачихи:

— Катерина Санна, уважь, голубушка, почитай письмецо от Веньки мово беспутого! Умотал в Петропавловск на заработки. Чо он там маракует?

Катя ведёт бабку на свою половину: сельсовет выделил для пропаганды знаний пол-избы, другая половина полагалась избачу. Прочитает письмо под бабкино: «Осподи, Сариса Небесная!..» — ответ сочинит, чтобы возвращался сынок.

Не стало от старух отбоя. Дело, без дела — плетутся к Катерине Санне. Целыми днями пропадала она в своей избе-читальне. Зимними сибирскими вечерами не было уютнее места в Благодатном. Здесь улаживались соседские ссоры, мирились жёны с мужьями и присматривалась друг к дружке молодёжь.

Стал захаживать на избачёвский огонёк с дружками-бражниками и Пашка Зорин — первый парень на деревне. Дружки Пашкины свернут кульки из старых газеток, семечки в них лузгают да девок пощипывают. А Пашка сядет, закинет ногу на ногу и небрежно листает «Крестьянку», из-за журнала на избачиху поглядывает. Так себе, ничего особенного. И что это люди по ней с ума посходили: Катерина Санна, Катерина Санна!.. Брови скобочками выщипаны, щёки с ямочками подрумянены, курносая. Одевается фасонисто, по-городскому. Валенки фетровые, как снег белые... Поближе бы надо сойтись, распознать, что в ней особого. Жалко, в этом же доме живёт — не напросишься на провожанье. А то бы улестил гордячку...

Кате льстило, что такой парень вокруг неё увивался. Сколько девок по нему сохнет, а он всё-таки её выбрал. Но поманежить надо, гонору поубавить.

Не обломал Пашка Катю просто так. В азарт вошёл, да и отступать не привык. Заявился однажды к ней, бухнулся в ноги: мол, жить без тебя не могу! Или ты, или погибель! Слёзы на глазах, жар на лице — любовь, да и только! Тут и Катя не выдержала, тоже в слёзы — и на Пашке повисла.

Слов нет, рассуждали доброхотные старушки, Павел — парень видный из себя, волос волнистый. Да вертун. Не одной девке пуговицы покрутил. И с Катериной Санной что-нибудь выкинет. Нет, не будет добра!..

Чуяли жизненные сердца беду неминучую, отвести её хотели от Катеньки. Не послушала мудрых стариц, ушла к кобелине проклятому.

Всё реже общалась Катя с сердобольными. У Зориных корова отелилась. Павел стал частенько в стопку заглядывать. Трезвый ещё ничего, а пьяный — сумасброд. Всё жене выскажет, что о ней думает. Дескать, наштукатуренная, намалёванная ещё туда-сюда, а в постели без пудры и румян смотреть не на что.

Катя, конечно, виду не показывала: мол, всё хорошо, живут не хуже других. Но чуткие сердца не обманешь.

— Добром, Катюша, жисть твоя не кончится. Уходить надо, пока ребёночка нет.

— Да как же на людях-то покажусь? Екатерина Александровна — и вот на́ тебе, разведёнка! Остепенится Павлик. Видать, своё ещё не отгулял. Покуражится и остудится. А так он хозяйственный и трезвый обходительный. Конечно, остепенится!..

И впрямь на людях Пашка вокруг жены вьюном вьётся. А по-за глаза грязью обливает, как худая баба. Зориха то же. Нет чтобы сыночка своего приструнить—потакает ему во всём. Одного поля ягоды.

Пытаясь наладить жизнь, Катя стала учительствовать недалеко от Благодатного, в Лебедеве. Пашка не в своём доме немного поутих и, казалось, взялся за ум. Но не тут-то было…

После аборта—Пашка не хотел ребёнка—Катя вновь забеременела. Но скрыла это от мужа. Поехала с ним в гости к свекровке, в Благодатное. Зориха встретила невестку радушно и даже поругала сына за то, что не даёт ей на старости лет внучка́. Катя хотела было порадовать её, признаться, что беременна. Да что-то удержало. Зориха не отходила от сыночка ни на шаг, гладила его волнистые волосы и, подбочась, любовалась своим чадом. Да, одного поля ягоды! За сына горой. Наверняка осудит невестку за самовольство, за неподчинение мужу. Ещё и накричит.

Пашка, захмелев от двух кружек бражки, то и дело охорашивался, глядя в чёрное зеркало окна.

На обратном пути, только отъехали от Благодатного, началась пурга. Мохноногая кобылка в снегу пошла тихо. Ухарь Пашка любил быструю езду. Встал во весь рост и остервенело начал хлестать кнутом лошадь. Та дёрнулась, жалобно скосила на разъярившегося мужика влажный, блестящий глаз: не видишь разве, какой снег?

Грубо оттолкнув Катю, Пашка разгрёб солому и вытащил корявую хворостину. Ткнул коняге под хвост и, потеряв равновесие, упал на жену.
—Паша, опомнись!—сталкивая его с себя, сдавленно выдохнула она.
—Нам, женатым, всё равно!—он схватил её, заблажил:—И за борт её броса-ает в набежа-авшую волну!—и столкнул с саней.—Баба с возу—кобыле легче!—матерно выругался и дико заорал:—Грянем, братцы, удалу-ую за поми-ин её души!..

В фетровых холодных валеночках, в пальтишке на рыбьем меху, шла Катя в жестокую пургу, прижав к груди руки в цигейковой муфте… «Зачем и куда я иду? Лучше умереть. Замёрзнуть. Говорят, замерзающим снятся сладкие сны. В жизни мало видела хорошего, хоть в смерти узнаю…»

С жалостью к себе лукавила Катя. Детдом—какая-никакая, но всё же семья. Иные домашние не такие крепкие. Не беспризорница же. На учительницу выучилась. Люди уважают. Да и по натуре не из нытиков. Даже оптимистичная чересчур. Пашке поверила. А людей добрых, разумных не послушала. Вот и поплатилась.

Она уходила с дороги в лес, оседала в пуховый снег. Эхо волчьего леденящего воя доносилось сквозь пургу. И представлялось ей, как её, окоченевшую, грызут волки, утаскивают всё дальше от людей, в глушь… Вот белеют по весне её косточки среди змеящихся корней…

Катю колотило, и сон никак не шёл, и отходила от сердца наплывающая к нему мягкая, приятная пустота. «Что же это я? Ведь теперь самая пора жить. Под сердцем живой комочек бьётся. Сыночек, верно. Серёженька. Без Пашки нам с ним будет хорошо. С ним хорошо…»

Она снова шла, и ветер затихал перед ней, и языки белого огня, потухая, ластились к её ногам…

В горячечном бреду учительницу подобрала Шипилиха.

Районные врачи определили: крупозное воспаление лёгких, возможен туберкулёз—необходимо диспансерное лечение. Но Катя надеялась за лето избавиться от болезни.

Всё Лебедево и благодатненцы переживали за Екатерину Александровну. Кто нёс лечебные травы, кто барсучье сало, кто медвежий жир. Пашку пытались усовестить. О будущем ребёнке он и слышать не хотел. Заявил, что ему не нужна чахоточная, когда здоровые в очередь стоят, и умотал с очередной зазнобой в Петропавловск.

Катя так и осталась у Шипиловых. Добрые люди заботились о ней как о родной. Шипилиха прослышала, что от чахотки очень помогает собачье мясо. Тайком отвела к лебедевскому коновалу жирного Полкана и целый месяц потчевала болезную собачатиной.

То ли вера Шипилихи в чудодействие тайного лекарства была сильна, то ли на самом деле собачье мясо помогло, но Катя почувствовала себя гораздо лучше. Сибирское деревенское лето сугревное, целительный воздух, здоровая крестьянская пища—вовсе на поправку пошла. Да, верно, и материнский организм оздоровился, сготовился к рождению ребёночка…

Взбудоражился шипиловский дом, заквохтали квочками женщины над солнышком Серёженькой. Счастье—через край! Мама здорова, и дитятко здоровенькое. Так врачи сказали. Жить бы да и радоваться…

В промозглом ноябре притихшая было болезнь ворохнулась. А затем и вовсе кризис наступил: высокая температура, сильная одышка. Отвезли Шипиловы болезную в город. И последовала изнурительная череда: тубдиспансер, стационар, диспансер… Оберегали ребёнка от чрезмерных проявлений материнской любви. По-родительски голубили его. Когда же их по-стариковски хвори стали донимать, определили Серёжу в школу-интернат. Так и наезжали к ним в Лебедево мать с сыном: то она после диспансера, то он на выходные и каникулы. Так и встречались под родной шипиловской крышей.

Мамку об отце Серёжа старался не спрашивать. Только заикнётся—лицо её с туберкулёзным

румянцем тотчас темнело. Она слабо взмахивала рукой, точно отмахивалась от злого прошлого.
— Характерами не сошлись,— произносила избитую фразу и виновато, болезненно улыбалась.

Шипилиха на расспросы о папаше отводила глаза в сторону и тоже бубнила о несходстве.

И тридцати пяти Катеньке не исполнилось, когда выдохнули её выболевшие лёгкие последнее облачко жизненного воздуха…

В ПТУ Сергей учился. Гоняли пэтэушники в футбол. Увидел, как везли на грузовике коров. Не понял сначала, куда они едут. Потом остолбенел. Показалось, что не коровы стоят в кузове — а люди. Молчаливые, покорные — прощание с жизнью. Смертники. Такие у них были лица. А глаза!.. Очи — прекраснее человеческих. С бездонной смертной тоской. Влажные, слёзные, блескучие… Они знали, что люди везут их убивать. Они плакали… Бурёнка Майка бабушки Шипиловой — кормилица добрая. Сколько лет жизни матушки болезной продлило её целительное, питательное молоко!.. Корова — мать-кормилица. А люди!.. А он, Серёга Зорин, разорил память свою в городской суете. Ни Шипиловых не вспомнил, ни Лебедево — ни матушку.

Спохватился, в спортивной побежке устремился на кладбище. Едва отыскал могилу. Отнял бег, видать, сердечные силы. Не почувствовал печальной сердечности, какая должна быть на могилке родной матери. Такой вот недушевный, чёрствый сынок. Зато памятничек поразил. Обычный скошенный клин, кое-где покарябанный ржавчиной. Сведения, какие полагаются на памятнике, стёрты временем. А на их месте выведено: «*Катя*». Словно малолетка. Зато задушевно, со слезой. Буквы большие, как бы лохматые, буранные, будто снег. Каютная эмаль сохнет быстро, а эта ещё липкая. Недавно кто-то побывал здесь. Старички Шипиловы вскоре следом за любимой Катюшей упокоились. Хотели дом Серёженьке отписать — не успели. Кисельные сродственники налетели, избу заняли… Кто тогда буквы-то малевал? Может, кто-нибудь из сопалатников больничных?..

Наведывался иногда Сергей на могилу матери. И всякий раз на памятничке свежо белело имя: «КАТЯ». Всё в нём содержалось: и ФИО, и даты рождения и смерти. И эпитафия: помним, любим, скорбим. Какой ёмкий символ — «КАТЯ»! Для кого? Неужели кому-то ближе и роднее она, чем сыну?.. Увидеть бы «художника», застать врасплох за писаниной! А то давненько тянется этот детектив… Одёрнул себя, пристыдил: давно бы пора привести могилку в порядок, новый памятник поставить, а не любоваться чужими каракулями!.. Вот начнёт зарабатывать после «путяги» — обязательно всё сделает!

Окончив ПТУ, устроился в солидном телеателье «Электрон» областного центра. Там жила его первая любовь…

Алку он перелюбил. Давно мечтал о ней. Из футболёрок она одна не бравировала пацанством. И играла технично, мягко, словно кошечка. Другие колотухи за сезон грубели и отчаянно рвали соперницам волосы. Алка же на поле будто вела балетную партию, за что и получила футбольную кличку Одетта. На Одиллию болельщики поскупились: не очень жаловали они балетчиков с мячом; им больше по душе были боевые, крепкие пацаны и пацанки.

Видики, дискотня, съёмы за неделю перед игрой тренерами запрещались. Тем не менее режимников среди малолеток группы подготовки мастеров не было. Кроме Алки. Потому за глаза её звали цыпой, цацей, недотрогой. А она, белая ворона, гордо держала свою балетно-целомудренную марку, вызывая у Серого тихое восхищение. Зато в снах миловался со своей Алочкой, с которой наяву и заговорить-то робел.

Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коснулось веяние времени. На современный лад в ней обозначился спортивный уклон, футбольный. Интернатские-инкубаторские… Тренировки, сборы, выезды, победы, голы, очки, поражения…

Как кислородное — душевное голодание. Нестерпимая тоска по ласке: материнской, отцовской, сестрино-братовой. А затем — и по любви.
— Серовастенький, ну как я отыграла?

Свежая, воздушная, будто и не носилась два тайма: у младших юниоров тайм длится тридцать минут.
— Ништяк «баночку» влепила! В правый нижний — хай-класс! Могёшь, бомбардирша! — панцирёк грубоватости — чтобы очухаться от её голоса, чтобы защититься, если насмешка.

Но насмешки нет. Грусть в серых глазах. Нос мило вздёрнут, соломенная чёлка тоже вздёрнута. А в глазах — грусть непотаённая. Доверенная ему — Серому! «Она — со мной?!..» — он с ужасом гнал мысль об этом. На такой вершине и сердце разорвётся!..

Не стерпел Зор, сам попёр по краю. Его коронный рейд, когда нападение не тянет. Протащился до штрафной. Ломится в центр. Вязко борется с защитой. Снесли! Почти на одиннадцатиметровой отметке. Пенальти!.. Ор фанатов, цвета и голоса глохнут в сновидческом тумане… Записной пенальтист, Зор одиннадцатиметровый пробил прямо в руки вратарю. «Победный» счёт ноль-один!..

«Победный»… Утверждённый не только сном, но и безжалостной медкомиссией. Что ни Манту — то положительная. Волдырёк на предплечье,

папула всего полсантиметра. Но всё же… Отметина материнской болезни. Профнепригодность как футболиста… Зато полная пригодность как телемастера. Спец!

И Алевтина свой последний «победный гол» забила: не женское это занятие — футбол! В школе физру стала преподавать. Вот к ней поближе и перебрался Зорин. Встречаются, милуются. Не торопятся сходиться. А то у многих нынешних торопыг брак — бракованным оказывается.

Аля с мягкой, материнской уже улыбкой обронила, что забеременела. Счастье, которое обошло стороной бедную матушку, да и его сторонилось, — вдруг девятым световым валом обрушилось на него. Взнялось!.. Да, на самой вершине сердца разрывается. Чуть не разорвалось его сердце!..

А потом сон увиделся… Ливень, брызги, пыль дождевая — над надгробной плитой. Гром прокотал. И затих. И в тишине слова услышались: «Сынок, сынок…» Словно шептали молчные губы матери. Внизу, под ним, в земле. Беззвучно. А он слышал. Живой голос мамы… Столб водяной поплыл туманом. В ожившем облаке взреял призрачный саван. Из-под него бледная худая рука проступила. Лицо строгое, надмирное… родное. Другая рука — благословляющая… Далёкий гром ласково, прощально проворчал — из бесплодной уже тучи.

Сухие, шелестящие старушки шуршали ядовито раскрашенными бумажными цветами. Он отрешённо прошёл сквозь заплот якобы не нищих. Ему предстояло преодолеть центральную узкую аллейку, схваченную с обеих сторон попрошайками и корками льда. Первым из нищей братии встретил его козлетоном старикан с дырявым глазом, матрёшно закукленный в полушалок. Он вскинул костлявый кулачишко и разжал его для подаяния. Зорин наменял в городе целую горсть мелочи и теперь раздавал её направо и налево. Старушатник вразнобой истово кланялся и крестился. Зорин уже рылся в карманах, нашаривая остатки. В конце нищенской аллеи выковырял в кармане куртки завалящую монету и протянул полоротому дурачку с диковато вывороченными глазами. Тот, единственный из попрошаек, сидел на голом льду. Остальные либо стояли, либо примостились, как торговки возле трамвайного кольца, на ящиках из-под водки. В острожном рванье, вспоясанном бечёвкой, дурачок баюкал облезлую куклу с оторванной пухлой ножкой. В сплюснутой блином военной фуражке перед ним копошилась птичья мелочь, склёвывая печенюшные крошки. Зорин бросил монету в фуражку, вспугнув пернатую мелюзгу. Юродивый вскинул на него мясистое лицо, приладил к кукле упавшую в фуражку целлулоидную ножку и снова загнусавил колыбельную:

— Аа-а, аа-а…

Убаюкав «дочку», скривился:

— Набедил?

Зорин понуро кивнул.

— За кого молиться?

— За Екатерину.

— Ещё у тебя кто-то есть. Родной. Дай копеечку, за него тоже надо! Во здравие!.. Или пряничек!..

— Не надо! Откуда у меня пряник? Никого нет больше из родных.

— Нельзя без ничего! Не дойдёт молитва. Как звать?

— Кого?

— Мне всё едино.

— Меня зовут Сергей.

— А меня Зина. Будем знакомы!

— Зиновий, что ли?

— Дочка у меня Зина. Я — Зина. Едино мне всё. По знакомству скажу, Сергей: придёт к тебе… придёт…

Похоже, чеканутика стало круто заносить. Пора было с ним закруглять, и Зорин отчеканил:

— Понял, Зина! Привет родителям!

К куче тлелого ледяного лома подкатил самосвал. Бородач с разбойничьими бровями прислонил лопату к могильной оградке и начал споро руками кидать за борт зернистые ломти. Выход с аллеи на дорогу был загорожен. Зорин принялся помогать бородачу и после загрузки выпросил у него лопату.

Он не был здесь три года. Поселение усопших неузнаваемо разрослось. Уже больше часа кружил по кладбищу. За ним увязалась какая-то тётка. Такая же беспамятная. Ей, видно, втемяшилось: отыщет свою могилку этот мужик — найдёт и она. А он уже проклял себя и стал виниться перед матерью: «Прости, мама, непутёвого меня!..» Человеку свойственно оправдываться, и он начал ссылаться на половодную поруху. Утешал себя и мать: важна память сердца, а не наглядные атрибуты. И вместе с тем на задворках совести копошилось подленькое чувство облегчения: не придётся больше мотаться сюда, красить памятник…

Эту липучую «паутину» сжёг высверк ажурной «ели» высоковольтного столба. Там! Недалеко от дороги!.. Не ожидал от себя такой прыти. Не совсем ещё конченый… Тётка, загадавшая на него, приотстала. Надо подождать. Авось тоже найдёт своих.

Из тёмной аллеи с тяжёлым запахом сырых могильных деревьев вышел с лопатой на дорогу. По мёртвому городу галопчиком носились беспамятные, потерявшие родные могилы. Вздрогнул от скорбного возгласа:

— Бедуют родненькие!

Сбитая из гравия насыпь-дорога возвышалась над полой водой, повалившей в низине оградки и памятники. Старушка-чернавка, возгласившая

скорбно, в блескучих, новеньких резиновых сапогах, подняв узелок, сунулась в водомоину. Зачерпнула полные сапоги, увязла:
— Ой, утопну!
— Куда ж ты, бабка?! — Зорин протянул бестолковой старушке руку и вытащил её из хляби.

Она сокрушённо взмахнула узелком в сторону похилившегося деревянного крестика:
— Рукой подать, а не добраться! Тятя ешо держится, а мама под воду ушла. Утопленников-то скоко! Ладом в земле не упокоенные, всплывут тожно… Светопреставление!..

Чёрный ворох ворон, чёрные охапки хвороста в сплетении ветвей высоковольтных «елей». Глухая, замкнутая вода могильных вымоин — точно кровь мёртвая, ржавая из растёкшихся гробов. Будто напитанное этой водой — коричневое торфяное болотце с сахарно-зернистым припаем. Талый ветерок с болотца потянул в глубь затопшего мёртвого города. Сквозанул по дороге, донёс дымный лоскуток затухающего кострища.

Вздрогнуло сердце: а если могильщики порушили заброшенную материну могилу, сдёрнули с неё памятник?.. Размичканная глинистая дорога немного поднялась из низины, затвердела. По левую руку от неё в могильном затоплении уже виднелись подсохшие сугревки. Здесь природной порухи было меньше. Зато человечье зверство распинало, повалило стоячие плиты-памятники из мраморной крошки. Наверняка упражнялись мафиозные мастера восточных боевых искусств. Помпезные мавзолеи убитых «крёстных отцов» — из красного гранита с малахитовыми вазонами в виде бажовских каменных цветков — составляли мемориальный комплекс кладбища. Знаменательный туристический объект. Но он располагался наособицу, на следующей автобусной остановке. Чем не угодили мафиозной стае старички Прасоловы? Одна плита на двоих — повержена. Запотевший «иллюминатор» фотки в резиновом ободке. Прасоловы… Где-то рядом мать. Протёр рукавом треснувшее стёклышко. Слепились плечиками улыбчивые, молоденькие ещё, как голубки. Посилился приподнять плиту — и двоим не под силу. Ребристый след от кроссовка — потёкший, раздвоенный. Копыто. Сатанва!..

Вытащил из-под плиты сосновую ветку — ободранный хлыстик остался. Встрепенулась освобождённая сосенка, закачалась, едва успокоилась. Однобокая, кривенькая после каменного плена — но признал её. Она-то и была главной приметой. За ней — мать.

Будто десна от вырванного зуба. Вывороченная земля ещё сыра. Видать, уже готовили место для нового постояльца. За могилой — мусорная яма, дремуче заросшая дурниной в ошметьях паводка. С ямой возни много. Катю же посчитали беспризорной. Да и впрямь мать — брошенка.

Воткнул лопату в материнскую могилу — не бесхозная она, объявился приглядчик. Пошёл к кострищу: может, сохранился памятничек, хотя он уже и не пригодится… Мёртвые хватают живых! У самой дороги зацепился за что-то, упал на четвереньки. Короткие, в глине, «лапки», приваренные к клину. При волоке насобирали будылья, грязные ленты от венков, консервные банки. Хворостиной сбил хлам с клина. Блеснули жирные кривые буквы: «КАТЯ». С налипшей травой. Недавно писаны. Дал понять неизвестный доброхот могильщикам, что не бесхозная Катя, что под призором. Не помогло. Место хорошее, сухое. На очереди новый постоялец.

Загремел памятником, пересекая дорогу. Бросил у кострища. Седым пухом взметнулся пепел…

Небо, точно кукушечье крыло, в пестринах. Бросил мать сын лебеды. Бросил — она беспризорной лебедой и проросла.

Посёк толстые стволы пустырной травы; перелопатил корневые «авоськи» с земляными комьями, чтобы вновь не зажирела разбойница, не навалилась на обновлённую могилу Екатерины Александровны. Под высоковольтными «мачтами» нарезал бруски сыроватого, с живой пресниной, дёрна. В форме гробовой крышки выложил под могильную плиту основание.

И тётка не зря загадывала на него. Принялась со рвением ломать будылья на найденной могиле.

В кладбищенской конторке устало развалился на впалом засаленном диванчике цыганистый бабай, который дал Зорину лопату. Вычёсывая пятернёй мусор из окладистой бороды, он терпеливо выслушал попрёки насчёт кладбищенской порухи.
— Женчыну вчера убили… Серьги из ушей вырвали, палец с кольцом вырвали…

Тягостное наступило молчание. Не полая вешняя вода — болотная кислота человекоподобной нечисти травила и мёртвых, и живых. Окаменел Зорин — ощутил и свою вину за этот апокалипсис. Так окаменел, хоть самого клади вместо плиты на могилу матери.

Среди завалов нарезанного мрамора бородач подыскал Зорину по сходной цене бросовую плиту с отколовшимся углом. Всё скупил «мемориал» — цены на могильный камень взлетели баснословно. Голь на выдумку хитра — приспособились декорировать под мрамор жесть. Дёшево и сердито. Мёрли люди. Очередь на этот мрамор бедных росла. Но хлопот с ним не оберёшься: ржавые потёки, лупится краска — раз в год обязательно надо подкрашивать. Так что Зорину повезло.

Резчики усердствовали над изготовлением мавзолейных букв клички очередного убитого мафиози. Шаблоны из картона выкладывали неподалёку от зоринской плиты: «Люцифер». Копытный. Не

тот ли, что сбил надгробие старичков Прасоловых? Мастер с эскизом люциферовской эпитафии: «Погребён, но не умер!»—велел Зорину валить отсюда подальше. Вновь выручил бородач: помог на тачке свезти плиту на место. Резчика найти не удалось. Пришлось Зорину самому слесарным керном выдалбливать буквы и цифры на материнской надгробной плите. Кропотная работа! Все пальцы сбил. Ходил на кладбище как на службу. Шныряло, приглядывалось, принюхивалось к нему шакальё. В глине, в мраморной крошке—кому он нужен, дятел? Да лопата и молоток с ним—холодное оружие.

Каждодневная долбёжка изнуряла и вместе с тем отдавала мазохистской сладостью: избывала вина перед матерью.

Подсыхали могильные водомоины. Бородач с бригадой приводил порушенное в порядок.

Птахи угомонились по гнёздам. Тишина и оседлость. Все заняты делом—ни одной праздной травинки. Всякий подгон, сброд лиственный на цыпочки привстаёт, тянется. Голый осинник подёрнулся ситцевой зеленцой, запáх горько и молодо. Под тёмными елями тяжело умирал последний снег. Заканчивались для усопших чёрствые сны.

Талый вешний ветерок ласкал душу. Никогда ещё Зорину не было так покойно. В будничной суете разве ощутишь вместе с зазябшим вербником утренний приятный ознобец? Углядишь ли, как ершится хвойная ребятень?

Майский поскрипывает скворец, синица порскнула в робком тальничке… Кроткая трава-мурава на дорогой могиле. На дорогой… Горько и сладко думается среди погостивших у жизни… О маме, о дорогих сердцу Шипиловых, о старичках Прасоловых, о соседе матери—Геринге. В запущи могилка Рудольфа Францевича. Обычно у немцев могилы ухоженные. Что-то случилось… Повыбил ржавь конского щавеля у Геринга. Натерпелся, поди, при жизни мужик из-за своей фамилии. И теперь непорядок. Подсыпал землицы Рудольфу Францевичу, подправил холмик у облупившегося клина.

Под датами рождения и смерти Зориной Екатерины Александровны выбил листочек, схожий с сиреневым. Лист жизни. Чтобы жила о матери вечная память. Со счастливой слезой увиделась любимая Алка—скоро и она станет мамой.

Родительский день. Толповище на автобусной остановке. Точно весь город собрался на кладбище. Пошествовал в разношёрстной толпе—в основном из старушек с поминальными узелками, цветочками, с детскими грабельками и лопатками. Не выдержал тихого хода, обошёл растянувшееся на километр шествие. Пока поминальщики не заполонили кладбище, побыть бы с мамой наедине.

Взглянул на небо. Прежде летающая тарелка на башку бы села—не заметил бы в суетном гоне. Теперь же часто, подолгу и глубоко всматривался в небо. Словно вешние распары колыхались, струились. В благостном тепле легчало сердце. От небесного созерцания, от очищения души влажнели глаза.

Майская, с зеленцой у земли, лазурь. Если долго смотреть в неё, она становится темнее, глубже, бездоннее—чёрной: вот-вот высыплют звёзды. Это не свет из колодца. Это—надмирно…

Лазурь-бирюза… И откуда ни возьмись—обыкновенная, слабокрылая сорока. За ней другая боком пилит. Целая эскадрилья белобок…

После смерти в снах матушка ни в чём не упрекнула. Всё по-доброму, без обиды. А в эту последнюю перед отлётом ночь взяла за руку и потянула к себе, словно удерживала… Землю, постель её ворошил—побеспокоил. Что не так?.. Не взгрустнул сердечно?.. У афганцев, погребённых неподалёку, слеза накатила. За что погибли ребята?.. Политика настолько неприятна, насколько навязчива. Скорбь мировая да надмирная—пожалуйста. А обыкновенная, сыновняя… Мать за неделю и не помянул как следует. Заработался. Даже поддельный слёзный ком в горле не покатал. И про цветы забыл…

На соседних могилах пока никого. Все плетутся через ворота, а он дунул мимо торфяника. Скоро начнётся галдёж. Э-эх, уже начался!

—Вран их побери! Дошутоломился с имя́. Работу ворочал: ежели бревно где—сразу, как дурак, под комель лез…

Через три могилы у добротного клина из нержавейки, блистающей кругами шлифовки, бубнил постный, скучающий старикан. Зорин скорбно склонил голову над надгробной материнской плитой, согретой его руками, дыханием.

—Я и бутылёк первача припас. Появятся ли? У их всё на дармовщинку. А по мне, не дорого пито—дорого быто.

Зорин платком принялся тщательно протирать мрамор.

—А я, паря, прошёл Крым, рым и медные трубы! Сопляком здеся, на этом самом месте, телят пас. Теперь вот Марию свою поминаю.

Зорин в наклонке оглянулся: ударило в глаза чёрное хромовое солнце на голенищах сапог. Бравый ещё. Густо затабачил самосадом, прокуренно закашлялся:

—Ши… шибко!.. Кхе-кхе!.. Дух спёрся. Крепок, подлюшный!.. Вот ведь, весь помёт такой: старшой аж запрядает весь, как про машину услышит. Машину ему—ходить ребром, бабий шаркун! Оба вкусно жить хочут. Младшой уж котору шлюшонку поменял. Нонешняя—во-от та-акенная фэмына! Привёл на знакомство, а дух от её—как от парикмахерской…

Нос шиловидный, как у дятла. Долбит и долбит одно и то же: про сына—бабьего шаркуна, про машину…

—Отец, помолчи, а!

— Осторожне́й на поворотах! Ты-то теперь до турецкой Пасхи сюды не заглянешь…

Тонкий, злой потянул ветерок. Рать светло-пепельных туч надвинулась из-за ельника, точно давешние сороки-наводчицы привели их. Выждала, сгустилась грозовая рать и понеслась. Притемнилось утро. Небо прорвалось. Водяной шквал. Вздувшийся разом мир.

Зорин накинул на голову капюшон ветровки; на мягкий, мокрый уже дёрн опустился на колени. Слова?.. Приземлённые, неуместные среди возвышенных скорбных дум о жизни и смерти. Для чего?..

Белёсая стена ливня. Брызги, пыль дождевая над плитой. В ливневой мгле прокатился гром. Столб водяной поплыл туманом. Словно призрачный саван взреял в ожившем облаке…

Протяжённый гром ласково, прощально проворчал из бесплодной уже тучи. Лужи осветились небом. Всё мокро заблистало. Поток взбурлил в канаве, кроша прошлогоднюю ржавь конского щавеля и прочего придорожного сброда.

Глянул на часы: времени в обрез — через три часа самолёт.

— До свиданья, мать! Ты — дома, а я — в гостях. Могилку твою привёл в порядок. Теперь не затеряется. И на душе спокойнее. Не обессудь, коли что не так. Будем наведываться с Алей, с внучком или внучкой. Ну, пока!..

Сыпкую птичью трель взорвала медь оркестра. На сугревке у могильной оградки, обсаженной сиренью, копошился старый знакомец:

— Бегите, бегите, проворные ножки!

Зина пытался поставить «дочку», чтобы она побежала. Оглаживал куклу, одёргивал задравшееся засаленное платьице и наконец посадил её в фуражку на кучку мелочи. Зорин протянул ему пятирублёвик:

— За Екатерину помолись!

Тот истово щепотью вразброс перекрестился:

— Звать-то как, забыл.

Конопатая рука Зины в помидорных «икринках», его забывчивость и неряшливость вызвали у Зорина досаду. Ему казалось, что Зина — не просто нищий, а юродивый, блаженный, богоугодный. Он верил в его святость, верил, что молитва его дойдёт до матери. А он — Зина и обыкновенный побирушка. Иначе бы не забыл. Ничего не ответил ему Зорин и стал проталкиваться среди толпы к выходу.

— Вспомнил! Вспомнил! — услышал за спиной радостный голос Зины. — Жди!

Наконец-то дома! Бросил у порога спортивную сумку. Разминаясь, поиграл плечами и хотел было попрыгать — уж слишком занемело скукоженное в переполненном такси тело. И замер внезапно. В сумке — обхлюстанная ливнем одежда, в земле с могилы матери. С её атомами — с ней самой. Дух мамы… Соскребёт землицу в коробочку и будет хранить. Святая память…

Ласково пророкотал ключ в замочной скважине. Сердце сорвалось:

— Алка!

Бросился к ней, осыпал жаркими поцелуями. Встал перед ней, перед мадонной своей, на колени, распахнул плащ. Припал слухом к округлившемуся животу, слыша, ощущая слабые толчки.

— Это он пяточкой до тебя достучался, Серёженька, дождался папку, — ручьисто журчал голос Алевтины, его любимой Алки.

— О-он!.. — возликовал Зорин.

— Да, он — наш Серёженька!

— Алка, ты уже назвала?

— Да, теперь два Серёженьки у меня — любименьких!

Он обнимал её ноги, слушая и слушая своего сынульку. Она гладила, ласкала его волнистые волосы, роняя на них блескучие слёзы.

Никакой Рафаэль не смог бы живописать невыразимо прекрасный лик его Алки. Вроде ничего особенного — а не наглядишься! Тайна любви. Тайна красоты любви…

— Алка, моя Алка!.. — как бы не веря ещё в своё счастье, прошептал Зорин.

Так и не решился дотронуться до любимой ямочки на зоревой щеке, чтобы не вспугнуть летучий, улыбчивый сон… Тихо собрался на работу. Уже опаздывал. Что такое?.. Дверь открыл, а она не подаётся. Снаружи кто-то под ней улёгся. Мягкий — пёс-бичара, наверно. Наддал плечом, высунул голову в щель. Не пёс — старик на вате дверь сторожил. От толчка заворочался и вскинул на Зорина козье личико, зазябшее, заросшее щетиной-сорняком. Сведённый рот его с побирушными заедами выдавил:

— Сыно-ок!..

Зорин ещё наддал на дверь и, перешагнув через бомжа, захлопнул её. Богодул вцепился в его ногу и прижался к ней щекой:

— Сынок! Серёженька!..

Зорин с трудом выдернул ногу из объятий старика. Бездомная головушка шарлатанит. Вызнал имя и давит на жалость. А может, папаня?.. Не он ли малевал буквы на памятнике? Да этот сморчок и окурок не поднимет, не то что кисть с краской. Вцепился, однако… Другой город, не ближний свет. Да им, бродяжкам, расстояния нипочём. И Зина что-то каркал. Каркуша…

Блистательным кейсом Зорин с силой отпихнул нищеброда, цепляющегося за полы белоснежного плаща. Сбежал по лестнице и крылато, в распахнутом плаще, вылетел из подъезда. Перехватил частника, и тот, красуясь в своей «Короне», будто распластал её в «сверхзвуке».

Однако на проспекте скорость упала до шажков клячи—пиковая пробка! Мало-помалу дорожная «гусеница» расшевелилась, и машина покатила мимо ж/д вокзала. Рукой подать до «Электрона». И тут Зорин застыл от изумления: по вокзальной лестнице в торопливой толпе сгорбленно поднимался—давешний уксус, сторожививший его дверь. Скорый малый! «Сверхзвуковой» лимузин обогнал. Удалец! Даже не верится. Но это был, несомненно, он! Выгоревший, в прожжёной фуфайке, в подсученных штанах, в сбитых, стоптанных башмаках. И всё—в белых крапинах. В краске?!.. Это Зорин в полумраке лестничной площадки не заметил. «Маляр» обернулся, будто почувствовал изумлённый взгляд. Глянул боком, точно гусь; загладил жидкие волосы на залысину и потащился к вокзальной двери.

Сунув водителю «чирик», Зорин выскочил из машины. Лавируя среди чадного разномастного автостада, ринулся к вокзалу.

Успел заскочить в поезд, который тотчас тронулся. Запалённый, пошёл по вагонам…

ДиН симметрия

Андрей Платонов

Познаны нами тайны вселенной

Судьба

В звёздной безутешной смертной тишине
После ветра, после птицы мы родились на земле…
Чуть в неуловимой тихой вышине
Радуется—стонет песня на селе.

Вечность мы обнимем вечером рукою,
Девушку испуганную, утреннюю тень.
Выйдет солнце громкое над большой рекою,
Никогда не смеркнется наш великий день.

Музыка на празднике гибелью гремит:
Кинулись товарищи в улицы на бой.
Далеко, за гибелью, спасение летит
С пополам разрубленной, конченной судьбой.

1920–1921

Путь в горы

Поля бурьяном зарастали,
И зверь по чащам ликовал.
А мы пришли—зубцами стали
Плуг рвы и степи запахал.

Живое солнце в красных жилах
Дробило землю на куски,
Отцы ворочались в могилах,
Колосья вспухли, как соски.

Мир раскалённый был враждебен,
Спала машина в недрах руд.
Но человек родился гневен—
Его путь в горы долог, крут.

1918–1921

● ● ●

Познаны нами тайны вселенной,
В душах тревога молчит.
Мы осушили небесные бездны,
Солнце слова говорит.

Полон восторга пламенный город—
Люди, машины, цветы…
Каждый сегодня богом быть может,
Солнце над каждым горит.

Медный гудок заревел над планетой,
Пространства, подъёмы нас ждут.
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звёзды звенят и поют.

Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.
Как песком, мы мирами играем,
Песню мы слышим тихой звезды.

1918–1921

● ● ●

Мы пройдём тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы—любовь, мы—мысль вселенной,
Звёзд зовущих странник пленный.

Мы идём в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождётся часа светлого,
Будто песнь, никем не спетая.

1918–1921

Виктория Соловьёва

Под солнцем у пыльной дороги...

Листопад

Он—собиратель дождя и снега,
А нынче выдался листопад!
Летели листики в небо, с неба—
Цветные тучи его левад.
Вот этот, красный, листок осины—
Излом улыбки—блестит атлас!
А тот, зелёный до половины,—
Миндаль таких невозможных глаз!
Портрет составит, потом размоет—
Игра, да толку-то в ней—пустяк!
Но почему-то он вновь разводит
Тон акварели. Да что ж не так?..
На распростёртые крыши льётся
Осенний—серый, безмолвный сплин.
В бульварной—пиво, под песни Отса,
А он—потомственный дворянин,
По совместительству вольный дворник,—
Своей метлой изменяет мир.
И ворох тлеет, и ветер гонит
За тучей тучу на материк.

Закатное

Медовый жёлто-огненный оттенок
Дороги, ускользающей в низину,
Бежит от бронзовеющих полей,
А группка почерневших тополей,
Смотрящих в небо,—подражая клину,
Пытается взлететь опасным креном.
И горизонт—как первая лыжня:
То пропадает, то косицей вьётся...
А где-то в Амстердаме светит солнце
Большое—не закроет пятерня...
Как масло томно капает с блина—
Течёт закат, слегка загустевая
В рябиновой начинке сентября.
И выпито вино, верней—вина,
Под колокол святого Грустевая.
Уходит солнце красное, спеша...
Я не держу, я—хлебная душа.
Сижу, рогалик лунный обнимая.

Пусть говорят

Пусть говорят: какая глухомань!
А я туда, как на источник, еду,
Там дед меня с прутом искал к обеду,
А в банный день меня хоть вновь аркань.

К тебе теперь я еду на денёк,
Где пряталась в таких огромных травах,
Чтобы узнать знакомый вкус и запах
И надкусить осоки стебелёк.

Уйти за ароматом трав в закат,
Дойти до места, где дорога в гору,
И не найти, как прежде, мандрагору,
В беспамятстве бродить, бродить, искать.

За что люблю я эту глухомань—
За тишину и память, где всё свято.
И только речка стала мелковата—
Лишь голову макнуть, как в иордань.

Измяла травину осоки...

Измяла травину осоки—
Шершавый язык-стебелёк.
Под солнцем у пыльной дороги
Поблёк голубой мотылёк.

Купальницы нежное платье
Сухие ветра теребят...
Той гордой, особенной статью
Берёзы встречают тебя.

На ветках качели устроим—
Как в детстве мы были легки!
Заспорим, и эхо в повторе
Встревожит одни лопухи.

Берёзки светлы и пригожи!
Вьют косы—их сто под платком!
Зачем-то считаешь, итожишь...
Считаешь,
Итожишь...
Итожишь...
И на спор идёшь босиком...

Пугливая птица

Ему теперь уже больше не снились ни бури,
ни женщины, ни великие события,
ни огромные рыбы, ни драки,
ни состязания в силе, ни жена.
Э. Хэмингуэй. Старик и море

Мне больше не снятся ни салки, ни прятки,
Ни ссоры не мучают сон, ни обиды.
Во сне произносятся тихие клятвы—
Приходят блаженные сны, как молитвы.

Их ночи приносят с распевами сосен,
Рыжеющих, звонких, поющих о ветре.
Вдыхаешь, вздыхаешь над пропастью в осень.
И дальше идёшь по наитию, в метре…

Пугливая птица, зацвиркает: «Сон…Сой…»
Шепнёшь осторожно: «Да ладно, сердечко!
Ты здесь не случайно, по прихоти сонной,
Ну что ж, проводи до стремнины у речки».

С охоты вернувшись, похожую птаху
Мне бросил отец: «Ощипай-ка на ужин».
Я знаю, под перьями—рябушки страха,
И в сердце творожился инеем ужас.

В ладонь умещался скелетик пичуги,
И слёзы текли по щекам, не стихая.
Душа обретала подобье кольчуги,
Я стала—другая.

Давно мне не снятся ни люди, ни страсти,
А птица нет-нет да вспорхнёт ненароком.
У каждой своё золотистое «здравствуй».
Лети, моё сердце! Лети, черноока!

Опять просыпаюсь под шум говорливых—
Ведь сердце давно в их раю голубином.
Здесь словно бы маслом поспевшей оливы
Полощут гортани. И пробуют ви́на…

Назову твоим именем

У букета названия нет, но
В этой кипени что-то от воли…
Назову твоим именем поле,
Назову своим именем—лето.

Где ты, Лето?—летит в разговоре.
Поле! Боже, прости сумасбродку!
Назову твоим именем лодку,
Назову своим именем—море.

Небо гладит рукою рогожку,
Рожью пахнут лучины из стога.
Назову твоим именем—Бога,
А своим—мир, размером с ладошку…

Твой букет стал короной с улиткой,
Испеклась золотая картошка…
Я тебя называю хорошим,
Ты меня называешь—улыбкой.

Давай с тобой построим дом…

Давай с тобой построим дом,
В нём будут жить твои мечты,
И будет место для четы
Печных сверчков, за камельком.

Я буду ткать свои ковры.
В рисунок хитрых завитков
Цветы вплетаются легко
Под песни бабушки Зухры.

Натрём крупнее толокна
И позовём на свой карниз
Сыграть изысканный каприз
Стрижа с соседнего окна.

И каждый вечер будет тих.
Я так люблю, когда жара
Уходит молча со двора
Под запах спелых облепих.

Дудук у дедушки Мито
Затихнет где-то в облаках.
Я счастье прячу в кулаках.
Давай с тобой построим дом.

Город

Я ли свой не знаю город?
А. Кушнер. Сон

Я ли свой не знаю город?
Вот район, где я росла,—
раньше было много горок,
но давно сожгли дотла…

Вот район, где я влюбилась,—
что ни камень, то маршрут.
Шёл на память «Наутилус»,
был в почёте Абсолют.

Вот район, где вышла замуж.
Тоже вроде высота.
Кашу делаю с сезамом,
дети ходят в полсыта́…

Перестройка, перестройка—
перегоре, перестрах.
Разрастался только бойко
голод в голых городах…

Так, вернусь к своим районам…
Кладбище слоится вширь.
Здесь разгул седым воронам,
но не видно ни души.

Город, скольких ты запутал,
скольких вывел на большак?
Тут следы по первопутку,
что гранитные, молчат.

Рашит Закиров

Летите к Енисею…

Об отце

Да, я стар. Ну и что ж?..
На отца я похож.
Очень часто тот день вспоминаю,
Как его хоронил
Среди старых могил
В День Победы, девятого мая.

Из простой он семьи,
И со школьной скамьи
Он ушёл воевать в сорок третьем.
В штыковую ходил,
Пару танков подбил,
Ничего не боялся на свете.

Был отважен и смел,
Фрица брал на прицел
Под Потсдамом, Берлином и Прагой.
Он в боях уцелел
И награды имел:
Пять медалей, а две — «За отвагу».

Позже в зоне сидел,
Где царил беспредел.
Сталин умер — он освободился
И вернулся домой
С молодою женой,
Через год у них мальчик родился.

Он меня воспитал,
Постоянно внушал:
В жизни надо чего-то добиться.
То — заслуга отца:
Заставлял сорванца
Хорошо и прилежно учиться.

Тридцать лет его нет…
Я и сам уже дед,
И милей мне и жизни дороже
Не жена, не друзья,
Это — внучка моя,
Что немного на деда похожа.

Мы хороним детей
И отцов, матерей,
В жизни всякое горе бывает.
Хлебом, водкой я сыт
И рыдаю навзрыд —
Мне так часто отца не хватает.

Минное поле

Снился мне сон в позапрошлом году,
Будто по минному полю иду.
Много лежит здесь растерзанных тел
Возле воронок, на них я глядел,
Медленно шёл, про себя повторял:
«Где-то ведь здесь я друзей потерял».
Каждого ждал под землёй свой заряд,
«Suum cuique»[1], — ведь так говорят.
Кто-то прошёл, не задев этих мин,
Это из тысячи мог быть один.
Кто-то лишился ноги, кто-то рук,
Но в основном только трупы вокруг.
Что меня ждёт в этом месте сейчас?..
Может, «растяжка», а может, фугас…
Взрывом по полю развеет мой дух,
Может, ноги́ я лишусь или двух,
Буду лежать средь истерзанных тел,
Красный от крови и бледный как мел.
То, что живой, буду крепко жалеть,
Спичкой сгореть всё же лучше, чем тлеть,
Заживо гнить, свою долю кляня:
«Ну почему не убило меня?!»
Я, как по минам, по жизни иду:
Там пронесёт, мину здесь обойду,
Где-то заметит «растяжку» мой глаз…
Но и сапёр ошибается раз.
Мне каково мины все обойти?
Жизнь заставляет на ощупь идти,
Тут подорваться способен и танк.
Как же дойти, если я — дилетант?
Вдруг повезёт — и дойду до конца…
Может, достанется участь отца…
Он наступил — и сработал запал.
«Jedem das Seine»[2], — так немец сказал.
Вот позади третья четверть пути.
Стоит ли дальше по минам идти?..
Я ведь не мёртвый, пока я — жилец,
Но ведь за полем и жизни — конец!

1. «Каждому своё» *(лат.)*.
2. «Каждому своё» *(нем.)*.

Солоуха

Ты покажи мне, кто здесь жил,
А после родину забыл,
Ему скажу я: «Ёшкин кот, едрёна муха,
Родных совсем не помнишь мест,
Здесь раньше Бельский был уезд,
И есть село с блатным названьем Солоуха».

Стоит на берегу крутом,
Был в том селе мой отчий дом,
Отсюда дед мой на германский фронт призвался.
И детство тут моё прошло,
На речке Белой делал плот,
Ловил ершей, ельцов и голышом купался.

«Ещё Столыпин был живой,—
Мне дед рассказывал родной,—
Когда соловый конь в болото провалился.
Лишь только ухи над водой[3]
Остались в памяти людской.
Тут мать жила твоя и батя твой родился».

«Шесть взяток есть—играй шесть пик»,—
Учил меня картёжник Шпик,
Он до сих пор ещё в деревне проживает.
Он много знал и всё умел,
Теперь, конечно, постарел
И в преферанс ни с кем в деревне не играет.

Вот по селу шагаю я.
А где подруги? Где друзья?
Из подворотни пёс вослед беззлобно лает.
Домов осталось меньше ста,
Скончался детства друг Хата́,
Лишь только брат Миннуш радушно принимает.

Бурьяном поле заросло,
И деда дом сгорел давно.
Кого любил—того уж нет, а те далече.
Стоит баран, траву жуёт,
Никто меня не узнаёт,
Не слышу больше тут родной татарской речи.

Красотке

Презрев богатство, звон монет,
Поэты, от души творите,
Поэму, стих или сонет
Любимой даме подарите.

Воспойте в лирике хоть раз
Свою любимую зазнобу.
Красотки радуют наш глаз,
А эта радует мне оба.

Лунный цветок

На софе я лежал
и глядел в потолок.
Задремав, увидал
дивный лунный цветок.
Ароматом своим
тот цветок опьянил,
Красотою своей
он меня соблазнил.
Моё тело пронзил
электрический ток,
Одурманил меня
ароматный цветок.
Я стою перед ним,
а цветок так манит,
Как железа кусок—
очень мощный магнит.
Ведь цветок не земной,
он цветёт на Луне;
Я готов был на всё,
чтоб достался он мне.
Застучало в груди,
как об рельс молоток.
Захотелось сорвать
этот чудо-цветок.
Я ведь в сказках читал
про такие цветы.
А кому рассказать?
Засмеют же кенты:
Мол, дурак ты, Рашит,
те цветы не для нас
И не наш, а чужой
они радуют глаз.
В лихорадке дрожу,
как осенний листок:
Будет только моим
чудный лунный цветок.
Потянулся рукой—
и цветок стал моим;
Может, миг, может, час
наслаждался я им.
Но вмешался опять
то ли чёрт, то ли бес:
Мой любимый цветок
вдруг внезапно исчез.
Я смотрел в потолок.
Было лето. Июль.
В мыслях—Лунный Цветок,
по-татарски—Айгюль.

3. Согласно местной легенде, название села произошло от слов «соловый» и «ухи».

Твоя звезда

Гляжу на небо, там одна звезда
Мерцает еле видно тусклым светом.
И кажется порою мне тогда,
Что я совсем один на этом свете.

Когда родится новый человек,
Ему звезду на небе зажигают.
И было так всегда, из века в век,
Но на Земле не все об этом знают.

Она когда-то скатится с небес,
На миг сверкнув, в ночном исчезнет мраке.
А рано утром ангел или бес
Одну звезду не досчитает в Раке.

И новая звезда сверкнёт в Весах,
А может быть, в созвездии Цефея.
Зажжёт тебе, малыш, на небесах
Её к рожденью сказочная фея.

О Господи! Хочу я знать ответ:
Что в этой жизни может быть ужасней,
Чем этот миг, когда среди планет
Во тьме ночной твоя звезда погаснет?

Анне С.

Ей стих не посвятить нельзя,
Скажу вам честно, без обиды,
Она прекраснее, друзья,
Чем жрица храма Артемиды.

Я вовсе потерял покой,
Клянусь отцовою могилой.
Она пройдёт, махнув рукой
И обласкав улыбкой милой.

При встрече чушь ей говорю,
Боюсь сказать любви признанье,
Ведь я её боготворю,
Мою Анюту, Анну, Аню.

Быть рядом с ней — моя мечта,
Меня влечёт к ней как магнитом,
Невольно тянутся уста
К румяным девичьим ланитам.

Мечтаю губы приложить
К упругим персям юной девы,
Её любить и ей служить,
Как верный рыцарь королевы.

За околицей

Снег искрится в лунном свете,
В лёд укуталась река,
В небе чёрт летит в комете,
Проплывают облака.

Приказать я им не смею,
Это ветра ведь рабы:
Мол, летите к Енисею,
К заповеднику «Столбы».

Может, кто-то ожидает
Там от милого привет,
У окна грустит, страдает,
Может, плачет… может, нет.

Ветер след мой заметает,
Под ногами снег хрустит,
Вдалеке собака лает,
В хате девушка грустит.

Рядом бык шуршит соломой,
Где-то брякнуло ведро,
И звучит мотив знакомый —
Кто-то крутит «Болеро».

Говорила мать

Говорила когда-то мне мать:
«Ты полюбишь и будешь страдать,
Находясь от любимой вдали,
Как Юпитер далёк от Земли.

И однажды ты встретишься с ней
В тех краях, где течёт Енисей,
Чтоб сидеть вместе с ней vis-à-vis[4]
И шептать ей слова о любви.

Да, она миловидна, добра,
Для неё это просто игра.
Всё однажды исчезнет, улым[5],
Словно с яблонь весной белый дым.

И останешься ты в дураках,
Ведь её дом родной — в облаках.
Не дотянешься ты до небес,
Она — ангел, а ты, улым, — бес.

Бесу — бесово, ты не ропщи,
Ты попал словно курица в щи.
Как сказал бы француз, c'est la vie[6].
Силы нет, что сильнее любви».

4. Визави — сидящий напротив *(фр.)*.
5. Сынок *(тат.)*.
6. Селяви — такова жизнь *(фр.)*.

Внучка

Давно я живу со старухой одной,
Была жизнь унылой и скучной,
Но вдруг повернулась иной стороной,
Когда родилась моя внучка.

Впервые в роддоме примерно в обед
К груди я прижал это чудо.
Сынок мне сказал: «Поздравляю, ты—дед!»
Тот день я теперь не забуду.

Из детского сада с Миланой иду,
В ладони держу её ручку.
Свожу на качели и в парк отведу
Свою драгоценную внучку.

Когда на прогулке она, каждый раз
За нею шагаю я следом,
С неё ни на миг не спускаю я глаз,
Нет стража надёжнее деда.

И если когда-нибудь в гости придёт
Любимая внучка Милана,
В моём холодильнике грушу найдёт,
Арбуз, мандарины, бананы.

Теперь я лелею одну лишь мечту—
Была бы счастливой Милана.
Когда подрастёт, я ей сказку прочту
Про дружбу Козла и Барана.

Три года уже ей, она мне теперь
Дороже, чем сын или дочка.
Скажу откровенно, читатель, поверь:
Люблю свою внучку—и точка!

Memento mori

Сказали предки:
«Memento mori»,—
Будь ты на суше,
будь ты хоть в море,
Письмо получишь
ты с меткой чёрной
Или от Бога,
или от чёрта.
И эта метка
не разбирает,
Кто мал, кто старый,—
все умирают.
Прочтёт молитву
мулла в мечети,
И нет тебя уж
на этом свете.
Ты в мир загробный
уйдёшь к Аллаху,
В земле оставив
лишь горстку праха.
Тебя потомки
забудут вскоре.
И кто им скажет:
«Memento mori»?

ДиН симметрия

Алексей Маширов-Самобытник

Свидание

Всё горячей и сокровенней
Свиданья солнечная цель,
А дождик ласковый, весенний
Кропит походную шинель.

В домах отвóренные окна,
Толпится весело народ.
А радость светлые волокна
Мне в сердце ткёт: она придёт…

О, неужель в размолвке странной
Мы разойдёмся, как враги?..
Звучат, звучат во мгле туманной
Её знакомые шаги.

По лужам дождь запрыгал шибко,
Качнулись тополей листы.
Как светлый луч твоя улыбка,
В руках прощальные цветы.

Как хорошо родимым взглядом
Рассеять сумрак впереди…
А утром боевым отрядом
Шагать с надеждою в груди.

И на полях грозы военной,
За волю проливая кровь,
Хранить в душе, как дар бесценный,
Твою улыбку и любовь.

1921

Виктория Сигеева

Навстречу солнцу

Навстречу солнцу

Солнечный луч простирается вдаль,
Я по нему побегу без печали.
Люди остались внизу, и так жаль
Мне их сердца, что любовь растеряли.

Луч ослепляет, подошвы мне жжёт,
Но я в ответ рассмеюсь, вскинув крылья.
Здравствуй, светило! А мир подождёт,
В вечных заботах слоняясь уныло.

Кто же я? Гостья с далёкой звезды?
Ангел ли? Тень? Серебристая птица?
Вдруг замечаю свои же следы.
Нет человеку здесь шанса забыться,

И не достанет мне сил одолеть
Солнечный путь, что сияет безбрежно…
Что ж, возвращаюсь я к людям гореть,
Ведь умирает последней надежда.

● ● ●

Тяжек мой путь по тропе непроторенной!
А впереди девятнадцатый шаг.
Жизнь изучаю усердно в теории,
Вновь закопавшись средь книг и бумаг.

Образ, однако, в мои мысли въедливый,
Грезится мне наяву и во снах:
Юноша-солнце с улыбкой приветливой,
С целой Вселенной в зелёных глазах.

Перекрёсток

Перекрёсток жизни предо мной:
В важной точке здесь сошлись дороги.
Суждено пока идти одной,
О земную твердь сбивая ноги.

Взглядом я оцениваю даль:
Только б верно выбрать направленье,
На большую выйти магистраль
И не останавливать движенье.

Пусть моя счастливая звезда
Жить научит радостно и жадно
И любовь, пройдя через года,
Мне послужит нитью Ариадны.

● ● ●

К. К.

Холодный, как утро в дожди и туманы,
Спокойный, как берег Атлантики в штиль,
Играющий сотни ролей клоунады,
Скрывающий в сердце горящий фитиль,

Актёр, что живёт лишь на собственной сцене,—
Какая планета явила на свет
Тебя, неразгаданный и драгоценный,
Тебя, математик, философ, поэт?..

Тишина осенняя

Тихий-тихий дождь.
Тихий шум по стёклам.
Пробирает дрожь:
Рукава намокли.

Тихие шаги
По осенним листьям.
Времени круги—
Много тихих мыслей.

Тихо кошка спит,
Прячась в нише дома.
Мне же—в дождь идти.
Ждёт меня знакомый.

Знаю, что он ждёт
В том конце дороги.
Он раскроет зонт—
И конец тревоге.

Сердце-костерок,
Разговор глазами.
Тихий ветерок
Плещет волосами.

Две шагнут души
В осени завесу.
Под дождём в тиши—
Лирик с Поэтессой.

• • •

Полосы чёрные, полосы белые…
Жизнь моя—словно костюм, монохромная.
Шляпа в углу покрывается временем,
И моя сущность—как будто бездомная.

Где же ты, милая аудитория?
Вылечи душу мне аплодисментами.
Разве мои не прекрасны истории,
Переплетённые нотными лентами?

Снова внезапно приходит бессонница.
Грустный, как клоун, брожу неприкаянно.
Тысяча слов мимолётно проносится,
Лью на бумагу я мысли раскаянно:

Возраст украсит, таланты отточатся,
Больше не будут овации мнимыми.
Это ли грех, что всегда людям хочется
Сердце дарить и самим быть любимыми?

Пред царицей судеб

Преклони предо мною колено,
Чашу выпей до дна,
Пусть не дрогнет рука;
Стань могучим, всесильным, нетленным,
Ты отныне мой страж,
Светлый, словно витраж.
Стань же тенью неприкосновенной,
Песнью ветра в горах,
Убивающей страх;
Улови голос этой Вселенной,
Вознесись в вышину,
Озари собой мглу…
Человечество несовершенно,
Но храни до седин
Его, мой паладин…
Преклони ж предо мною колено…

• • •

Цвет юности настал…
Словами жгучими
Ты с душами играл
Самоуверенно.
Не растеряй себя
В толпе невдумчивой,
Свой жар легко даря
Знакомым временным.

Дорогу ищущий
По миру бренному
И страстно жаждущий
Найти признание…
Пусть хватит мужества
Бродяге смелому,
И пусть все сбудутся
Твои мечтания.

Не притворяйтесь!

Не притворяйтесь: станет проще жить,
Ясней смотреть, свободнее дышать.
Не притворяйтесь: так легко забыть,
Что миру мы должны принадлежать.

Не притворяйтесь: лжива вся молва,
Что с ваших уст слетает каждый час.
Не притворяйтесь: ваши же слова,
Вернувшись бумерангом, ранят вас.

Не притворяйтесь: это не к лицу
Прекрасным душам, с поводом и без.
Не притворяйтесь: роль придёт к концу.
Нам хватит в жизни полоумных пьес.

Не притворяться—слишком тяжело?
Отклейте маску от лица за ней.
Нам отравляет всё одно лишь зло:
Мы распрощались с верою в людей.

Скиталец

Я прибыл домой из столетнего сна,
Прямо из пекла войны.
Я видел себя с кинжалом в руках,
Словно со стороны.

Лишь я был живой—посреди мертвецов,
Тех, кто под гнев мой попал.
Остался один—без друзей, без врагов…
И—жажду жить потерял.

Меня не сразили ни стрелы, ни мор—
И всё же я был побеждён.
Сражён одиночеством. Мне приговор—
Броситься в омут времён.

«Ошибка судьбы,—размышляю в ответ,—
Я в этом не виноват.
Хотел в этой жизни оставить свой след,
С честью вернуться назад.

Была ль это явь, или всё было сном?
Скажут ли мне это вслух?»
Скиталец, скрываю в тумане ночном
Свой утомлённый дух.

Московские грозы

Чёрные стены расцветятся белым,
Сон беспокойный на лицах.
Горизонтальная в сумрачном небе
Молнии ветвь зазмеится…

Город очнётся, разбуженный треском,
Небо осветят зарницы.
Мокрый бродяга промолвит веско:
«Вновь Божья кара в столице…»

Перезагрузка

Обрывки переписки, голоса,
Людская масса, образы, движенье,
Желанья, планы, песни и глаза—
В мозгу моём больное мельтешенье.

Я слишком впечатлителен порой—
Моё существование ужасно.
Иду ко сну с варёной головой,
Мечтая утром снова мыслить ясно.

Но этот информационный бред
С рассветом лезет мне обратно в разум.
Что было в радость—лишь приносит вред.
Ты дышишь миром, как угарным газом.

Пока во мне ничто не взорвалось
И я не заработал ум моллюска,
Поправлю на природе свою ось:
Мне жизненно нужна перезагрузка!

Метро

Распахнулись две створки прозрачные,
Дуновение ветра—не ново.
Подземелья раскинулись мрачные—
Лабиринты метро городского.

Грохот, гул и людское скопление—
Все пусты и безрадостны лица.
Прислонившись к щиту с объявлением,
Чутко ждёт юный самоубийца.

Он уйдёт под всеобщим вниманием,
Наконец-то расстанется с телом.
Так назойливо воспоминание:
Буквы «выхода нет» в чёрно-белом…

И, сражаясь со внутренним голосом,
Он забыл про товарищей, близких
И к летящему ринулся поезду,
Встретив взглядом глаза машиниста.

И за миллисекунды мгновения
Парня мысль пронзила: «Не надо!!!»
Опустилась без сил на колени я,
Прошептав ему: «Выход… был рядом…»

Апокалипсис

Стёрлись все грани, слова износились,
Рушится всё, к чему долго стремились.
Жизненной пьесы так близок финал—
Черти устали вершить карнавал…

Солнце взойдёт, небо поголубеет
И человечеством новым заменит
Всех, кто живёт на планете сейчас,
Не сохранив даже память о нас…

Полночь

Полночь, полночь, подари мне море—
Каждый блик и каждую волну.
Пусть вода моё уносит горе
В эту сине-сумрачную мглу.

Подари мне бездну неба, полночь,
Миллион мерцающих огней—
Цепи звёзд, божественную помощь,
Чтобы в сердце свет горел сильней.

Подари мне, полночь, это время!
Миг, когда весь мир открыт мечте…
И замру я, благодарно внемля
Всей твоей волшебной красоте.

Воспоминание

Прозрачный дивный зимний парк,
Деревья в белом инее.
В снегу начертанные два
Коротких звучных имени…

Следы пусть наши замело
Метелицей январскою,
Сердца двоих в судьбу свело
Прекрасной зимней сказкою.

Шизофрения

Словно в грязном каземате
Для потерянных умов,
Я сижу в своей палате:
На дверях—глухой засов.

И в ушах как будто вата,
И замедленно дышу,
И по кафельным квадратам
Тихо пальцами вожу.

Возжелал я стать распятым,
Чтоб в известности почить,
Но от белых всех халатов
Слышал приговор: «Лечить!»

Я уже давно не буйный,
И печали—ни следа.
Скоро ночью полнолунной
Я покину навсегда

Ненавистную палату
И бессмысленный ход дней
В сладко-вязком аромате
Шизофре́нии моей…

Ностальгия

Не возвратить красавиц в бальных платьях,
Былых эпох и декаданса блеск.
По кругу ходим в страхах и несчастьях,
Так часто слыша чуждых судеб треск.

Мы вечно убегаем от дурного
В стремленье откреститься и забыть,
И хватит ли нам сил принять, что ново,
И безболезненно по жизни плыть?

Пусть мир порой уж слишком современен
И мы лишь выживаем, не живём,—
С любимыми нам каждый миг бесценен,
И каждой встречи мы с волненьем ждём.

Пусть мы принадлежим ушедшей эре,
Пусть въелось в душу эхо старины—
Всегда найдётся в сердце место вере,
Что в новом дне счастливей станем мы!

* * *

Тьма легла на каменные стены,
Ночь накрыла город с головою.
Мысленно проматываю сцены
Прошлых дней и чувствую: завою,

Точно волк в тоске о новом лете,
Проревусь—и станет всё не важно.
Может, только выдаст на рассвете
На подушке островочек влажный.

Эх, здоровье, правда, поберечь бы…
Будет день—и снова нам на битву
С жизнью… Но порой мы так беспечны…
Прошепчу за нас, людей, молитву…

И, Бог даст, минует завтра лихо,
Боль остынет, нервы станут крепче,
А пока что в ночь поплачу тихо,
Чтобы стало хоть немного легче.

Зимняя сказка

С неба, танцуя, спустилась метель,
Судьбы бессонные в ночь погружая,
А в зимнем парке лишь Ангел да Эльф—
Искорки звёзд в фонарях зажигают.

Ангел запел колыбельную песнь
Улицам, зданиям и горожанам—
Дарит надежду на добрую весть,
Чтоб залечить след душевных пожаров.

Эльф улыбнулся и молча кивнул,
Выдул на флейте семь нот сновидений,
И городок безмятежно уснул,
Канули боли, обиды, сомненья…

Утро настанет, погаснут огни,
Кончатся грёзы, красивы и ярки.
К ночи окажутся снова они—
Ангел и Эльф—в зимнем сумрачном парке.

Буревестник

Он похож на буревестника,
Он похож на птицу вольную.
Провожая ночь бессонную,
Он не встретит сотрапезника.

Тропы новые во времени
Он проложит в одиночестве,
Как в неведомом пророчестве,
Как вожак без стаи-племени.

Но дороги настоящие
Все по облакам протоптаны,
И мечты из моря сотканы—
Синевы тона звенящие…

Поиски души-ровесника…
Но найдёт ли он достойную?
Он похож на птицу вольную,
Он похож на буревестника.

Наталья Каулина

На следующей остановке

• • •

Ты высоту наберёшь
и скорость
и выйдешь за край
из чужих широт.
В такую глухую, глухую пору
ни скрипка, ни скрип не врёт.
И вот уже времени —
и в помине
в памяти нет его, но постой,
какие пустые, пустые мили
неодолимы, как дым густой.
И ты принимаешь его на веру,
и давят сны, словно
снежный ком.
Холодный свет разольёт
по венам
своё несбывшееся молоко.
«Я парю
над всем,
что жило
со мною…»

• • •

Лишь на пятом балконе
затихнет звук —
снова слышен дорожек
кремнистый ряд.
Здесь о прошлом не говорят
и здесь будущее не зовут.
Лишь на пятом смолкнет
последний звук,
вздрогнешь, словно
в немом такси,
не дежавю, так хоть
ми-соль-си,
дайте вспомнить, что я живу.
Здесь, у дома, по осени
писем ждут,
разводят костры, но слов
не сжигают зря,
и о будущем — до утра говорят,
не зная, что так поют.

• • •

Осталось фото. И рюкзак.
И шарф.
В краю стрекозок
и лесов осинных
следы от взглядов
бархатных и синих
запомнили травинки и душа.
И ты становишься бедой
с одним крылом,
навек одной неправильной
частицей
и, сердцем не переставая
биться,
во мне звучишь,
пульсируя светло
и утешая: «Время не болит.
Оно — кораблик,
пущенный однажды.
Настанет дождь, и пароход
бумажный
причалит к храму
на краю земли».

• • •

Странное лето — такого
ещё не бывало.
Ты так и будишь меня,
не уснувшую
толком.
А в переулках настигнет
небес покрывало
того, кто окажется тихим,
послушным
ребёнком.
Но — пока мы меняемся
жухлыми письмами,
по вечерам разносится
голос твой звонкий,
цифры сменяются числами,
буквы — бессмыслицей.
Нам выходить
на следующей остановке.

● ● ●

Из рифм сплетая
дымное кольцо,
туман уходит, превращаясь
в Рим,
распахнутый, как Божие лицо,
с высоким лбом
и куполом над ним.
Слова уходят—
мы не побежим,
и с Капитолия—
не камнем вниз.
Расчерченный тенями
купол смотрит ввысь,
и в нём слова—
и там не тесно им.

● ● ●

А снег исчезает… по весенней
(и детской) моде.
Его не удержишь, словно твой
хрупкий смех.
И—не надеясь ещё на один
успех,
мой маленький человек,—
снег уходит.
Как луна, застрявшая в ветках
будней,
одиноко включаются фонари.
Снег живёт теперь
у тебя внутри.
И, пока ты спишь,
ты его забудешь.

● ● ●

Бледный юноша
с Ричардом Бахом
женщине в метро уступил
место,
постоял пять минут и вышел,
а наверху зеленеют крыши…
Он не знает, что ему
причиняет
боль—да ведь это ножик
карманный.
Он постоял пять минут,
сочиняя
минутный стих, но в тумане
что-то важное ещё искрится:
у природы после болезни
кризис.
Он не зря, значит, отстоял
две мессы.
И от радости он преодолел
забор
одним махом.

● ● ●

Мне снилось: в белом они
плывут,
склонясь надо мною,
невидимой нитью шьют.
И сердце—за пару простых,
как игла, минут—
успеет срастись или
расколоться.
Но выпал крест из разжатых
рук,
как в сердце тёмное
страшно мне заглянуть,
и вера моя растаяла,
словно звук,
и тихо стало на дне колодца.

● ● ●

Всё так же. Безумно море.
Степи не хватает места.
Но стёрся знакомый номер,
и с ним все твои смс-ки.
Я на ночь открыла двери,
чтоб звон пустоты послушать,
прошло восемь лет, и, верно,
я в прятки играю лучше.
Как тень обнимает город,
как сон обнимает ветви,
сильнее прижмись к рассвету,
в степи ли, в горах, у моря.

● ● ●

Ты за всё, если хочешь,
меня прости.
И пока в тишине твой
змеиный яд
проступает на пальцах—
в твоей горсти
спелое солнце и виноград.
…За оградой вечерней
его несут,
мимо окон, полей,
виноградных лоз,
и отбойного сердца
не слышно тут,
и сплетают венки
из цветистых ос.
…Ты за всё, если хочешь,
прости меня.
Хоть не спросит никто
никогда за то,
как ты жил, любя или же—
кляня,
и кому протянул
в тишине платок.

● ● ●

Когда тебе плохо—
ты можешь смотреть в окно
и думать, что так заранее
заведено.
Но в пересеченье линий
таится глухой ответ,
но бьётся со стуком в окно голубиный
свет.
Не тень светофора—
тьма от крыла орла
накрыла всю улицу
от перекрёстка и до угла,
и в ней не хватает воздуха
и простора.
Мы тоже звучали раньше
нестройным
хором
и сочиняли что-то
про бездомных собак.
Теперь всё ушло, всё
навсегда не так.
Закрой же плотнее окна
и подивись:
тишина заглушает крики
вспорхнувших
птиц.

● ● ●

Плывут твои сомненья
по Неве,
покой оков гранитных
не нарушив.
Как корабли или как шар воздушный,
её мечты потянутся к земле.
Вот девочка спускается
к реке—
где облик твой
надменно-отстранённый
уже не отражается в волне—
и чистой зачерпнёт воды
в ладони.

● ● ●

Всё здесь маленькое,
игрушечное, никакое.
Я парю над всем, что жило
со мною.
Над пустой мечтой,
опустевшим лесом,
над всем тем, чем мир был
мне интересен.
Я зову тебя, только ты
не слышишь.
Или слышишь?..

● ● ●

Ещё, казалось, нет добра и зла.
На берега, пустые изначально,
под облаками
неспокойных чаек
внезапно тень твоя
тяжёлая легла.
Ты очертил знакомый
сердцу круг
от встреч до расставаний
и обратно,
и не хватает больше
циферблата,
как сцепленных нам
не хватает рук.
Уносит день свой ветреный
испуг,
я тихой ночью буду звать
обратно
тебя—как сына, и отца,
и брата,
и будет плавиться и таять звук,
смолою тёмной обжигая шар,
пока рассвет не вспыхнет
новой свечкой,
пока огонь неразделим
и вечен
и одинока и черна душа.

● ● ●

Как теперь—взгляни
на наши лица—
ты разрушишь к солнцу
этажи?
Ты, как прежде, приказал
мне сниться,
раз не вышло нам
на свете жить.
Или проронил немного солнца
в дебри заплутавших без тебя.
Времени причудливые кольца
в запылённом сумраке рябят.
И, подёрнутая паутинным
светом,
темноту отбросившая даль
мне пришлёт несорванную
ветку
в сентябре, похожем
на февраль.
И уйдут, дорог не разбирая,
мой вопрос и лучший твой
ответ.
Так же солнце
с выцветших окраин
собирает в жатву летний свет.

Алёна Марковская

Россия маленькая

Кофе

У чашки беззащитные бочка́.
О них щекой так здорово погреться!
Как у Венеры, лишь одна рука.
И кофе в чашке бьётся, словно сердце.

Он, кофе, самый добрый в мире джинн,
Маг тысячи и одного желанья.
Он учит нас, как соблюдать режим,
Себя не отдавая на закланье.

Он хвалит нас за каждый храбрый шаг.
Кто не рискует—тот не пьёт и кофе.
И ты взлетаешь, как воздушный шар,
Расшвыривая цепи философий.

Ты его мальчик, он—твой верный джинн,
И всё легко—и сделки, и признанья.
А чашка остаётся сторожить
Твой дом и в нём—щепотку сострананья.

У чашки беззащитные бочка́,
О них щекой так здорово погреться.
Как у Венеры, лишь одна рука.
И кофе в чашке бьётся, словно сердце.

• • •

Ещё вчера весь город был моим…
И я цвела, как плющ на баррикадах,
И в лужице плескалась с воробьём.
Казался каждый камень золотым.
И чья-то кисть неспешными мазками
Вновь превращала мир в уютный дом.

Дорогу уступали мне дожди,
И прятали дворы в свои объятья,
И воздух был—как белое вино.
Я верила: сомненья позади,
А сил теперь на все турниры хватит—
И не нужны ни муж, ни проездной…

Но бриг весны о летний быт разбит.
Державный флаг нас ждёт—не парус алый.
И скоро потускнеют двор и лес.
Так и не научились вы любить
И видеть мир… Жаль, мы с Весной старались
Трагедию возвысить до чудес.

Просто любить

Кто любит монеты, кто любит футбол,
Кто варит борщи, кто танцует вальс…
Кто ищет по книгам рецепт стать собой…
А я—я просто люблю всех вас.

Кто едет на море, кто на шашлыки,
Кто мебель купил, кто завёл кота…
Рождаются дети, и мрут старики.
А у меня—пустота.

Вас, наглых и слабых, простых и чудны́х,
Рождённых в глуши и в чужих дворцах,
Люблю тихо-тихо. Зовут мои сны
Смотреть, как бьются ваши сердца.

Карьера и хобби, стремленье и цель…
Моё вдохновенье совсем в другом—
Чтоб чей-то корабль не сел на мель,
Был счастлив кто-то, мне дорогой.

Кто верит мне слепо, кто дёргает хвост,
Кто дарит духи и блокноты в стол…
Но мало кто понял: я—маленький мост
К радости самой простой.

Кто любит учиться, кто любит учить,
Кому—корицу, кому имбирь,
К кому-то весь год прилетают грачи,
А я… я просто люблю любить.

И это не страх своих собственных гор.
Любые вершины тогда покорю,
Как кто-то из вас сам начнёт разговор,
Всё бросит и встретит со мной зарю!

Кто любит монеты, кто любит футбол,
Кто варит борщи, кто танцует вальс,
Кто ищет по книгам рецепт стать собой,
А я… я просто люблю всех вас.

Розмэри

Мама, я сегодня полюбила его и мир.
Всех его друзей, всех врагов, его шляпу и пляжный зонт.
За его здоровье я готова пить рыбий жир,
За его спасенье—уйти добровольцем на левый фронт.

Знаешь, все на свете тоже любят только его!
От его улыбки и снег тает в этих чужих горах.
Но я не ревную, нет! Мне просто не до того,
Когда поезд во взрослый мир вдаль несётся на всех парах.

Мама, с ним и негр станет белым, словно король!
А король, сняв плащ и камзол, прыгнет вдруг в городской фонтан.
Верю, что он смог бы отпустить мне грехи, и боль
Стала бы шампанским в тепле приоткрытого чуду рта.

Мама, я сегодня стала взрослой, он—молодым.
Не хочу играть—ни на сцене, ни в жизни, ни в страшном сне.
Пусть мечты и замки превратились в солёный дым…
Он уже не мой, но ведь важно другое: он нужен мне!

Посвящение Марине Цветаевой

Я, в детстве не читавшая стихов,
Не знавшая совсем других поэтов,
Влюбилась в дивный мир твоих грехов,
Что ярче света.

Как и тебе, холодной дружбы быт
Мне незнаком, и все подруги—сёстры,
И сердце так предательски стучит
От слов их острых…

Твой взгляд—всегда пронзительный укор
Тем, кто Любовь низводит до уюта.
Белогвардейской чести приговор
Не лечит смуту.

Ты научила перед казнью петь
И править миром, стоя на коленях.
Гореть—ах, слишком сильно, чтоб согреть
Сердца и стены!

Ты научила обожать свой дом—
Не напоказ, без митингов и ружей.
И гордо голодать, листая том
Любви и дружбы.

От лба ко лбу—серебряная нить.
И слышится в веках почти приказом:
«Мой друг, поэтом можешь ты не быть,
Любить—обязан!»

Планета

Планета моргает заспанно… Смотри, какие ресницы!
Ты видела страшный сон? Дай, милая, обниму!
Взъерошу деревья ласково, сотру салфеткой границы
И с тёплых твоих бочков стряхну, как ворсинки, тьму.

Планета—навеки девочка. Лишь кажется, что большая.
А ты говоришь—стара, а ты говоришь—пора…
Как шахматной королевой, нетвёрдой рукой играешь
Алмазной её душой. Но стоит ли свеч игра?

Планета не просит завтраков. Она пирожное будет!
Из космоса одеял—за твой одинокий стол.
И точно наступит завтра, и кто-то сурка разбудит.
И каждый твой старый друг ещё проживёт лет сто!

Россия маленькая

Синий фартук, косынка аленькая…
На пороге, не при параде,
Замерла ты, Россия маленькая,
На большую с опаской глядя.

Снятся эти глаза застенчивые
Всем, кто любит тоску вокзалов.
Называла своими птенчиками,
На дырявом тряпье ласкала.

И ни слова тебе, ни попрека,
Ни меча, ни щита, ни знамени.
Маленькая царевна добрая,
Ты полями сильна и храмами.

Колокольчик да лавка пряничная…
Чёрный ворон смирней голубки…
Посохи возьмём, станем странничками,
По околице—в длинной юбке…

Не растай за туманом, милая!
На большую—не променяю!
Маленькие бывают сильными,
Только первыми—не бывают.

Лён рубахи, косынка аленькая,
Белочка на плече ручная…
Как люблю я Россию маленькую!
А что делать с большой—не знаю…

Екатерина Блынская

Вьюн над водой

(Ялтинская повесть)

1913 год

Каждое утро Михаил приносил Женечку на пляж под плетёный квадратный тент со сгибом и сам садился на маленькую скамеечку у её ног.

Доктор Дузе, постоянно их сопровождавший, давал душеполезные советы и доставал из корзины укутанную в пуховый платок бутылку тёплого козьего молока, которую Женечка немедленно должна была выпить.

Доктор уходил, поплевав тыквенных семечек, а к полудню являлся новый знакомый Михаила, Павел Стромынин. У него была задача Женечку веселить и носить ей из палатки со сладостями миндаль, моченный в меду, и янтарный инжир на сахарно-белой хрустящей салфеточке. Стромынин красиво и ловко шутил, был молод и горяч, он заряжал тусклые дни Женечки и Михаила.

Порою, когда бывали безветренные вечера, Стромынин заходил в гостиницу «Лондон» к Михаилу и брал Женечку прогуляться по набережной медленным шагом.

Сегодня они из-за ветра вышли поздно, на набережной Женечкин зонтик смешно вывернуло, и она засмеялась почти забытым уже смехом.

— Господи, как хорошо, и это только ветер! А мне уже намного лучше! Вот бы съездить до Ореанды!—слабо вскликнула Женечка.

— Обязательно соспутешествуем, дорогая,—сказал Михаил, поднял дочь и понёс её к берегу, шурша галькой.

Стромынин прибежал с графинчиком коньяка, обнял Михаила и поцеловал Женечку в невесомую ручку.

— Как вы сегодня хороши, мамзель…—улыбнулся пышущий молодостью Стромынин.—Так и вынудите меня: не дожидаясь осени, зашлю вам сватов, и пусть только ваш папенька откажет…

— Где стол был яств… там гроб стоит…—улыбнулась Женечка бесцветными губами.—Я уже скорее с Христом обручусь, Павел Леонардович.

Михаил метнул на Стромынина дикий взгляд.

— Кто там нынче в кабарятне вашей поёт?—спросил он густым голосом.—Слышал, мадам Адель де Барс какая-то приехала из Москвы. Танцует группа лиловых лилий, а слышится и видится это смешно.

— Ну! Тут, в Ялте, только смеяться!—хохотнул Стромынин.—Чего ещё отдыхающим надо? Ручного медведя в бубенцах, мыльные пузыри с кошку ростом и танцы лиловых лилий. Пошлость и дикость для нас, правда?

— Ой, рассмеюсь, не надо!—взмолилась Женечка, утопая в подушечках.—Сегодня и вечерок какой-то добрый.

Действительно, в начале августа пошли совсем другие запахи с запада. Пахло зелёной водорослью—камкой, битыми медузами, непросохшими баркасами рыбаков и залежалой чешуёй.

— Перед штормом много было рыбы,—сказал задумчиво Михаил.

— Ну да, хорошо бы тут ещё и цену на неё скинули,—добавил Стромынин.

— Надо к рыбакам идти, там рыба копеечная и вся с икрой. Кефаль, белужка из Кетерлеза… с азовских ловель.

— Сейчас нет с икрой, надо сентября дожидаться. «Бря»—значит, если есть в месяце это «бря», вот и икра тогда есть в рыбе.

Михаил глянул на бледное море, лежащее в мёртвом штиле. Губастые волны тихонько пошёптывали по гальке, раскрашенной наросшим на ней морским мхом. Дальняя сторона моря из глубокой сини переходила в невесомую молочную бирюзу, и солнце, вышедшее из вертикали, мерцало на почти осязаемом ласковом шёлке.

— Как хорошо рисует Бог, если у Него такой вкус на цвета и оттенки,—сказала Женечка.—Кто из нас смог бы это передать одной только сменой настроения?

Стромынин смотрел на Женечку, на её молочно-белое лицо с голубоватыми тенями, которые только усиливались от присутствия морских красок.

Он смотрел и на Михаила, огромного и усатого атлета с несмываемым простонародным загаром, в дорогой шёлковой светлой рубашке, с цепью хронографа, в роскошной, подогнанной под его фигуру жилетке с серебряными рисками, на его дорогие туфли из телячьей кожи.

Почему иногда судьба не всем дарит нужного человека? Стромынин в меру своего неглубокого

ума не хотел об этом думать, а мог только сожалеть. Из его небольшой двадцатипятилетней жизни можно было бы решить, что он резонёр, но он сам себя таковым не считал.

Павел Стромынин постоянно задавался вопросом: чувствуют ли вину лицемерные люди? Ведь они лгут дуракам… А это страшное преступление против совести. Недавно появившийся здесь Михаил Величалин был сосредоточен лишь на дочери и её обострившейся болезни, для Стромынина он был ценным человеком.

Сегодняшнее утро дышало покоем. Яркие слюдяные камушки на дне перекатывались прибоем, и Стромынин с пирса смотрел на чашечки медуз, придерживая Женечку в кружевном снежном платье. Она держала его слабо и совсем не по-человечески, а он, наблюдая за её точёной бледной красотой из германских сказаний, вздыхал про себя и сдерживал внутри слезу о том, что никогда этому девичеству не вырасти в жаркую, полную и повелительную женственность.

Тут много было на побережье таких холодных догорающих мотыльков, и Женечка была одной из них.

Стромынин любил мотыльков жалеть, а иногда и получал от них другое утешение.

Женечка вглядывалась в волнение дна, мириады лесистых водных трав, густо лежащих и приросших к донным валунам.

— А если бы поплавать между ними, как было бы славно! Холодна вода? — спрашивала она, вскидывая круглые глаза, глубокие, как колодцы, на Стромынина.

Тот крутил желтоватый набриолиненный ус и важно пожимал плечами.

— Для вас холодна, но есть и другие тут, кто ныряет за жемчужницами. Хотя их к нашему времени вовсе извели. Но зато на пляжи выбрасывается уйма всякого стеколышка и цветного камня. Они, источённые волнами, похожи на высыпанные драгоценности из шапки Мономаха, не хватает только среди них голых жемчужин без раковинок.

— Как красиво вы говорите… — шептала Женечка. — А и меня, пожалуйста, научите всё это видеть.

— Что там видеть… Вот приглядитесь, когда будем гулять, и отличите серый кварц и гальку от другого стекла и камения.

— Идёмте же, я присяду, а то папенька закис там со скуки.

Стромынин подал Женечке руку в перчатке, и она положила на сгиб его плеча свою не согревающуюся ладонь.

Михаил молча курил. Из лабазика официант принёс ему два лафитника водки и ледяную севрюжину с жирными оранжевыми слезами на подшкурке.

Хорошо устроенный ялтинский пляж сопровождали визг и веселье отдыхающих ребятишек и чопорные оклики их строгих надсмотрщиц.

По волнам катались бакланы, вертя белыми головами, и суетливые чайки, напуганные людьми.

— Съешь кусочек; доктор говорит, тебе нужно рыбку… — сказал Михаил, поворачиваясь к Женечке с тарелкой и серебряной ложечкой.

— Нет, не хочется, папа́. Я устала гулять. Дождусь, как ты поешь, и понеси меня домой.

Михаил кивнул головой, искоса глянул на Стромынина и встал, оставив тарелку подле Женечки.

Стромынин и Михаил отошли в сторону, чтобы ветер дул через них. Они подошли к волнам, и, оступившись с берега, Михаил намочил туфли.

— Ох, я неловкий… — сказал он, отскакивая от волн. — А раньше бы искупался.

— Ну и искупался бы.

— Стыдно, что она тут.

— Вроде бы говорит, что ей лучше…

Михаил снова сверляще глянул на Стромынина.

— Павел, я тебя очень и очень прошу… Гуляй с ней, я в долгу не останусь. Хотя бы так пусть она набирается воздуха.

На его лицо скользнул порыв ветра, и Михаил перехватил дыхание.

— Дузе сказал, что мы не должны вскорости ехать отсюда, а я и готов тут быть, хоть сколько. Готов, пока она…

— Понимаю, — потирая папиросу, сказал Стромынин. — Тяжко тебе; я говорил, давай тебя познакомлю…

— Ну что ты! — испуганно воскликнул Михаил.

— Ничего бы с тобой не было. Вам, может, тут ещё год жить, а она поправится, и тогда…

— Эх, Павел, твои слова бы Богу в уши!

Михаил обернулся на Женечку, сидящую в кресле среди серого берега. Она выглядела как кружевная рождественская птичка на тёмной полсти еловых ветвей.

— У меня ничего нет, кроме неё. И ты уже думай, что говоришь… Видишь ли, она понимает своё состояние, а ты лезешь со своими шутками про свадьбу. Ей бы выкарабкаться. Она моё сокровище.

Печальные страницы отцовского опыта Михаила Емельяновича Величалина все умещались в этой фразе.

Он отошёл от воды и словно вернулся в глубокую задумчивость своего неполного бытия.

Он подошёл к Женечке, поднял и подобрал её платье под руку и, как малого ребёнка, понёс её к ступеням, ведущим на своды набережной.

Стромынин от воды молча глядел на Михаила, его мощную спину, перехваченную ремешком на талии, и на беспомощно колеблемое платье Женечки.

В самой своей молодости купец Михаил Величалин остался сиротой и единственным владельцем рудного завода под Калугой. Там, где по одну сторону растёт можжевельник, а по другую березняк,

наюру, стояла их усадьба, купленная у отъехавшего на родину, в Германию, дворянина Ханса фон Шууле. С усадьбой в руки отца Величалина перешло огромное хозяйство и даже домашний доктор Дузе. Тут быстро на рудном деле и Алексинских карьерах пошло в гору и купеческое дело, принёсшее уже совершеннолетнему Михаилу первый миллион денег.

Мать и отец его умерли от какой-то неизвестной заразы в путешествии по Италии. Единственным наследником Михаил жил совсем один и употребил одиночество на познание прелестей жизни.

В Москве купил огромный особняк на Новой Басманной, там и зажил.

Очень скоро и привёл туда хозяйку, Меланью Филипповну, обвенчавшись с ней у Петра и Павла. Хоть она и была простого происхождения, но красоты разящей.

Встретился же с нею Михаил Емельянович в кабаке под Ивановской горкой и в ту же минуту увёз её к себе. Меланья Филипповна пела там, и по голосу Михаил Емельянович опознал счастье своей жизни. А более—по той песне, что певала его мать у колыбели. «Вьюн над водой» называлась она.

Так песней и вошла Меланья Филипповна в большой дом и большую бухгалтерию молодого мужа.

Он по части работы был безумен и постоянно отлучался на заводы и в другие усадьбы.

Меланья Филипповна мучилась сиднем дома. И как только родила Женечку, стала тоже ездить с мужем по делам, во всё вникая и всё расспрашивая.

Он ничего плохого в том не видел, сообразив, что жена, вероятно, хочет помогать ему во всех его делах.

Но, однажды оставив её в усадьбе под Калугой и спешно уехав в Москву, Михаил Емельянович никак не предвидел, что его жена не пожелает вернуться.

А вернуться она не пожелала, стала жить с приказчиком, о чём Михаил Емельянович узнал на трёхлетие дочери и от чего впал в тягостную печаль.

Сперва он хотел расстаться с жизнью и перебирал все способы. Потом, обратив внимание на дочь, которая в три года осталась бы сиротой, решил разойтись с Меланьей полюбовно и подал в Священный Синод прошение на развод. Жену он наказывать не стал, приказчика тоже не уволил. Но развод, после тягот и умирений, на который являлась сама Меланья и твердила, что-де умирение невозможно, по причине её непраздности и обострившейся болезни.

Пожалел Синод и Михаила Емельяновича, засылавшего туда немалые средства для более скорого решения дела и представлявшего разные доказательства для оправдания прерванных отношений.

Наконец, в пятилетие Женечки дан был и развод.

К тому времени Меланья Филипповна родила уже двух детей приказчику, но оба ребёнка умерли, а сразу после развода—и она.

Только тогда Михаил Емельянович, хоть и горевавший, вздохнул и отмер.

Только тогда он попробовал как-то заново жить.

Женечка в одиннадцать лет внезапно вытянулась, выросла, в тринадцать же лет люто заболела коклюшем.

После уже началась скоротечная её лёгочная болезнь.

Вся жизнь Михаила Емельяновича безотрывно стала принадлежать ей. И он не думал о другой жизни.

О смерти матери он ей долго не говорил, а только объяснял, что матушка поехала за границы лечиться от такой же болезни.

Письма ему слали по требованию двоюродные сёстры, жившие в Потсдаме. По одному за три месяца.

— Хоть бы карточку прислала мне матушка…— жаловалась Женечка, жалея, что нет у неё даже маленького изображения её.

И тогда Михаил Емельянович пошёл на бульвар и, найдя там подходящую девушку, одел её в магазине готового платья на Кузнецком и свёл в фотографическое ателье.

Через две недели он представил Женечке карточку, на которой не было надписи, где она сделана.

А на обратной стороне было писано: дорогой дочери от любящей её матушки, скучающей очень на водах.

— Почему же мы не можем к ней поехать?—разволновалась Женечка и покраснела.

С того волнения болезнь её впала в обострение, а Михаил Емельянович не знал, что говорить.

Он оставил на управляющих весь непосильный корпус дел, которые вёл самолично, и по настоянию доктора Дузе повёз Женечку в Крым.

— А почему не на чешские и германские воды?— спрашивала втихомолку Женечка.—Ведь мама там?

— Ваше здоровье не позволит вам так далеко ехать,—отвечал Дузе.—Скоро ваша матушка вернётся.

В дороге он сознался Женечке о смерти матери и взял на себя все последствия этого, больше жалея Михаила Емельяновича.

До Крыма Женечку довезли с трудом. Болезнь оказалась наследственной по материнской линии. К тому же от расстройства ей стало хуже.

Величалин с дочерью заняли апартаменты в гостинице «Лондон», а доктор Дузе, долговязый пятидесятилетний старик, договорился жить неподалёку, у друга, доктора Виноградова, в трёх минутах пешком от гостиницы.

Он наблюдал состояние Женечки, выгуливал её в Массандру, к императорскому дворцу, где они подолгу сидели на широких скамьях в можжевеловой роще и читали Мериме, которого Величалин не велел держать дома.

Женечка почти смирилась с тем, что ей придётся тут жить так долго. Её успокаивали душистый воздух, аромат нагретой хвои чёрных целебных сосен и чинаров, далёкая индиговая, тянущая и сосущая душу синева открытого моря.

— Жаль, что я никогда не увижу Константинополя,— вздыхала Женечка.— Говорят, что можно уже отсюда дойти за трое-четверо суток до турецкого берега. Я могла бы попробовать пойти с матросами на баркасе.

— Ну! Женщина на корабле — смерть всему экипажу! — смеялся доктор Дузе.— Вот выздоровеете, ваш отец к этому всякое усилие прилагает, и оно не может остаться пустым,— тогда и Константинополь увидите, и другие полуденные страны.

— Мне кажется, что мама там, она оттуда мне что-то напевает, и я горю душой туда к ней полететь…— говорила Женечка, и крупные чистые слёзы навёртывались у неё на глазах и висли на ресницах, загнутых до бровей.

Если бы была ей судьба вырасти и стать невестой, наследовать величалинское состояние и привести в дом умного мужа, она была бы красивейшей купеческой невестой на Москве. Ей завидовали многие и тем брали на душу грех, а болезнь точила Женечку уже очевидно…

Прогулявшись с доктором, Женечка ложилась спать днём и спала до полдника. После она читала у окна, или просила вынести ей кресло на балкон, или шла в просторный холл отеля, где был устроен небольшой круглый бассейн внизу, с зеркальными карпами, которые, поворачиваясь бочками, бликовали солнцем и посверкивали в белой мраморной чаше. Казалось, что невидимые руки пересыпают золотую фольгу, порванную на небрежные кусочки, и Женечка могла любоваться на это зрелище часами.

Михаил тяготился вынужденным отдыхом. Много лет он работал и занимал ум расчётами и замыслами, а тут остался на свободе. Он постоянно бегал на почту и телеграф и отправлял в заводы и усадьбы свои списки дел и распоряжений. Когда с почты приходил посыльный, чуть ли не ждал его около швейцара и сразу вскакивал, когда входил человек в форменной одежде или письмоносец с ранцем.

С Женечкой он прогуливался один раз в день, вечером. Обычно по бульвару, или в омнибусе они катались и молчали вместе.

Величалин, имея промысленный характер и живую натуру, к чтению и к искусствам был совершенно глух. Он никогда ничего не читал, кроме писем и деловых документов, касающихся его состояния. Он не знал писателей, актёров, не выносил громкую музыку. Но любил народные песни с их тёмной вековой тоской и заползающей в заушье негой, с первобытным чувством покоя.

В усадьбе под Калугой он нарочно вызывал из ближнего села молодых баб, о которых шла слава как о поющих старинные песни, и заслушивался их голосами.

Здесь, в Крыму, он несколько раз слышал татарские песни под хавал и сантр из переплетения улочек с чьего-то двора, перед закатом как-то раз или два уловил тянущую песнь зурны из-за холмов, с далёкой яйлы,— наверное, то были пастухи, чью музыку распространили идущий с суши ветер и вечерняя тишь.

Один Величалин почти не ходил на улицу. Он с последнего времени не выносил одиночества, которое его основательно загрызало без дела.

В первую неделю они с Женечкой на пляже познакомились со Стромыниным.

Михаил не понял вообще, что за человек Стромынин и почему он так легко подошёл к ним с початой бутылкой чёрного новосветского вина и соломенной конфетницей.

Стромынин как будто бы тоже скучал. Когда-то он работал на бирже, корреспондентом в газете, переписчиком, наборщиком текста в типографии и стенографом. Сейчас, как он объяснил, он работал «на себя», а вот что это значило, не сказал.

Родом он происходил из разночинцев. Величалин приглядывался и так, и эдак и наконец понял, что симпатичный молодой человек теперь промышляет развлечением грустных отдыхающих.

И отчасти он был прав, да только Михаил был вовсе не мужем Женечки, как подумал Стромынин, и совсем не хотел, чтобы кто-то вился кругом и искал ему досужих приключений.

Но, поговорив по душам, Стромынин растеплил Михаила Емельяновича и очень расположил к себе Женечку, магнетически смотревшую на нового знакомого.

Стромынин был строен и красив, одет изящно и тонко, весь прилизан с головы до пят с большим тщанием к аккуратности. Даже шёлковый платочек был безупречно выглажен и имел на себе вензель «плс» — Павел Леонардович Стромынин. Он владел уютным вкрадчивым голосом, золотыми австрийскими усиками и абсолютным портретным сходством с князем Воронцовым со знаменитой картины кисти Доу.

Величалин рядом с новым приятелем выглядел как цирковой борец, и можно было представить Стромынина его протеже.

Женечка сразу прониклась к Стромынину, всякий раз при встрече улыбалась, показывая полупрозрачные, истончённые сладостями мелкие зубки, но грустные её глаза вонзались в душу Стромынина хуже булавок.

Но Стромынин не искал никакого чувства, даже более того — им двигал некий расчёт, хотя Величалин и понял это и тут же, увидав интерес Женечки к общению со Стромыниным, предложил ему поступить к нему на какую-нибудь работу — например, писать письма и носить их на почту.

За несколько дней Стромынин сделал себе добрую репутацию и получил доверие Величалина, Дузе и Женечки.

Теперь он мог бы ещё более расстараться.

Стромынин прохаживался по комнатке, а Михаил сидел в лучах солнца, упавших из окон.

Он смотрел перед собой и был как спящий.

— Но ты посуди сам: сколько можешь ты без женщины и вообще без любви? Я же не прошу тебя сразу вот так жениться. Ты посмотри на цель своего обожания, на её достоинства.

— Что ты, Павел, ну разве я могу сейчас? Когда Женечка…

Михаил закрыл лицо огромными руками, и что-то похожее на звук стремглав летящего голубя вырвалось из-под них.

— Тут так хорошо, гуляй себе и наслаждайся, а Женечке ничего не будет плохого, она выздоровеет, ты же знаешь, знаешь это!

— Ах, Павел, сюда за хорошим не приезжают, и она это самое знает и готова уже к самому дурному. Сейчас я сижу тут, теряю время, а ей вполне тревожно без меня.

— Да что там!

— Женечка так любит гулять в роще у Воронцова, но подняться туда ей ещё самой тяжело. Мы с Дузе носим её уже как неделю.

— Да? Боже мой, это очень обидно, — смутился Стромынин.

— Не то слово! Ещё более обидно, что не мне, а ей придётся… придётся…

И в горле Михаила что-то жалобно скрипнуло. Он щепотью убрал слёзы и отвернулся в окно, где густое варево моря отражало и беспокоило солнечную путину, идущую на закат.

— Это невыносимо, — сказал Михаил, обтерев лицо рукавом. — У меня всё есть. Только нет радости. Я устал, устал без радости. Я больше без неё… не могу.

Стромынин положил ладони на мощные плечи Михаила и сжал их.

— Сходи со мною, хотя бы для интереса.

— А что я скажу… ей?..

— Скажи, что я заболел и меня надо навестить. А с ней побудет Дузе.

— Хорошо, ладно, Павел… Твоя взяла. Когда пойдём?!

— Экой ты скорый! Я договорюсь с одной… м-м-м… Михаил, я тебя представлю ей.

— Что? Девке?

— Почему это так сразу — девке? Эта мадемуазель знает четыре языка, между прочим; тебя только с ней можно знакомить, она только достойна.

Михаил вдруг раскатисто захохотал.

— Смейся, смейся. Знаю, что ты всё опошлишь, а потом будешь ведь жалеть! Ведь женщина эта — энигма!

— Что?! Как?

— Энигма, говорю. Загадка! Всякая женщина загадка, но эта!..

— Бог с тобой, мне хватит энигмов. Я их боюсь, дай мне бабу просто хорошую, пусть даже не красавицу, но добрую.

— Ты, Мишель, несносен.

— Я ваших не знаю этих слов-то.

Стромынин хорошо знал округу. Он знал, где и что, кто и с кем. Предложение его Михаилу познакомиться с отдыхающими дамами сперва натолкнулось на неодолимый пафос.

— Что? Я? С бабьём? — рявкнул Михаил Емельянович. — Да у меня Женечка! Скажи, а ты мог бы? — обратился он к Стромынину, отвернувшись от него.

— Не знаю, лгать не буду.

Но вот поздно вечером, дождавшись, как Женечка уснёт, и оставив её под наблюдением Дузе, Михаил вышел из номера. Стромынин ждал его на плюшевом диване в холле отеля.

Когда Михаил, причёсанный в пробор, в строгом красивом костюме и невыносимо скрипучих малиновых ботинках, спустился с каменной лестницы, покручивая трость, Стромынин чуть было не потерял дар речи.

— Лемонграсс и пачули… — улыбнулся он, обнюхав Михаила Емельяновича. — Как благородный пахнешь, ваш-ство…

Михаил улыбнулся безупречным рядом целых и выбеленных порошками зубов.

— Я сегодня укрепил надежду от доктора Дузе, что Женечке на пользу здешний смолистый воздух, потому я и весел. Можешь вести меня.

Они спустились вниз по набережной к молу, раскурили трубки, полюбовались на белые яхты и проходящие мимо рыбачьи баркасы и барки с полуспущенными в воду порожними сетями. От моря шёл густой запах соли и водяной зелени.

Мол был от шторма прикрыт грядой остроугольных камней, и робкие волны не могли победить этот мощный корпус, бились о них и, урча в промоинах, утаскивались обратно.

— Я покажу тебе одну женщину, она живёт, конечно, не здесь, но прогуливается здесь. Мне бы хотелось, чтобы ты обратил на неё внимание сегодня. А завтра мы к ней сходим в гости.

Михаил дрогнул.

— А что? Почему это завтра? Вдруг завтра я передумаю? Идём сегодня! Или мы должны предупредить её?

Стромынин сплюнул в камни.

— Мишель, ты как дикий или одичал! Где ты видел такой саваж? Чтобы к женщине, к любой… приходить визит делать без преподготовки?

— Да, это ты правильно сказал.

— Ну вот! Я полагаю, что ты одичал и тебе надо очнуться.

— А я полагаю, что надо идти сей же час и ловить её невзначай, так вернее будет. В другой раз я передумаю, может быть,— грозно сказал Михаил, насупив брови.

В сторону Поликуровского холма Михаил и Стромынин дошли быстрым шагом.

Потом собрался дождь, и им пришлось поскорее бежать, тем более что южная тьма, что сгущается всегда быстро и воровски, во время ненастья ещё труднее одолима. Михаил всё время пыхтел с непривычки, идя в гору, пока Стромынин не завернул в какой-то узкий проулок, и следом ещё один, и ещё один, где оглушительно лаяли собаки и кто-то лениво бранился за запертыми окнами.

Запах прогретого камня и текучий аромат рощ проникали и сюда и будоражили обоняние.

Михаил растерялся.

— Ну что ты как маленький! — прикрикнул Стромынин, вихляя по каменистым дорожкам, и вдруг затолкнул Михаила в калитку.

Михаил напрягся, резко остановился и увидел два освещённых окна в глубине крохотного двора, заросшего по обеим сторонам от дорожки кустиками душной маттиолы.

В окнах кто-то приятно смеялся женским смехом. Принадлежал он совсем молодым особам.

Михаил сделал попытку ступить назад, но Стромынин легонько подтолкнул его вперёд.

— Ничего, Мишель, всем бывает страшно! Но не тут.

Из маленького двухэтажного особняка лился нежный свет ламп.

Лицо Михаила покрылось холодной испариной.

— Пфу…— сказал он Стромынину, идя к завитому плющом крыльцу.— Ты меня доведёшь до кондратия.

— Нет, тут нет Кондратия, Мишель. Тут есть только милые барышни…

Их, кажется, тоже увидали.

— Паша, Паша! Это никак ты? — спросил лёгкий молодой голос из окна.— И не один?

— Да ясно, куда уж! — ответил Стромынин.— Вот друг мой!

— Не называй моего имени! — зашипел Михаил и схватил Стромынина за рукав матерчатой блузы.— Просто Мишель, и всё.

Они вошли в маленькую прихожую, освещённую электричеством, старик-швейцар принял трость и шляпы.

— Вас ожидает прекрасная встреча,— бросил Стромынин и повёл Михаила за собой в полумрак коридора, заканчивавшегося довольно большой и светлой разряженной залой.

— Дожидают… они всех только вас и ждут,— крякнул швейцар им вслед.

В доме было прибрано. Всюду пахло сладкими духами и цветами, в огромном количестве расставленными в вазах, на поставках, на комодах и столах.

Тут, кажется, жили только прекрасные существа, и одними из них были цветы, а другими — севрские статуэтки, серебряные изящные шандалы, лёгкие и мерцающие люстры, прозрачные на окнах занавеси.

Стромынина и Михаила сразу же окружило несколько девушек с ярко накрашенными лицами и со взбитыми причёсками. Платья их все как одно были нелепы, расшиты фальшивыми камушками и фольгой, гарусными нитями и золотой проволочкой.

Но они создавали весёлую и зудящую суету, которую сразу же хотелось прекратить; по крайней мере, Михаил опешил.

— Дамы…— басом сказал он.— Оставьте нас на какое-то время.

И удивлённые девицы сделали неприязненные лица и тут же уселись по подоконникам обратно, оставив их со Стромыниным одних.

Михаил, оглядевшись, выбрал диван в углу, за невысоким столиком, метнулся туда и скорее втиснулся в полумрак, за портьеру, отделявшую диван от залитой светом гостиной.

В Москве и в Петербурге он, конечно, бывал в таких домах. И не грошовых. Они ему никогда не нравились. Все эти Лизетты, Фру-Фру и Матильдочки жутко раздражали его. Он молча заходил в подобные заведения, молча вызывал через управительницу понравившуюся девицу и так же молча увозил её на какое-то время в свой дом, где в северном флигеле у него имелась комната с потайным ходом с улицы.

Ни прислуга, ни родня — никто не мог догадаться, кого, насколько и для чего привёз хозяин. Михаил Емельянович отделил это место для себя. Никто и не спрашивал.

А ходить по чужим постелям он не умел и не хотел. Ему было стыдно.

Иногда какая-нибудь барышня задерживалась даже до недели, но потом всегда Михаил увозил их назад, откуда взял, и уже во второй раз одну и ту же не брал.

Но, надо сказать, случаи с девицами и дамами происходили не так часто. Может быть, два-три раза в год.

— Куда ты меня привёл? — процедил Михаил Стромынину, наливаясь румянцем. — Зачем сюда? Обещал что-то необыкновенное.

Стромынин махнул барышне-официантке в фартучке и строгом, но коротком, до колен, платье.
— Милая, принеси нам анисовой и винограду. Желательно «дамский пальчик» розовый. И разрежь дыню.

Когда барышня отошла, Стромынин уселся на стул с другой стороны столика и подтянул себе длинными пальцами хрустальную пепельницу в виде раскрытой ракушки.
— Мишель… — недовольно сказал он. — Ты понимаешь, да? Понимаешь, что я тебе ничего чудесного не наколдую? Тем более здесь, в Крыму. Ну, может, какую татарку, девочку… Да и то вряд ли. Может, мальчика.
— Я тебя сейчас проткну тростью! — грозно рыкнул Михаил. — Ты ошалел, что ли?! Я что, какой-то там дворянчик из этих вот?!

И Михаил покрутил ладонью над столом.
— А у меня есть тут хорошая знакомая, она совсем не такая, как эти вот…

Стромынин махнул головой на смеющихся девиц, сидящих на подоконниках с голыми ногами.
— А что, есть такие, что сюда пойдут для другого дела?

Тем временем барышня принесла душистую дыню, блюдо винограда и графинчик с двумя стопками.
— Не желаете дамам сделать комплимент? — спросила она.
— Пусть берут что хотят, — буркнул Михаил и бросил на блюдо несколько десятирублёвых ассигнаций.

Стромынин сглотнул, вытянул голову из воротничка и воззрился на Михаила.
— Так, в общем, я понял… Эти ваши привычки прекрасны, конечно…
— А то! — вздохнул Михаил и, прикрыв глаза рукою, зевнул. — Ты ничего, Павел, обо мне не знаешь, но, зная уже достаточно, должен же понимать, что я не этот самый. Мне и женщина, право, не нужна… Это сейчас вот… ты меня привёл сюда… разбередил во мне… а так… не нужна, и кончено.
— Постой, надо дождаться, раз ты осмелился! — возмутился Стромынин.
— Так и бери её себе.
— Нет, Мишель!
— Мне неохота начинать опять какие-то эти вот…
— Мишель!

В то же время к их столу подошла дама в шёлковом сиреневом платье с золотистыми волосами, сколотыми на макушке черепаховым гребнем.

Стромынин обернулся, подскочил и раскланялся.
— А! Мадмуазель Амалия! А! Вот вы какая, неожиданная.
— Я всегда тут по средам… будто ты не знаешь… — сказала мадмуазель таким же золотистым голосом, как её кудри.

Михаил почувствовал что-то необыкновенное. Словно его прибили огромным гвоздём на место и он не мог пошевелиться, чтобы, не дай Бог, не сделать себе хуже.

Он не мог двинуться с места.

Одна керосиновая лампа, поставленная в угол за портьерой, слабо светила на неожиданно пришедшую мадемуазель Амалию. Та села на другой стул, взяла двумя пальцами виноградную кисточку и откусила несколько виноградин сразу.

Михаил побелел лицом, Стромынин хлопнул в ладоши, чтобы принесли ещё посуду и вина для дамы.

Мадемуазель Амалия источала сияние.
— Добрый вечер! Вы Михаил Емельянович? — спросила она, наклонив высокую шею, и Михаил заметил на её правом виске маленькую родинку.
— Да! Это я! — ответил он как на плацу и сам испугался своего голоса.
— Он очень скромный, очень-очень! — засмеялся Стромынин.
— Да я и сама тиха, как глубокая вода, — улыбнулась Амалия.
— Вот эта та женщина, о которой я тебе говорил, — сказал Стромынин, подмигнув Михаилу. — Мечта, этуалечка! Натуральная, живая.

Амалия засмеялась. Михаил сквозь оползни своего смятения тоже улыбнулся.

Амалия в свете и среди всего, что наполняло этот дом, выглядела будто его необходимая часть, или, вернее, деталь.

Девицы все были хороши и белы, и слишком даже молоды и щебетливы, а она царственна. И сама её спина, и линия декольте, и талия, кажется, нисколько не требующая корсета, и маленькая рука с тонкими пальцами, и лицо, какое нельзя было запросто увидеть ни на какой улице, повергли Михаила в остолбенение.

Он перехватил взгляд Амалии, который она неосторожно задержала на его лице. Взгляд чёрных, как южное море, глаз, слегка узких и любопытных, но наполненных совершенным умом и осторожностью. Только за один такой взгляд можно было бы потерять голову. Но через миг она уже смотрела по-другому, свысока, словно всё поняла о нём, только скользнув и сразу же выхватив нужное.

Он видел красивых дам и девушек, но Амалия несла свою красоту словно что-то обычное и вместе с тем недосягаемое простым смертным.

Михаил же не изучал её, а перекинул ей в душу что-то восторженное и строгое, как солнечный свет, оторванный от круглого бока светила, должный дойти до её самого потаённого чувства.

Что-то забыв, напугавшись и смутившись от этого бессловесного обмена, она внезапно встала и, коротко кивнув, извинилась.
— Я отойду ненадолго, мне нужно к мадам Жур подойти, сказать, что я приехала.

И она словно оторвалась от ковра, на котором стояли её ноги, и медленно вышла, шелестя сособоренным шёлком платья.
— Она тут не живёт, приезжает два раза в неделю. Очень сторожится,— прошептал Стромынин, склонившись к Михаилу.— Если ты думаешь, что это… наваждение, ты прав. Амбрэ… дю солей.
— Ох…— забросив голову назад, сказал Михаил.— У меня аж прямо челюсть свело. И, кажется, внутри всё куда-то провалилось. Господь велик! И почему? Почему она здесь? Ну, говори мне!
— Она живёт неподалёку.
— И что же? Жена чья-то?
— Нет. Губернатор ваш… ваш, ты понял меня, содержал её в Москве. Да! Не делай круглые глаза, Мишель! Она у него прожила год, а потом уехала. Спряталась. И живёт здесь уже три года. Да, уже она не слишком молода, ей двадцать девять. Это я узнал из источников своих, доверенных. Она умная, как Спиноза.
— А ещё что? Какие подробности?
— Говорили о ней всякое, но она только с очень состоятельными господами дружит.
— Сколько же ты ей посулил от меня, если она пришла ко мне посвиданничать?

Стромынин отвёл глаза.
— Я нисколько не сулил, а только говорил, что есть-де такой интересный человек и что ты хороший.
— Хороший!— хохотнул Михаил.— Этой сестре главное, чтобы хороший был! Да не человек вовсе!

Стромынин замахал головой.
— Нет, Мишель, нет! Она вовсе не из этой, как ты говоришь, сестры. Нет! Ошибка! Она другая совсем.
— Придётся тебе поверить,— сказал Михаил с усмешкой.— Но хороша! Хороша… Редкой красоты женщина. Но у неё, значит, должен быть какой-нибудь изъян.
— Это уже тебе искать!— обиделся Стромынин.— Но если ты… если ты сейчас уйдёшь, то я не знаю, как и что… Что я ей скажу.
— Скажи ей, что я приеду скоро. Пусть ждёт меня. Пусть хорошенько ждёт.

Стромынин вскочил.
— Мишель, ты что! Где ждёт?

Но Михаил Емельянович резко встал, кивнул Стромынину и отодвинул его со своего пути.
— Я сниму ей квартиру на Московской. Пусть едет туда и ждёт, когда я приду. А сюда ты мог бы меня не водить, это место не для меня. Павел! Завтра в одиннадцать у мола.

С этими словами Михаил, поправив жилет на поясе, откланялся и вышел из залы.

Стромынин скривил лицо.
— Не для меня… видишь ли… Воображала…

Подошла взволнованная Амалия.
— Павел…А где ваш спутник?— спросила она, присаживаясь на диван.

Стромынин горько вздохнул.
— У него закружилась голова, здесь надушено.
— Ну да… есть немного такого…— улыбнулась Амалия уголками губ.— Что он сказал?
— Он сказал, чтобы вы его ждали в квартире на Московской.
— Где?— снова улыбнулась Амалия.— У него?
— Нет! Он вам снимет квартиру на Московской. И приедет к вам сам.
— Что?— переспросила Амалия, и её губы задрожали.— Что, Павел?
— Он хочет дать вам время подумать.
— Подумать? Он что, решил, что я продаюсь? И сразу перееду к нему в квартиру, и сразу… Ну нет! Посмотрите!

Амалия выхватила у Стромынина из рук графинчик и плеснула себе в стопку.
— Скажите ему, что он наглый тип! И хам! А хамам я указываю на дверь, даже если они миллионщики, как вы говорите.

И Амалия, опрокинув стопку и не изменив лица, встала и пошла к лестнице, ведущей в номера.

Стромынин уронил голову в руки.

Письмо было на французском. Величалин едва дождался вечера, чтобы Женечка уснула, а она только хохотала со Стромыниным своим птичьим смехом, похожим на крик чаек, и старалась обыграть его в шашки.

Наконец вошёл Дузе.
— Евгения Михайловна, идёмте, я разогрел средство, вам нужно срочно в постель, уже около одиннадцати.

Женечка бросила на отца робкий взгляд:
— Можно я потом ещё приду?
— Нет… душа моя. Придёшь уже завтра. Стромынин никуда не денется.

Женечка склонила голову, медленно встала и пошла в спальню.
— Я приду тебя поцеловать!— крикнул ей вслед Михаил.

Стромынин собирал шашки в ларчик.
— Ты бешеный…— нараспев сказал он.— Бешеный!
— Я просто не люблю, когда женщины так мне отвечают.
— А ты как хотел?!
— А я никак и не хотел. Теперь я уверился в своей правоте полностью! Не надо было мне лезть во всё это.
— И что теперь, отступишь? Дашь себя победить? Да? Этуале дашь?

— Читай, читай скорее лучше!

Стромынин хлопнул крышечкой деревянного ларчика, отчего взведённый Михаил подпрыгнул на месте, как от выстрела, и вытянул из-за жилета письмо.

Стромынин, послюнив пальцы, открыл конвертик, достал письмо на голубой бумаге и откашлялся.

— Я сейчас ударю тебя, Павел! Проткну тростью! — зашипел Михаил.

— Изволь… О, по-французски.

— Читай!

— Так написано витийно!

— Читай, сказал!

— «Тра-та-та, милостивый государь, вы были неправы меня так увидеть… там, не надо было нам там видеться, я совсем не то… тра-та-та…»

— Ты что, рехнулся, Павел? Почему ты пропускаешь?

— Тут неинтересно.

— Но я сейчас…

— Понял… проткну тростью, убью посохом… Полный текст: «Милостивый государь, Михаил Емельянович… Имею сказать вам своё великое неразумение относительно вашего мальчишечьего поступка, поскольку мужчине сбегать не пристало. Теперь же, выводя меня из себя, вы требуете, чтобы я с вами встретилась там, где вы решили. Отнюдь этого не будет, потому что не может быть. Я себя слишком высоко ценю, дабы вам производить надо мной какие-то подобные действия и желания! Заметьте это себе и зарубите на своём купеческом носу!»

Михаил ударил двумя руками по стулу так, что он жалобно треснул где-то посередине.

— Да я! Да я её! — задохнулся он, покраснел и, схватив кувшин с водой для полива с поставца, плеснул на себя.

— Вот! Именно то самое, что нужно! — засмеялся Стромынин своим фигуристым, заразительным смехом.

— Что она мнит о себе?! Да хоть бы она была тайной женой государя императора! В отставке!

— Ах, Мишель, прекрати гневаться, я сейчас…

— Да если бы она была царица эта… Савская или Хавская, как там её! Пусть молчит! Ж-ж-женщина!

И Михаил, пометавшись по комнате, подбежал к убранному светлыми занавесками островерхому оконцу и стал бороться со щеколдами. Они некоторое время не поддавались, но потом окно захрустело и открылось.

С моря залетел прохладный ветер, сдобренный запахом скошенной травы и переспевших персиков.

— Где она живёт, Стромынин? Чёртова ж-ж-женщина! — крикнул Михаил Емельянович в сердцах. — Я эту Ялту на уши подниму, но мне нужна сатисфакция!

— Мишель, ты пока уймись.

— Ну? Ты знаешь? Всё! Больше ни слова о ней! — Михаил хватал воздух из окна, как задыхающийся. — Но нет! Чёрт возьми, а? Срезала!

Стромынин уже исподлобья смотрел на Михаила издевающимся взглядом. Он наблюдал за ним, как за актёром в театре, вышедшим на сцену под мухой. И ждал, что вот-вот… сейчас что-нибудь совершится, отчего станет стыдно и щекотно за него.

— Так со мной не поступали! Ну нет! Я помню, ладно… Было один раз, когда я шемизетку какую-то в Москве однажды полюбил, и очень. Она была с Калужской заставы, тут вот… то есть там на дачах жила с каким-то дворянчиком. Потом он уехал с дач, а она осталась жить на них и, скучая, каталась до Лубянки и назад на извозчике. Переменяли лошадей у водоразборного, у фонтана, там я шёл нанимать ямщика, а тут стоит она у возка, вся в пере и пухе… Чёрт, как меня тогда подкинуло! Да, от меня только что убежала моя жена, Женечка была ещё здорова. О горе! Я к ней подошёл, договорился, а она мне в лицо: да поехали… Три дня мы с ней пропадали, ох, что за женщина была! Я жениться хотел! А она мне говорит: «Сам большой, а ум короток. И мне пора в тишину дубов». Я как вскочил! Царица Небесная, она… мне! Как швырнул её на улицу вместе с её платьями-разлатьями! Всё, после того такого больше уже не было. Я был дурак. Я и сейчас стал дурак. Ты виноват!

И Михаил ткнул своим огромным пальцем в слабую и будто бы хрустнувшую грудь Стромынина.

— Хорошо, — покорно сказал Стромынин. — Я виноват. Я пошёл? Или ты меня намереваешься тут убить, да? Нет?

В это время тяжёлая дверь чуть отворилась, и в комнату заглянул доктор Дузе.

— Михайла Емельянович! Не могли бы вы… потише немного? Женечка засыпает, и мы не слышим Гюго. Так вы тут кричите. Через вас не слышится Гюго.

Михаил Емельянович, словно очнувшись, закрыл рот двумя руками:

— Друг мой, молчу! Молчу наипокорно.

Дузе закрыл дверь, а Михаил размашисто перекрестился на угол, где в паутине под самым потолком виднелась маленькая иконка.

— Что такое, Господи? Почему ко мне такая вот… беда?

Стромынин привстал, но Михаил, подскочив, ударил его ладонью по плечу и вбил обратно в кресло.

— Сиди! Пока не скажешь, где она живёт, я не отпущу тебя.

— Я и не скрываю… — промычал Стромынин. — Ты соберись и реши, что тебе нужно. Может, тебе нужно коньяку или пустырника выпить.

Михаил тяжело упал на диваны. Он был одет как средиземноморский пират—в коротких штанах, открывающих его мощные икры, и в свободную рубашку, перетянутую кушаком. Не хватало только кинжала в золотых ножнах и повязки на голове. Вся стать морских разбойников отметилась в Михаиле как родная.

—Я её… просто посмотрю, хоть издалека. Это действительно энигма, как ты говоришь. Я её не понял, не промыслил. И она—чего хочет от меня? Вот чего? Чего?

Стромынин смирно сидел в кресле.

—Ну… что может хотеть женщина от мужчины…

—Так что ты молчишь, как жабий камень? Где она живёт?

—В Аутке.

—А! Вот что! А где в Аутке? Мне что, сжечь вашу Аутку?..

В дверь снова заглянул Дузе, и Михаил кинул в него бархатным тапком.

—Молчу!

Дузе ретировался.

—Ты знаешь, если меня до этого доводят, то всё! Поехали в Аутку, беги, бери извоз!

Стромынин вскочил и выбежал из комнаты. Через миг он уже договаривался на каменном дворе гостиницы с лохматым мужиком в картузе.

Величалин впрыгнул в сапоги, набросил пиджак и, схватив со стола несколько раздавленных абрикосин, бросил их в рот, как в жерло вулкана.

—Дьяволы!—рявкнул он и быстро вышел из номера.

Женечка, слыша всю эту историю через две комнаты, лежала в постели, укрытая до подбородка.

Дузе сидел рядом и читал при лампе.

—Доктор…—прошептала Женечка.—Папа́ чем-то обеспокоен. Ведь не мной? Я хорошо себя веду?

—О да, ангел мой, вы славная…—улыбнулся Дузе из-за книги.—Не в вас, видно, дело, что-то решает…

—А я думаю… он вчерась пропадал… Где-то, наверное, был в весёлом месте…

—Ну! Что вы, какие весёлые места?!

—Я знаю, я читала…—перебила доктора Женечка.—Он, наверное, был с женщиной; я знаю, что его женщины только так могут довести.

Дузе молча отвёл глаза и покраснел.

—Наверное, он скоро вернётся, и вы уже будете спать и ни о чём дурном не думать. А потом ещё с ним Стромынин.

—Вот и я о том же…—вздохнула Женечка.

—Все лошади у вас тут как ишаки! Что за лошади?! Что вы еле тащитесь?! Мало того, что жара, что духота, смерть просто! И ваши лошади! Чтоб они!—Михаил гремел, пока ехал по недавно вымощенной турками дороге.

Сообщение тут, в горах по побережью, было преотвратительным. Чуть дальше на юго-восток можно было, конечно, двигаться по татарским дорогам, через Симферополь и к Карасубазару и Солхату, но Величалин ужасно боялся высоты, поэтому зажмуривался, когда ехал сюда с Женечкой по перевалам.

—Ну почему, почему тут ещё не сделали сносное сообщение?—ворчал Михаил.—Денег им, что ли, дать, как Дервиз? Дервиз все дороги по губернии вымостил! Что, сюда императорская семья ездит, тут и Юсупов, и Воронцов,—и вместе с ними дичь?

—Ой, дичь!—кивал извозчик.—Давеча вот далеко ездил, на Салгир, там иллюминацию трёхдневную устраивали, возил туда князя одного. Тайно возил. У того, конечно, морская болесть, а больше башка дурная. Ну… вот навидался я жути. Там и старый Голицын был. Я издаля смотрел, да… Диковинно, но страховито.

—А что было то?—спросил Стромынин.

—А, так рождение внучки чьей-то праздновали. Люминация, цыганы, татары. Всякого беса нагнали. Представления, театры—и вино… вино по всем фонтанам, хоть купайся, закуся икры вёдрами, рыбы белой, красной, мяса на серебре подавали, и всем в парке было свободное хождение, и давали золотой рубль каждому.

—Ну удивил! В Москве не был ты.

—Почему?.. Отхожу и в Москву… Там всегда так по булеварам да паркам, а тут же только вот начали народ дивить.

—Лучше б дороги сделали!—плюнул Михаил в пропасть.

—Да! Ну, скоро летательное чегой-то придумают, и можно не делать дороги. Видал я уже и синему, и телеграф, и граммофон видал. А уж автомобили то! Господи, гудят, ревут! Несутся ужо! Скоро придумают, ей-бога мать, летательное что-то. Неохота в Москву ехать через те автомобили.

На пустой дороге на Аутку не было видно ни зги. Только по очертаниям кустарников на фоне моря можно было понять, где начинается край каменистого склона. Ямщик заболтал Стромынина и Михаила до того, что Михаил даже немного успокоился и уже так сильно не выкрикивал проклятия всему женскому роду.

Стромынин ехал подавленный и перебирал в голове, что сказать мадмуазель Амалии.

Он как будто бы знал её ещё с Москвы. Там видел много раз на приёмах и в театре, где присутствовал как журналист. У него всегда была тяга к прекрасным женщинам. А когда случился скандал и Амалия исчезла из Москвы, он под вымышленными именами даже написал в газете целую новеллу о хитросплетениях любовных отношений и их плачевных итогах.

Уход Амалии от губернатора был громким, и даже сама губернаторша все силы приложила

к тому, чтобы сгладить любые пересуды об этой истории. Но всё равно говорили, и говорили много.
— В Нижнюю ехать?—выкликнул извозчик Стромынина из воспоминаний.
— Да…—вяло произнёс он.—Дача чекалинская… знаешь?..
— Как не знать!

Потянулось во мраке, к счастью, политое светом взошедшего месяца, предместье в витиеватых улочках. За витиеватостью дорога освободилась, и вдалеке предстали Заречье и каскад беленьких дач по склонам горы.

Извозчик несколько раз повернул. Михаил совсем успокоился и молчал в глубине фаэтона, будто его накрыли шляпой.
— Вот! Приехали! Ночная такса мне…

Стромынин протянул руку Михаилу, тот бросил в ладонь ему несколько пятиалтынных и бумажку.
— Ждать вас?—спросил с козел извозчик.
— Отъедь туда, под пихты. И подожди до получаса. Коли не выйдем, то поезжай назад.

Михаил и Стромынин вышли из фаэтона, прихрустнув песком, которым была обсыпана дорога к дачам.

Ямщик отъехал подальше и всыпал уже овсу лошадям, перетаптывающимся и вызывающим собачий лай за высокими заборами.

Михаил пошёл за Стромыниным под навес раскидистых сосен во дворы, где так же их сперва облаяли.

В некоторых дворах горели фонари и светились окна дачных домов.

За дачными домами неказистые мазанки были рассыпаны в полном беспорядке по возвышенности и тонули в зеленях, теперь, ночью, в чёрных.
— Ну я никак не могу понять, что тут делает такая блестящая госпожа,—издевательски сказал Величалин, когда Стромынин подвёл его к скромному заборчику из досок и постучал.

За забором послышалось рычание собаки.

Стромынин ударил несколько раз в окошко сторожки. Там, внутри, завозились, и старый скрипучий голос спросил:
— Что там за чума ночью?
— Отоприте, пожалуйста, мы к мадмуазель Амалии срочно.

Что-то застучало и загремело в сторожке. Наконец через пять минут вышел дед в фуражке времён турецкой войны и серой замашке.
— Она не велела ночью пускать, я девушку позову.

Он пропал в темноте. Михаил стоял и трясся.
— Ты чего? Оконфузился?—спросил Стромынин, прыснув.
— Н-н-нет… я что-то…—пролепетал Михаил.— Мне что-то дурно.

Строгий страж дачного покоя вернулся с девушкой, закутанной по глаза в шаль.
— Вы из города?
— Да! Скажи ей, что я пришёл.
— Хорошо!

Девушка удалилась. Михаил стал искать глазами ямщика и, увидав его ещё на месте, под пихтами, успокоился.

Из домика вышла тоненькая девушка в той же самой шали. Она быстро подошла по дорожке к забору и смело вышла.
— Что вам нужно? Мне кажется, всякая переписка уже даром,—сказала она жёстко.

Из-под тени дерева вышел Михаил.
— Стромынин!—резко сказала Амалия.—Я вам сказала не появляться тут. Я буду и дальше работать… но вы меня оставьте. Сыта я вашей добротой. А вы,—обратилась она к Михаилу,—идите вон!
— Амалия… но… это же мы… оба к вам…
— Вот оба вон и идите! Ну? Что встали?

И Амалия подняла острый подбородок, и от этого движения волосы её, убранные на макушке, упали на спину волной.

Михаил и Стромынин молчали, остолбенев.
— Я сейчас прикажу собаку на вас спустить! На вас!—и Амалия указала пальцем на Михаила.
— За что вы так со мной?—спросил Михаил, кашлянув.—За что сейчас?
— Вы! Вы ещё спрашиваете! Дом! Номера! Выезд! Идите прочь! За вот это я вас отсылаю, за вашу наглость! Потерпела уже от этой высокосветской наглости. Все мы для вас песок, а не люди. Вам всем надо, чтобы этот песок только стелился перед вами. Так? За что мне-то перед вами стелиться? И вообще, Стромынин. Довольно это, хватит мне сватать хамов.

И Амалия, качнув волосами, схватилась за низкую калитку. Но, не успев закрыть её, рука Михаила придавила её руку к точёному верху.

Стромынин мгновенно испарился в темноте.
— Не уходите,—сказал Михаил медленно.

Амалия пару раз выдохнула, как загнавшаяся скаковая лошадь.
— Что вы должны Стромынину? Скажите мне, и я покрою ваши долги и оставлю вас навсегда.

Амалия вскинула голову.
— Это он мне должен,—чуть слышно, но с вызовом бросила она.—Он мне должен за мои унижения. Но я не собираюсь вам ничего тут открывать. Я для вас ещё одна. А вы для меня ещё один. И хватит на этом. Пустите!

Но Михаил крепко прижимал её руку к калитке.
— Может быть, я приеду один, чтобы поговорить и объясниться вам, что я не тот, кого вам сватал Павел Леонардович?
— Он только и хотел, чтобы устроить меня,—быстро сказала Амалия.
— Давайте я вам дам неделю времени, и встретимся через неделю у Массандровского сада, в пять часов пополудни. Я там гуляю с дочерью.

Амалия сникла, и рука её сползла с калитки.

— Это ни к чему вас не обяжет, просто походим бок о бок, — дрогнув голосом, сказал Михаил.

— Я ничем не собиралась быть вам обязанной. Вы надутый купчина, навиделась я таких господ.

Михаил вздохнул и отошёл на два шага.

— Меж тем я человек, и вы меня не знаете, — сказал он без тени волнения, но очень твёрдо. — А я так же не знаю вас. И перекрывать себе всякий путь к возможности узнавать вас не хочу.

Из темноты раздался свист Стромынина.

— Однако, да… перед моим приглашением прошу вас ответить на мои ухаживания хотя бы благосклонностью.

— Не обещаю, — сказала Амалия ровно. — Вы… много думаете о себе.

Михаил кивнул, поймал руку Амалии, мягкую и горячую, без колец и перстней, поцеловал её и исчез во мраке.

Амалия вернулась в комнаты в необыкновенном волнении. Она долго сидела перед зеркалом и жгла свечу, разглядывая своё лицо. В нём рождалось некое новое выражение, а старое утекало куда-то от новой улыбки.

Она так и уснула, улыбаясь.

С утра на море был шторм. Смотрели на шторм из-за перил набережной. Женечка, приклонившись к Стромынину и положив ему голову на плечо, молчала, перебирая янтарные бабкины чётки, без которых редко выходила гулять.

Михаил сидел строго, как сомнамбула и глядел на тяжёлые валы, разбивающие каменистые насыпи на берегу. Ему казалось, что сейчас что-то трескается и в нём под этим страшным гулом.

Днём Женечка была весела и попросила пройтись по пляжу, чтобы убегать от волн. Она несколько раз, за руку со Стромыниным, подбегала к краю взбугрившейся воды и отбегала прочь, чтобы не намочить платье. Стромынин подхватывал её и кружил.

Наконец он подхватил её за талию, чтобы спасти от воды, и Женечка дёрнулась в его руках, обхватила его шею и судорожно прижалась к его груди. Стромынин отнёс её на большой камень.

С высоты набережной за ними приглядывал Величалин.

— Папá не слышит… Павел Леонардович… а вы не понимаете… — прошептала Женечка.

Ветер набросил ей на лицо кудри. Она смотрела на Стромынина как верная собачонка, ожидающая удара хозяина.

— Не подумайте, я всё знаю… Придите ко мне, как папá не будет. Мне нужно… чтобы вы пришли ко мне.

Стромынин замер и смотрел без движения на Женечку, и ему хотелось обнять её и сразу же унести куда-то.

Бедный человек, Стромынин никогда не жил так, как ему хотелось. В этом была причина его несчастия. Ведь всегда находятся люди, которые сами себя не умеют успокоить, и мнутся, и рвутся, и не знают, как другие не мучаются.

Горе от ума или что ещё другое? Может быть, и что другое, но оттого вовсе не легче.

Стромынин устраивал Амалии встречи с самыми богатыми отдыхающими, вылавливая их по пляжу. Начинал с того, что наблюдал, а после входил в доверие. Водил в Беседку — так назывался тот домик, в который они с Величалиным ходили в первый раз. Там со сговорчивыми господами у Амалии всё преотлично устраивалось. Стромынин собирал капитал на открытие собственной типографии, Амалия снимала дачу. В этот год она устроилась учительницей грамматики в ауткинскую школу, ходила в храм петь.

Никто в этой женщине, скромной и немногословной не мог углядеть блестящую Амалию, в которую она обращалась вечерами и ночами.

Но она и стараниями Стромынина встречалась только с отдыхающими, чтоб никто из местных, не дай Бог, не узнал ничего.

Всё тут было поставлено на хорошую ногу, ничего не скрипело, пока не появился Величалин. А оказалось, просто… Амалии терпение изошло. Устала она от своего положения. Время её к тридцати, а ничего хорошего нет! Да, расцвет телесный, но где покой душевный?

Что-то всё-таки Амалия в Величалине углядела. Что-то природно-чистое, и вместе с тем способность сочувствовать.

Но Стромынин, человек изящного плетения, был хрупок лишь снаружи. Его, казалось, ничего внутри не трогало, ничего не раздражало. Он выходил сухим из воды, шёл навстречу ветру и не гнулся, был, как ртуть, всюду пропущен, в любую щель.

И он не ожидал, что в нём явно пробудится чувство к Женечке.

Таких, как она, тут была прорва. Они даже намылили ему глаз. Маленькие, хрупкие мотыльки, доживающие век свой в странном и мрачном мире, освещённом последним отчаянным обожанием родных и близких.

Женечка же как-то слишком была живой для своего положения. Она рвалась из него, словно не понимала, что всему её существу скоро придёт конец. А может быть, конец её так и дразнил.

Но Стромынин не питал никаких надежд в отношении неё.

Он проживал в двух комнатах в районе Заречья. Стол, кровать, два стула, маленькая прихожая, где стояли диван и торшер. Весь его быт. Только в гардеробе его много разной одежды, нужно же было «выглядеть» для господ своим.

Амалия также имела с полтораста платьев. Она никогда не выглядела скучно, как днём, отправляясь к ученицам.

Всю ту неделю, что Величалин дал Амалии и себе подумать над жизнью, они оба не находили себе места.

Величалин прогуливался с Женечкой и Дузе, но на лице его всё время играла улыбка. Он прятал эту улыбку за благодушным разговором, за неимоверной нежностью, проснувшейся к Женечке.

Стромынин тенью шёл рядом и дивился переменам в Михаиле.

Михаилу же хотелось обнять весь мир. Даже песок и щебень, даже бакланов и дворовых собак.

Женечка умоляюще взглядывала на Стромынина, но тот, подставив ей локоть, только чуть поглаживал пальцы в перчатке, чем вводил её в волнение и слёзы.

Порой, пропустив вперёд Михаила, Стромынин останавливался, будто показать Женечке белку на кедре, или дельфинов на морской зыби, или яхту. Дузе и Михаил переговаривались, шли впереди.

— Я, несомненно, люблю, люблю вас как свою душу, но ничего не может быть. Ничего… Вы девица совсем ещё незрелая, я для вас только внешне интересен, вы меня не знаете, я принесу вас несчастье, уйму бед.

— Мне всё равно… — улыбалась Женечка. — Пусть это будут первые и последние мои беды, я не хочу уходить без бед. Я хочу этих бед, Павел Леонардович, наделите, украсьте меня ими.

— Вы обчитались Мопассана и Мериме, мне вам трудно объяснить, что в жизни складываются иные законы, чем в литературе. Женечка, вы меня доведёте до греха.

— Никакого греха в любви нет. Не отвлекайте меня от моего помешательства. Я хочу новой жизни.

Стромынин хватал её руки и жадно целовал их, оборотившись спиной к Михаилу, пока Женечка подглядывала, чтобы их не заметили.

На её мраморном лице, где прожилки на висках вились, как подлёдные ручьи, вспыхивал слабый румянец, глаза становились ярче, взыгрывались, как бериллово-зелёное море от солнечного света.

В этом очаровании обречённости было так много страсти, что Стромынин от запаха Женечкиных кудрей, от эвкалиптового масла, которым она пропахла по вине лечения Дузе, забывал о своей душе и пытался не отдаться нескромным мыслям.

Бродя по Заречью, наслаждаясь внезапным похолоданием и свежестью, Величалин со Стромыниным однажды забрели в татарскую корчемлю, где все сидели, по обычаю, с ногами за столом.

Стромынин задёрнул кисейную завеску, попросил кальян с шариком гашиша, и Величалина развезло.

— Если бы мне раньше попалась ваша Амалия, я бы даже внимания на неё не обратил. Ведь она играет со мной, балуется. А что возьмёшь серьёзного с баловства?

— Ничего она не балуется. Я впервые вижу, что мадмуазель Амалия так зла. Без причины, — выдохнув дым, проговорил Стромынин. — Мы, в сущности ничего не понимаем о женщинах. Думаем о них так, как нам удобно, а надо как-то иначе.

Величалин покрутил ус. Ему давно не было так спокойно и тепло, как сейчас, на этих басурманских коврах, под тихое постукивание давула и завывание кеменче. Михаилу чудились тени, напрыгивающие на него, бегущие по-над верхами масляных плошек, над горками рассыпчатого плова и винными корчагами.

Музыка заунывно плелась в глубине корчмы. Она выливалась из угла, где на циновках сидели три музыканта, и грусти, степной грусти одиноких вечерних яйл, каменных ущелий, дыхания моря не было предела.

Море вздыхало совсем близко шумными валами, ударяющими в заграждения мола. Оно качало всю мировую печаль и выплёскивало лишь толику той страсти, которую нельзя было измерить никакими баками и кубами. Синь, сосущая душу через завихрение ветра, утренняя маета бледного сизого пространства.

И всё это крепко заплелось в один вал непроглядного одиночества и тоски, которая накрыла и расплющила Михаила.

Он приподнял голову над подушками.

— Стромынин… ты любил когда-нибудь?.. — спросил он вполголоса, стараясь не выпутаться из музыки и дремоты.

— Любил… — тут же отозвался Стромынин. — Мне было очень удивительно, что я вообще мог это делать, но это случилось ещё в юности и быстро прошло. Сквозь кровь свою я пропустил эту любовь. Совсем был молод, а она была такая… совсем лёгкая, тонкая, и нельзя было её поймать. Нельзя было, а иначе бы я поймал… Что я тебе говорю?.. Зачем?..

— Надо говорить, говори, Стромынин… мне сейчас нельзя без разговоров никак нельзя, умру, сойду с ума.

— Ну, тогда давай ещё вдуем, Мишель.

И Стромынин передал ему трубку.

Михаил вдохнул сладкий дым, проплывший по его существу и закруживший голову до того, что он упал на подушки.

— Вот я боюсь, что будет с Женечкой, опасаюсь, что всё, к чему я привык, скоро исчезнет, и только одиночество останется. Ведь я одинок и горек, как я горек… Если бы я раньше встретил её…

— Чего вы ждёте, я не понимаю? — сказал Стромынин. — Вам уже поздно и незачем ждать, это ожидание делает только ещё несчастнее и её, и тебя. Зачем ты её мучаешь?

— Ты думаешь, что я мучаю её? — приподнялся Михаил. — А что, я должен наступить на гордость свою?
— Как тебе хочется, Мишель. Ты знаешь теперь, где она живёт и где её можно найти. И всё равно чего-то ожидаешь. А я бы не стал ждать, если б имел предложение. Такое прекрасное предложение, и такой ты глупец!

Михаил попытался встать, но его что-то тяжко уронило назад.
— Э, брат, ты пропал. Совсем пропал.

Стромынин встал на четвереньки и, выглянув за завеску, подозвал хозяина-татарина.
— Любезнейший, пошли за извозчиком. Будь добр.

Из корчмы Стромынин вывел Михаила под руку и выглядел смешно, таща его огромную фигуру.

Михаил упал на сиденье фаэтона.
— Вези нас в Гаспру на бухту, — сказал он вяло. — Мне нужно искупаться, срочно.

Извозчик покачал головой, прикрыл дверку фаэтона и с осуждающим вздохом влез на козлы.

Стромынин придерживал Михаила, пока они ехали над скальными обрывами.

В Гаспре, миновав сеть унылых улиц, в полутьме, Стромынин и Михаил почти что выпали из фаэтона и побрели по узкой каменной вырубленной лестнице с разновеликими ступенями к морской бухте.

Михаил хотел сразу, в одежде, кинуться в море, так ему было хорошо. У воды никого не было. Волны успокоились, чуть слышно шептались. Это были уже не те волны, что воздымались вчера в самой Ялте, а тихие, связанные бухтой, негромкие и нежные пелены, будто спавшие с небесных плеч.
— Посмотри, Стромынин! Какие близкие звёзды! — выкрикнул Михаил и упал ничком на гальку, глядя в небо, всеми глазами глядящее на него.
— «Смотрит на звёзды звезда моя, быть бы мне небом, чтоб мириадами звёзд мог я глядеть на тебя…» Или так: «Открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна». А тут когда-то ходил Пушкин. Знал ты это? — отозвался Стромынин.
— Знал… — протянул довольно Михаил, шаря распахнутыми руками по камням. — И как можно тут не любить, в этом богоданном краю?
— Тебе надо в Италию ещё съездить. Вот где разница! Проехаться по тамошней интерполяции и тамошних дам поглядеть.
— Мне не нужно! — сказал Михаил, улыбаясь. — Я решил…
— Что ты мог решить за такое время? — хмыкнул Стромынин, садясь на камень. — Поиграешься с ней — и всё, так же, как и все, бросишь.
— Ну! Дурак ты, Стромынин! Натуральный причём.

Стромынин замолк. Он смотрел на блестящие журчащие волны, меж камней гулко переговаривающиеся друг с другом. Ему было нестерпимо грустно, и он бы тоже хотел упасть и лежать, но дорогой саржевый костюм не давал ему полностью отдаться своим желаниям.

Домой шли пешком. Михаил шёл, тяжело загребая ногами, и что-то напевал под нос. Стромынин бил тростью ненавистное шоссе, словно оно ему чем-то досадило. Не встречались ни автомобили, ни омнибусы. Утро только начиналось. Если Величалин выспался, забывшись здоровым сильным сном, то Стромынин просидел на камне, как неспящая сирена в ожидании мореходов, и жаждал рассвета. Рассвет пришёл вместе с приливом. Михаил проснулся от волн, накатывающих на его ноги.
— Ты почему, стервец, не разбудил меня? — прогремел он, быстро скинул одежду и ринулся в море.

Подобно моржу отфыркавшись, проплыв туда и назад в тёплом и благочинном море, Михаил вышел на берег, помахал руками солнцу и стал медленно одеваться.
— Женечка снилась. А ты что, так и спал на камнях? — спросил он Стромынина будто между делом.
— Да, так и сидел по твоей воле, — неприязненно бросил Стромынин, наклонился к воде и, набрав полные ладони воды, плеснул себе на голову, зевнув.
— Пойдём домой. Я волнуюсь… оставил ребёнка одного.
— С ней доктор, вряд ли ты будешь полезен больше его.
— Это как? Не-ет, брат! Она без меня раскиснет совсем.

Стромынин, конечно, пытался и спать тут, у моря, но его донимали мелкие комары, такие отвратительные, что он весь исчесался. Меж тем Михаил спал как матрос после праздника перехода экватора.
— Летучий ты голландец, тебя дрыном не взять и не разбудить! — сказал Стромынин, глядя на молодцевато повязывающего кушак Михаила. — Тебе сколько лет, Мишель?
— Тридцать семь! Старик!
— Да! Пушкин уже в гробу лежал.
— Что ты мне всё своим Пушкиным наводишь тоску? Ну, он стрелялся. А я не умею даже. Зато кулаком могу махнуть знаешь как? Во! — и Михаил попрыгал, как борец в ринге, поднимая и опуская огромные кулаки.
— Да… Амалия-то против тебя — щепочка. А Женечка вообще как ветерок.
— Женечку не трогай. Она моя душенька… — ласково улыбнулся Михаил. — Таких душенек нет больше. Знаешь, ведь она всё, что я помню.
— Пойдём тогда, раз так. Уже сил нет, и солнце разгорится. Не надо нам было вчера набираться, да ещё и гашиш этот…

Величалин быстро побежал вверх по вырубленным лестницам.

— Эй! Ты знаешь, там Голицыну старому рубили прогулочную тропу... турки-рубщики-то сутки привязанные висели... Шторм поднялся, снять их не могли. Висели, бедолаги... Но тропу вырубили что надо. Туда ходил ты? — задохнувшись от подъёма, спросил Стромынин, когда они вышли на шоссе.

— Нет! Туда только господ из бархатной книги зовут, а мы покамест рылом не вышли.

Они пошли по шоссе, прикрывая головы руками. Солнце довольно быстро стало печь.

Наконец издалека Стромынин увидел татарскую повозку с дынями. Он замахал руками.

— В Ялту! На «Лондон».

Татарин знал «Лондон» и посадил Стромынина и Величалина на край повозки. Так они и доехали. Величалин, правда, падал лицом в дыни, когда они цепляли колёсами край шоссе и внизу открывалась пустота.

— Осподи, Царица Небесная! — шептал он и крестился. — Вот чего-чего, а высоты страсть боюсь...

Прибыли к полудню до города. Но Стромынин слез и пошёл в сторону Ауток, а Михаил — в сторону Большой Ялты.

Странная ночь в Михаиле породила тревогу, смешанную с чувством вины и прелести. Он то и дело поминал миндальные глаза Амалии, и за это ему было страшно стыдно перед собой.

Стромынин спал одетый, взмокнув от духоты. Окно было плотно заперто. Он намучился от комаров.

Ему снились море и яхта, беленькая, как яичко, и даже чуть голубая. Он стоял на корме и держал Женечку, которая переступала по стапелям босыми ногами. Но почему-то ноги её были красные и даже немного синие, с чёрными ноготками. И рука была такая же. Отчего Стромынин в ужасе совершенном вскочил на кровати и растянул на шее, чуть не разорвав, шёлковый галстух.

В дверь его стучали оглушительно. Он поднялся, тяжёлая голова, и налитые словно бы солёной щипучей водой глаза вываливались от сильной головной боли. Он подковылял к двери и, отчаянно зевая, отпер.

Усатый дворник стоял у двери и совал красный пропитый нос в прикрытую дверь.

— Барин! За вами послали срочно от господина Величалина. Приказывали немедля быть, извоз ждёт внизу, не уезжает. Я уж стучусь вам около четверти часа!

Стромынин замычал:

— Что случилось?.. Сказали что?

— Сказали: срочно нужен. А уж для какого дела, не сказали, и у ямщика вам записочка.

Стромынин накинул сандалии на босую ногу и слетел вниз по лестнице, по брусчатому двору, за забор и к ямщику — с наслаждением ковыряющему в носу чернявому парню.

— Что там?

— А! Барин! Как почивали?

— Записку.

— Ох, ё!

Ямщик пошарил в кожаном гамане на поясе и вытянул клетчатый школьный листок, сложенный вчетверо, на котором было написано спешно: «Женечка! Скорее, Паша, плохо».

— Ну! Рвём когти! — крикнул Стромынин и прыгнул в возок, на обжигающие, нагретые солнцем кожаные сиденья.

Лак упруго уркнул, Стромынин вжался в спинку под тент, а ямщик, присвистнув на лошадей, стеганул правую по крупу.

Взлохмаченный, с солёными волосами, после моря не помытый, Михаил сидел в гостиной и плакал, как ребёнок.

Стромынин быстро вбежал по лестнице к номеру и двинул дверь.

— Паша! Она умирает! Это всё я! Это я виноват! Меня не было, нас не было, а Дузе нас искал!

Михаил прыгнул к Стромынину и мощно вцепился ему в рубашку, плевал ему в лицо слезами и слюной и тряс его, как петрушку.

— Ну, Мишель! Что такое?! А Дузе где?!

— Он поехал в аптеку! Она требует тебя! Иди к ней! Успокой, я не знаю! Ах!

Стромынин взял Михаила за запястье:

— Для этого мне надо, чтобы ты меня отпустил.

— Ах да! — крикнул ему в лицо Михаил. — Только иди!

Стромынин ладонью оправил выпавшие из причёски кудри, отдал трость Михаилу и вышел через холл.

Он постучал и через несколько секунд вошёл.

— Евгения Михайловна...

Женечка лежала в полутёмной комнате с задёрнутыми портьерами и одной рукой сжимала красное бархатное одеяло. Голова её была поднята, на груди лежал компресс, а щёки горели так, что Стромынин чувствовал этот жар на расстоянии.

— Вы здесь... славно... — прошептала Женечка. — Сядьте и думайте о том, что я вот умру, а вы... будете меня вспоминать.

— Ну что вы, Женечка! Ничего вы не умрёте!

Стромынин вдруг прослезился и, подняв Женечкину руку от одеяла, схватил в свои руки и стал горячо целовать её.

Рука была прохладной и бездвижной, но через минуту согрелась и, ожив, сжала Стромынину пальцы.

— Хорошо... а то я думала, все покинули меня — и адью... Нет... вы не покинули, примчались.

— Мы немного с вашим батюшкой вчера перебрали, понимаете, он устал.

— И влюбился к тому же…— улыбнулась Женечка.— Но он клялся мне, что любит только маму. Он не хочет мне говорить.
— Что говорить?
— Что мама умерла. Он боится, что я разволнуюсь… а… я знаю это,— Женечка страшно закашлялась, откинулась вбок и прижала к губам одеяло.
Она кашляла долго и сильно, так ужасно, что Стромынин закрыл ладонями нос и рот и даже глаза от режущих слёз.
Наконец, когда Женечка перестала кашлять, Стромынин поднял лицо. Она сидела перед ним растрёпанная, дышала тяжело, и губы её были красны, а в руке она смяла платок.
Рубашка Женечки была расстёгнута до талии, и на груди видны были следы пиявочных процедур.
Стромынин вдруг увидел и услышал в Женечке что-то дикое, не поддающееся его разуму. Он был совсем близко, её тепло переходило по воздуху к нему, спелёнывало его и душило. Даже не тепло — жар. Копна волос над белым лбом, лихорадочные глаза, маленький покрасневший носик, шея в голубых тенях.
Стромынин упал на одеяло, а Женечка вплела свои пальцы в его волосы, поползла к его шее. Стромынин глухо застонал и замотал головой.
— Нет, не так, не так!— залепетал он.— Не так…
— Так… то мне осталось жить…— ответила Женечка развязно.
— Но не так…
— Приходите ко мне завтра… я отошлю папа́… Я буду одна, для вас… В окно лезьте…
— В окно… тут третий этаж!— затрепетал Стромынин.
— Не трусьте… в окно по балкону с левого крыла войдёте, с пожарной лестницы… под плющом вас не увидят.
— Но я…
— В десять вечера.
— Но ваш отец будет дома.
— Так заберите его куда-нибудь к чёрту!— хрипло прошептала Женечка.— Мне важнее вас… Павел Леонардович… Паша…
Стромынин с силой стиснул полуобнажённую талию Женечки, та упала на подушки и, схватив его за шею, шумно выдохнула в ухо:
— Люблю… люблю… завтра…
Стромынин, с бьющимся в висках сердцем, захлебнулся волной горячей страсти, оторвался от Женечки и, падая, приседая на обе ноги, попрыгал к двери. В зале он овладел собой, опершись спиной о дверь, несколько раз вдохнул и выдохнул, вытер пот и заметил, что больше не хочет зевать. Нет, хочет бежать к дьяволу, хоть в Болгарию, хоть в Турцию, хоть к чёрту на рога.
Михаил ждал его с бокалом красного вина.
— Ну что?.. Как она?..— безжизненно, изрыдав свою беду, произнёс он.
— Лучше… Кашляет, но розовая. Взяла с меня обещание прогулять её до Верхней Массандры на днях.
— Как?!— выкрикнул Михаил, порозовев.— Да? Так?
— Да… просто, как я понял, она испугалась за тебя.
— Всё! Больше никаких уходов моих,— с болью в голосе сказал Михаил.
— Нет же! Наоборот. Ты как-то должен… в общем… дело такое. Она думает, что ты встретил тут… свою любовь.
— Кого? Что?
— Матушку.
— Чью?!
— Мишель, не дури!
— А… вот… а…— замялся Михаил и выпил фужер до дна.— Н-ну… чёрт… А?
Стромынин трагически вздохнул.
— В общем, так… Думай, голова, картуз куплю.

— Мы враги по несчастью. Стромынин, езжай к Амалии…
— Нет, это ты сам должен ехать, Мишель. Во-первых. А во-вторых… друзья! Говорят: друзья!
— Но как же… я?
— Но так же. Если я поеду, то что же я скажу?
— Ну… скажешь, что я умоляю!
— Стой! Нет, всё не так, опять ты! Вот глянь-ка! Приезжаю — я, прошу — я. А что, ты же считаешь, что так надо, чёрт, ты же всегда прав? Нет, Мишель! Я не за себя прошу, но теперь ты должен попросить за себя! И за Женечку!
Величалин опустил голову, как бык, старающийся забодать не только своё, но и чужое стадо.
Стромынин, правда, не испугался. Он уже думал о Женечке.
— Когда же мне ехать?— спросил порушенно Михаил.
— Сегодня напиши ей, я передам записку. Завтра ты непременно — слышишь, непременно!— должен быть у неё!
— А Женечка? Что, как я оставлю её в таком состоянии?
— Мы побудем.
Михаил вытер лицо рукавом.
— Теперь мне придётся её уговаривать.
Вдруг Михаил вскочил со стула и подбежал к буфету. Быстро выбросив из ящичков какие-то письма и документы, он порылся в них и достал маленькое фото.
— Стромынин! Я умру!— крикнул Величалин.
— Мы все умрём,— философски заметил Стромынин.
— Я тебе как пить дать говорю! Вот это фото моей жены… То есть… ну, как бы моей жены. Для Женечки. У меня не сохранилось фото с моей женой, и я для Женечки сделал. Смотри! Ну! Ведь она на неё похожа!

— Кто на кого? — взвился Стромынин. — Кто? Амалия на эту?
— Да!
— Что-то есть... отдалённое. Но ты хочешь обмануть дочь?
Величалин схватил себя за макушку.
— А что я должен делать? А? А если всё так же выйдет? Она меня предаст!
— Расскажи ей всё. Но только потом, когда с Амалией договоришься. Вот как есть Женечке расскажи. Что обманывал её и так далее. Э-эх! Ну и нравы у вас!
— Видит Бог, я не хотел! Ты прекрасно осведомлён, что я вынес.
— Да! Осведомлён. Садись и пиши к Амалии.

Стромынин приехал на ауткинские дачи уже под закат. Солнце отчаянно цеплялось за вершину горы, стараясь ещё хоть какое-то время пролить наземь раскалённый зной.

Калитка была открыта. Псина привязана. Стромынин вошёл в домик, где был встречен девушкой-горничной.
— А... барыни нет моей. — сказала она быстро. — Она укатила в Гурзуф с каким-то там кавалером.
— Надолго? — крикнул ей в лицо Стромынин.
— Ну... надысь вот укатила. Завтрева обесчала бысть.
— Что? Завтра? Когда она воротится?
— Может, и не завтра. Сказала, чтоб я не звала вас.
Стромынин вышел во двор, но увидал, что двинулось во втором этаже что-то, качнулась занавеска. Он со скрипом повернулся назад по песку и вбежал в сени, отодвинув довольно резко девушку, вскочил на ступеньки и побежал наверх.
Амалия не успела запереться. Она была в домашней одежде и без причёски. Волосы убрала в косу, на ногах были татарские чуреки, А лёгкое платье было перехвачено жёстким татарским поясом.
— Уходите! — некрасиво взвизгнула она. — Павел Леонардович! Уходите прочь! Вы что, договорились все терзать меня? Он меня совершенно унизил!
Стромынин кинулся на пол и схватил её за коленки так сильно и неожиданно, что Амалия не удержалась и повалилась на ковёр. Стромынин потёр руки.
— Зина! Перестань ёрничать.
— Что? — переспросила Амалия. — Что ещё я должна сделать, чтобы ни тебя, ни этого купчину, этого... борова, не видеть больше? И почему приехал не он, а ты? А? Я несколько дней места себе не нахожу!
Стромынин засмеялся и стянул с ног сандалии.
— Я вот о чём. Завтра ты просто обязана его дождаться. Это дело крайней важности.
— Какое дело? — передразнила его Амалия. — Крайней важности? Для него или для меня?
— Для всех нас!
Амалия медленно поднялась, пожала плечами и упала в плетёное кресло у окна, откуда ей хорошо были видны двор, пихты и кусочек моря.
— Штормит, что ли, вас всех? — буркнула она, доставая папиросу из тонкого серебряного портсигара с вензелем одного из благороднейших дворянских родов Российской империи. — Мало что так грустно начался этот год... подумать! Каким он дальше будет... Матушка наша померла в Твери...
— Хорошим, конечно. А матушка... что... Старая она уже была, царствие небесное... Ты выйдешь замуж за Величалина, я женюсь на Женечке.
Амалия помахала спичкой.
— У него больная дочь, да? Чего он тогда лезет ко мне? Утешиться? О чём я должна с ним говорить? Ты говорил, что я за человек и что ты за человек? Ты сказал, что ты... негодяй и подлец, который продаёт свою сестру?
Стромынин закинул ногу на стол, а на неё вторую ногу. На его босых ногах были хорошо видны следы вчерашнего вояжа.
Амалия присвистнула.
— О, Паша... где это вы лазали? По горам?
— Нет... ходили там в одно местечко. Потом накачались гашишу... Его не взяло, конечно. Зато я спал на пляже, прямо на камнях. Да и то не спал, а мучился. Я хочу жениться на его дочери, пока она жива. Понимаешь? Ты понимаешь?
— А я что тогда? Чем могу тебе помочь? — вздохнула Амалия.
Стромынин указал Амалии на грудь и сделал круг трубкой.
— Вот всё это должно работать нам на пользу.
— Ну, когда он поймёт, что мы... мерзавцы...
— К чёрту! Он никогда этого не поймёт.
— А если я полюблю его? Он, как мне кажется, достоин любви.
Стромынин поднял брови и фыркнул.
— Если бы я не был мужчиной, я бы сказал тебе всё, что я думаю об этих вот... вахлаках. Знаешь, за две недели он мне понарассказывал уйму всего такого. Ну, что, бы ты думала, занимали его мысли и дела больше всего? Женщины! Да! Он вашу сестру любит и удит её в любом месте, где вы водитесь.
Амалия раздосадованно ударила по маленькому палисандровому столу ладонью.
— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.
— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Паша, мой ум на службе других интересов.
— Завтра вечером задержи, пожалуйста, задержи… его здесь подольше. Если не выйдет у тебя, выйдет у меня… Но он не должен вернуться раньше пяти часов утра. За это время я смогу убедить Женечку, что я тот, кто спасёт её.
— А если она умрёт? — с опаской спросила Амалия.
— Так тому и быть! Но пусть она умрёт только после того, как станет моей женой.

Стромынин приехал с новостью. Амалия ждёт Михаила и плачет. Она горько плачет. Она не знает, как ей быть.

Женечке стало лучше. Она даже вышла на террасу номера обедать; правда, Дузе закутал её в плед, так что видна была одна голова в пышных кудрях и бледное лицо без кровинки.

Морской ветер принёс свежесть. Жара пекла мостовые, издалека переругивались извозчики, шуршали шинами и сигналили автомобили, и торговки носили караимские лепёшки на широких разносах. Звуки простой жизни и суеты проникали сюда, под портики избранных. Женечка тупо и стеклянно смотрела сквозь отца, Дузе подливал ей травяной чай с мёдом и время от времени щупал пульс.

Михаил читал газету. Но через газету взглядывал на Стромынина, пьющего кофе.

Стромынин, в прекрасной форме, весь начищенный, набритый, с подкрученными кончиками усов чистейшего золота, с прозрачно-зелёными выпуклыми глазами, с покрасневшими от горячего питья губами, мог бы послужить отличной натурой какому-нибудь художнику. Под его рубашкой и жилетом угадывалась гладкая и ухоженная мускулатура, пропитанная ежедневными тренировками и заботой.

Михаил ждал, когда Дузе уведёт Женечку.

Но Стромынин неожиданно поставил чашечку на блюдце. Женечка вскинула на него умоляющие глаза.
— Женечка, а вам не говорил ваш папа́, что завтра он едет сопроводить одну свою знакомую до Симферополя?

Михаил, поперхнувшись слюной и чаем, откинул газету.
— Нет! Я ей не говорил, да и какое это имеет значение?

Женечка положила свою ручку на отцово запястье:
— Да… мне Павел Леонардович сказал, что ты тут познакомился с учительницей грамматики и хочешь её мне представить, но она должна завтра принять свою больную матушку из Симферополя, и ты обещался их тоже навестить на ауткинских дачах, где она живёт. Можешь не спешить, ехать к этим дамам, тут побудет со мной доктор Дузе, и если что…

Михаил замотал головой.
— Э… да… мне надо сейчас… мне… Стромынин! — рявкнул он и вылетел из-за стола.

Стромынин улыбнулся Женечке. Доктор Дузе выбежал за Величалиным.
— Михайла Емельянович! — крикнул он своим немного женским голосом. — Погодите!

Женечка скинула плед с плеч и протянула обе руки Стромынину, тот упал ей в ноги и поцеловал колени.
— Милый мой… люблю… люблю… — шептала Женечка, склонившись и целуя его курчавые волосы, разобранные на пробор. — Пусть, конечно, он едет! Пусть! А вы… и я побудем тут.
— Стромынин! Дьявол! — донеслось из глубины комнат.

Стромынин ещё раз доверительно взглянул на Женечку.
— Вы только слушайте меня, моя этуалечка, и всё преотлично выйдет.
— Да! Хорошо! Так!

Стромынин поцеловал Женечкины обе руки и вышел скорым шагом.

Женечка обратно завернулась в плед и пошла к себе.

Величалин чиркал спичкой и не мог зажечь сигару. Он волновался. Дузе стоял у входа в гостиную как во фрунте.
— Так вот! — крякнул Величалин, откинув на комод сигару. — Дама очень мне мила. Но она… я о ней ничего почти не знаю. Я не могу её знакомить с Женечкой.
— Позволь! — усмехнулся Стромынин. — У тебя есть сколь угодно времени на то, чтобы с ней познакомиться. А потом решить наш план.
— Сколько же времени у меня есть, если она мне откажет сразу? — спросил Величалин уже добрее. — И откуда я возьму точную уверенность, что это та самая дама?..
— Ты, Мишель, убедишься в этом сразу же, — обрадовался Стромынин. — Тотчас же, как останешься у неё.

Дузе недоверчиво хмыкнул.
— Позвольте, Павел Леонардович, я как будто вижу, что вы имеете какую-то выгоду в том, чтобы Михайлу Емельяновича… сосватать поскорее… некоей даме.
— Да! — весело сказал Стромынин. — А почему бы и нет? Ему что, бобылём и дальше сидеть? Ему что, вас повторять?

В эту минуту вошла Женечка, неся плед на плечах, как плащ.
— И я не против! — сказала она. — Пусть папенька… едет за этой милой дамой. Я уверена, что она милая.

Величалин покраснел и, подойдя к Женечке, с чувством поцеловал её в обе щёки.

Стромынин сбегал за лошадью, чтобы Михаил Емельянович поехал верхом. Величалин приказал

купить фруктов, вина, мяса и битой птицы на базаре и привезти это всё к даче Чекалиной вперёд его приезда. Вся снедь отправилась тотчас же. Но Михаил пошёл в цирюльню и только на другой день, порядком раздражив этим Стромынина, собрался ехать.

Женечке стало почти уже совсем легче. Она даже кашляла редко. Дузе уверял, что она идёт на поправку, и Михаил решил ещё день подождать.

Женечка никак не ожидала, что встреча её со Стромыниным так надолго откладывается. Но Михаил заставил себя ждать и Амалию, и всех вокруг.

Наконец, вдоволь измотав всем нервы, он решился.

— Ну, как я?— спросил он, прогуливаясь перед Женечкой, одетый как пират для абордажа.

Женечка улыбалась.

— Думаю, что ты очень красивый. И волос у тебя блестящий, и глаза горят. Весь ты как вороной конь без седла.

— Откуда ты нахваталась таких пошлостей?— крикнул на неё Михаил.— Вот я твоего Дузе со Стромыниным… уволю и найму тебе помощницу. Бабку.

— Ой, нет! Только не доктора Дузе!— хихикнула Женечка.

Стромынин практически уже не выезжал от Величалиных. Ему было бы совсем легко уговорить себя остаться, но ему никто не предлагал пока.

Наконец Михаил, перекрестившись, поцеловал Женечку в тёплый лоб и выехал в сторону Ауток.

Амалия ждала Михаила со смешанным чувством. Первое — ей хотелось его убить. Второе — отомстить ему как мужчине. Наговорить всяких гадостей и пошлостей, выгнать вон и перестать даже думать о нём.

Она волновалась, что он не едет, пока к даче не подъехал извозчик с корзинами и с гостинцами и кривой татарин не стал всё это снимать и заносить в дом.

— А где господин?— спросила растерянно Амалия.

— Будя, будя…— пыхтел татарин.

— Он едет следом?

Татарин жал плечами.

Амалия ждала до вечера, приказала готовить из гостинцев ужин, сама же и села за стол, одинокий стол в третьем уже часу утра.

Величалин не ехал.

Она не ложилась спать, чтобы не пропустить его приезд. Волнение брало верх над её самообладанием.

Она постоянно переряживалась и переобувалась, то красила, то стирала лицо, то завивала, то распускала волосы. Надо ли говорить о том, что в доме стояло всё вверх дном, там постоянно ждали гостя, который с минуту на минуту должен был прибыть и не прибывал двое суток.

Наконец, потеряв надежду, раздосадованная Амалия забросила туфли и нарядные платья, надела ночную рубашку, завила волосы папильотками и поняла, что Стромынин её проучил, а Величалин и вовсе обманул.

Но за что?! За что они так поступили?!

В час ночи тихо звенькнул колокольчик. Амалия спала так, что ничего не слышала, прислуга так же. Конь тихо пришёл со стороны города, принёс всадника, и только собака пару раз гавкнула и, зевнув, убралась в будку.

Величалин с ловкостью акробата перескочил через невысокую ограду, хоть и был тяжёл и довольно неповоротлив.

Он хрустел песком дорожки, но понимал, что его ждут, и хорошо, что он это понимал. В связи с этим он был осторожен.

— Мадмуазель Амалия!— позвал Михаил, стучась тихонько в дверь.

После сонной возни и чуть слышного стукотка в сенях вышла девушка, заспанная и напуганная.

— А барыня спит!— с вызовом сказала она.— Она вас до-о-олго ждала! Езжайте домой!

— Чего?— не удержался Михаил.— А ну зови её сюда.

Девушка с ненавистью хлопнула дверью и пошлёпала босыми ногами на второй этаж.

Амалия спала ничком на кровати, в белом платье с кокетливыми синими бантиками и с разметавшимися, накануне завитыми кудрями.

— Барышня! Барышня! Тут этот пришёл!— девушка подкралась и покачала её за плечо.

— Кто? Что?— вскочила Амалия.— Кто пришёл? Куда? Тьма-тьмущая!

— Просится в гости.

— А! Ночью! Ну я ему!

И Амалия, опрокинув бокал красного вина, приготовленного на тумбе для неё и для гостя, слетела вниз.

Она откинула дверь, хлобыстнув ею по косяку с такой силой, что она могла бы треснуть.

— Где он есть?— взвизгнула Амалия.— Что он из себя такое думает?!

Она выбежала за калитку, в темноту.

В этот момент она услышала лишь тихий, но приближающийся конский топоток и ощутила, как одна мягкая и сильная рука больно подхватила её под мышку и забросила куда-то вверх.

Девушка выскочила следом, не в силах сказать ни слова, она так и стояла на дорожке перед калиткой с круглыми, как две перламутровые пуговицы, глазами, пока её барыню уносили конь и всадник.

После перевала, который Михаил Емельянович проскакал почти на ощупь, зажмурив глаза и доверившись быстроте тяжёлого и мощного коня,

с исцарапавшей его Амалией, переброшенной через два колена, шоссе уходило дальше вдоль берега, пришлось свернуть на яйлу, прямо за грядой.

Михаил не знал дорогу. Он только взглядывал с высоты, как едва заметными огнями играет вдалеке город, а напротив него вздыхает круглым боком море глубокого фиолетового цвета, и над ним ни облачка, а только россыпь звёзд. И только крик цикад в колючей поросли яйлы нарушает покой, стискивающий даже страхом.

Словно бы услышав его, Амалия несколько раз ударила его по коленке:

— Ну же! Трус! Вы трус!

Михаил остановил коня и стащил Амалию с седла.

Она застонала от боли, проехав по седельной луке рёбрами, и упала на колени.

— Вот ответ ваш миру!— всхлипнула Амалия.— Ваш ответ всем! Только вы в нём царите! И нет больше никого, да? Любого человека вы можете взять и обратить себе в услужение!

Михаил, держа коня за узду, бил хлыстиком себя по голенищу сапога и понимал, что и гнев, и зло его спали, как пелена, а осталось что-то щемящее и нежное, что вливается в душу с каждым новым словом Амалии.

— Все кругом вам потакают и обслуживают вас! Но поглядите… на меня и подумайте, что может быть и другое!

Михаил отвернулся, пряча лицо за конской шеей, и с трудом гравировал на языке слова, которые должен был во что бы то ни стало произнести.

— Везите меня немедля домой и забудьте про всё, что вы себе надумали,— крикнула Амалия и, пошатнувшись, встала, отряхивая пыль и колючки с платья.

Но они так пристали к ней, что она заплакала и закрыла лицо руками в отчаянии.

Михаил отошёл к низкорослому кусту терпентины и привязал длинный повод за кривой ствол, поправил смоляные волосы ладонью и, щёлкая кнутиком по сапогу, подошёл к Амалии. Он обнял её своими огромными руками, и она потерялась в них, всё продолжая плакать.

— Можешь и дальше плакать. Только пусть эти слёзы будут последними,— сказал Михаил и поцеловал Амалию в надушенную голову.— Эта земля так щедро дарит и так безжалостно отнимает самое дорогое… Но я тебя отдавать не хочу.

Амалия затихла, и дыхание её стало ровным. Она оторвалась от груди Михаила Емельяновича и подняла глаза на него.

— Вы же меня совсем не знаете… Почему вы верите мне? Зачем?

Михаил уложил её голову обратно себе на грудь мягкой ладонью.

— Верю… тяжело жить во лжи, и не хочу больше.

Амалия вздохнула, и столько в этом вздохе было облегчения и счастья, что и Михаил сам беззвучно заплакал, всё ближе прижимая к себе Амалию, всё роднее, всё горячее.

Дузе не оставлял Женечку до глубокого вечера. Стромынин сбегал домой, переоделся, выкупался в ванной, завил усы, во дворе на глазах у изумлённых отдыхающих сделал несколько подъём-переворотов на железной трубе, вкрученной в две столетние сосны. После он, не зная, что делать, побежал в итальянскую аустерию и выпил флакон лимончелло.

«Господи!— думал Стромынин.— Всё валится к чёртовой бабушке!»

Крутился беспощадный сор в его голове и превращался в адскую воронку. Из этого сора рождались слабые мысли, но ни одна из них не успокаивала Стромынина. Если сейчас Михаил женится на Амалии, это будет прекрасно. Но ещё лучше, если женится Стромынин на Женечке. Она вскоре умрёт, а он останется наследником.

Но Женечку жалко. Сильно жалко. Она так тянется к нему, что и в нём что-то трескается.

Стромынин расплатился и, поглубже насунув соломенную шляпу, пошёл к «Лондону».

«Вот ещё, буду я лазать по балконам…— подумал он.— Тут всегда народу прорва…»

И он, обойдя гостиницу, поглядел на балкон Величалиных.

Дверь была приоткрыта, и из неё тянулся по ветру лёгкий кружевной тюль.

— Ах ты, Господи!— прошептал Стромынин.— За что мне такие наказания?

Он вошёл в номер. Женечка обедала с Дузе. Как только она увидела его, сразу поднялась, и салфетка упала с её коленей на пол. Женечка, казалось, вспыхнула, но только глаза её заблестели.

Дузе чопорно поздоровался и пригласил к чаю.

— Нет, я только что поел,— сообщил Стромынин.— Я хотел бы прокатиться с Евгенией Михайловной до ближней долины… там хорошая дорога… я нанял фаэтон.

Дузе вытянул губы уточкой.

— Н-ну… Михайла Емельянович не велел ей никуда без него ходить, а покуда его нет!

— Я прошу вас!— вскрикнула Женечка.— Пожалуйста, отпустите… я… хочу подышать.

— Извольте, сейчас дообедаем и поедем.

Женечка упала на стул.

— Ну что вы, Теодор Карлович! Ну зачем вы так?

— Вы неприлично ведёте себя при мужчине,— сказал Дузе, вилкой указывая на Стромынина, стоящего у дверей.

— Помилуйте…— вздохнула Женечка.— Вы не понимаете…

— Вы очень нездоровы!— строго сказал Дузе.

— Но я хорошо себя чувствую!

— Неприлично!

Стромынин кашлянул в кулак.

— Позвольте нарушить ваше… вашу беседу… но! Хочу заметить, что вы, Дузе, тут только работник.

— Что вы сказали? Как?—прищурившись, спросил Дузе и наколол кусочек сосиски.—Работник?

— Да!—сказал Стромынин.—И вы работаете на Михаила Емельяновича!

— И вы работаете на него же,—пожал плечами равнодушный Дузе.

Стромынин замер, не зная, что ответить. Лицо его слегка перекосилось от скрытого гнева.

— Господа! Господин доктор, господин Стромынин!—сказала с жаром Женечка.—Я не ослушаюсь папу. Но тогда, если ехать до долины нельзя, мы проедемся до Ауток. Доктор… Я проедусь. И вернусь… Павел Леонардович меня свозит прогуляться туда и назад.

— Со мной!—сказал Дузе.

— Ах, какой у вас цербер!—фыркнул Стромынин.

— А у вас нет такого,—кивнул Дузе, словно издеваясь.

Женечка встала, стукнув стулом о ковёр.

— Доктор! Я поеду без вас,—решительно сказала она, и от волнения затрепетали заложенные за булавку бусики на её груди.

— А если вам станет хуже?

— Если вы меня не пустите, мне точно станет хуже!—топнула Женечка ногой.—Я буду волноваться и снова заболею!

Дузе вздохнул и покачал головой.

— Положительно… есть две непобедимые беды в этом мире. Наша конечность и сердце влюблённой девицы.

Женечка бросилась к доктору и поцеловала его в плешивую голову.

Стромынин ликовал. Он дождался, когда Женечка наденет дорожное полосатое платье из камки и возьмёт зонтик. Вывел её под руку и помахал застывшему на балконе Дузе.

Дузе знал в глубине души, что хорошим этот вояж не кончится, но у него всегда были нужные слова под языком. Он умел лечить и словом.

— Конечно, вы понимаете, что мы едем ко мне?— добавил Стромынин и громко засмеялся высоким своим фигурным смехом, как умел только он.

— Понимаю,—выдохнула Женечка и обняла его одной рукой, обдав ароматом брокаровского цветочного одеколона.

— У меня мать цыганка, а отец из дворян. Но я молчу об этом. Не хочется лишний раз разводить пересуды.

— А почему здесь? Почему в Москве не осталась?

— Ах, вам всё скажи! Да потому что… тут… рыбное место.

— А, вот что!

Поджидая Амалию в нижней комнате, где были опущены портьеры, Михаил скользил взглядом по обстановке. Она была изящной и местами дорогой. Серебро, шкафы с фарфоровыми фигурками.

Михаил повернулся на вылощенных каблуках и пошёл по скрипучей узкой лестнице, улавливая путь Амалии по запаху духов. В протяжённом коридоре он увидал её интересные туфельки с пушками гаги и приоткрытую дверь, откуда доносился совершенно ручейный голос, поющий песню.

Михаил оторопел. Это была песня, что пела над колыбелью Женечки Меланья Филипповна! Та самая… Но тут она шла ласково, про себя, будто огибая каждый предмет и входя в слух любого случайного слушателя.

Михаил притворил дверь, уронил на пол хлыстик и почувствовал горячее касание давно забытого чувства; к нему прильнула женщина и со знанием дела принялась расстёгивать его шлейки и подтяжки, всё так же напевая:

Вьюн над водой,
Вьюн над водой,
Вьюн над водой
Завивается…
Казак молодой,
Казак молодой,
Казак молодой
Собирается…

Михаил сглотнул слюну, ухватил эту странную и уже заведомо, кажется, родную женщину своими большущими руками, как клещами, вытянув из неё чуть слышный стон, и пошёл, как слепой, куда-то вперёд, к белеющему островку постели, залитому светом луны, прорвавшим вырезные тюли и узорчатым покрывалом лежащим на расстеленных одеялах.

Стромынин жил от «Лондона» не так далеко. Можно было сколько угодно бегать из дома в дом. Но он боялся приводить к себе Женечку. Так было неудобно и скромно устроено его холостяцкое жильё.

Он нанял номер на Дарсане, в гостинице «Ялта», где от центра не долетало звуков автомобилей и вечной толчеи.

Покружив на фаэтоне по городу, Стромынин вывел Женечку у одного из переулков, и они поднялись наверх, к Дарсану.

— Теперь мы меж двух рек, парим над городом,— сказал Стромынин, укрывая вуалью лицо Женечки и заводя её в холл.

— Но мы же доедем как-нибудь до бывшего пристанища несчастной Ифигении…—вяло спросила Женечка, утомлённая подъёмом.

— Да! Непременно!

Стромынин завёл Женечку в полутёмный номер и почувствовал в её руке какое-то напряжение, словно она сейчас вот-вот вырвется и убежит.

Стромынин посадил её на край красивой деревянной кровати и, подойдя к окну, задёрнул его.
— Не надо...— произнесла Женечка.— Открой окна, Павел... Я хочу видеть... всё...

Павел Леонардович снял с себя одежду, бросил на высокое кресло у окна и, встав на колено, стал разматывать хлыстики сандалий Женечки.

На нём остались только исподние панталоны с рядом серебряных пуговок, которые Женечка тут же принялась считать, чтобы не расплакаться.

Она смотрела на него, как будто сквозь, непонимающим и пустым взглядом, как будто всё, что с ней произошло до этого и будет происходить дальше,—сон, видение её больной и отчаявшейся души.

Напротив, Михаил Емельянович остался у Амалии на два дня. Все эти два дня он был совершенно спокоен, потому что от Стромынина присылались записочки, что всё отлично, Женечка гуляет, Дузе ворчит, но не ругается, что присмотр и лечение оказываются в полной мере.

Михаил совершенно потерял голову. Он через горничную слал Стромынину вести, чтоб тот не грустил, а пил за его здоровье, чего он и сам делает. Он же с Амалией, конечно, пил, но не находился в пьяном угаре, а в любовном, напротив, находился. Все два дня они не спускались из дома во двор, еду требовали через дверь, и, к счастью, в дачных номерах были ванна и электричество.

Амалия за это время кое-что поняла. Во-первых, что есть ещё добрые люди на свете. Во-вторых, что она станет даже женой, потянет эти вериги, но Величалина не пустит. А в-третьих, она задумалась, а не пора ли родить сына. Ему сына, чтобы он уже прочно сидел подле неё и обожал её.

В любви Величалин оказался совсем не таким, как снаружи и при свете. Да, явно читалось во всём, что он избалован женщинами и что было их у него достаточно.

Но не утерялось желание поклоняться женщинам. Может быть, да, он всегда им поклонялся, но Амалия никогда не испытывала такого отношения к себе. Михаил Емельянович разом превратил её в царицу, а потом эту царицу взял себе и не собирался никому отдавать.
— Вот наиграешься мною и бросишь... Наигрывался ведь...

Амалия лежала на постели и ловила через вырезные цветы занавесок на себя причудливые солнечные печати. Они дрожали на её бархатном теле, бережно охраняемом от загара. И в свои годы она была свежа, как только что сорванный с куста цветок июньского жасмина. Волосы её немного запылились в этом вынужденном плену и уже первобытно пахли рекой, землёй и пóтом. Михаил же не мог успокоиться и снова и снова набрасывался на неё и не отпускал от себя, словно тоже хотел привязать её к себе.
— Тобой разве можно наиграться? Теперь буду горевать, что у тебя такой трудный характер... Ничем тебя не приручишь...

Величалин также пребывал в самом расцвете, он был высок ростом и широк в плечах, как и его дед и отец, мог ударом кулака сбить с ног быка или лошадь. Никто в его роду не служил, и он сам не знал, как служить, не знал над собой никакой власти. С чинами он любил и умел договариваться, образование ему дали не хуже, чем дали бы в самом именитом дворянском доме. Хотя уже Михаил Емельянович понимал, что образование не есть счастье, и даже ученье—не свет.

Наоборот, все беды и печали от многого ума. Тяжелее становится человек, не умея выпускать память свою на волю, не приноровясь сдерживать бурные мысли и изощрённые мечтания. Только умные люди могут мечтать и постигать хляби небесные, но только мудрые могут удержаться и не воспарить дальше. А дальше-то, полагал Михаил Емельянович, выше-то и перо можно подпалить, и сам воск расточится, и сложатся крылья от боязни высоты.
— Далеко мне не летать, себя знать не хочу! Хочу мир обнять и стать своим в нём. А чего знаю, того не скажу, довольно с меня и того, что я уже есть...

Рассказал Михаил и про жену, первую свою радость и болесть. Рассказал и о том, как долго он терзался, что выдумывал. И про недуг Женечки рассказал.
— Так отчего ты мне не сказал сразу? Надо было милостиво рассказать, и я бы стала доброй...— мурлыкала Амалия.— Разве я зверь какой, не пойму, что ты с ума сходишь? Что Стромынин... ведь он...

И она осеклась и, чтобы Михаил ничего более не спросил, прыгнула на него и повалила снова на перину, которую они давно стащили на ковры.

Михаил одно время потерял счёт времени и, выспавшись через двое суток, взглянув на прельстительную Амалию рядом, на её высокую грудь и заласканное им до синяков тело, встал с постели и быстро оделся.

Амалия открыла глаза.
— Уходишь?—спросила она тревожно.—Надолго?

Михаил застёгивал рубаху.
— Стромынин, конечно, знает своё дело... но я волнуюсь, что он и Женечка... Я понял сейчас, что всё дурно, дурно... Нельзя их оставлять вместе. Вот так, как ты сейчас... вчера... смотрит и он на неё. Вы не родня, часом?
— Н-нет... ну что ты... я и Стромынин...— отмахнулась Амалия, спрятала вспыхнувшее лицо в подушке и добавила:—Я буду тосковать по тебе...
— Нечего тосковать. Собирайся... До вчера тебе хватит времени? Я сниму тебе номера недалеко от «Лондона». А! Сниму тебе в «Елене»... Там отлично говорят... Ну что? Познакомлю с Женечкой.

А потом ты скажешь ей как-нибудь… если она сама не догадается, что ты новая мать её.

Амалия приподнялась на руках:

— Кто? Я? Ты что? Так вот?

Михаил оделся и оглаживал щетинистое лицо перед большим висячим зеркалом.

— Да! Скажешь, что любишь меня. Что лечилась тут, потому что болела… И преподавала грамматику… потом…

— А чем я болела?

— Ну… я не знаю… скажи, что кашляла. Ничего! Придумаем потом…— вздохнул Михаил.— И вот ещё… или я уезжаю сейчас… или я не смогу…

Он вышел.

Амалия упала на спину и запустила в волосы обе руки.

— Боже мой! Что я буду делать?! Это бред… бред… Анюта! Запри все двери и никого не пускай. Беги ко мне!

Уже на следующий день Женечка стала вести себя очень гордо. Да, она была польщена и сражена любовью Стромынина. Ей казалось, что она одарила его милостью. Он же заверял её, что это так.

Женечка вернулась домой к вечеру, прошелестела юбками мимо Дузе, который сразу вскочил, что-то уловив, и вбежал к ней в комнату, не дав ей ещё даже снять шляпку с перепутанных и кое-как заколотых волос. Стромынин очень старался их причесать как они были, но, увы, это оказалось ему не под силу.

— Что вам надо, Теодор Карлович?—уверенно произнесла Женечка, отворачиваясь от него к окну.

— Вы где столько были?! Я весь извёлся!—вскричал Дузе.— Я бог весть что думал! А ваш отец? Он бы меня тотчас выгнал бы!

— Пошли бы к доктору Виноградову…— бросила Женечка.— Он вас возьмёт чахоточников лечить в санаториум.

— Что вы делали там?—робко спросил Дузе.— У вас всё хорошо?

Женечка вдруг повернулась к нему, и лицо её стало злым и некрасивым. Тонкие губы искривились от злости.

— А, ещё и вы! Что вам ещё подать? Что вам открыть? У меня может быть моя жизнь? Моя, не тронутая никем? Ни папа́, ни вами! Идите!

— Вам нужно выпить молока! Принесли парного! Срочно!—поник Дузе.

— Отстаньте с вашим молоком!

Дузе подбежал к окну и раздёрнул портьеры. С моря донёсся хохот чаек.

— Не закрывайте окно и идите на балкон! Сейчас же! Вам нужно лечиться, а вы… вы… глупая девчонка!

Дузе выбежал прочь, плохо скрывая негодование.

Когда он вошёл обратно, испугавшись, что Женечка вовсе не спешит исполнять его приказы, она уже лежала на постели и спала, одетая и даже в перчатках.

Стромынин находился в блаженном состоянии любви ко всему миру.

Он лежал, как мёртвый, на постели и смотрел на потолок. Там нерасторопную муху доводил до отчаянного жужжания паук. Крик мухи неприятно щекотал нервы, призывал бросить в паутину тапочек или скомканный платок, да что угодно, но Стромынин наслаждался звуком жизни. Наконец, захлебнувшись, жужжание смолкло навсегда. Стромынин словно почувствовал, как паук высасывает из неё жизнь, как щёлкает полуободами свинцовых челюстей, чавкает и заглатывает внутрь себя свежий, тёплый и текучий субстрат.

Но он ничего не чувствует! Ничего! Нет удовольствия, нет борьбы, нет волнений и алкающей жадности. Сильный победил слабого—и что такого?!

Ах, как хорошо! Стромынин теперь женится на Женечке, Женечка теперь помрёт, а он уж как-нибудь разберётся… Но точно жизнь его будет другой! Сытой, без беготни и силков, без сетей и словесных завихрений, без ежедневной думы, что делать, кого отыскать… Поистине—счастье!

Он поиграл пальцами ног, послушал, как кухарка ругается с татарином-рыбаком на кухне, улыбаясь и наслаждаясь тем, что воспоминания о Женечке щекочут его волнами, идущими по всему телу.

Поясница ныла, глаза сами собою закрывались от томящей истомы. Ругань кухарки шла по кругу. Но вдруг в дверь кто-то грубо стукнул, и Стромынин вскочил как ошпаренный на кровати. «Неужели… это Величалин?.. Так скоро?»

Нет, это был не Михаил Емельянович. Это был Дузе.

Он вошёл, тихо проскользнув мимо Стромынина, и сел на скамейку у стола, натирая белой перчаткой резной мундштук.

— Павел Леонардович, простите, что без предупреждения… Но таковы обстоятельства, пока Михаила Емельяновича нет… рядом… Женечка отдыхает, она отчего-то крайне утомлена… Я думаю, надо будет просить Михаила Емельяновича отвезти её в санаторий. Она нарушает режим. И вы тому причиной.

Стромынин плюхнулся обратно на узкую кровать, издав лязгающий звук пружинами.

— Ничего! Ничего страшного в этом нет. Мы просто любим друг друга, и я непременно сделаю ей предложение, и она его непременно примет.

Дузе спрятал в пушистых усах улыбку.

— Ваше предложение заведомо ей навредит. Вы знаете, что если не приняться её сейчас лечить…

не оградить от волнений, не дать режим покоя, питания и нервного отдыха, она вряд ли перезимует.
— Что вы болтаете?! — съязвил Стромынин. — Как она может умереть?
— Вы лукавите, Павел Леонардович. О её положении здоровья вам не хуже меня известно. Вы не просто так прилипли к барышне.
— А вам что? — приподнявшись на кровати, спросил Стромынин. — Вы мне не родной отец, чтобы читать ваши докторские полигимнии. Вы только доктор! Что же, прикажете ей не любить меня? А как? Пригрозите пальчиком? Так? А я тоже манить умею, тоже пальчиком. Поманю, и она возле ног моих ляжет.

Дузе уставился на крашеный пол, покрытый дешёвым обтрёпанным ковром.
— Вы ещё устроите свою судьбу, но не трогайте Женечку. И не надо напирать на неё…
— Я не напираю! — крикнул Стромынин в ярости. — Я её… люблю! Я готов быть с нею до конца!
— Ну, знаете… А что, если она вас переживёт?

Стромынин спрыгнул с кровати, подошёл и распахнул окно.
— Уходите! — зашипел он. — Я не могу больше слушать ваши эти… сентенции. Мне противно, что вы считаете, что до всего можно достать голосом разума. Не до всего! Далеко не всё откликается на голос разума.
— Разум бывает разный. И мотивы тоже. А вот вы, как начётник, набрались умных слов, а думать не научились. Ауф фидерзейн, Павел Леонардович, мне жаль, что вы так недалеки.

Дузе тихонько покинул комнату. Стромынин сверху хорошо видел его немного стариковскую походку, жёлтую шляпу со значком Тюрингии в виде эдельвейса, как Дузе перешёл на другую сторону улицы, сел в омнибус и помахал ему твёрдой ладонью в окно, заметив, что за ним следят.

Стромынин обратно бросился на кровать, прикрылся подушкой и в верчении мыслей забылся сном лишь через час, весь измучившись от крайнего истощения души.

Величалин ехал обратно с победой, как, наверное, ехал в помпе какой-нибудь римский император. Да, не хватало украшенных арок, слонов и лавровых венков, визгливых женщин и аплодирующей черни, красного ковра, выпущенного под ноги его иноходцу.

Великая сила наполняла каждую жилку его тела. Он припустил коня вдоль дороги, повернул на осыпь берега и пешком спустился вниз. Конь, почуяв воду, зафыркал.

Тут к воде можно было подойти, и она была спокойна и ленива. Михаил разделся и кинулся в море, поманив коня. Тот, пробуя пушистыми губами воду, прядал головой и тоже постепенно зашёл и встал как вкопанный. Может быть, его никогда не купали, может, что-то ему почудилось на дне.

Но Михаил поплыл, размахивая руками. Волны переплёскивали его голову, когда он нырял от совершенно сумасшедшего, нового и радостного ощущения. Ему хотелось и птицей парить, и рыбой ходить, но он сделал несколько саженей и повернул обратно, видя, что конь испуганно пятится назад из воды и норовит бежать наверх.

Михаил ещё раз, набрав со дна мелкого песка, вытер шею и грудь, оторвав от камня приросший пучок водоросли, потёр под мышками, нырнул, распространяя брызги ногами, и, успокоившись на этом, смеясь и стыдясь себя в таком состоянии, вышел на берег.

«Ну, погоди же ты у меня! Жизнь! Ты чудо! Ты должна покориться мне!» — пел над его головой степной каюк, катаясь на волнах, и Михаил думал о том же.

Выехав на шоссе, он приударил коня, отряхнул короткие, в «польку» остриженные волосы, придававшие ему сходство с удалыми сечевыми казаками, и погнал вперёд, домой.

Он виновато заметил, что о Женечке думал за эти дни слишком мало… Но, может быть, и она не думала о нём? Стало быть, так надо… что будет, то и будет.

Приехав в город, он рассчитался за коня на станции и пошёл пешком, с хлыстиком в руках, к гостинице. Он издалека увидел Женечку на балконе, живую и невредимую.

Она была укрыта по колено пледом, а родное её голубое платье с кружевом на груди нежно трепетало от горячего ветерка, залетавшего под полог качалки.

Рядом сидел Дузе и очинял карандаши перочинным ножиком.
— Эй! Эй! Господа мои! — крикнул им Михаил и чуть не угодил под автомобиль. — Да что вы тут, окаянные, разъездились?!

Женечка подняла руку и улыбнулась.

Жива? Значит, счастье стало огромным!

На углу гостиницы Величалин нос к носу столкнулся со Стромыниным.

Стромынин покраснел и отвёл глаза.
— Ну! Дружочек мой! Всё ли ладно? Ах… как я радостен! — вскричал Михаил и ударил Стромынина по плечу.
— Надеюсь… что так, — отозвался Стромынин. — Тут всё было чинно, добро, благородно…
— Хорошо! Даже отлично! Завтра Амалия приедет сюда! Мы будем обедать в аустерии! Тебе полагается туда сходить и договориться.
— Тотчас схожу. А вообще, как энигма? Ничего себе? — спросил Стромынин, криво ухмыляясь.

Михаил вдруг схватил его за грудки, двинул в стену гостиницы и прямо в лицо громово рыкнул:

— Моя! Моя, Стромынин. Я своё не отдаю.

Стромынин закивал головой:

— Понял. Тогда я сейчас не стану заходить. В аустерию…

— Беги,— грозно буркнул Михаил и последовал дальше, поигрывая хлыстом.

— Меня никогда не любили. Я поняла, что любовь — для избранных людей. Она как дар, как чудо. Нужно ждать того, кому можно открыть своё сердце. Но малейшая эмоция… это щель в ту самую дверь… за которой прячешься ты, слабый, смешной человек. И злая, и добрая эмоция одинаково тебя раздевает. А потом приходят мелочные люди и… как вши на дохлой собаке… подло пытаются укусить, взять последнее… Нечестных много… Я страдала от них, но теперь это позади, и я более не хочу никого обнадёжить… или одарить… По делам их воздам им. Или как, Михайла Емельянович, вы считаете, что я не права, всё ещё считаете меня слишком замудренной?

Михаил, протянув через стол руки свои, перебирал в пальцах пальцы Амалии. Он перебирал их почти что с хрустальной осторожностью.

— Давайте я вас больше не буду звать, как… Так… Буду звать вас Зинаида.

— Зовите…— позволительно улыбнулась Амалия.— Но лучше мне пока для вас остаться Амалией…

— А почему?— ласково спросил Михаил, и его широкое лицо озарила улыбка, делая его ещё шире и вместе с тем добрее, подпустив морщинок к уголкам глаз.

— Вы такой добрый человек… хочется, чтобы вам было хорошо,— сказала Амалия виновато.

Михаил и сам это знал. Он действительно страдал от собственной изрядной доброты, но ничего не мог сделать.

— Но вы ведь познакомитесь с Женечкой?

— Да… Но могу ли я?

— Можете. Теперь уж точно можете. Знаете, Ам… Зинаида, ведь такое, как у нас, бывает редко. Знаете?

— Знаю. Сама дивлюсь.

— Так как вы думаете, поверят ли нам?

Михаил перенёсся мыслями в Москву, где было всё другое, чем здесь. Велась и утверждалась своя жизнь, особенная и устроенная совершенно иным способом, иными правилами руководимая. Вспыхивало и гасло в нём ощущение недосказанности, а он хотел знать всё об Амалии, но она отчего-то таилась.

— Ты можешь называть меня как привык. Я давно уже забыла своё имя по метрикам. Но это нисколько не сделало меня иной. Только приходится лукавить перед другими людьми. Спроси меня… зачем. Нет! Не спрашивай! Я отвечу, зачем я лукавлю. Мне так легче переносить удары судьбы.

Михаил поцеловал её руку.

— Здесь колечка не хватает,— прошептал он.— Маленького колечка, уютного, моего знака… Пойдём к Залесскому, поглядим, чем он там торгует.

Амалия вдруг изменилась лицом. Губы её задрожали, и тёмные глаза мгновенно налились слезами. Но так красива была её печаль, что Михаил не смог больше удержаться, взял её на руки и вынес из ресторана на улицу, лишь бы она обняла его за шею, прикоснулась к нему сейчас же, в ту самую минуту.

Они ушли на укромную улочку под платаны, где не ходили отдыхающие, а пробегали лишь мальчишки и местные, таща сети или корзины с инжиром и шишками на растопку самоваров, и долго сидели молча. Амалия гладила его по лицу, а он смотрел на неё и не мог оторваться, словно она была видением и сейчас же грозилась улететь обратно в эфир.

— Ты ведь меня не оставишь?— жарко сказал Михаил, запутываясь в её волосах и лентах.— Пожалеешь меня? Вот есть такие существа… ламии и вампиры, я слышал от Женечки, она как раз читает барона Олшеври… Так представь… что они напиваются крови и губят своих жертв. Ты же не выпьешь мою кровь, навка, колдунья? Нет же? Сердце моё и так твоё…

Радуясь тому, что Женечка уже выздоравливает, хорошо ест и солнце идёт ей на пользу, Михаил решил не дожидаться и сразу познакомить её и Амалию, которую никак не мог привыкнуть называть Зинаидой. Да ей и не шло это имя. Такая утончённая красота, особенно после того, как Величалин одел её в готовые платья, купленные в стеклянных магазинах мод на «променаже», Амалия заискрилась, как отчищенный драгоценный камушек.

Величалин страшно гордился, покупая ей платья.

— Можно я буду звать тебя Амалия?— спросил он, робко прижимая к себе локоток своей красавицы.

— А как же Зинаида?— остановившись перед магазином, будто невзначай, вопросом ответила она.— Тогда уж называй Амалия Леонардовна.

— Ха… у вас со Стромыниным что, одинаковое отчество?— улыбнулся Михаил, и тут же лицо его стало холодным и немного страшным.— Он… он что… тебя, свою сестру?

Амалия опустила глаза.

— Не надо так о нём. Стромынин добрый человек и… да, он мой брат. Он не хотел… этого всего, но я была вынуждена, я вела другую жизнь! И если тебе больно думать об этом…

— Нет! Всё ушло. Правда ведь? Правда?— и Величалин сжал её пальцы так, что Амалия поднялась на носочки.

— Да! Всё ушло. Клянусь тебе памятью своей матушки… и чем хочешь поклянусь. Ты должен

верить мне, что я не хочу… ах…— и она упала ему на грудь, перьями шляпки щекотнув его болезненно сжатые губы.
— Идём, я тотчас же познакомлю тебя с Женечкой.
— А… а если она… а Стромынин… он будет там?
— Нет, он приболел… прислал мне записку, что день-два отлежится… Воды, что ли, напился плохой.

И Михаил повлёк Амалию за собой, широко шагая и заставляя её семенить по мостовой маленькими ножками в вышитых жемчугом туфельках на французском каблуке.

Они вошли в гостиницу, там Михаил остановился посреди холла и поцеловал Амалию в губы при швейцаре и экономе, стоящем за стойкой.
— Впредь… если вы увидите эту милую женщину, то пускайте её ко мне,—сказал он с вызовом.—Это моя жена!

Швейцар и эконом кивнули, а Михаил и Амалия пошли дальше, к номерам.
— Зачем ты смешишь людей?—шёпотом спросила Амалия.—Они ведь меня знают…
— Пусть знают, что ты моя,—сказал Михаил победоносно.

Женечка и Дузе лежали на широкой софе, почти соприкасаясь головами, и играли в мелкие вырезанные из слоновьей кости шахматы. Михаил почти втащил Амалию.
— Женя!—крикнул он.—Это Амалия! Можешь называть её матерью. Я завтра женюсь на ней.

Женечка переглянулась с Дузе, который вскочил с софы и, подойдя, поцеловал руку.
— Вы не чахоточница?—спросил он с улыбкой.

Амалия беспомощно взглянула на Михаила.
— Нет!—ответила она ласково.—Я скорее по иностранным болезням. Но, к счастью, они пока обходят меня—наверное, боятся моей ядовитой крови.

Женечка встала и засмеялась. Она старалась прикрываться платочком, но от внезапности произошедшего даже заплакала.
— Ах! Очень приятно! Можете всё время, что вы с нами… будете… называть и меня дочерью… Шармант, папа́! Ах, это папа́! Он у меня всегда такой.

Михаил остановил её речь:
— Сейчас пообедаем внизу, и идите покупайте платье. Я не хочу ждать.

Женечка застыла.
— А… а… платье?—спросила она прерывисто.—Белое?
— Да!
— Для неё?

Михаил взглянул на побледневшую Амалию. Та задрожала и выбежала вон.
— Ах вы! Дузе! Скажи ей!—вскричал Михаил незнакомым голосом.

И помчался следом.
— Я не очень сильно поняла… что с папа́… но…
— Влюблён,—отрезал Дузе.—Придётся смириться.

Женечка всплеснула руками.
— Да! Пусть… моя судьба уже решена, а его решится… Лишь бы ему было хорошо.

В этих словах было столько детского неподдельного горя, что Дузе привлёк к себе Женечку как маленькую и как отец погладил её, покачивая в объятиях.
— Ах вы, моя девочка, Евгения Михайловна! Души моей царица! Вы выздоровеете… выйдете замуж… и что же, вашему папочке одному оставаться? Нет, конечно же, я должен был с вами раньше об этом поговорить… Или он не приводил никого?..
— Приводил…— жалко кивнула Женечка.
— Ну вот… сколько верёвочке ни виться, а конец то будет…
— Я рада за него.
— Вот и хорошо, вот и славненько… Идите поспите, а вечером пойдём гулять к морю.

Немало усилий приложила Амалия, чтобы уговорить Михаила Емельяновича не спешить со свадьбой. Наконец он согласился.
— Это будет выглядеть неправдоподобно… и никто не подумает о чистом сердце ни твоём, ни моём… Не будет у нас оправдания перед людьми… И перед нами самими.
— Но что мне люди?!—повторял Михаил.—Я готов от них отречься.

Счастливые дни, во время которых Амалия так и отказалась переходить на житьё к Михаилу и дать Женечке время привыкнуть, поплыли на медовых волнах любви.

Михаил, Амалия, доктор Дузе, Стромынин и Женечка гуляли по берегу, по рощам, по лесной вырубке, где татары очищали место под виноградники Верхней Массандры, Дузе шёл как тень позади и радовался, глядя на Михаила Емельяновича и Амалию. И много думал о Женечке, которая вела себя очень сдержанно со Стромыниным. Даже не брала его под руку, когда он предлагал.

Дузе это видел. Отношение к Стромынину переменилось у всех. Стромынин взволнованно курил, видя, как болтают Амалия и Женечка о чём-то неприличном и порою Амалия отпускает в сторону Стромынина совершенно жуткие взгляды.

«Смерть тебе, Павел, конец всему. Уж я тебя… Вот я тебя!»—казалось в этих немых посланиях Стромынину.

Женечка же скомканно смеялась, сдержанно улыбалась и почти что не разговаривала на личные темы.
— Мы должны ещё раз увидеться на Дарсане,—чуть слышно говорил Стромынин, приближаясь к ней.
— Зачем?..—улыбалась Женечка.—Для чего это?..
— Прошло десять дней… Я не могу спать, есть… у меня дрожат руки… Я сойду с ума и утоплюсь в море,—трепетал Стромынин, делал жалкие брови, и глаза его бегали.

— Не надо топиться. Я приду… Только не сегодня и не завтра. Давайте так… в пятницу. В пять вечера.

— Что вы скажете им?..

— Я найду что сказать. А Дузе мне друг, он меня прикроет.

Стромынин ловил руку Женечки и подолгу шёл, держа её у сердца.

Амалия и Величалин держались за руки, Михаил переносил её через лужицы и камушки, смеялся приятным беззаботным смехом на каждое забавное замечание.

Тени ползли от низкорослых деревьев и жарких кустарников, тропинки осыпались, и Михаил часто переносил Амалию на руках. Стромынин подавал Женечке руку.

— Знаете, Павел, ведь если я сейчас куда-то исчезну, они не заметят…— шептала Женечка.— Я его не видела таким…

— Любовь покоряет нас независимо от возраста,— отвечал Стромынин и пытался как можно незаметнее обнять Женечку за талию, но та отпрыгивала, карабкалась по камням, приподняв платье, и Стромынин ухватывал и любовался её тонкими белыми ногами в плетённых из замшевых ремешков сандалиях.

— Женечка… нам надо бы уже домой…— окликивал всю компанию Дузе, видя, что они не собираются поворачивать с прогулки.

День клонился к закату… Аю-Даг покрывался дымкой и голубой поволокой, отдавая тепло морю.

— Я бы хотел свозить вас на Партенит… там есть руины храма, где служила Ифигения… Храм богини Девы… Артемиды…— приклонившись к Женечке, сказал Стромынин.— Вы же знаете, она уплыла оттуда в Афины… с главным идолом храма, и их даже не преследовал никто… Всем было очевидно… что это угодно богам.

— Нет там никаких руин. И к тому же Ифигения была невинна,— сказал Дузе, быстро перехватив Женечкин локоток.— Вам нельзя дальше, пусть они идут одни, я сопровожу вас домой.

Женечка кивнула, взглянула на Стромынина удивлённым взглядом и улыбнулась уголком рта.

Несомненно… Стромынин и Женечка были бы хорошей парой. Если бы.

Дузе видел все перемены, что происходили с Женечкой. Он знал её всю жизнь, неотлучно был с ней и привык к ней больше, чем Величалин. Тот работал и часто бывал в отъездах, да и Женечка не особенно хотела понимать отца. Она считала, что он живёт лишь для неё.

Сам Дузе посоветовал Женечке не ждать ветра с гор, а оглянуться вокруг и жить. Она и приняла это как лучший и ценнейший совет.

А меж тем Дузе заметил что-то, чего в Женечке раньше не могло быть и не могло быть вообще.

Она стала хорошо есть, порозовела, глаза её заблистали ещё больше.

Это был тревожный признак. Дузе много наблюдал за больными в санаториях, где он служил в первую пору молодости, когда только закончил учение и поступил в доктора. Больные в какой-то момент уставали от своей болезни, и жизнь их становилась необдуманной, скомканной и отчаянной. Кончалось всё плохо. Но Дузе дал себе время обождать и дождаться, когда Женечка сама обратиться к нему с вопросами.

«Не понимаю я эту молодёжь… Не понимаю вас! Вам столько дано! Молодость, кому-то и деньги, здоровье… И сколько в вас, молодых людях, упорства к желанию страдать, страсти к жалобам, бесконечное унылое сожаление о том, что тёмный ад с его демонами никак не забирает вас к себе и не спасает от тягот земных! Странно, страшно…»— думал Дузе, слушая Женечкины юношеские речи.

Особенно на неё повлияли сочинения барона Олшеври про вампиров, которые в те годы были на волне успеха.

Она жила в романтическом мире, как роза в хрустале. Любая попытка вытащить оттуда её закончилась бы трагично.

Стромынин, к его несомненным отличным качествам, имел и дурные пристрастия. А особенно чёрные мысли. Дузе видел его всего как на ладони.

На другое утро после прогулки в горах Дузе, чтобы прекратить свои домыслы, не находил места в своей маленькой комнатке. Он уже продумал наперёд всё, что только может случиться.

Но накануне Амалия осталась ночевать в номере «Лондона» из-за того, что поздно было ехать домой.

Её представил Михаил как учительницу грамматики, но Женечка, начитанная и с ясным умом, с блестящим умом и современными взглядами, воспитанными в ней Дузе, сразу же поняла, что учительство и Амалия несовместимы. Для учительницы она была слишком прекрасна.

Хорошенькая, светлая Женечка, с кудрями и рыжеватыми бровками, с посыпанным веснушками носиком, рядом с Амалией выглядела маленькой осенней звёздочкой, у которой отбирает свет полная Луна. Походка, осанка, каждый выверенный жест, каждый взгляд, каждое слово Амалии были необычайно царственны.

Дузе столкнулся в коридоре с половым, который нёс наверх записку от Стромынина.

— Дайте мне, я передам,— сказал Дузе и положил пятиалтынный половому в заскорузлую ладонь.

У дверей Женечки он помялся и постучал, после чего вошёл.

Она уже проснулась и сидела в кровати, держа на коленях серебряный поднос с сочниками и молоком.

— А, Теодор Карлович! Мне ночью было трудно дышать… в груди немного болело. Но уже отпустило.

Доктор пощупал пульс и лоб.

— Почему же вы сразу меня не позвали?

— Ночь была!

— Это ничего, знаете же…

— Но прошло же!

— А в другую такую ночь может и не пройти!

Женечка махнула рукой:

— Всё пустое. А эта дама у папеньки?

Губы её задрожали.

— Думаю, вам стоит смириться.

— Я уже смирилась. Пустое.

— Вам пишет Павел Леонардович. Вот письмо.

Женечка выхватила письмо из протянутой руки Дузе.

— Прочтите и мне, что он пишет. Я хотел бы вас предупредить против Павла Леонардовича, будьте осторожны и осмотрительны.

Женечка горько улыбнулась и сняла с коленей поднос с недопитым молоком.

— Вот… я… он предлагает мне выйти замуж. Я, конечно же, соглашусь. И никто мне не помешает… Я… я же могу выйти замуж?

Дузе опустил голову и покрутил в пальцах салфетку. На лице его читалось неподдельное участие. Даже щёки его зарозовели.

— Послушайте теперь меня, как доктора… Erstens (во-первых)… Замужество… это прежде всего дети… А дети… сами понимаете. Беременность убьёт вас. В вашем положении это невозможно, пока не начнётся ремиссион и вы не вылечитесь. Полностью. Слышите? Полностью. Zweitens (во-вторых)… Если же вы решились себя убить… то я не могу вам препятствовать. Могу только дать совет прежде подумать, потому что смерть… опять же в вашем положении… это неприятная процедура. Длительная, некрасивая и вовсе не романтическая. Наконец, in der Dritten und als Ergebnis (в-третьих и в результате)… Если же вы забеременеете и потом станете умирать вместе с не рождённым ребёнком во чреве, то уж извольте не ругать никого и не проклинать. Я вам говорил, это ваше решение, это ваша прихоть… Дорогая прихоть, но я её понимаю… Понимаю… так, как вы живёте… нельзя и вовсе жить.

Женечка закрыла лицо дрожащими руками и всхлипнула.

— Ну же… Вы спросите… почему вы? Не спрашивайте… кому-то это должно быть уроком, ваше бытие. Значит, вы чей-то урок. И не надо грешить на Бога! Он всё делает верхним умом, а мы всё перекладываем на нижний, себе понятный язык…

— Прочтите мне письмо,— прошептала Женечка, несколько раз вздрогнув.

— Я прочту… И да, чтобы я не забыл. Ещё неделю мы тут пробудем… Вы уже постарайтесь не видеться со Стромыниным. Вас отвезём в санаторий, и Михайла Емельянович отбудет, а я буду с вами.

— А его дама?

— Она? Ну… если всё так, как он кричит на каждом перекрёстке, то придётся вам её принять… может быть, даже полюбить. Она добрая, славная. Не будьте к ней так расположены… Она может быть вашим другом. Лучшим.

— А Павел Леонардович что?

— Вот сейчас прочтём… если позволите.

— Читайте, но сохраните это в тайне.

Дузе развернул наодеколоненный листочек. Из него выпала веточка лаванды, которую Женечка тут же схватила и прижала к губам.

Стромынин писал Женечке, что готов быть её рабом и не далее как в четверг на этой неделе приедет и сделает Величалиным визит с предложением руки и сердца.

Стромынин умолял о встрече.

Женечка жалобно взглянула на Дузе.

— Встретьтесь с ним. Но будьте умницей и помните мои слова.

— Какие у меня возможности… вообще… жить?— спросила Женечка, дрожа.

— Их мало. Но они есть. И при спокойном и правильном подходе, нужном нам с вами… вы вылечитесь через год… Но в санатории.

— Год!— застонала Женечка.— Через год он уже и думать забудет обо мне!

— Но он же говорит, что любит… А любовь никуда не денется за год, уж поверьте!

Женечка немного успокоилась. Стромынин же не находил себе места. Он метался. Мысли его были похожи на запутанный клубок, чего раньше с ним никогда не было. Наконец он поехал в гостиницу, в тот самый номер, где встречался с Женечкой впервые, и заперся там, сказавшись больным. Женечка должна была его пожалеть. Письмо о своей болезни он отослал и ждал её незамедлительно.

Но Дузе, хорошо понимая, что Амалия и Павел Леонардович родственники, сразу же после разговора с Женечкой пошёл к ней в апартаменты.

Там же завтракал и Величалин. Они смеялись, обсуждая какие-то местные новости, сидя за круглым столом, покрытым голубой кружевной скатертью, и тихонько переговаривались через огромный розовый букет кремовых чайных роз, благоухающих на всю комнату. Амалия, в свободной блузе и английской юбке, была чудо как прелестна.

— У меня к вам вопрос…— сразу начал Дузе.— А вы, Амалия, тем более послушайте внимательно. В наших руках… выходит… жизнь Женечки.

И Дузе начал тяжёлый разговор, присев на краешек тахты.

Женечка, получив письмо с прошением явиться, ещё некоторое время приходила в себя. Она не могла заставить себя встать и умыться. Лежала пластом и слушала шум разгулявшегося моря.

На улице потемнело, моросил тёплый дождь. Но этот дождь бы скоро прошёл, она знала. От «Лондона» до гостиницы «Ялта» совсем недалеко. Нужно бежать. И Женечка, одевшись наскоро и плеснув в лицо воды из умывальника, в душе поблагодарила отца, что он ещё не приставил к ней какую-нибудь девушку, чтобы помогала с платьем и причёсками. В Москве было другое дело, там за ней бегала толпа прислуги. А тут один только Дузе.

Женечка тихо вышла из комнаты, спустилась вниз, накинув вуаль, и, выйдя на мостовую, побежала за угол улицы, перемахнула проулок и приблизилась к каменной лестнице, ведущей на Дарсановскую.

Нечего было ждать. И незачем. Решить—так сразу. Стромынину нужно дать последний ответ… Но почему она не может в последний раз побыть счастливой? Что этому мешает?.. Сейчас же кинутся все её искать и обнаружат отсутствие, но за это время она добежит до «Ялты», и они встретятся. Пусть тогда ищут!

Женечка, думая и волнуясь, отчего у неё начался кашель, поднялась по лестнице, стараясь реже вдыхать и выдыхать. Это помогло, но сердце стучало бешено. Она, пытаясь не попадать под морось дождя, иногда начинавшегося с новой силой, прикрывала спину плащиком и шла дальше.

Наконец чуть облезшая голубая «Ялта», швейцар…

— Я к Павлу Леонардовичу Стромынину… в шестой нумер.

Её пропускают, она бежит по коридору, вот тот самый номер… Дверь…

Стромынин, услышав её шаги, идёт навстречу.

Нет, нет… говорить не надо… молчание скажет всё…

Михаил, Амалия и Дузе говорили около часа. В это время Женечка ушла. Величалин был уверен, что она спит и что не стоит её беспокоить в расстроенных её чувствах, поэтому послал Амалию к ней только через три часа—посмотреть, всё ли хорошо. Амалия толкнула дверь и вошла, но на разобранной кровати валялось лишь несколько платьев, вытащенных из шкафа, да впопыхах забытое на трюмо письмо Стромынина.

Амалия тут же бросилась читать его.

«Милая Евгения Михайловна, душа моя! Вы доводите меня до смерти, чая, что и вас там заждались. Вы хотите и меня утащить в Аид, не правда ли? В жестокости я вас не виню! Но послушайте и мои несчастные доводы по поводу этого нашего дела. Да, мы можем уехать вместе, и ваш папа, совершенно занятый моей ушлой сестрицей, не станет потом нас искать. Поверьте, мы тотчас же обвенчаемся где захотите, хоть в стороне Севастополя, хоть в Симферополе, хоть не отъезжая далеко, тут вот, в Ореанде или Мисхоре… А хотите, так на Форосе?

Вы мне сказали, что хотите прекратить мои ухаживания? Извольте! Так вы можете сделать, но этим вы и причините мне мою смерть. Легче мне, чтоб вы выпили кровь мою и сами удовольствовались моей перелившейся в вас силой новой, чем бросили бы меня без надежд. А что там ваш папенька, то он сейчас занят моей сестрой. Да, она прекрасная, но и что? Она женщина, испытанная жизнью, хоть как-то я её и пытался устроить… но она его игрушка на время, а вы мне будете жена—НАВСЕГДА! Приходите, пока я жив и ещё жажду ласк ваших, ведь в этот раз всё будет изрядно лучше, чем в тот… Простите меня сразу… и сожгите это письмо на свече. Ваш Павел. Всегда ваш муж, любящий вас нежно и безумно».

— Ах, подлец!—вскрикнула даже Амалия в сердцах и, свернув письмо, спрятала его на груди.—Вот ты и воюешь против меня… брат мой… Да осилишь ли? Не тебе той кукушкой быть!

Амалия прибралась в комнате, повесила платья в шкаф, и в ту же минуту вошёл Величалин.

— А… где… Женечка?—спросил он бессильно, и пот выступил у него на лбу.

— У Стромынина.

— Ах, я знал, что упущу… её…

Михаил упал на кровать и схватил себя за волосы.

— Но он же! Он же понимает!

— Ничего он не понимает. Этот человек ничего не понимает. И он… может всё погубить. Нас, тебя, меня, её… Всё. К счастью, он пока не догадывается, что ты что-то знаешь, и ты не говори. Я с Женечкой всё решу. Я всё ей расскажу… Она поймёт. И Стромынин… будет… раздавлен. Он другого теперь не заслуживает.

Дузе ошибался насчёт тяжести Женечкиного диагноза. Она, конечно, была больна, но болезнь её считалась ещё «верхушечной», то есть она могла бы ещё жить много лет, а потом умерла бы, если бы не лечилась. Более того, Женечка отлично бы вылечила свою чахотку, ведь в скором времени открыли антибиотики, да и молодой организм помог бы.

Но вся истерия, развязанная вокруг неё, дикий страх Величалина, странное отношение Стромынина и вмешательство Амалии повернули её жизнь совершенно в другую сторону. Женечка уже чувствовала себя обречённой. Она уже на всякий случай простилась с жизнью и не готова была теперь расстаться с мыслью, что романтически умрёт. Хотя умирать она вовсе не собиралась.

Она лежала в постели Стромынина, который был хорош, как белый свет; в окна прищуривалось

из облаков солнце. Женечка, словно осиновый лист, вздрагивала от каждого поцелуя, словно он обжигал её, прижимала к себе голову Стромынина и горячо шептала какие-то глупые девичьи слова, от которых у Стромынина кровь в жилах стыла.

Наконец, утомившись и уснув, они совершенно забыли о Величалине, докторе и Амалии, о городе, подарившем им друг друга, о том, что лето перепорхнуло в осенний сезон, как новорождённая бабочка, и жить им осталось, может быть, совсем чуть-чуть, как теплу перед тем, как придут морозы и волны приветливого моря осипнут от дождей и ноябрьских штормов, выбрасывая стеклянные водоросли на оснежённый и безлюдный пляж.

Солнце разбудило их только следующим утром.

Женечка в ужасе проснулась и, увидав спящего Стромынина рядом, заплакала, перебирая его волосы, накинутые на глаза.

Он тоже проснулся, улыбнулся грустно и сказал:

— Гутен морген, майн либе Женечка. Надеюсь, меня не убьют за вас.

Женечка судорожно сжала ему руку.

— Вы боитесь за себя? А я боюсь за нас обоих. Ужасно, ужасно боюсь.

— Поедемте вместе… я… и вы… Я скажу, что вы были со мной, что мы были вместе и уже давно муж и жена. Как? А?

Женечка замотала головой и закашляла.

— О Боже мой! Нет, не делайте этого! Мы погибнем.

— А… — протянул Стромынин. — Тогда скажите, что вас похитили через окошко и увезли на пиратском судне в Турцию, но решили вернуться с полпути, потому что вы очень беспокоились, что оставили дома свою шляпную картонку с фотографическими карточками обнажённых дам и потрёпанной книжицей Мопассана.

— Глупый! — засмеялась Женечка, но смех её снова сменился кашлем.

Женечка закашлялась, покраснела, на висках её набухли вены, и она скрылась в ванной.

Стромынин около пяти минут слушал её кашель и только после, когда на смену ему пришёл звук падающей воды, вошёл в ванную.

Женечка быстро смывала кровь с ободка мраморной раковины. Плечи её содрогались.

— Вот… лучше нам всё-таки поехать вместе…

Стромынин не успел договорить. Женечка, схватившись за край раковины, упала без чувств.

Амалия, Дузе и Величалин не сходили с балкона, выглядывая по очереди Женечку. Они решили обождать сутки-двое, ибо Стромынина на дачах не оказалось, куда сам верхом ездил Михаил Емельянович. Амалия и молодая Аннушка, её прислуга, которая теперь переехала в «Лондон» вместе с хозяйкой, всю ночь не спали, дежуря на балконе.

Они первые и увидели коляску, из которой Стромынин вынес бесчувственную Женечку.

Михаил готов был убить его. Но он сдержался и не вышел на улицу.

Стромынина в гостиницу не пустили. Женечку принял Дузе, и он же поднял её в номер, откуда сразу же послали за доктором Виноградовым.

Женечка была не в себе, Амалия стирала с неё пот и колола лёд, постоянно накладывая его на грудь Женечки.

Доктор Виноградов долго осматривал больную, выгнав плачущего Величалина за дверь.

Он и Амалия сидели снова на балконе, под которым стоял Стромынин и прислушивался ко всему, что мог услышать.

Михаил, увидав его, перевесился через кованую решётку и крикнул:

— Стромынин, чёрт тебя возьми! Сделай так, чтобы я искал тебя и не нашёл!

Но тот стоял как вкопанный под палящим солнцем.

— Правда, Павел Леонардович, идите! — крикнула Амалия, оттаскивая Михаила назад, в комнаты. — Идите, не то будет беда!

Стромынин словно и ждал беды.

Через четверть часа Аннушка вынесла записку от Амалии: «Женечка поедет в санаторий, а вам лучше убраться прочь. Уезжайте из города, Михаил очень зол на вас. Женечке лучше. Но вам лучше уехать, умоляю вас!»

Стромынин прочитал записку.

— Что барыне передать? — спросила Аннушка, отплёвываясь тыквенными семечками. — Али ничего?

— Скажите им, что я не уеду. Пока Женечка не придёт в себя, я не тронусь с места, а паспорт Амалии у меня. И она никуда не уедет дальше Ялты. Тем более что я сделаю так, что она не сможет спокойно жить в Москве, если будет мне препятствовать встретиться с Женечкой и объясниться с Величалиным. Я не многого прошу. В воскресенье я буду у них. Запомнила?

— Да! — весело ответила Аннушка.

— Что же ты запомнила? — сквозь зубы процедил Стромынин. — Всё ли?

— Да, всё! Скажу, что вы шантажник, и документы барыни у вас, да что в воскресенье будете у них. С документами. Штоб в глаза их бесстыжие посмотреть.

— Ну… так не говори. Про бесстыжие глаза.

Стромынин перевёл взгляд на балкон. Амалия, с заколотыми волосами и в розовом новом платье, сама похожая на вспушённый ветром розан, стояла на балконе одна и смотрела на него безотрывно.

Стромынин схватил Аннушку за шею, поцеловал её в щёки и, отпустив, погрозил пальцем Амалии. Та не пошевелилась. Стромынин приподнял шляпу, рот его задёргался, брови сошлись на переносице, он в два прыжка пересёк мостовую и исчез за поворотом улицы.

Женечку наблюдали доктора из клиники Альтшуллера, и на следующий день Дузе сообщил Величалину, что необходимо вернуться в Москву для проведения пневмоторакса и дальнейшего отбытия в Германию.

— Иначе всё будет очень худо.

Величалин выслушал Дузе и ушёл на берег. Он долго не возвращался. Амалия побежала искать его. Михаил сидел на том месте, где они обычно дышали воздухом с Женечкой, и курил. Судя по красным глазам, можно было угадать, что он плакал.

Амалия, шурша камешками, подошла к нему и села рядом на деревянную скамью.

Величалин смотрел в море, где вдали виднелись белые коробочки пароходов с отрывающимися пушка́ми дыма, остающегося позади коротким, не длиннее папиросы, следом.

На берегу почти никого не было. Отдыхающие в основном выехали по домам. А несколько дождливых последних дней августа и вовсе напугали людей. Спешно собирались и отбывали надышавшиеся ялтинским воздухом господа и дамы.

Некоторое время Амалия и Величалин сидели молча.

— Вы читали тот отрывок в «Даме с собачкой» сочинителя Чехова, где двое сидят около храма в Ореанде и молчат?..— наконец вкрадчиво сказала Амалия.— Мы сейчас так же сидим и молчим…

Величалин не отвечал. Амалия, взволнованная, покусывала губку и перебирала платье, словно хотела выгладить руками то, что случайно, по её мнению, казалось ей измятым и недостаточно ровным и гладким.

— Я не люблю вашего Чехова. Зная, как он жил, всё во мне переворачивается… а зная, как он умирал,— тем более. Ведь я очень хорошо знаю, как он умирал, одна из моих… знакомых играла с Книппершей на одной сцене. Та наговорила с три короба… лишь бы ей простили её холодность к мужу. Плохие жёны, несомненно, являются причиной наших несчастий,— заговорил Величалин как будто с кафедры.

Амалия посмотрела на него с улыбкой.

— Но ведь подобное притягивает подобное…— сказала она мягко.

Михаил взглянул на неё отрешённым взглядом.

— Я не успел вырастить доброе… по отношению к вам… ростки его нарушены. Всё будто бы поглотила моя вина… что я себе позволил… непозволительное. И тем самым обрёк Женечку на худое. Поймите меня и простите… Но это чувство стократ сильнее того, что я испытываю к вам.

Амалия отвернула лицо к морю. Она больше жадно не искала взгляда Величалина.

— Вы ещё будете счастливы…— сказал он прохладно, починая новую папиросу «Талисман».

— Я знала, что так и будет,— ответила Амалия отрывисто.— Ничего другого… я и не ожидала от вас… однако же согласилась… на… на всё. Неужели даже надежды у меня нет?..

Михаил молчал, курил и пускал дым на сторону. Он ещё не знал, что говорить. Важного бы всё равно не смог, а пустое молоть не хотел.

Амалия, так и не дождавшись ответа, встала и, чуть покачиваясь, тыкая сложенным зонтиком в камни, пошла назад, к лестнице, ведущей на набережную.

Михаил боялся смотреть ей вслед. Он закрыл лицо картузом и силился не зарыдать, но слёзы всё равно выкатились из глаз. Но гул моря подхватил его рыдание, сбил его и спутал с другими голосами побережья.

Когда он вернулся, разбитый и потерянный, никого не было дома. Дузе отвёз Женечку к Альтшуллеру и оставил записку, чтобы Михаил отоспался и приезжал к ней наутро.

Амалии и Аннушки тоже не было. Насовсем они ушли или на некоторое время, Михаил был не в силах выяснять. Он упал на неразобранную кровать как был, одетый, и забылся сном.

К вечеру он проснулся от какого-то шуршания. На улице стемнело по-южному скоро и тяжело. Только газовые фонари светились круглыми плафонами, и их неяркий свет чуть освещал комнату.

Однако на комоде горела лампа, и тонкая фигурка Амалии, одетой в серое простое платье с белым круглым воротничком, суетилась у шкафа, перегружая платья в чемоданчик.

— Амалия…— сказал Михаил.— Я уж испугался… что ты… что вы… ушли.

— Вот! Уже на «вы»… Спите… отдыхайте. Доктор Дузе попросил меня привезти Женечке вещи, и я их собираю.

— Как… она?

— Ничего, почти уже хорошо. Про Стромынина я ей рассказала. Она всё знает. И если он… придёт к вам… гоните его в шею. Лучше даже не открывайте дверь.

— А как же Женечка-то… переживёт?..— вздохнул Величалин, так и не найдя сил привстать с кровати.— И вы… почему ко мне? А к вам как же?

Амалия в сердцах бросила рубашки на постель.

— А я уезжаю в свою Нижнюю Аутку. Там я буду работать… учительницей… и спокойно жить без вас!

Михаил чуть заметно поднял брови:

— Ой ли… такой я, скажете тоже… дурной человек…

— Не стоило бы мне с вами тут разговаривать!

— Скажете тоже!

— Вы сами мне всё сказали! Ваши речи не умнее путеводителя Безчинского! Налейте на темечко

пресной воды! Ешьте мясной виноград! Обложитесь грязью и не преминете тут же лечь! Вот ваша речь. И Чехова вы не любите.
— Да кто ж его любит?!
— Я люблю! Нашли тоже… трёхдневную бабочку и думаете, что я позарюсь на ваши миллионы! Вот ещё! Нужны вы мне!

Амалия, совершенно придя в суету, не замечала, как Михаил тихонько встал и крадётся к ней по комнате, прикрытый полумраком и не досягаемый светом лампы.

Наконец он почти вплотную подошёл.
— И я была глупой девчонкой! Всё у меня бы сейчас было, а я не удержала! Была бы генеральшей! Сейчас уже ездила бы сюда как барыня, а не как содержанка. Беда моя в том, что головой я никогда не думаю, а только сердце как зайдётся, так и всё пропало… И тут опять! Да чтоб его! Какая уже разница, где мне жить и где работать?! Чехова он не любит! Да он, чтобы вы понимали, ещё не открыт нам и, возможно, и через сто лет…

Михаил, скинув с плеч подтяжки и сделав ныряющее движение, вдруг перехватил Амалию за талию и закрыл ей рот поцелуем.

Она, конечно, только ради приличия надавала ему пощёчин, но, к слову сказать, каждая из них для него была как удар напудренной пуховки по щеке модницы.

В то же самое время Стромынин сидел на полу с бутылкой «Ореанды» и пытался не напиться от раздирающего его голову плана. Он планировал похитить Женечку, отвезти её в лес, куда-нибудь в сторону Евпатории, может быть, на Мойнаки, где был хороший санаторий для разных больных и слабогрудых тоже, или в Севастополь, где они бы поселились за Каламитой в маленькой татарской деревушке и он ждал бы её выздоровления, отпаивая её кумысом и кефиром…

Он бы приносил ей золотые ягоды шасля на подносе, и она бы так скорее вылечилась. Ведь там родина шасли…

Или нанял бы мажару с буйволами, и их бы подняли на вершину Бабуган-яйлы, чтобы оттуда в серебристом утреннем сквозящем воздухе показать ей очертание Роман-Коша…

Никогда этого не будет!

А это басня про храм Девы и Ифигении, пожалевшей пришельцев… поднявшей руку на само изображение богини!

А разве Женечка не могла бы спасти и его ценою собственной жизни?..

Стромынин перекрутил в голове Ифигению и каламитских татар, и воспоминания о том часе, когда Женечка забрасывала голову, подставляя свою тонкую прозрачную шею под его поцелуи, каждую жилку которой он помнил, и ту бьющуюся всё быстрее и быстрее синюю вену, и её слабые, но такие лёгкие руки, внезапно обретающие силу и обвивающие его в последнем объятии… И вампиров, которых обожала она и всё время просила выпить его горячей крови. «От горячей крови я сразу исцелюсь…» — шептала Женечка, прикусывая Стромынину запястье мелкими острыми зубками.

Пройдёт время, и ничего этого уже совсем не будет, даже в памяти…

Стромынин проникал взглядом сквозь годы, как пройдут они и он, старик с седой бородой, как-нибудь увидит на улицах Ялты её… А она будет также старухой, с каким-то усатым господином с многоэтажным подбородком и в шляпе-котелке, если, конечно, к тому времени ещё останутся такие шляпы…

А Амалия! Да, о ней он думал меньше всего. Она и Величалин… по его же воле сошлись, и плевать, что с ними будет. Конечно, Амалия хитрая, умная… но она за всё заплатит. Только… за что она должна платить? За глупость своего брата?

Стромынин плеснул «Десертного» в бокал «Ореанды». Он знал, что назавтра, вероятно, не встанет, вот и хорошо! Пусть они уедут, а он решительно отказывается и от Женечки, и от Амалии. А дачу её он подожжёт! Пусть будет так!

Стромынин даже крикнул:
— Пусть будет так!

Испугался своего вскрика, упал на пол и лежал, глядя на серые облака паутины вверху, свисающие вниз чёрными трепещущими кисеями. Время вылечит всё… Всё проходит…

Но, несмотря на то, что Стромынин накануне напился и страдал от головной боли, он всё равно сбегал к «Фердинанду» сделать причёску и постричь усики.

Раннее утро пробудило ещё только булочников и парикмахеров. Солнце скромно щурилось из-за моря.

Стромынин, набриолиненный и надушенный, бродил по тенистой свежей набережной, останавливаясь иногда под платанами или пихтами, промокал платочком лоб и шёл дальше.

Так он дошёл до «Лондона» и сразу же бросил взгляд на знакомый балкон, который теперь был закрыт.

Стромынин вошёл в холл. К нему подбежал портье с сильно закрученными усами.
— Честь имею доложить о вас? — спросил он. — Вы с багажом?

Стромынин смерил его уничтожающим взглядом.
— Доложите господину Величалину, что господин Стромынин ожидает его в холле.
— Господин Величалин изволил вчера-с выехать.

Стромынин побледнел.
— Как? Вчера же воскресенье!

— Никак нет-с! Вчера-с понедельник-с. Господин Величалин с доктором и барышнями уехали-с. Вот, можете спросить у эконома…

Стромынин, обернувшись, выбежал из гостиницы. Он не слышал, как следом ему что-то крикнул портье, глаза его наполнились туманом, и он не видел, куда идёт; он метнулся к берегу, но берег ещё был пуст, и только из купален доносилось зычное: «Ах-х ты, ядр-р-рёна вошь!»

Стромынин поймал извозчика и приказал ехать на дачу Чекалиной. От тряски несколько раз останавливались. Он сползал с сидений и удалялся в кусты. Извозчик улыбался в бороду:
— Пили, ваше блродие? Небось асадру с реяндой помешивали?
— Так… — стонал Стромынин.— Войну делал…
— Надо б вам угля поесть берёзового.
— Пройдёт…

Вскоре доехали до дачных угодий.

Стромынин подбежал к знакомой калитке, где он так недавно стоял, вызывая Амалию для Величалина.

Но на крылечке дома стояли чемоданы, бегал кудрявый малыш, собирая упавшие нежно-розовые цветки альбиции по дорожкам.

У Стромынина перехватило дыхание.
— Едем назад, в «Лондон»!— крикнул он извозчику.

Пока доехали, бешенство и гнев Стромынина сменились на отупелое, сомнамбулическое состояние. Он успокоился и вошёл в «Лондон» уже спокойно.

Его увидели и подошли. Это уже был швейцар в тёмно-красной ливрее с серебряным галуном.
— Ваше благородие… — громко сказал он.— Хорошо, что вернулись!
— Документы… — хрипло сказал Стромынин.— Куда они поехали?
— Не изволим знать,— был ответ.
— Хорошо… — вздохнул судорожно Стромынин.— Тогда что… полиция нужна… потому что…
— Вот вам письмо,— перебил его швейцар.— От ихней барышни. За два рубля меня просила отдать только вам.

Стромынин сонно протянул руку в белой перчатке к квадратному конверту, пахнущему Женечкой.

Он кивнул, что-то пробубнив себе под нос, вышел, перешёл на другую сторону дороги, доковылял до пляжа и сел под зонтики кафетерия Эйнемов, где покупал Женечке сладости.

Солнце сразу же облило слепящий листок с ровным гимназическим почерком.

«Мой Павел Леонардович! Всё, слава Богу, закончилось, волноваться мне нельзя, но я всё же волнуюсь. Вы остаётесь в неведении по поводу моего положения, но я-то его знаю уже отлично, как не знает пока что никто. Смерть или жизнь оно доставит мне, тоже пока что неясно, однако утешьтесь. Я разобралась в себе и не любила вас. Я не любила вас, живите дальше. Ваша Евгения».

Стромынин долго перечитывал это письмо. Он взглядывал то в письмо, то на море, то на небо, то снова прикасался к письму, то нюхал его, пытаясь в последний раз физически ощутить близость потерянного им навсегда счастья.

Эпилог

— А мы называли бархатным сезоном совсем другое время,— сказал старик, роясь в деревянном ящике.— Весна это была… И отдыхающие как раз ещё не купались… Холодно было купаться. Помните, мрамора было поменьше, дома пониже… навоз пожиже…

Хорошо одетый седовласый человек, с правильными чертами лица, с бледно-зелёными глазами, рассмеялся.
— Так до революции всё было покрепче. Мне отец рассказывал.
— Д-да… что-то и хорошее было, наверное. Адрес диктуйте.
— Ах да… Москва, улица Достоевского, дом шесть, квартира пятьдесят четыре, Величалиной Амалии Леонардовне,— сказал чётко седовласый и добавил:— Думаю, доспеет в дороге… я совсем зелёный купил, а мать инжир обожает. Напишите «хрупко».

Старик, окунув перо в чернильницу, замер.
— Старенькая уже… наверное, ваша матушка?— спросил он дребезжащим голосом.
— О да! Но я ей неродной, я сын её приёмной дочки… Та умерла ещё до революции… Немного не дожила… вылечилась бы… От чахотки умерла. Отца приёмного расстреляли перед войной… враждебный элемент… А она в его доме жила, в уголку практически. Ну и я с ней. Правда, я выучился и даже в министерстве внешней торговли работал. Да это всё на самом деле дела давно минувших дней, так сказать.
— А у самого семья есть?.. Устроился?
— А, да! Конечно! Жена, два сына и дочь. Мы смелые! Трое у меня!
— Славно… Сколько же им?
— Сынам шесть и десять, дочке четыре года всего. Так сколько, говорите, до Москвы будет идти?
— Две недели.
— Доспеет в дороге?
— Доспеет! Придёт в кондиции.

Седовласый полез в кошелёк за деньгами, а старик за почтовым прилавком пристально смотрел на него через очки. Он хотел что-то сказать, но не смог.

Разогрел сургуч, перемотал фанерный ящичек верёвкой и приложил коричневую лепёшку на место узелка.
— Благодарю вас!— весело сказал седовласый и, кивнув головой, вышел через стеклянную дверь почты.

Старик ещё долго смотрел на дверь, но не мог встать и побежать следом. Работал он на почте уже семнадцать лет. В войну потерял обе ноги, и на работу его привозила в детской коляске дочка соседа. У него самого не было семьи, он объяснял это одной фразой: «Что заслужил, то и получил».

В выходные он сидел под деревом в крохотном дворе и, мурлыча себе под нос любимую песню про вьюн, строгал из чурбачков деревянных лошадок. Так Павел Леонардович Стромынин и умер, не доделав два колёсика для новой игрушки.

В коробе с игрушками нашли его завещание—послать их внукам на московский адрес, а в чайной жестянке—потрёпанное по углам, пожелтевшее письмо Женечки и книжку барона Олшеври 1912 года издания.

ДиН пародия

Евгений Минин

Будь выше всяких глупостей, поэт!

Про ту и ту…

Я там гулял и с той, и с той, и с той—
Был сад, как деревенский суп, густой…
Дмитрий Коломенский

Там сад был гуще деревенских щей,
А в этом супе вместо овощей
Кружились девы—все причём без вёсел.
Я там гулял и с той, и с той, и с той—
Покуда не услышал оклик: «Стой!»
Ревнивый гад в меня оглоблей бросил.
И сразу память вырубило, блин,
Вдруг позабыл—брюнет ли я, блондин,
Не то женат, не то давно в разводе,
Но, женскую запомнив красоту,
Я не забыл и ту, и ту, и ту,
В лирическом копаясь огороде.

Набоковное

Вот взять: Набоков и Булгаков.
Ведь их на рукописи взгляд
отчаянно неодинаков:
горят иль всё же не горят?
Юрий Ряшенцев

Хотел узнать я, между нами,
насколько ценен как пиит.
Вот если брошу книгу в пламя:
сгорит иль всё же не сгорит?
Страшился этого итога—
отвёл от книжки я ладонь,
но подбежал внезапно Гоголь
и бросил бедную в огонь.
Не в силах пережить потерю,
пью с горя по ночам кефир.
Булгакову теперь не верю,
Набоков нынче мой кумир!

Консервное

И жертвенным заржавленным ножом
Освобождаю рыбные резервы.
Передо мною—порционный сом.
Как мудрый сын языческой Минервы,
Он шевелит глубоководным ртом:
«Все мужики козлы, все бабы—стервы».
Виталий Симанков

А для меня консервы—не жратва,
Хотя в них, скажем, рыбы—кот наплакал.
В консервных банках я ищу слова,
Там всякая рыбёшка—что оракул,
От каждой фразы—кругом голова,
И вдохновенья вспыхивает факел.

Когда я кильку отправляю в рот—
Она бормочет: «Лучше нет награды».
Тунец, который в масле,—тот орёт
Из Пастернака целые тирады.
Вчера лишь наказал я банку шпрот—
Они шептали: «Все поэты—гады».

Мозголаскательное

и не подвластный тлену и греху
ласкал мозги не достигая низа
Алексей Цветков

будь выше всяких глупостей поэт
храни сердечко с почками от порчи
но главное—запомни мой совет
ему подвластен будь в слепые ночи

фонемы собирающий в слова
остерегись астрального сюрприза
ласкай мозги не достигая низа
тогда шедевры выдаст голова

Вячеслав Сухачёв

Наваждение

Соловки

Двадцать второго января 1676 года, тёмной и ненастной ночью, предавший Соловецкую обитель монах Феоктист, а также майор Степан Келен с отрядом из пятидесяти стрельцов проникли в неприступную крепость через известную старцу брешь — наспех заложенную кирпичом калитку в стенах у Белой башни. Они быстро сломали её и в скором времени отворили ворота, в которые вошли остальные войска. Стоявший семь с половиной лет непокорный очаг пал. Застигнутых врасплох бунтарей подвергли ужасающим казням: подвешивали за рёбра, сжигали, четвертовали, привязывали к коням и волокли по земле. Монастырское имущество грабили и уничтожали. Так завершилось известнейшее в русской истории старообрядческое восстание.

Недалеко от величественных стен из крепкого гранита, когда студёная вьюга ураганными порывами несла жгучий рой снежных песчинок, обдаваемый ненавистным хладом стрелец топтал вздымающиеся сугробы. Его бордовый кафтан бессильно трепался в секущем наотмашь воздушном потоке. Молодец крепко держался за кушак[1], дабы тот случайно не развязался и не впустил бушующий лёд прямо к замёрзшему телу. Волнообразные жемчужного цвета холмы дымились летящими в безудержном ветре струйками снега. Всюду осела густая, даже чуть осязаемая ночь, и лишь изредка сверкавший лунным серебром снежок вскрывал её алчную мглу. Одетая в молочные шубы хвоя пестрила вблизи монастыря. Как раз в её сторону пробивал себе путь отчаянный воин. Ноги промёрзли внутри околевших сапог. Вероломные тропы проваливались под ним пару раз и без раздумий глотали ослабшее тело. Щёки розовели, жиденькую бородку усеял липкий мороз, а скомканный мех то и дело норовил слететь с головы. Плёлся юнец в сторону небольшой часовни из старого дерева. Той, что у кладбища. Стояла она давно, да вот только никому не нужная. Монастырские чернецы обходились своей, а эта считалась заброшенной. Кто туда подастся? Беглец, конечно. Вот и послали — вытравить. Погодка нынче до ужаса ненастная. Не время для таких дел, но что поделать — приказ. Стрелец хоть и обвешан соболиным теплом, и всё равно немного ему надо было, чтобы совсем окочуриться. Прогибаясь под не щадящим сизо-бледным смерчем, паренёк круто завернул у высокого сугроба. Каблуки вдруг воткнулись в сыпучую дорожку. Неглубокую. Недалеко впереди чернотой засветилась изба. Вот и часовенка. Стрелец уверенно зашагал напрямую. Назад он не пойдёт, не сегодня — уж точно. Надо бы переждать хищную бурю, не очень-то и хотелось свалиться где-нибудь на полпути и чтобы гниющий твой труп нашли под весну. Да и то если повезёт. До дверей рукой подать, наконец-то. Заметил он и тускловатый огонёк из окна. Свечка. Точно, она. Ступил на порог, обил сапоги, примёрзшие комья так и повалились к земле. Крепким плечом разинул низкую дверцу, та смущённо заскрипела, затем пополам согнулся и вошёл.

Берендейка[2] на теле звенела, оледенелые трубки стучались друг о друга. Стрелец большими руками мигом стряс облепивший одежду снег. Кинул взгляд на стену слева и увидел сухого старика. Одет он был в серые лохмотья, борода львиная, седая, голову покрывала такая же серая материя. И как ещё не промёрз? Старец молча сидел за косым столиком, который покрывали толстая свеча и лужица воска под ней. На задней стене иконостас. Перед ним пустой аналой[3]. Стрелец аккуратно достал глядящий из-за плеча здоровенный бердыш[4]. Пищаль поставил в угол. Преподобный поднял на него свой усталый взгляд. Густые брови легонько согнулись. Старец спокойно захлопнул какую-то старую книгу. Бледные губы его зашевелились, он заговорил:

1. Пояс (обычно из широкого куска ткани или связанный из шнура).
2. Ремень (перевязь), носимый через левое плечо, с подвешенными принадлежностями для заряжания ружья.
3. Высокий, с наклонной поверхностью, столик, на который кладутся церковные книги, иконы и т. п.
4. Длинный топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке.

— Издревле люд не видал! Час[5] пришёл почитать? Так поздновато ты! Днём надо.

Стрелец удивлённо уставился на старика. Нервно повертел в руках тяжёлую секиру. Потом ответил:

— Побили бунтарей, старик. Кончай свои молитвы крамольные. Вьюга спадёт, и пойдёшь со мною, а то зарублю,— выдал он властно.

Старец еле заметно заулыбался. Жёлтый пламень приглушённо блистал в его мутных глазах.

— Энто вон тех-то?! Монастырских?— заворчал он.

— Вчера ночью, старик. Перебежчик один нам тайну-то всю и выдал. Прошлёпали с ним через ход, там ворота под рукой. Наши мигом зашли и взяли бунташных. А то думали, ещё год стоять будут! А тут мы, как лиса зайца. Р-раз! И делов-то.

Старичок недовольно покачал головой.

— Ну, мóлодец, не серчай. Я ж не ихний! Один живу лет так двадцать уже. Те что-то воюют всё да воюют— мне ж покудова знать, какой у вас там разлад? Живу вот в сторонке, Отца нашего благодарю да за простой народ наш молюсь.

— Ты, хрыч, не из бунтарей, хошь сказать?— пробасил вдруг стрелец.— Как же ж седая твоя голова не слегла здесь, а?

Преподобный громогласно раскашлялся, столь сильно, что глотка его отдавала сдавленным свистом.

— Лесом я, сынок, живу. Лесом и морем. Как жар, так я на огородец пшено пожинать, как холод, меня животинка лесная кормит. Раньше вот рыбу добывал. Щас уже не время. Помру я скоро. Чую смерть свою близко. Я всегда её чую. Видение давеча ко мне приходило. Сидел я у этого самого стола, и как привиделось! Лес мой в огне! Зайчата бегут куда попало! Море замёрзло насквозь, корой ледяной покрылося. Потом пламень дошёл до него, и вышла вода из берегов. Промчалася по лесу, затопила всё в округе. Стены монастырские по камешку разнесла. Ничего не осталось. Остров утоп, одна лишь Секирка[6] видна была. А на ней инок стоит безголовый. Во ужас!— старец рассказывал с видимым трепетом; впалые щёки на морщинистом лице сильно дрожали.

— И на кой лад ты мне мертвецом сдался, старик? Помирать ещё, небось, сёдня собрался,— недоверчиво проговорил стрелец.

— Ты душа молодая, зелена ещё совсем. Не ведаешь силы природной. Садись-ка рядом, о жизни своей расскажу.

Паренёк возражать не стал. Похожий на полумесяц топор положил на пол, выдвинул табурет из-под стола, прокашлялся и сел.

— Так вот слушай, родной. Раньше ж-то я был простым мирянином. Дорывался всё до службы монастырской. Молитвы заучивал, пост соблюдал, а в опалу всё равно попал! Родился я не тута, а далёко на юге. Грамоте рано выучился и к вере крепко приобщился. Монахом стать всё хотел, да вот не угодил. Люблю я лес с морем, и в них я бога вижу! А злыдни монастырские прокляли. Убогим прозвали да прочь погнали. И хоть я не в обиде на них, дак кому ж щас до того дело? Сколотил часовенку себе малую, огородец вскопал, так и жил все двадцать лет. А как печаль душевную учую, так и у леса с морем помощи просил. И что ж, всегда помогали! А где ж теперь иноки соловецкие? На дыбе, поди, висят. Жизнь одинокая меня и спасла. И душу мою тоже,— старик прервался на глубокий кашель, было видно, что ему всё хуже.— Истинна моя вера, и нету здеся крамолы никакой, слышишь, нету.

Старик внезапно замолк. Часовня громко шаталась под непосильным вьюжным напором. Крыша трещала, углы скрипели. Пол ходил ходуном. Мерцающий костёр свечи сипло дрожал. Молодой стрелец вопросительно уставился на дряхлого старика. Из-под порога шёл кусающий сквозняк. Два человека, разделённые слабым свечением, молча сидели несколько минут. Преподобный внезапно закряхтел. Тяжко задышал.

— Завтра умру…

Стрелец понимающе кивнул и крепко стиснул скулы.

— Помоги старику. И лес твоим домом станет. Что б с тобой ни приключилося, Соловки всегда рады тебе будут. Да не монастырские, не царские люди, а лес с морем,— старец вновь разразился чудовищным кашлем. Казалось, его сейчас вывернет наизнанку.

— Чем-то я тебе годен буду, старик?— заголосил стрелец.

— Доведи до берега, сынок. Там лодка стоять будет недалеко. Мне-то она и надобна.

— Сплюнь, старый! Как же ж я тебя щас доведу? Там кутерьма невыносимая! Самого чуть было не сцапала проклятая!

Старик резко встал— и откуда он только нашёл в себе силы для этого? Затем подошёл к иконостасу и сосредоточенно возложил свою большущую книгу на аналой. Он ничего не читал и даже не молился, просто уставился на иконы. Так и стоял в кромешном безмолвии. На щеках его появились горячие слёзы. Прозрачные капли медленно стекали по тощему лику и устремлялись вниз— прямо на фолиант. Мистический плач продолжался минут десять. Ошеломлённый стрелец лишь оторопело глядел в сторону причудливой процессии.

— Пора,— проронил вдруг преподобный.

— Вьюга там, дуралей седой! Я же сказал!— не выдержал глупости старика розовощёкий юнец.

5. Часы— краткие службы, совершающиеся в православной и католической церквях.

6. Гора на Большом Соловецком острове.

— А ты послушай.

Деревянный домик умиротворённо стоял. Ветра не слышно, снега за окном не видать. Стрелец мигом поднялся и отворил узенькую дверь. На улице чудо: полноцветное блюдо бледной луны одиноко сияло в пустом небе. Сугробы, словно рыбья чешуя, мерно переливались в его свете. Тишь стояла полная: ни вьюги, ни даже слабенького ветерка. Благодать, да и только. Багряношубный паренёк отскочил вдруг назад и вытаращил глаза на старика:

— Колдун проклятый! Зарублю тебя щас, и кончим с этим!

— Ты человек хороший. Поможешь старику, чую энто, лес мне шепчет. Коль дорога наша чиста стала, пошли ж скорее.

— Вот осёл упёртый! Не то, так это! Как с тобою только совладать?—замаячил стрелец.—А чёрт с тобой! Пошли. Хоть в конуре этой ночевать не придётся.

Стрелец собрал всю экипировку, проверил, потом спросил старика:

— У тебя обутки-то есть, старче? Волоком тебя тащить, что ль, иль на спине?

— Всё с собою, сынок.

Через пару минут от былого «голого», укутанного в лохмотья старика не осталось и следа—перед стрельцом стоял разодетый в меха и высокие валенки человек.

— В путь-дорогу, да с удачей.

Платиновые крупицы звонко хрустели под ногами. Обступившую округу тишину нарушало только резкое чавканье снега. Стрелец широким шагом мелькал перед старцем. Тот неуклюже ковылял позади. Блёклая лазурь покрывала их силуэты, отчего те отвечали заметной тенью. Вскоре белые круги играючи отражались во взволнованной воде. Подошли. Старик без остановки вздыхал, ему будто бы не хватало воздуха.

— Вот, родной… и пришли…—сбивчиво промычал он.—Тут за камнем… стоит… посади.

Рослый стрелец на руки подхватил умирающего старца. Преподобный почти что обмяк, но всё ещё находился в сознании. Они медленно прошли до занесённого снегом валуна, под ним стояла пустая деревянная лодка. На удивление, в ней не было снега.

— Давай-ка, сынок, сяду…

Стрелец усадил старика. Глаза его казались слегка замутнёнными. Расторопный взгляд выдавал увядающего страдальца.

— Как Савватий Соловецкий… Лучший уход… Да восхвалит тебя Господь…

Мо́лодец в красном кафтане сурово молчал. Он усиленно сдерживал подступившую скупую слезу. Снял он и шапку, обнажая юный кудрявый волос. Старик степенно оттолкнулся от берега и разом обессилел. Деревянная лодка медленно поползла по поверхности холодного моря.

— Сливаюсь с морем… спасибо, сынок, спасибо…

Когда лодку скрыл белёсый туман, на бесшумном берегу стоял одинокий человек с ружьём и широким топором за спиной. Стоял он недолго, но вглядывался куда-то вдаль. С неба сызнова повалила седая пыль. На сей раз тихо и умиротворённо. Стрелец развернулся, набекрень напялил меховую шапку и молча ступил прочь.

Наваждение

Революционный трибунал постановил: за отчаянное, упорное и последовательное сопротивление идеалам революции, за нанесение тяжкого материального ущерба силам повстанческой армии, за подрывную деятельность, направленную против народа и его интересов, приговорить Г. Г. к смертной казни гильотинированием. Приговор исполнить в кратчайшие сроки.

Крепкие руки, с обеих сторон с адским усилием впившиеся в моё и без того посиневшее и вздутое от побоев тело, бесцеремонно бросили меня в какую-то мёртвую комнату. Темницу, судя по всему. Тьмы тут было и вправду хоть отбавляй. Ещё совсем замутнённый, скомканный происшедшим со мной недавно зверским истязанием рассудок отказывался воспринимать что-либо извне. Со стороны я, очевидно, был похож на некую плюшевую или вовсе бесформенную игрушку, безвольно поддающуюся каждому насильственному порыву. Меня шатало из стороны в сторону, но сейчас, в отведённое мне время, это было не столь важно—жить мне оставалось один час. Ни больше и ни меньше. Теперь вся моя жизнь умещалась в этот крохотный промежуток длиной в шестьдесят полных минут. И хотя я осознаю, что спусковой механизм, запускавший обратный отсчёт, уже приведён в действие, внезапно приходит мысль о возможной вечности моего бытия, что будет тянуться бесконечно долгие шестьдесят минут. Секунда тысячелетиями будет сменять другую. И таких—три с половиной тысячи. Потом меня снова заберут. Я буду идти долго, я знаю это. Ноги откажутся ступать по смертельной тропе, но лишь тем же кукольным волоком зашаркают по гравийной дорожке, ведущей к эшафоту. Когда выведут, кристально чистым и преисполненным благочестивого высокомерия взглядом я озарю толпу, что животными криками своими будет встречать мою смерть. Множество времени это займёт. Затем уже твёрдым, полным достоинства шагом восхожу на в спешке сколоченный, излитый мученической кровью деревянный эшафот. Толпа галдит, трясётся, жаждет свежих душ. А я напротив её стою в свой полный исполинский рост, возвышаясь над всеми и каждым из этой бездумной массы. Доказав свою честь, в цепких объятиях своих

истязателей подойду к окроплённому кровью бесчётного числа людей смертельному металлу. Вот с моего израненного, но внутри вселенски сильного тела сдирают рубашку до самых плеч. Вяжут ремни. Кладут на скамью. Крепкой защёлкой обездвиживают шею. Секунда. Две. Лезвие несётся по направлению ко мне, принося вслед за собой неминуемую и скоротечную смерть. Конец. И снова темнота. Темнота всеобъемлющая, обволакивающая и доминирующая. Я не знаю, что ждёт меня по ту сторону смертоносного лезвия, куда отправляются и где пребывают невинно убиенные сразу после последнего вздоха и последнего смыкания своих смоченных ангельскими слёзками век. Ответ мне недоступен. И, может, оно к лучшему. Я продолжаю верить в непрекращающуюся цепь полёта души. И мне без разницы, где эта душа окажется. Я верю, что она будет существовать ещё целую вечность, сразу после вечности земной, телесной. Здесь мою уверенность не сломить ничем, я знаю это, чувствую.

Впереди ещё бóльшая часть единственного имеющегося у меня рокового часа. Сесть хоть на скамью, что ли? Темница моя с виду кажется совсем невзрачной, но когда ты внутри, разогретое сознание готово открывать для себя совершенно новые, я бы даже сказал—мистические, горизонты. В особенности в необыкновенной связи с одной замечательной вещью, которую я тут обнаружил. Ветхий, отчасти сгнивший потолок из какого-то дубового дерева был не до конца заколочен, отчего в самом его центре образовывалась крохотная щёлочка. И вот сквозь эту щёлочку просачивался завораживающий, даже манящий, бледно-синий, малость прозрачный лунный свет. Лучи его аккуратно спускались вниз и ложились прямо на смиренно сидевшую напротив отсечённую голову. Сидела она на старом, обросшем плесенью и мхом пне. И прямо в глубине его морщинистых выемок тонкой струйкой текла бурая кровь. Она уже успела загустеть и почти что высохнуть, но малая часть всё ещё лилась из-под безобразно разрубленной плоти.

Голова принадлежала мужчине лет так тридцати. С чёрной, густой, вымазанной в собственной крови бородой. Рот слегка приоткрыт, отчего время от времени туда могли заползать жужжащие всюду мушки, старающиеся найти для себя какое-нибудь лакомство, скрытое в беспросветной, подобной пещере глотке умерщвлённого бородача. Кожа совсем непривычного взгляду оттенка. Вроде бы и жёлтая, чуток смуглая даже, но при этом совершенно бледная, с голубизной. Длинные и вьющиеся во множестве кудрей волосы безобразно растрёпаны. Вообще вся кожа слегка поблёскивала в этом гипнотическом лунном свете: казалось, будто лёгкий сальный налёт сиял в наложении этих лучей. Нос большой, горбатый. По внешности, судя по всему, это был какой-нибудь араб или попавший под раздачу турок. Но самое главное, пробирающее до дрожи свойство заключалось в застывшем навеки мёртвом взгляде. Этот взгляд умершего человека выглядел для меня полным жизни. Для меня, невольно оклеветанного и ожидающего столь же ужасающей участи страдальца, эти сияющие сквозь мертвецкую пелену карие глаза выражали чувство полного отчаяния и вездесущей безнадёги. Язвительной скорби. И отличительным было то, что с разных сторон взгляд контрастно преобразовывался, меняя с головы до ног весь спектр выражаемых эмоций. Безжизненный и мерзко обезображенный лик стал для меня магическим хранилищем чуть ли не всех самых негативных оттенков человеческой души. Двинусь я немного вбок—глаза всё хмурятся, двинусь в другую сторону—вижу тоску. Этот убиенный, его часть, теперь пребывает моим сокамерником на предстоящий бесконечно долгий час жизни, что составлял всю её протяжённость.

Мне жаль его, жаль себя, и даже мысль о безграничности духовного существования не спасает рассудок от рвущей сердце печали. Я сижу напротив головы, всматриваюсь в неё, смотрю прямо в глаза, а они мне отвечают тем же. Тот же самый час, день или два она была на месте. За кордоном лобной кости, внутри широчайшей сети нервных окончаний, бегали миллионы импульсов, складывая мысли, чувства и эмоции. Мужичок этот дышал, говорил, воспринимал окружавший его мир таким, какой он есть. Во всей красе то есть. Сейчас же всё. Лежит он тут передо мной, впивается своим белёсым взглядом в моё лицо, источает вонь и кровь. Страх берёт от фатальной мысли, что этим стану и я. Вот уже через бесконечный час. Или его половину. Не знаю. Ткань времени, это чрезвычайно тонкое, недоступное никому полотно, скомкана в единый уродливый сгусток, потому и не различишь его хода. И какой-нибудь зевака-прохожий, насмехаясь, будет вглядываться в закатившиеся кверху убитые глаза. По спине пробежала мелкая дрожь, выступил пот. А что убитый чувствует в этот самый момент? И будет ли жив мгновенье после? Что ж, одно утешение: мне предстоит узнать. Да ещё и самым что ни есть непосредственным образом. Утешение, конечно, жутковатое, но и другого в моём положении уже не помыслишь. Я не робок и не бесстрашен, я скорее смирился. Принял всё как есть. И лишь несломимый стержень моей веры удерживает от ниспровержения в безумство. Его непоколебимая фундаментальная твердь держит меня на ногах, не давая умереть внутри. И это главное. Сейчас уж точно. Меня убьют, отсекут голову, поставят её так же на пенёк или выставят гиенам напоказ, но одно знаю: дух им не задеть.

Зловонный смрад бил по ноздрям. И как я этого раньше не замечал? Голова всё так же неподвижно и бесшумно восседала на окровавленном пне напротив меня, упираясь застывшим взглядом в моё бледное тело. Я не знаю, сколько ещё пробуду здесь с ней. Наедине. Не знаю, о чём думать. Но простая человеческая скорбь берёт оттого, что последний отведённый для жизни час я провожу в компании не одушевлённой, а только делающей подобный вид вещи. Ведь и уходить было бы не так прискорбно, будь рядом живая душа. Лишь боязнь неотвратимого сжатия времени, найди я себе собеседника, отталкивает меня от этой мысли.

Вот мы снова сидим друг против друга. Смотрим на самих себя. Молчим. Кровь уже прекратила сочиться из-под головы. Взгляд тот же. Такой же непонятный, неизведанный, мёртвый, но живой. Тут я заговорил:

— Чего сидишь, смотришь на меня?

В ответ, конечно, тишина.

— Я ведь не знаю, кто ты, кем ты был, ты просто вещь. Но вещь страшная, и страшная не от пугающего вида своего, не от невыразимого безобразия — этот страх испытывает любой не приговорённый человек; у меня страх иной, в другой плоскости находящийся. В тебе я себя узнаю, понимаешь? — я глубоко вздохнул и вытер грязным рукавом рубашки вспотевший лоб. — То, что ты есть, будет мной. Да. Бесконечно много это или осталась пара секунд, я не знаю, но это моя мучительная судьба. Сидеть здесь с тобой, вглядываться внутрь пустоты и получать в ответ ничто. Что может быть страшнее в моём-то положении?

Теперь мне отвратительной мукой казалось это неизбежное заточение с проклятой головой. Порой будто бы виднелось, мерещилось, вернее, что эта безобразная голова умудрялась переменять направление своего взгляда. Он словно был прикован ко мне. Как только я понял это, уже тяжело сдерживаемая паника и поднимающийся из самых глубин отчаянный крик завладевали мной без всяких церемоний. Я в страхе вскочил со скамьи, ринулся в угол к стене и застыл. Тут было сыро и темно. Всё в паутине. Сложно было отличить, где по мне бежал паук, а где просто вздымало кожу от холодных мурашек. И я гляжу в лицо своему страху, гляжу в буквальном смысле, он отвечает тем же. Я медленно, весь в поту и трясясь, перебираю вдоль по стене и тут же замечаю, что глазки-то его следом за мной плывут, поблёскивая в бледных лучах, мерно падающих вниз. И самому не понять, но вроде как ехидно улыбается голова эта. Улыбается, смеётся надо мной, над моим страхом, над моей слабостью и над глупостью. Я не понимаю, так ли это или мне мерещится, но голова всё пристально смотрит, бесчувственно уставившись матовыми стёклышками глаз в самую глубь моей души. В ответ на это невыносимое истязание, на эту нескончаемую пытку я кричу:

— Что нужно-то от меня?! Что?! Чего ты во мне разглядел такого? Да я сам скоро стану ничем и всем сразу, так же как и ты! Отведи от меня свой срамной взгляд, освободи от пытки!

И после этих слов я подбежал к решётке и начал было дёргать её в приступе неконтролируемого гнева и сковывающей разум паники, но тут же вдруг перестал. Осадил себя. Опустился на колени и замолк. Задумался. Голова стояла там же. Ни на миллиметр не сдвинулась. Теперь я видел её в профиль. С этого ракурса я разглядел совершенно непропорционального размера ухо, проколотое большой золотою серьгой. Нос отсюда совсем скрючен. А борода не так пышна. Но всё же снова замечаю, вижу, точно вижу, что одним своим глазом, извертевшись крайне, но глядит! Глядит на меня! Продолжает, и никак его не успокоить. Что бы я ни делал. Я встал и прошёлся по темнице по направлению к боковой стене, где бы эта чёртова голова и не смогла бы обращать на меня свой адов взор. Голубой болезненный свет малость померк с этой стороны. Темень стала больше, а места меньше. Вся целость лучей, словно на сцене, сошлась одним пучком к голове. Это её спектакль. Здесь всё подчинено ей, всё ей прислуживает. Я уверен, что ощущаю её взгляд, даже когда стою позади. Да-а. Она видит меня, чувствует, знает, что я всё ещё здесь, и продолжает сводить с ума. Тут и страх перетекает в злость. Снова кричу:

— И здесь достать меня вздумал, да?! Извести меня хочешь совсем?! Не поддамся! Сверлишь меня, сверлишь, испытываешь, коришь. Думаешь, я сделать с тобой ничего не смогу? Ошибаешься, о-очень ошибаешься.

Тут я, всецело обуреваемый вышедшей за края злобой, подбежал к голове и вдарил по ней со всего размаху. Та, в свою очередь, оторвалась от законно отведённого ей места (где она, казалось, находилась целую вечность и попросту срослась со старым деревом), оторвалась и покатилась по грязному темничному полу, собирая спокойно лежащую девственную, до сего момента не тронутую пыль. Прокатилась голова на удивление недалеко — упёрлась в ножку кривой лавки. Так и замерла, снова опалив меня беспощадным, пожирающим взглядом. На сей раз он был каким-то жалобным, тоскливым. Гримаса беспомощности воссияла на этом уродском, испачканном пылью вперемешку с кровью лице. И тут я заметил удивительную, полностью фантастическую вещь: по правой щеке едва заметно стекала маленькая слеза, кристально чистая, как бриллиант сверкавшая в отблеске вонзающегося в неё лунного света. Неописуемая палитра чувств прошлась во мне от головы до пят, дойдя до самых дальних уголков моего тела. Я весь зажёгся, не знал, что

делать. Испугался. Хотел было зарыдать, но обошлось. Почувствовал тошноту и головокружение. Отчаяние и скорбь. Но сошлось всё на жалости и сочувствии. Что я наделал?! Сверг единственно достойного правителя этих владений. А ведь это мой брат! Мой родной брат! Кровный! Плоть от плоти! Я с ним единое целое. Будем вместе тут лежать и смотреть друг на друга, и больше ничего не надо. Некое чувство вины поднялось во мне. Осознание чего-то ужасного. Я осудил свой поступок и тут же решил его исправить. Загладить горечь вины. Раскаяться. Я умиротворённым и твёрдым шагом приблизился к оскорблённой и поруганной голове, аккуратно, будто это моё дитя, поднял её с пола и с наполненным раскаянием ликом вгляделся внутрь этих мёртвых глаз. И вот я понял. Всё это время эта самая голова желала лишь одного—избавления от одиночества. Я был её спасением, им же пребываю и сейчас. Беру её покрепче, смотрю на этот адов лик, на большую, покрытую спёкшейся кровью бороду, на горбатый нос, на густые чёрные волосы и замечаю бледные братские губы. И чувствую, что должен, понимаю это, сознаюсь, что виноват. Преодолевая тошноту, вызванную омерзительным зловонием, подношу голову к своей и мигом целую.

Заключение

— Приговор отменить.
— Как отменить?!—возмутился палач.—Это невозможно!
— Вы просто сами этого не видали,—отозвался весь белый, как чистый лист, исполняющий должность прокурора.
— Да что ж там за эксцесс такой, отчего вы страшнейшего врага революции помиловать решаетесь? Мёртвый всяко лучше живого.
— Мы не убийцы какие-то, в конце концов! Вы это у него и спросите, про мёртвого-то. Правда, боюсь, что не ответит он уже вам ничего внятного иль членораздельного. Так, восклицания какие-то.
— Ну чего случилось там?! Ответит уже кто-нибудь или нет?!—возмущался палач.

Время приводить приговор в исполнение. Двое молодых солдат спускаются в подвал, прямо к темнице. Идут спокойно, курят. Немного болтают. В длинном коридоре тихим эхом раздаётся неизвестный звук. Солдатики переглянулись и тут же заковыляли быстрее к клетке. Подошли, разомкнули и сразу же обмерли: посередине миниатюрной, окутанной кромешной тьмой комнатушки лежало тело, освещаемое слабенькими лучами не понять откуда взявшегося синего света. Тело рыдало, скрючиваясь в конвульсиях и безостановочно что-то выкрикивая. Но самое ужасное—тело, словно молодая мать, нежно держало отсечённую когда-то голову в своих объятиях, будто пыталось успокоить младенца. Глаза неживые. Они, как покрытые туманом поля, не давали даже близко понять, чтó по ту сторону их матовой пелены. Он умер до исполнения приговора. Два солдатика уводили куда-то в даль коридора уже не личность, не характер. Это была оболочка, личность смиренно ушла, так и не дождавшись своей вечности. Либо она в ней и пребывала сейчас. Никто не знает, что происходит с человеком в момент, когда бритвенная сталь обрушивается на его голову. Мыслит ли он ещё секунду или две. Но что происходит с человеком, когда его покидает рассудок, понять вдвойне тяжело.

Он просто уходит, исчезает. Но продолжает жить. Существовать. Оба этих состояния крайне похожи. И в то же время так далеки друг от друга. Убиенный и мёртв, и как бы жив. Разница лишь во взгляде. В его глубине. Проницательности. От этого кровь стынет в жилах. Однако то есть правда. Тяжёлая, мучительная. Но всё же смиренно истинная.

Зеркало

…Встреча с самим собой означает прежде всего встречу с собственной тенью.
Карл Густав Юнг

Что происходит? Вокруг кромешная тьма. Ни звука, ни запаха, одна лишь всеобъемлющая и гнетущая темень. Я пытаюсь идти, под ногами что-то есть, но мои движения бесшумны. Куда я попал? Да и кто я вообще? Напрягаю разум в попытке раздобыть какие-либо воспоминания о себе, о случившемся—и не получается. Чёрная материя, окутавшая меня, словно исходит из него, из моего сознания. Я не уверен, что существую, хотя и мыслю. Я—это такая же часть тьмы, как и всё остальное. Двинусь вперёд—ни единого проблеска света не видать впереди. Куда бы я ни ступил, ничего не меняется. При этом я не боюсь. Не ощущаю скользких ручонок хладного ужаса, что, по обыкновению, хватает тебя за самое сердце. Не только ужас, но и иные свойственные людскому существу чувства меня оставили. Какая мыслительная дерзость! Кто мне позволил причислять себя к людям? Если вокруг пустота, а я её часть, значит, и я ничто. Человек—это сосуд, он наполнен живым духом. Во мне же одна лишь брешь. Я будто бы борозжу просторы сверхмассивной чёрной дыры. Великое научное открытие! Однако ему не суждено стать известным. Я забираю его с собой. И когда мой рассудок истощится, оно исчезнет навсегда.

Я лёг. Подо мной точно непреодолимая твердь бесформенного мрака. Мыслительные потоки—как безостановочный водопад: хлыщут в глубь головы, и не в моей власти контроль над ними. Конечно! Знаю! Теперь знаю точно. Я умер. Извечный философский вопрос исчерпал себя. Сквозная

темнота — вот ключ к ответу. Ничто, никак и ничего. Полный список состояний, коими я могу описать нынешнее своё положение. И три столпа, на которых зиждется густая вселенская темнота. Пусть оно и так, а что дальше? В чём конечная цель? Наивный вопрос. Им мы терзаем себя при жизни. Когда всюду гнездятся живописные пейзажи и головокружительные ароматы природы. Когда мы одиноки или же в кругу близких людей. Сейчас это потеряло свой первозданный смысл, и мне всё равно, каким прекрасным был ушедший от меня мир. Мёртвому телу всё одно. Сегодня мрак — мой дом. Не будет ли такой исход наказанием? Фантастическое небытие и неутраченная способность мыслить. Думаю, что это вполне возможно. И пускай ныне я — это тень, остатки души всё же призывают к немедленному раскаянию. Что бы моя плоть ни совершила в прошлом, признаю ошибочность своих действий. Тень не боится быть освистанной, не боится она и пламенных мук. Здесь, в поглотившей тебя бесцветной мгле, итог один, и он мне давно известен. И несмотря на это, меня всё равно беспокоит вопрос: неужели тут нет конца? От меня остался лишь образ мыслей, что заковали в нерушимые кандалы времени, и он не способен вынести весь непосильный груз свалившихся вопросов. Я попросту не могу представить, каково это — быть в небытие. Навечно. Вероятно, в этом моё будущее предназначение. Я постараюсь с ним справиться, иначе меня бы здесь не было.

Вокруг всё та же беспроглядная ночь, но я решаю пройтись. Это глупо и бессмысленно, и всё-таки не помешало бы осмотреть свои «владения». Занимательный факт: темнота столь кромешная, что, будь я живым, я бы ощутил её тяжесть на себе. А тишина достигает такого предела, когда бедные уши непременно страдают от адского звона. Делаю шаг. Десять. Двадцать. Тысячу. Неизменная пустота довлеет везде, куда ни глянь. Я — сокрытый во мраке мыслитель: пытаю себя вопросами, увечу разум, погрузившись в отчаянные поиски ответов. Могу ли я бегать? Да, как раньше, в прежней жизни. Когда я ещё существовал. Нужно сделать усилие — и вот я уже несусь во тьме. Не разумею, как это происходит, но уверен в своей правоте. В округе статика, ничто не говорит о движении, а я бегу. Лечу как ветер. И кто меня остановит? Я и есть пустота, мне всё и подчинено, я здесь властитель.

Не может быть!

Что это? Неужели свет?! Не верю, это злосчастная иллюзия! Она ниспослана, чтобы меня испытать, как и всё, что тут есть, вернее даже, чего тут нет! Я думал, что силён. Считал, что не ведаю страха. Верил, что дух мой непоколебим. Я чудовищно ошибался! Я устремляюсь всё усерднее, и мрак, стоящий подле меня, покорно отступает. Моя власть шатка! А чувства не притуплены! Быть может, это путь к спасению?! Я не знаю. Я предаю себя, своё предназначение, но остановиться не могу. Белые лучи уже осязаемы. Если я был слеп, то в эту секунду глаза обретают взор. Сияющая вспышка небесным куполом покрывает меня. Мне казалось, что тысячелетия прошли за это время. И вот я перешёл границу. Цепкая чернота позади, впереди свет.

Удивительно, я всё ещё не могу поверить своим глазам, что в мгновенье открыли мне новый мир. Тьма расступилась. Её цепи сломлены, мой дух вырвался. И где же я теперь? В каком-то большом помещении. Вижу дубовый стол, на нём множество небрежно разбросанных бумаг. Позади высокое кожаное кресло. У бежевых стен полки с плетёными переплетами книг. Какой приятный ковёр под ногами! Ворсистый, зелёного цвета. Прямо-таки офисный газончик. Обхожу стол со всех сторон, он будто бы мне знаком. Я точно его видел когда-то. Роскошнейшая люстра на потолке. Стекловидные прутья на ней причудливо извиваются, а лампы напоминают чаши из хрусталя. В конце кабинета дверь цвета сосны. Она также прекрасна — под стать остальному интерьеру. Вопросов теперь целая уйма. Густая темень не требует дотошного анализа, с ней всё и так понятно. Бесконечно чернота, и точка. А что сейчас? Я здесь явно неспроста, важна условная деталь, которую необходимо найти. Янтарные лучики пронизывают комнату. Они юрко просачиваются сквозь полузакрытые жалюзи. В помещении огромное окно. Во всю стену. Подошёл к нему, но не могу вглядеться наружу. Там один лишь яркий свет. Какой комичный контраст! Из абсолютно незримой пустоты к горящему огню лучей. И если это испытание, то я провалился. Не имею догадок, что следует предпринять. Сяду-ка в кресло, поразмыслю.

И вдруг в мозгу мелькает воспоминание. Оно будто бы ложное, как дежавю, но я был здесь! В этом самом кабинете, в этом же кресле! А что на бумагах?

Беру стопку — белоснежные листы. Надо бы порыскать в столе. В ящиках та же макулатура. Тщетно! Берусь за книги — и они пусты! Очередная иллюзия! Вот в чём испытание. Пустота никуда и не делась, она точно идёт за мной по пятам. Здесь нельзя задерживаться, чувствую, как свет тускнеет, нельзя упускать свой шанс. Подошёл к двери, стремительно распахнул — и тут же ослепительный пламень, словно космический квазар, обдал меня полностью. Мне тяжело. Испытываю непомерную усталость, но пересеку порог! На секунду всё исчезло, меня снова чуть было не сцапала тьма, а потом я внезапно оказался посреди широченной улицы.

Высокие дома, сотни окон, цветастая брусчатка — символы цивильного урбанизма. Улица похожа на шоссейную дорогу, обставленную множеством домов. Она такая же длинная, словно бы

бесконечная. В каком я городе сейчас? Поворотов нигде нет, магазины пустуют. Тут вообще никого… Ни единой души. Даже машин нет. Тихо, как на кладбище. Случилось бедствие, и все попрятались в свои затхлые муравейники? Не похоже. Уж больно прилично вокруг. Убрано и складно. Я уже час иду по тротуару, никто так и не появился. Пугающее зрелище. Безнадёжное. Наводящее гиблую тоску. Что это? Часы? Но где стрелки? На одном из миллиона высоченных домов висел пустой циферблат. Пометки есть, а времени нет. Мурашки пробегают по телу от такой странности. Сколько же я ещё буду идти? Устал уже непомерно. Километр за километром, а улица всё не кончается. И людей не видать. Зайду в кафе, что в стороне от меня,—посидеть, отдохнуть. Выглядит оно безупречно: витринные окна кристально чисты и помещены в расписные рамки изумрудного цвета, вход оснащён декоративным козырьком, точно не маленькое заведение, а живописный замок. Внутри так же пусто, как и на улице. Небольшие столики у окна весьма искусно сделаны. У стойки никого. Кто же меня обслужит? Кажется, я начинаю понимать, что темнота, с которой я начал свой путь,— это наименьшее из зол. Мне безумно одиноко здесь. Во мраке я был властитель, бесстрашный и хладнокровный, сейчас же капельки солёного пота усеяли лоб. Я не хочу так быть. В пучине чёрной безызвестности я не страшился одиночества. Там мне ничего не напоминало о нём. Есть только ты и ничто. Более того, ты и есть ничто. А эта улица меня угнетает. Перемалывает в жерновах вездесущего уныния. Однако суть одна: пустота меня преследует; куда бы я ни шёл, она всегда меня достанет. В кафе слишком душно, вот я и на улице. Снова. Невероятно! Ничего не изменилось. Кто бы мог подумать… Нельзя этого оставить просто так. Верните меня в темноту! В ней я не был ничем ограничен! Шёл куда хотел и думал тоже! А эта проклятая улица сковывает меня собой. Куда же мне деться-то?! Я ведь был мёртв! К чему всё это? Послышалось гулкое урчание двигателя. Неужто автомобиль? Это он! Я слышу его, едет позади. Фары мерцают белёсым цветом, таким же, как в тот раз. Кричу: «Стой!» Я даже не понял, в какой момент оказался на дороге, а слепящее сияние поглотило меня целиком. После всего слышу приятный аромат летних цветов и хорошо узнаваемый шум листвы.

Лес.

Как же он красив! Мне уже глубоко наплевать, в связи с чем я тут очутился, посреди этой манящей и нагой природы, но я рад, что сбежал от тоскливого пейзажа всеми забытого города. Непростой это лес, похож на аллею. Такую же длинную, как проклятая улица. Но вдали что-то есть, вижу это. Наверху лазурный окрас. Чистый и благопристойный. Солнца не видать, но меж деревьев пробивается лимонное свечение. В роще тишь, и разбивает её один только шорох сочных крон. Пожалуй, пойду, что ж мне ещё… Невысокие кучки кустарников мерно осели по бокам. Под ногами добротная тропа. Вытоптанная, да и, видимо, давно. Чем ближе я к концу аллеи, тем сильнее меня окутывает темень вокруг. Боюсь, когда дойду, гиблая ночь вытолкнет радостные блики солнечных озёр. Природа не страшна, в ней ты не чувствуешь себя одиноким, не желаю сравнивать её с темнотой, и всё же среди опоясывающих тело веток меня не одолевает печаль. Ты так же становишься её частью, как и в темноте. Нетронутое естество—будто убежище для гонимой души. Оно и привычно, и создано, чтобы вбирать в себя самое близкое нам—потребность в уединении с самим собой. Приятны душистый запах радужных цветов и убаюкивающий птичий фальцет. Я бы здесь с радостью остался. Может, я нашёл себя? Свою стихию? Будь оно так, всё выглядело бы иначе. Не было бы длинной тропы и чего-то скрытого в румяном мареве в конце неё. Я как раз уже приблизился к подобному миражу таинственному туману. Обернулся—зелень, цветы, лёгкий воздух, но это иллюзия. Я ещё не дошёл до конца. Не выяснил, кто же я есть на самом деле. Поэтому проникаю в бесплотную дымку в надежде не заблудиться там на века. Прощай, красочная рощица, быть может, увидимся. Замутнённые струйки белой мглы вязким киселём обволакивают меня. Страх, которого я совсем недавно не знал, нарастает. В ушах свист. Тело дрожит. Я сбился с пути. Я не выберусь. Откуда-то далеко позади доносится томный стон. Или крик. В мыслях одно—бежать. Будоражащий ветер тощими кистями дотрагивается до меня. Я уже не бегу—парю. Матовая слепота вновь побеждает. Я не сворачиваю, стараюсь держаться одного пути, но бледная круговерть так и бьётся в глаза. Сильный хлопок вдруг раздался у меня за спиной, громкий и резкий, похожий на выстрел. Затем я упал. На траву…

Встаю—новый круг, меня сызнова окружили исполинские деревья. Светило поблекло, заскрипели сверчки. Настала непробудная ночь. Я смог. Дошёл до цели. Спереди в сотне метров стоит приличных размеров частный дом. Двухэтажный. Из окон наружу льётся сиплое свечение жёлтого цвета. Вот я уже у крыльца. Ступеней здесь много, все высокие. Поднялся—дверь открыта, знакомый белый свет течёт из неё. В ожидании новых причуд спокойно вошёл внутрь.

Оказался я в этот раз на вилле. Богатейшей, с бассейном и сотней пёстрых комнат. Кому же она принадлежит? Внешнее убранство так знакомо, как и кабинет в начале моего «путешествия». Стою, похоже, в зале. Удобств здесь миллион: телевизор на всю стену, красивая мебель, дорогие ковры, вазы, журнальный столик… Окровавлен…

Белоснежное ложе в багровых пятнах. На перине револьвер. Газеты, бумаги, вообще всё раскидано в разные стороны. Стеклянные ворота настежь распахнуты, и полупрозрачные шторы бешеным танцем вьются под молчаливую музыку ветра. На полу кровавые следы. Убийца после своих злодеяний мигом выбежал из дома, открыл двери и исчез. Но вместе с ним и труп… Что же здесь произошло? Я призван разгадать эту загадку? Конечно. Я призрачный сыщик: ловко выслеживаю корень зла и заношу бритвенную сталь правосудия над ним. Часы. Мне нужны часы! Пришлось изучить этот красивейший зал с головы до ног, чтобы отыскать необходимую деталь. Время шесть часов вечера. Гляжу в окно. Господи… Море… Блистает глянцевыми огоньками уходящей звезды. Волны бегут. Их миллионы, тысячи миллионов! И там, почти у самой дуги горизонта, развевается уходящий парус. Корабль ушёл и украл истину. Убийца вместе с ним. Я не позволю! Достану! В сумасшедшем темпе выбегаю из помещения, падаю в ледяной бассейн. Стряхиваю воду, бегу дальше, надо вниз, к причалу! Лучше срежу, вилла стоит на высокой скале, усеянной смертоносными камнями, но мне они нипочём, не это меня сейчас волнует. Обхожу их один за другим, яхта ещё видна! У причала гидроцикл, две минуты — и я на нём! Скалы сухие, сыпучие. Куски щебня откалываются от них и устремляются к песочной полосе внизу — пляжу. Давай! Давай! Скорее! Нога отказалась повиноваться и ударилась об угол скалы. Чудовищная боль! Я споткнулся и сразу же кубарем полетел вниз. В плоть вонзаются десятки каменных мечей. Кожа, кости, мясо — всё измололось в одну массу. Наконец я достиг горячего песка. И медленно принялся в него погружаться…

Что происходит? Вокруг тьма, ни звука, ни запаха… Быть этого не может! Оступился! Дал слабину и угодил в чёртову бездну. Гадкий порочный круг! Отпусти! Дай мне шанс! Безнадёжно… Никто меня уже не услышит. К чему всё это было?! Это худшее наказание! Мне дали узреть былой мир, прочувствовать его целиком, но я не успел насладиться! Остается в несуразном гневе долбить кулаками незримое подобие пола. Тюрьма для слепца. Если бы мне дали шанс… Я ведь уже раскаялся. Признал все грехи и готов отмолить их. Каждый день сожалел бы о содеянном, что бы я ни сделал.

И в эту секунду спасение, а по-другому назвать я это не могу, пришло, хоть это и нестранно, из ниоткуда. Из кромешной тьмы. Из высасывающей силы темени. Из мрака. Это место не подчиняется общим законам. Они тут свои. Особенные. Передо мной вдруг выросло зеркало. Высокое, во весь мой рост. Рама его из чистого серебра, а форма походит на дьявольский трон. Всю жизнь я не обращал внимания на свой внутренний мир: на едкую желчь или сизый туман души. Я жил примитивными желаниями. Жил для себя. Я одиночка. Других не замечал, будто бы их не было никогда. Есть лишь я и конечная вожделенная цель. Зеркало мне открыло правду. Слепой видит больше меня, он видит душой. Он вечность пребывает в ночи и всё равно зрит истину. Я усвоил этот урок. И сейчас, в столь чётком отражении, прямо напротив меня стоит тень… Серый сгусток, отчасти напоминающий дым от костра. Этот дым образует некое подобие человека. Еле различимый силуэт. Поиски окончены. Вот кто я есть. Полностью и окончательно. Пустота не преследует меня, я её источник. Я нашёл себя.

Буря стихла. Разбегающиеся толпы туч обнажали алое зарево. Крохотные ряды волн безмолвно разносили обломки растерзанного корабля. Часть его уцелела и смиренно бродила по морю. Молочный парус, словно побеждённый воин, умиротворённо лежал на воде. В этой покинутой груде стояла какая-то благая тишина. После убийственного шторма так свежо. Забавно видимое сходство стихии и человека: гибельный вихрь возникает внезапно, застаёт врасплох и тут же сметает всё и вся — ну чем не война? Яхта несла беглеца к спасению — по крайней мере, он так считал. Но уцелеть не смог. Был настигнут божественным судом и пал под его неумолимым взором. Где же он теперь? А море — оно вечно. Пролетят года, но фиолетовые его просторы так и останутся на своём месте. Обломки потонут, обрастут илом, водорослями, а незыблемая гладь всё так же будет чиста. Подлетела стайка крикливых чаек. Уселись на остаток яхтенного борта. Так и плывут, завороженно всматриваясь в прекрасную карминовую даль горизонта. Непередаваем морской закат. По всему морю игриво тянется его длинное отражение. Удивительная картина. Сказочная.

Мужчина, лёгкие которого невыносимо зудели, отдалённо распознавал чью-то речь, какие-то вскрики, похожие на «дыши» и на «как он?». Мужчина постепенно приходил в себя. Матовая пелена спадала с его глаз. Он даже начал различать людские силуэты, что безостановочно мелькали перед ним. Он дичайшим образом закашлял. Сел на четвереньки и выплёвывал жгучую морскую воду. Затем ошарашенно взглянул вокруг. Рядом стояли три человека, все полуголые — спасатели, видимо. Сидел он на липком песке, пенящиеся волны ещё дотрагивались до его тела. Волосы на голове были безобразно взъерошены. Поло и шорты вымочены насквозь. Скулы его монотонно дрожали — он сильно замёрз, кожа будто гусиная. Один из тройки, что вернула бедолагу к жизни, крепко сложённый парень с шоколадным загаром, нагнулся и спросил:

— Вы целы?

Растерявшийся страдалец ничего и не слышал. В его голове уже запустился необратимый процесс: длинная кинолента воспоминаний безудержно вращалась, открывая для него неожиданную правду. Он вспомнил, кто он. Вспомнил, какими богатствами обладал, как руководил престижной фирмой, купил роскошную виллу, яхту. Он вспомнил страшное — убийство: годы его труда стирались в прах, кризис, долги, бесконечный стресс; к нему приехал ближайший соратник — вместе они создали крупнейшее дело, которым и заправляли вдвоём, он что-то говорил про деньги, угрожал, в итоге ссора переросла в преступление. И он бы вернулся назад и выстрелил себе в висок, чем всё, что он натворил. В неудержимом страхе он решил вдруг сбежать. Уплыть от всего куда подальше, спрятаться от проблем и грехов. Но попал в шторм. Чудовищный силы был ураган, в щепки разнёс беззащитное судно. И вот он здесь, на берегу. Сидит в глупой нерасторопности, вытаращил глаза и молчит. Судьба обладает поистине кошмарным юмором, изводит тебя, превращает в соломинку, согнуть которую можно, не прилагая особых сил.

— Живой… — отвечал спасённый. — Спасибо.

— Это наш долг.

— Сколько времени я был без сознания?

— Мы нашли вас минут двадцать назад. Думали, что вы мертвы, но сердце ваше ещё билось, приглушённо, но билось.

— Я вечно буду вам благодарен.

Спасатели в две секунды поставили мужчину на ноги. Тот слегка пошатнулся, но не упал.

— Мы заберём вас на базу. Там за вами присмотрят и накормят.

Чудом выживший в убийственной стихии человек спокойно покачал головой. Он не желал идти с ними. У него своя дорога. Ему ещё многое предстоит.

— Спасибо вам, я у вас в пожизненном долгу. Но мне надо идти. Прощайте, друзья.

И он пошёл вдоль берега. Медленно ковыляя, иногда запинаясь, но пошёл. Вдалеке сиял багряный свет, отчего разбитая фигура мужчины отдавала длинной тенью по всему берегу. И тень эта была вне его. Внутри он стал чист. Ряды следов, которые он оставлял, тихонько смывала вода. Ушёл навсегда. Никто и не понял, как он тут оказался и что за тьма его поглотила. Волны бились о берег, а солнце почти что зашло. Небесная синева постепенно чернела, обнажая сотни ярких песчинок тысячелетних звёзд.

Отстранённый

Нежный майский ветерок приятно касается моих сухих щёк, что светятся в бледных, но жизненно сильных лучах дневной звезды. Относительная тишина легонько колеблется воробьиным подпеванием. Аккуратно покачиваются стоящие в округе, уже успевшие набрать контраст зелёные пышки. Воздух чист, даже вкусен. Запах вырывающейся из природы жизни так и бьёт по ноздрям. Сел на лавочку. Под ногами тропа. Разноцветные камушки увлекательно переливаются в полуденном свете, мне это нравится. Эти камушки лишний раз стремятся напомнить, сколь важно для нас находить приятные мелочи в обыденной жизни. Вот они, под ногами, эти мелочи. Хочу взять один или два, положу на полку или лучше на подоконник; в них, может, и нет жизни, нет той блистательной яркости, которую даруют тебе живые, но всё же их успокаивающий глаза перламутр будет тем кирпичиком, что я возложу в фундамент пока что не существующего, а в будущем, вероятно, весьма шаткого здания моей умиротворённости. Наклоняюсь, худые пальцы нащупывают малыша и тут же заключают его в удушающие объятия. Мне нравится его красота, она вдохновляет меня покидать своё прибежище, эту затхлую, шлифующую душу конуру, в которой пока не находилось места подобным жемчужинам. Я определённо получаю удовлетворение от нежных вращений камушка в своих пальцах. Как он блистает! Как светится! Неужели я счастлив? Мне кажется, что это всё ложь. Ложь другим — мерзкое деяние, низкое и подлое, ложь себе — банальная глупость, жалкая попытка убежать от действительности, какой бы она ни была и как бы ни воспринималась твоим слабым духом. Так и есть. Другого не дано.

Бросаю камушек в карман засаленных брюк и смотрю дальше. Тут передо мной высится цветастый исполин. Вижу, да и улавливаю ухом целое собрание пернатых. Красивый дуб, строгий и мощный. А главное — полон жизни. Вот уж действительно тот случай, когда можно сказать, что она бьёт ключом. Сотни, миллионы сияющих листочков колышутся в ручьях тёплого воздуха. Какая крона! Могучая, раскинувшаяся на всю поляну с аккуратненьким газоном. Под кроной тень, в тени зверьки. Вижу пятёрку белочек. Вот и собачки подбежали. Высунули языки да лыбятся. У меня, как у человека учёного, внезапно возникает вопрос: осознают ли эти несчастные, преисполненные жизни создания всю красоту и счастье своего положения, своей природы? Что составляет их счастье? Это же просто множество тех самых мелочей! Тех мелочей, каждая из которых представляет собой крошечную песчинку жизни. Одной для счастья не хватает — мысль, понятная даже ребёнку, но вот будь их у тебя целая уйма, я начну тебе завидовать. А может, и не начну. Я ничего не чувствую. В этом моя беда. Сейчас в голову мне пришла интересная мысль, иллюстративный образ. Очень сильный образ. Думаю, его одного с лихвой хватит, чтобы объяснить сущность моего тяжкого положения.

Для начала. Я—это выжатый лимон. Сухой тростник. Старенькая паутинка в пыли. Я—ничто. Представим себе пляж. Роскошный, омываемый пенистой голубизной волн, тёплый и наполненный солнцем. Ступни погружены в песочный массив. Отличный образ возник, не правда ли? Так вот, каждая песчинка, возвращаясь к моей мысли,—это мелочь. Мелочь жизнеутверждающая, сигнализирующая о наличии хоть и совсем ничтожной, но какой-то толики счастья. На пляже я. Ступаю по нему, прикасаюсь к песку, дышу им, пробую его на вкус. Тщетность. Одна лишь невосполнимая ничем пустота, зияющая дыра, поглощающая всё, что мне дорого. Это перечень моих «чувств». Где здесь радость? Где счастье? Я не могу их познать. Они выше меня, за пределами моего шаткого сознания. Что закроет эту пустоту? Я ищу ответ на этот вопрос каждый день. Отчаяние лишь довлеет надо мной. И больше ничего. Но это обо мне.

Зачем обо мне, когда есть мир, природа? Жизнь? Я здесь лишний, я посторонний в этом счастливом образовании. Прихожу к мысли, что мне явно стоит уйти. Желательно бесследно. Вижу пару. Да, прекрасный молодой человек и юная девушка. Они красивы. По-своему прекрасны даже. Они совсем близко ко мне, но в то же время так далеко… Стоят под дубом. Ласкают друг друга, я слежу за их нежными объятиями и романтичными поцелуями. Их захлестнула страсть. Любовь—определённо приятное чувство. Я вижу, как они улыбаются. Сейчас два человека счастливы, в этом я не сомневаюсь.

А каково это—любить и быть любимым? В одном я уверен точно: это далеко не мелочь. Здесь целый, готовый для постройки здания фундамент. Тяжело уходить, не познав этой силы. Квинтэссенция, что рождает жизнь. На ней она и зиждется. На любви. Видимо, я перешёл к каким-то пустословным суждениям. Ведь и вправду—откуда мне знать? Не всё идёт так, как этого желаешь ты. Порой эта формула легко применяется по отношению к целому жизненному пути. Она будто скелет этого пути. И вот я снова о себе.

Влюблённые не замечают меня. Птицы тоже. Белочки, собачки. Все они меня игнорируют. Да что там—даже ласковые солнечные лучи обошли меня стороной. Опускаю руку в карман, достаю неодушевлённую жемчужину. Красавица. И вот снова некая приятная теплота наполняет мою грудь. Что же это? Радость, любовь, счастье или веселье? Я не могу определить, и от этого тоска берёт. Влажная и терпкая грусть покрывает моё хрупкое тело при этих мыслях.

Что же… пора?

Три недели над городом стояла до ужаса хмурая погода. Тяжёлые чёрные тучи каменной стеной запечатали от людского взора нежную синеву летнего неба. Кругом лужи. Люди в сапогах, плащах и с зонтами. Ни одной животинки не видать, все как сквозь землю провалились. Город забыл солнце, а солнце—город. Темнота, серость, шум ливня. Позади размокшего от непрерывного дождя парка возвышается привычный глазу русского человека панельный дом. Он совершенно неказист, банален даже. Со всеми своими балконами, черепичной крышей и невзрачными окошками. Но в ночи этот геометрически правильный муравейник оживал, источая жёлто-белое свечение из своих окошек. И в одной из квартир этого дома, окно которого выходило прямо к парку, не горел свет. Долгое время не горел. С тех самых пор, как укутанный майской зеленью городок был поглощён мрачной дождливой чумой. И если бы вы встали перед этим окошком, а оно было совсем внизу, на втором этаже, то сквозь мутное, полное разводов и пыли стекло могли бы разглядеть одну занимательную деталь: парочка грязных, затасканных ботинок упиралась носками в самое окно. Чуть выше, в области шнуровки, виднеется почерневшая худенькая нога, обтянутая широкими брюками. Что же, в квартире вы, вероятно, не увидите, всё внутри окутано мраком даже днём. И лишь маленький, переливающийся в отблеске света камушек мирно лежит на пыльном подоконнике, очаровывая своей красотой. Казалось, он ослепляет своим блеском даже ночью.

Многие люди, что смотрят на неказистый домик в ночи, даже и не подозревают, какое из окон наполнено поистине лучезарным светом, им доступна лишь темнота, а глубинная суть ускользает от их взоров, оставляя покинувшего их человека наедине с завораживающей дух красой.

Николай Гумилёв

Египет

Как картинка из книжки старинной,
Услаждавшей мои вечера,
Изумрудные эти равнины
И раскидистых пальм веера.

И каналы, каналы, каналы,
Что несутся вдоль глиняных стен,
Орошая Дамьетские скалы
Розоватыми брызгами пен.

И такие смешные верблюды,
С телом рыб и с головками змей,
Как огромные, древние чуда
Из глубин пышноцветных морей.

Вот каким ты увидишь Египет
В час божественный трижды, когда
Солнцем день человеческий выпит
И, колдуя, дымится вода.

Это лик благосклонный Изиды
Иль мерцанье встающей луны?
Неужели хотят пирамиды
Посягнуть на покой вышины?

Сфинкс улёгся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты.

Не обломок старинного крипта,
Под твоей зазвеневший ногой,
Есть другая душа у Египта
И торжественный праздник другой.

Словно пёстрая Фата-Моргана,
Виден город, над городом свет;
Над мечетью султана Гассана
Протыкает луну минарет.

На широких и тихих террасах
Чешут женщины золото кос,
Угощают подруг темноглазых
Имбирём и вареньем из роз.

Шейхи молятся, строги и хмуры,
И лежит перед ними Коран,
Где персидские миниатюры,
Словно бабочки сказочных стран.

А поэты скандируют строфы,
Развалившись на мягкой софе,
Пред кальяном и огненным кофе,
Вечерами в прохладных кафе.

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
— Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир.

Пусть хозяева здесь — англичане,
Пьют вино и играют в футбол,
И калифа в высоком Диване
Уж не властен святой произвол.

Пусть, но истинный царь над страною
Не араб и не белый, а тот,
Кто с сохою или с бороною
Чёрных буйволов в поле ведёт.

Хоть ютится он в доме из ила,
Умирает, как звери, в лесах,
Он — любимец священного Нила
И его современник — феллах.

Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берёт.

И его ограждают пороги
Полосой острогрудых камней
От нежданной полночной тревоги,
От коротких нубийских мечей.

А ведь знает и коршун бессонный:
Вся страна — это только река,
Окаймлённая рамкой зелёной
И другой, золотой, из песка.

Если аист задумчивый близко
Поселится на поле твоём,
Напиши по-английски записку
И ему привяжи под крылом.

И весной на листе эвкалипта,
Если аист вернётся назад,
Ты получишь привет из Египта
От весёлых феллашских ребят.

1921

Михаил Горевич

Города и реки поэтического мира

«Тоскана на Нерли» Яна Бруштейна

Я не критик, не литературовед—скорее, толмач, который пытается прозой передать впечатление от стихотворений, понять устройство, «правила и законы» поэтического пространства, сотворённого автором…

Uno

Моя встреча и дружба с одним из замечательных современных поэтов, Яном Бруштейном, осуществилась благодаря Сети. Интернет—не просто «провода и компьютеры», это нынешняя «область культурного поля», в котором над грешною нашей Землёй, в эфире, парит мир, созданный творцами всех стран, слова на вавилонском гомоне наречий звучат в нём совместно—и тем превращают в единую речь…

Вот, Ян, вижу тебя в твоём Иваново, чуть грузного, но легко двигающегося, пританцовывающего под ритмы строк, настоящего поэта, у которого дыхание, движение и слово имеют одну цель—сделать «поэтическую вещь» как можно лучше.

Так гончар желает вылепить лучший кувшин, музыкант—сыграть, художник—передать замершее в нём видение… Или вижу тебя у монитора: ты приближаешь или уменьшаешь страны, узнаёшь абрис границ, переменчивый, часто нарисованный кровью, пока не возникает «сапожок» Италии, не нынешней, а той, давней, где не в энциклопедиях—в мастерских скульпторов, кабинетах мыслителей и писателей рождается Возрождение.

Цветущие луга Тосканы ведут тебя к берегам Арно, и вот ты входишь в город. Ты бродишь целый день по средневековой многоцветной Флоренции, так уверенно, будто местный житель,—но разве не так, разве это не один из твоих городов?

А к вечеру идёшь обратно, только нет Арно, течёт иная, плавная река, со своим высоким берегом и низким—в лопухах… Мальчонка из нищих да его собака увязались за тобой… Ты берёшь мальчика за руку, показываешь на тихую русскую реку—она как время, текущее во все времена, и вы замираете вместе: «Нерль».

На Нерли[1]

На покрытой заплатами старой байдарке,
Мимо сосен, создавших готический строй,
Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий,
Там, где заняты рыбы вечерней игрой.

В среднерусской воде растворялись посменно
Все мои города, все мои времена,
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,
Невеликая речка без меры и дна.

…Пусть ломало меня и по миру таскало,
Но давно измельчали мои корабли,
Только вижу: опять отразилась Тоскана
В золотой предзакатной неспешной Нерли.

Погружу во Флоренцию руки по локоть…
Промелькнула над крышами стайка плотвы…
Мой попутчик наладился якать и окать
И ругать испугавшие рыбу плоты.

Рыба шла на крючок неизбежно и сонно,
И дрожащая леска звенела струной,
И скользила байдарка, уже невесома,
Между небом и городом, вместе со мной.

Это превосходное стихотворение. Архитектоника текста уравновешенна, гармонична, строфы полны тайны… Я тебе не один раз говорил: «Тоскана на Нерли»—книга необыкновенная. Как и ты сам—редкостный автор. Ты решил, своим способом, сложную задачу—соединить самую современную поэтику и внятность стихотворений для читателя.

В среднерусской воде растворялись посменно
Все мои города, все мои времена,
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,
Невеликая речка без меры и дна.

Именно последние слова, производящие на нас особенное впечатление, говорят о сложности мышления и образного ряда поэта. Река—вечный символ времени. Ты «пропускаешь» эту связку и пишешь правду истинную: время бесконечно и безмерно, в смысле того, что оно «вбирает в себя» весь мир.

1. «На Нерли»—первое стихотворение книги «Тоскана на Нерли» (М., издательство «Летний сад», 2011).

Я не говорю уже о яркости образов последней строфы:

> Погружу во Флоренцию руки по локоть…
> Промелькнула над крышами стайка плотвы…

И помолчу, пожалуй, задумавшись о странном зеркале вод, что отражает Россию Италией — в зеркале времён.

А времена и правда необычны. Мы классифицировали наш, написанный мною и моим соавтором, роман «Венецианец»[2], роман о человеке, который берёт обет — идти с воротами родного города на плечах до Рима, как произведение «новой средневековой литературы». Так мы назвали свой способ письма.

И президент Флорентийского общества Пётр Баренбойм[3] говорит в послесловии к твоей книге о «флорентийской мечте» как созревшей мечте о Возрождении… Для того ты и «опускаешь по локоть руки во Флоренцию», чтобы дотронуться до камней «Золотой Италии», помечтать: Данте и Петрарка идут нашими берегами.

Due

Реки и города — их много в твоих стихах. Реки — течение времени, города — определённость координат, как у Пруста… Она возникает постепенно и связана с нашей судьбой, родными, друзьями… И в реке — мы свободны и несвободны, нас несёт общим течением вод, и всё же мы сами выбираем стремнину или жмёмся к мелководью. А в городах, в замкнутости стен, творят божественно свободные Петрарка и Микеланджело.

Эти темы постоянны у тебя. И если учесть сказанное, то стихи, что кажутся непонятными, сложными, становятся прозрачными. В «Ныряющем с моста», например:

> Ныряющий с моста бескрыл, печален, вечен.
> Взлетающий из вод — хитёр и серебрист.
> И встретятся ль они, когда остынет вечер,
> Когда забьётся день, как облетевший лист?

Мы легко видим суть сказанного: погружение в поток времени, «пленение однообразием», «общим движением людей» творец, художник может прервать, лишь взметнувшись над временем. Настанет ли день, когда мы прервём наше раздвоение — на «человека будничного потока» и «строителя миров», поднявшегося над «буднями своими»? Это близко к Тютчеву — о душе, парящей над толпой…

Но в истории России «река времени» была ещё и «рекой демонстрантов с портретами вождей у стен Кремля», и «бесконечной чередой вагонов с арестантами». И как долго потом висел «занавес»… Мы могли поехать и пройтись по Флоренции? Даже смешно… А потом не выбрались мы…

> В моих бесцензурных по-прежнему снах
> Я камни топтал и Мадрида, и Ниццы…
> Но чаще всего, представляете, снится
> Ночная Флоренция с криками птах.

И невероятная строфа дальше:

> Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,
> Я вижу, как время свивается в узел
> И как пролетают усталые музы
> К последним поэтам, не спящим в ночи.

Здесь, прежде всего, муза с узлом, узелком, но это не только узелок Ахматовой, идущей с передачей к тюрьме (её слова в эпиграфе этого стихотворения «Мечты о Тоскане»). Это ещё и переплетение «нитей времён», узел тяжкий, «наполненный страданиями, несправедливостью по отношению к лучшим сыновьям отчизны». Именно — тяжкий:

> «Ты ль Данту диктовала
> Страницы Ада?» Отвечает: «Я»…

Дорогами изгнанника идёт Данте, изгнанный из Флоренции, и позже — Рабле, играет в прятки с кострами, Свифт делает бастионом Ирландию, неприступной крепостью собор Святого Патрика. Что, стены крепки? Эти стены из бумаги. Но на бумаге — «Письма суконщика».

Среди зла и тьмы возникает свет появления поэта. И это всегда Возрождение, снова и снова сплетаются в узел «нити строк» античности и Библии, современности и средневековья, Востока и Запада… Ян, как у тебя точно написано: «К последним поэтам, не спящим в ночи»… Это, разумеется, сознательный отсыл к Пастернаку, хрестоматийному:

> Ты — вечности заложник
> У времени в плену.

Но что же в начале этого стихотворения?

> Над спящим миром лётчик
> Уходит в облака.

Река времени несёт безвольных по течению, чуть ли не спящих, чуть ли не мёртвых, а лётчик — он «хитёр и серебрист» и поднялся над рекой и городами.

Что же за реки в твоём мире, Ян? Арно — первая река книги (стихотворение «Флоренция»):

> Мечта. Флоренция. Доныне
> Я помню, как, невыездные,
> Преградам века вопреки,
> Закрыв глаза, вовсю бродили,
> Листая улицы и стили,
> Вдоль Арно — больше чем реки…

2. «Венецианец» — роман Лейбгора (В. Лейбович, М. Горевич).
3. Пётр Баренбойм — президент Флорентийского общества «Флоренция в России», автор послесловия к книге «Тоскана на Нерли», его стараниями книга была издана.

И Нерль. И река стихотворения «Миф о красных деревьях», твоего известнейшего стихотворения, оно и дало название твоей первой книге:

К реке спустились красные деревья,
К воде припали красные деревья…
Навстречу вышла целая деревня
И предъявила древние права:
На то они на свете—дровосеки,
Зимой хотят тепла, и скот, и семьи,
И вот срубили красные деревья
На красные прекрасные дрова.

И «Река Амур, 1968 год»:

Наутро после рукопашной
Не мог я даже воду пить.
О Боже, как же было страшно!
Но невозможно отступить.

Я не запомню эти лица.
Кипит вода в большой реке.
Но, знаю, вечно будет сниться
Кровь на штыке, кровь на штыке…

Остров на Амуре—он был у тебя наяву, Ян. Нева—досталась твоим близким… И твоему прадеду—река его плотов («Мой прадед»):

Мой прадед, плотогон и костолом,
Не вышедший своей еврейской мордой,
По жизни пёр, бродяга, напролом
И пил лишь на свои, поскольку гордый.
Когда он через Финский гнал плоты,
Когда ломал штормящую Онегу,
Так матом гнул—сводило животы
У скандинавов, что молились снегу…

Много рек в твоём мире. Вопреки географии, они впадают в Нерль, и вот эта вода на глазах превращается в воды Арно. И мы смотрим на обратный её бег. Все наши времена—из источника культуры Европы, иначе говоря—Ренессанса.

Время возвращается к своему началу, ключу в горнем мире величайших, и, глотнув чистого нектара искусства, вновь движется вперёд, с новыми силами. И ты, Ян, ведёшь очередную строку…

Tre

Стихотворение «Флорентийского цикла» с названием «Флоренция» заканчивается у тебя мощно:

А если завтра не настанет
И снег не стает с наших век?

Но Санта-Кроче[4], как «Титаник»,
Вплывает в двадцать первый век.

За ним—стихотворение «Фрязины», об итальянцах-зодчих в России:

По Москве гуляют фрязины,
И хула им вслед слышна:
«Образины, безобразины,
Целый день пьяней вина!»
Расшугали девок хохотом,
Возмущая местный люд.
И не думают, а что потом,
Наливают, сладко пьют…

А потом этих итальянцев, строителей Кремля, не отпустят обратно в их края—они крепостные искусства… Впрочем, в определённом смысле все мы «крепостные поэзии», её узники. Я как-то писал тебе: «Стихи—жуткая зараза. А в чём вирус—не понимаю»…

В прозе такого нет, можно написать роман и не писать двадцать лет. А стихи—тянет их писать, и страшно раскрыть себя, люди боятся своих тайн и наизнанку вывернутого подсознания… В своём роде, поэзия—разновидность даже не стриптиза, а эксгибиционизма, если быть честным. Поэтому авторы уходят в «тематики»—гражданскую, скажем,—или в техническое совершенство стиха; всё это бессмысленный побег от сути, а суть, конечно, не в эксгибиционизме, а в том, чтобы воплотить себя «до дна» и тем самым «остаться после смерти». Не все верующие, много агностиков. «Кто его знает, есть ли душа?»—размышляют они. Но в совершенство стихотворения, в прекрасное веруют все. Ещё стихи—публичная форма исповеди; это очень, кстати, русское свойство, «достоевское»—выйти на площадь и каяться на коленях, и это часто суть русского стиха, пусть интимного, но стихи публикуют, и площадь всегда за окном комнаты, где стоит письменный стол. А «Пророк»—библейская традиция. Есть и античная—песни открытой лирической и песни гражданской, зовущей к доблести. Но античность, в ней основное—Фатум. И песня, идущая навстречу гибели и всё же поющаяся,—античная «фишка». Откроем «Илиаду». Ахилл знает о гибели, но идёт на бой…

Все эти слои варятся в котлах культуры и, с добавлением особой «приправы восточных культур», сливаются из двух котлов в третий, при соблюдении пропорций,—общее «варево» и есть тот стих, что мы пишем. Написание стихотворения—сложнейший культурный поступок, учитывающий несметное число знаний, умений, эмоций, образов, образцов, интуиций,—и всё ради нескольких строк, которые позволят тебе жить относительно близким к твоей сути и после ухода… это комплекс максимального самосохранения, комплекс продолжения себя в детях-стихах—его зов покруче пенья сирен… ты идёшь и пишешь снова…

4. Санта-Кроче—знаменитая церковь Святого Креста во Флоренции, где находятся кенотаф Данте, могилы с надгробными памятниками Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Россини…

Quattro

Просодии[5]

Просодии навязли на зубах…
Но Леонардо так прилипчив—страх!
Кривой, поскольку вообще Пизанский
(О нём в анналах есть такая запись),—
То цифры веером, то кролики толпой,
То числа липнут к трубам дымоходным,
А в Турку жмурки тоже всепогодны,
И Леонардо помнит, но другой—
Он золотым сеченьем очарован,
Он с вечностью задумывался вровень,
И целый мир он выгибал дугой…
Два Леонардо чай заморский пьют:
Вон тот—да Винчи, этот—Фибоначчи,—
И числа рассыпают на удачу,
И кролики под столиком снуют.

Я—рядом на траве, мой голос тих.
Ловлю я свет, дрожащий возле них.

Был очарован, заворожён этим стихотворением. Полагаю—одно из самых значительных у тебя. Большого дыхания стихи, точности понимания—творчество едино, не делится на науки и искусства, и там, и там в основе образ и эмоциональность, полёт мысли. Не все понимают, вот как делили единое в шестидесятых на «физиков» и «лириков», так и делят. Но Возрождение не знает этих границ, на «территории творческого Шенгена» ты можешь полдня слоняться по холмам математики, а оставшееся время отдать Джоконде. Да и что этот Schengen—деревня в Великом Герцогстве Люксембург. Четыреста с чем-то жителей, все знают всех, и все знают всё… Так и Возрождение—несколько десятков людей… Но продолжим.

Твоё стихотворение финальным двустишием напоминает английский сонет. Только строк не четырнадцать. Метаморфозы, превращения форм стиха… Двустишие в твоём стихотворении отражает важнейшее свойство поэтического мира: «стихи помнят, но не повинуются логике», законам времени и пространства, они выстраивают их сами. Меняют расстояния, дирижируют ходом часовых стрелок. И поэтому можно прилечь на траву, вообще-то одну и ту же во все времена, и слушать беседу двух Леонардо, живших во времени не так и далеко, каких-то триста лет от одного до другого—что за расстояние… «Подать сюда повозку времени!» И катит Леонардо да Винчи, захватывает Леонардо Пизанского, заезжает в Иваново (где живёт Ян) и опять «шоферит» к себе, и вот все они наслаждаются беседой о математике, живописи, гармонии, потому что всё это—один свет, и Творец один, и поэты, художники, математики—они все единственны, творцы.

Мир в книге «Тоскана на Нерли»—в единстве пространства и времени, в «травах всех времён и стран, растущих на лугах культуры».

Добавлю. Очень правильно названо это стихотворение—«Просодии». То есть именовано в «честь долготы и краткости поэтической речи» и вводит фигуры двух Леонардо—Пизанского, иначе Фибоначчи, великого математика тринадцатого века, и Леонардо да Винчи с его «гармонией золотого сечения». Но в дело замешаны кролики—вон, снуют в стихотворении, очень бойкие, ушастые и милые. Так при чём здесь кролики? Дело в том, что пизанец решил в своём трактате «Liber abacci» задачу о размножении кроликов, когда каждая пара, скажем, через месяц даёт новый приплод. Сколько их будет всего? Ответ—в числах Фибоначчи (которые, кстати, сияют и на фабричной трубе в финском Турку). Но отчего появился второй Леонардо, из Винчи, с его любимым «золотым сечением»?

Здесь совсем просто. Два Леонардо встретились и чаёвничают, потому что если поделить последнее число Леонардо Фибоначчи на предпоследнее, то получим как раз «божественную», или «золотую» пропорцию Леонардо да Винчи… Сойдётся тем точнее, «чем больше кроликов»!

Всё это—и кое-что другое—есть в стихотворении. Например: «И целый мир он выгибал дугой». Написано о знаменитом рисунке Леонардо да Винчи—его «Витрувианском человеке»: этот человек, с раскинутыми руками, вписан в мироздание, в его круг. Начало и основа гуманизма—человек в центре мира.

Cinque

И теперь о том, что гуманизмом не назовёшь. Когда в нас зарождается страх? На войне? Или при взгляде в оловянные глаза царьков различного масштаба—будто матрёшки в чиновных костюмах, они «вылезают» один из другого, меньший из большего, и усаживаются в своих бесконечных, за нумерованными дверями, кабинетах? Или страх за детей на улицах с «разбитыми фонарями» и «спичечными коробками наркотиков»? Тот страх и то зло, о котором ты говоришь во многих стихах. Приведу из стихотворения «Время средних»:

У инквизиции дела,
И птица-тройка раздала
Кому тугой свинец в затылок,
Кому—Устьлаг, лесоповал,
Где доходяга остывал
И где закат взрывался стылый…
Так и живём среди веков,
И выбивает стариков
Эпоха вóрона и вора…

5. Просодия—в античной грамматике учение об ударении, усваивается гуманистами как учение о соотношениях долгот и краткостей в стихе.

Или в «Туман. Катынь»:

Польская честь, флорентийская месть,
Страшно кричат самолёты в тумане.
Что-то такое безбожное есть
В этой земле, на которую тянет
То ли вспахать, подломивши крыло,
То ли припасть к потаённой могиле
В про́клятом месте, откуда несло
Запахом боли, неправды и гнили…

«Воронки́» всё мчат по улицам 1937-го — в памяти, в стихах. Страх перед властью — любой, бандитом — запредельным, безразличием к лежащему и, возможно, умирающему — полным. И всякий творец у нас всё ещё ненавистен особостью, порывом к иному: как пнуть его посильнее, чтобы прикусил язык? Заткнулся? на печи лежал?..

Я выписываю название стихотворения: «Ангел Мишенька». О чём оно? О страхе. Но особенном — страхе увидеть земли своей страны бессильными, раздробленными, враждующими, воздух — непригодным для дыхания, а пространства культуры — обезлюдевшими. Серые небеса без надежды на Возрождение… Без веры в то, «Что может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать». Да, но кто этот ангел? Мы же о Флоренции…

Ангел Мишенька — Мишенька ангел — Микеланджело.

Ангел Мишенька родился в малом городке —
золотушный, некрасивый, тихий, словно мышь.
Детство Миши проходило больше на реке:
там, где пили, и любили, и «Шумел камыш»
пели злыми голосами, полными тоски.
Проплывали теплоходы, воя и звеня.
Приезжала на маршрутках или на такси,
словно инопланетяне, бывшая родня.
Пили водку с кислым пивом, жарили шашлык…
Батя был вина пьянее, в драку с ними лез.
Ангел Мишенька боялся и, набравши книг,
незаметно топал-шлёпал в недалёкий лес.
Он читал о странных людях, временах, богах,
слабым прутиком рисуя что-то на земле.
Был он прост и гениален, весел и богат,
и его миры роились в предзакатной мгле.
Дома недоноска, психа — в мать и перемать,
никакой он не работник… Видно, потому,
чтобы вовсе не пытался что-то малевать,
мамка-злыдня порешила сплавить в ПТУ.
Здесь его немного били, заставляли пить.
Огрызаться опасался, мягкий, словно шёлк.
Он из мякиша пытался чудный мир лепить.
Но, как видно, с облегченьем в армию ушёл.

Злой чечен заполз на берег, точный, как беда,
и солдатика зарезал тихого во сне.
Потому-то, понимаешь, больше никогда
Микеланджело не будет в нашей стороне.

Хочется помолчать. Или заплакать. Или сжать зубы и пойти дальше и выше, тропой культуры, к вершинам человеческого совершенства. Я сказал немного «пафосно»? Наверное, в зале смешок… И всё же — «надо идти». Пусть ты один. Пусть даже тебе одному дано Господом. Иди! Возьми за руку своё одиночество и иди вслед своему дыханию.

И поэтому в стихотворении-реквиеме, плаче о миллионах погибших талантов, на войне ли, в лагерях ли, в плаче этом нет нытья, скулежа… Речь о трагедии, а значит, катарсисе.

Кто же несёт свечи по берегам уходящих во тьму рек? Такие поэты, как ты, художники, скульпторы, музыканты, актёры… Ребёнок, что лепит «чудный мир» из мякиша, — он проголодался, но не ест, лепит. И они построят то, что не удалось нам. И поплачут, как же иначе, над ангелом Мишенькой.

Sei

Я дал своим заметкам заголовок «Города и реки поэтического мира».

О реках времени сказано. Теперь о городах. Одно из стихотворений, не включённых в книгу, но очень важное, «мост к пониманию флорентийских стихотворений», такое:

когда…

когда на исходе мира всё становится серым
сирым а точнее всего седым
и то что могу я вспомнить кажется сором
в городе который называет себя содом

никакие ангелы ни один ни двое не обманут время
и даже втроём не удержат качающуюся ось
они сидят вкруг чаши там на стене в раме
и видят нас отчаявшихся насквозь

а четырём ангелам уже дали команду по коням
и старший до блеска начистил свой геликон
однако же когда мы окончательно канем
кто защитит землю если придёт великан
пожиратель камней истребитель вод
его звездолёт уже приготовил свои ножи
но мы встанем ряд за рядом во имя того
кто дал нам свободу воли и право на жизнь

Что же мы можем увидеть в этом стихотворении? Прежде всего «великана», рождённого перед потопом и связанного с городом Содом, городом — обобщённым символом худшего в современной цивилизации. Более чем логично, Ян. Первая цивилизация, по Библии, возникает как город Каина[6], построенный им, она настолько греховна, что Господь решает уничтожить своё творение…

6. «И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4:17). Лейбгор, «Праздники Каина», роман (М., «Голдстеп», 1993).

А Содом, Гоморра — они «метастазы» первой, уничтоженной цивилизации, их следует выжечь.

…кто защитит землю если придёт великан
пожиратель камней истребитель вод…

«Корневые» слова, они сделали необходимым разговор о стихотворении. «Камней» — городов, «вод» — времён. Речь идёт об истреблении всего мироздания в круге бешено вращающихся лопастей-ножей, превращении всего, что нам дорого, в пыль на мельнице уничтожения и аннигиляции… недаром так сильны в тексте мотивы Апокалипсиса. Финал стихотворения из позднего, немецкого Возрождения, это Гёте: «Лишь тот достоин…» — но ты сумел сказать по-своему, иначе, и важнейшее отличие мира Библии от «мира Мойр» — право на выбор — отражено.

Но дальше — о городах. Города — они влекут, но мы часто в них одиноки, будто и вокруг каждого из нас — «городская стена». Особенно во времена испытаний и переселений и в поздние наши годы, когда многие из близких нам ушли.

Я вчитываюсь в стихотворение «Роща чистилища», максимально существенное, раз ты снабдил его эпиграфом из Данте. В «Роще…» звучат сходные с «когда…» мотивы. Привожу стихотворение:

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нём обретши навсегда,
Скажу про всё, что видел в этой чаще.
Данте

В городах, покрытых мраком, в улицах, текущих мёдом,
Можно выть одним собакам, можно плыть одним уродам.
Между Сциллой и Харибдой опрокинутые лица:
То ли вглубь холодной рыбой, то ли ввысь горячей птицей.
Но засохших веток лапы крепко держат нас за руки.
На столбах побиты лампы, и слова свело от скуки.
Тот, кто всё на свете тратит и кого мы разлюбили,
Скажет мне: «Осёл ты, братец, что остался в этой гнили!»
Всё сложнее или проще, как на части я разобран —
Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по рёбрам.
Эта каменная пытка стала непреложным фактом,
И ослиное копыто узаконено асфальтом.
Что поделать, всё нелепо. Так записано и вышло…
Опрокинутое небо навсегда легло на крыши.
Город медный дышит мерно, птиц остывших ветер сушит.
Роща вырастет, наверно. Там, где будут наши души.

Здесь, конечно же, сразу замечаешь те мысли, о которых мы уже говорили: «То ли вглубь холодной рыбой, то ли ввысь горячей птицей». Но я бы, с твоего разрешения, остановился на одном слове — «опрокинуть», оно встречается у тебя не раз. Имеет много смыслов, в частности «ниспровергнуть»» или «лишить власти», но первое значение — «перевернуть».

Ты пишешь о городе и говоришь: «Между Сциллой и Харибдой опрокинутые лица…» — а также: «Опрокинутое небо навсегда легло на крыши». В первом случае выбор между «плохо» и «очень плохо» лишает человека лица, он «безликая игрушка городской стихии зла», во втором — небо перевёрнуто и придавило город. Последнее обстоятельство можно трактовать как наказание со стороны Небес. В любом случае мы ощущаем «попусту пролитое время», пустую чашу синюю и взгляд «устремлённый в противоположную от звёзд сторону» — к асфальту. А иногда бывает и так, что из негодного настоящего мы всматриваемся в «приукрашенное прошлое».

В этом прошлом была «роща», воспоминание о «цветущей юности», но теперь всюду камень… «Вишнёвые сады вырублены»… И в завершение — довольно грустный прогноз: «Роща вырастет, наверно. Там, где будут наши души». Но мы не можем забыть: речь идёт о чистилище. И, согласно Данте, эта роща не что иное, как «земной рай» на вершине горы (а чистилище по Данте — гора), на другой стороне Земли…

И всё же основное здесь — верность своему городу, невозможность для тебя лично, Ян, отбытия в «земной рай цивилизованного мира», решение, за которое ты можешь ругать самого себя, но сомнение — одно, а реальный выбор — другое… Скажешь себе: «Осёл ты, братец, что остался в этой гнили!» — и добавишь тихо:

Всё сложнее или проще, как на части я разобран —
Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по рёбрам.

Цитата из «Тиля Уленшпигеля»: «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Невозможность оставить могилы и неумение покинуть свои города. А их у тебя ничуть не меньше, чем рек. В собственной твоей Тоскане. Раю земном, воспоминанием о котором очищается душа.

И Телави — «тосканский городок», с подвальчиком на Руставели («Автобусом в Телави»):

Дато был сед, а Важа — юн.
И шашлыки нам нёс Левани,
Мераб с Нодаром наливали
И выпевали каждый тост!
Алаверды от Амирани —
Мы пели, словно умирали.
Шота был строен, Цотне — толст.

Песня имён. Чем они хуже флорентийских?

И Якиманка в Москве. И Кривоколенный переулок — так недалеко от тех мест, где жил я… Твоё стихотворение о трагически погибшем друге: «Потеря смысла и тоска. / Я не был рядом в то мгновенье, / Когда он срезал эту нить. / Не смог ни словом я, ни тенью / Тогда его остановить…»

Детский твой отдых, Сестрорецк:

> Где меня жидом пархатым обзывала шелупня,
> Где лупил я их, ребята, а потом они — меня…

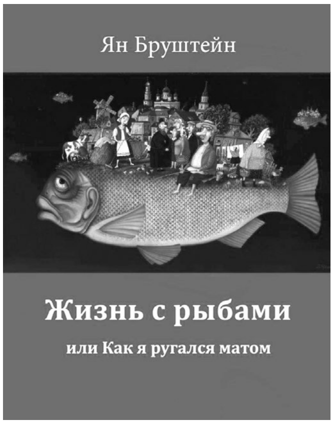
Петербург, и город Башмачкин, и целая планета Снегирь… Улицы в твоих городах, дома, квартиры, где жили близкие тебе люди, и города дальние, как тот, где живёт твой брат.

> Его поджидают судьба и хамсин,
> Пути и потери.
> Что делать, так вышло, он Божий хасид,
> И ноша по вере.
>
> А я, стихотворец, вовеки неправ
> И верю не слишком…
> Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,
> Мой младший братишка.

И, конечно же, Коктебель, где живёт Владимир Алейников, который написал предисловие к твоей книге «Тоскана на Нерли». В нём есть и такие слова: «Ян Бруштейн — замечательный русский поэт. Настоящий. Такой, которому сразу же веришь. Поразителен и уникален синтез, присутствующий в его стихах, вобравших в себя всё, от самых высоких тонов до тех будничных слов, о которых Анненский говорил, что они — самые сильные».

Что же, заслуженно, Ян. Книга «Тоскана на Нерли» состоялась безусловно. Что до меня, то, заканчивая это скромное эссе, отчего-то я долго разглядывал на мониторе рукопись Леонардо да Винчи. Я приблизил её, увеличив масштаб, и вдруг вспомнил о «зеркальном почерке Леонардо». Он шёл далеко в прошлое, чтобы шагнуть далеко вперёд. И почерк его отражался в воде времён…

На волне «почерка Леонардо»[7], обратной, зеркальной, можно достичь Флоренции, прогуляться по средневековью и выйти вновь на берега Нерли. Двое, помнишь, увязались за тобой — мальчик и собака. Мальчишка проживёт свою жизнь. А собака? Она тебе напомнила твою? Может быть, это она и есть.



ДиН ревю

Ян Бруштейн

Жизнь с рыбами, или Как я ругался матом

Москва: «Вест-Консалтинг», 2020

• • •

Намедни заполночь гулял с Ташкой по противному сырому пространству. Оба шли унылые и несчастные.

Но тут пёска углядела одинокую фигуру дяденьки богатырского сложения. Он стоял возле недавно открывшегося напротив того самого грузинского ресторана — огромный, в безрукавке, и от голых его бицепсов шёл пар!

Ташу хлебом не корми — дай с кем-нибудь познакомиться. Она заскакала мячиком вокруг такой эффектной игрушки, потом поняла, что большие люди не бывают злыми, и дала себя погладить.

Дядя с очевидным грузинским акцентом басом запричитал над зверюшкой. Мы познакомились, он оказался музыкантом из этого ресторана и немедленно заявил, что я просто обязан как-нибудь зайти и послушать их замечательный ансамбль!

А я рассказал ему о моей давней любви к Грузии и путешествиях по Кахетии, Хевсурии, Сванетии…

Потом он немножко нам с Ташей спел, а я почитал ему пару своих стихов о Грузии, чем вызвал бурный поток восторгов… Тут и его такси подъехало.

Мы пошли домой, и Таша мне сказала: «Как же чудесно встречать лунной ночью только хороших людей!»

7. Зеркальный почерк Леонардо — левосторонний, Леонардо да Винчи писал свои записки именно так.

Люба Горлова

Новогодняя история кота Стёпы

Эту историю рассказал мне кот Стёпа, который живёт в городе Дивногорске в деревянном доме у моей бабушки.

Первый день

Было это зимой. Утром я проснулся оттого, что хозяева чем-то сильно шуршали. Я пошёл проверить, что там происходит. В большой комнате я увидел бабушку, её внука Колю и его маму, они развешивали повсюду какие-то разноцветные пушистые хвостики или верёвки. У меня тоже пушистый хвостик, но он так не блестит. Одна такая верёвка была на полу, я обнюхал её. Она была неживой и ничем вкусным не пахла. Потом я обратил внимание на верёвку, которая висела на стене. Она была худее всех, и на ней росли какие-то не то грибы, не то ягоды. Эти грибы меняли цвет: становились то красными, то зелёными, то синими. Вообще я не люблю суеты, поэтому выпросился погулять во дворе и вернулся только ночью.

Второй день

На второй день хозяева вешали хвостики в других комнатах и всё время приговаривали, что надо готовить Новый год. Я подумал, что это такое блюдо, и сразу захотел кушать и попросил бабушку дать мне кусочек колбасы, которую я давно приметил в холодильнике. А она мне дала кошачий корм. Корм я не слишком люблю, но это лучше, чем ничего. Я наелся и пошёл изучать, что ещё нового удумали хозяева. Верёвки появились на кухне, и в коридоре, и даже в спальне. Что ж, пускай висят. Я не против.

Третий день

На третий день хозяева ничего такого особенного не делали, а Коля с мамой вовсе уехали куда-то. Вернулись они в середине дня и привезли с собой дерево. Я очень удивился, но потом подумал, что они собрались топить им печь. Однако хозяева поставили его в большую комнату и стали на него вешать эти свои хвостики, а ещё повесили на него шары и потом надели на верхушку звезду.

Потом я подумал, что дерево—это не так уж плохо. Вообще я люблю лазить по деревьям, так что неплохо бы выяснить, можно ли устроить на нём укромное местечко. Я выбрал момент, когда никого не было в комнате, подошёл к дереву, обнюхал. Это была ель. Сделав круг возле неё, я нашёл подходящее место и прыгнул. Вообще я привык к тому, что деревья, по которым я лазаю, не падают, но эта ёлка вдруг закачалась, зашумела и… грохнулась! Зазвенели стеклянные шары, разлетелись блестящие хвосты, посыпалась хвоя. Прибежали хозяева и как закричат!

Я кинулся от них сперва под стул, потом под телевизор, а потом залез под шкаф. Там и просидел до следующего дня.

Четвёртый день

До утра я с грустью думал, что же такое Новый год. Что бы это ни было за блюдо, но я им уже наелся. Когда я наконец отважился зайти в большую комнату, то увидел, что хозяева поставили дерево на место. Я забрался на кресло и стал с любопытством осматриваться. В комнате как будто стало ещё светлее, ещё разноцветнее. Когда хозяева проснулись, то они не стали меня ругать, им вообще было не до меня. Коля с мамой куда-то ушли, а все остальные суетились на кухне. Я попросил покормить меня. И меня покормили, да не чем-то там, а колбасой прямо со стола. «Может быть, это и есть Новый год»,—подумал я.

Потом Коля и мама вернулись, да не одни, а с кучей пёстрых пакетов. Может быть, Новый год там? Я подошёл понюхать, но залезть внутрь мне не дали—выгнали из комнаты. «Ну ничего,—думаю,—я до них доберусь».

А потом пришли гости, и вместе с ними я пробрался в комнату. А там уже был накрыт стол и вовсю пахло жареной курицей, колбаской и рыбкой. Все говорили, смеялись. И тут уж мне удалось выпросить у каждого что-нибудь вкусное.

Но вдруг все умолкли и уставились на телевизор. Коля подхватил меня на руки, и я увидел в телевизоре какого-то дядьку в пиджаке. И этот дядька сказал, что год был трудный, но мы прошли через трудности достойно. И я вспомнил свои драки с другими котами, свои скитания, когда я чуть не заблудился, и решил, что да, год прожит достойно.

А потом дядька поздравил нас всех с Новым годом. Тогда я понял, что это не блюдо, а праздник. И ещё я понял, что этот праздник мне понравился.

По страницам «Синей тетради»

1996–1999 годы

Слово Ребёнка

…Дети говорят и пишут. Дети, которые стараются говорить и писать так, как хотят (или им кажется, что так хотят) взрослые, охотно показывают родителям и учителям то, что у них получилось: с нетерпением ждут похвалы. Дети, которые говорят и пишут для себя и от себя, почти никогда не показывают взрослым своих произведений. Знают, что вряд ли их творения будут взрослым интересны… Да и вообще — зачем? Такие дети пишут — как птицы поют. Без всякой специальной цели. Их тексты с ними случаются — как завихрения в потоке бытия.

Думается, что именно в этих странных завихрениях и обнаруживаются иногда зёрна *нового*, ещё никогда раньше не бывшего *слова*. Лишь бы только всесильным (по сравнению с младенцем!) взрослым, которым посчастливилось прикоснуться к подлинной детской творческой стихии, удалось, отделив эти зёрна от массы беспрерывно множащихся плевел, сохранить их, дать им возможность прорасти в более или менее благоприятной почве.

«Синяя тетрадь» — страницы детского литературного творчества. Юные авторы здесь выступают как творцы настоящих художественных произведений, ценных для культуры, — без всяких скидок на возраст. Ибо Слово юного автора занимает в литературе собственную нишу именно как Слово Ребёнка, Подростка, Юноши. Нам хотелось бы это Слово слышать, откликаться на него, обращаться к нему. Мы открываем «Синюю тетрадь».

Марина Саввиных

Таня Громова

4 года

Солнышко Таня

Жила-была девочка Таня. И она пошла в лес. Там она увидела не обычное, а разговаривающее дерево. Глазки на ветках, ротик на стволе, и цветочки на дереве. Это дерево было сказочным. Цветочки, которые росли на земле, были красивыми, они тоже умели разговаривать. Они бесконечно говорили, говорили, говорили…

Потом Таня пошла к озеру. Она захотела покупаться, а рыба сказала:
— Нельзя здесь купаться, может, какая-нибудь злая моя сестра тебя укусит!

Таня попросила:
— Скажи своим сёстрам, чтобы они не были такими злыми.
— Сёстры, будьте добрыми, — сказала рыба.
— Ладно, — сказали рыбы. — Мы уже хорошие — купайся.

Купалась, купалась, купалась, купалась, и все рыбы были хорошими.
— Ля-ля-ля-ля, — пела девочка.

Потом она пошла домой. А утром — к солнышку. Она захотела, чтобы солнышко всегда светило в небе и никогда не залезало за тучки в свой домик.

Солнышко ей сказало:
— Я хочу, чтобы ты тоже была солнышком.
— А как? — спросила Таня.
— Я помажу тебя своими лучами.

И помазало. И Таня стала солнышком. Только она ходила по земле.

Наташа Колтунова

5 лет

Кот и Золотое Крылышко

Жил-был кот по имени Мурзик. Кот был зубастый-кусастый. Как-то раз попал кот в Птичий город. Сел кот. Накруглил усы, как паук. Навострил глаза, расширил. И подумал: «Съем-ка я кого-нибудь. Кого? Птичку!!!»

И стал он думать какую. Решил он съесть синичку. А в этом городе все синички были волшебные синички-сестрички. Кот этого не знал. Поймал он самую маленькую синичку на свете — Золотое Крылышко. Все сестрички захотели её выручить. Но тут заговорила она человечьим голосом:
— Не трожь меня! Я — волшебная!

«Надо же — рифма!» — удивился кот. И спросил:
— Мяу-мяу?! Вы что, мяу-мяу, рифму знаете? Мяу-мяу? — и попросил синичку: — Я очень люблю стихи. Прочитай мне, пожалуйста, если умеешь.

Синичка и прочитала. Стихи были такими волшебными и добрыми, что подсказали ему: «Нужно стать добрым и никого не есть! Только еду».

И кот стал добрым. Отпустил он синичку:

— Иди на волю, Золотое Крылышко!

Все синички-сестрички обрадовались. А кот Мурзик и синичка Золотое Крылышко с тех пор стали друзьями и поженились.

Ника Кондратьев

8 лет

....

Самый страшный сон для школы

Вечером я ложусь и засыпаю. И вижу сон о моём сне — я засыпаю и вижу сон о том, как я вижу сон. Я засыпаю много раз, и каждый раз сон переходит из одного в другой.

Приходит мама и начинает меня будить. Я просыпаюсь в одном сне, потом в другом, в третьем, в четвёртом. Я просыпаюсь много раз, долго-долго, а уроки уже начались и скоро закончатся. Я проспал все уроки.

Сказка

Жили-были компьютер Коля и палатка Вася. Раз прилетел Дракон, да не простой, а трёхголовый и шестиглазый. И как ухватит он палатку и унесёт в своё логово! Компьютер Коля побежал к богатырю и говорит: «Богатырь! Моего друга утащил Дракон, пожалуйста, помоги найти моего друга!»

«Ладно, — отвечает богатырь, — пошли».

Идут они и пришли к логову. А логово не простое, а в скале спрятано, а вход засыпан булыжниками. Богатырь как все булыжники раскидает! Вошли они в логово, пришли к Дракону.

Дракон говорит: «Выполните три испытания — отдам вам палатку и буду хорошим. Первое испытание будет таким: кто-то из вас должен сразиться с моим воином. Если воин упадёт, значит, первое испытание будет выполнено. А если ты, богатырь, упадёшь, тогда палатка останется моей».

Пошёл богатырь, сразил воина и пришёл.

Дракон говорит: «Первое испытание ты выполнил, посмотрим, как ты, компьютер, выполнишь второе. Второе испытание будет таким: я загадаю тебе несколько загадок».

Разгадал компьютер все загадки до единой.

Дракон говорит: «А третье испытание будет таким: вы вместе должны пройти по лабиринту. И найти палатку и выйти из лабиринта».

Прошли они по лабиринту. И нашли палатку. И вышли из лабиринта.

Пришли к Дракону и говорят: «Мы выполнили все твои испытания. Ты обещал, что будешь хорошим».

Дракон отвечает: «Но если я буду добрым, я не смогу жить здесь».

Отвечает ему компьютер: «Давай ты поможешь нам построить большой дом».

Дракон отвечает: «Ладно. Пошли. Где мы будем строить дом?»

Построили дом и начали жить счастливо.

Илья Трубленко

15 лет

....

Оптимистический рассказ

Двери сейчас надо держать на замках. Желательно на восьми и желательно бронированную. Услышал знакомый голос — не открывай: подделали. Всюду сплошные мошенники, воры, убийцы, проститутки. Видишь того мужика на том балконе? ага, определённо — шпион, диверсант, рецидивист. Видишь, мальчишки в футбол играют? Малолетние преступники: только выйди, только выгляни — они тебя так отфутболят!!! Ага, или вон, видишь, девчонка со скакалкой прыгает? Что — ну, что — ну? Маньяк-душитель! А под платьицем наверняка нож или что покруче. Вот так-то, ага! Куда ни ткни, везде смерть. Регулярно, но не много корми тараканов, задабривай, а то сожрут! А травить — ты чо, совсем того? У тебя квартира размером с туалет. Задохнёшься, умрёшь! Не пробуй вешаться, потолок не выдержит твоих пятидесяти двух килограммов, рухнет, завалит — умрёшь! Не ешь колбасу, она отравлена. Сначала дай соседке попробовать. Что ты говоришь? Что лучше сдохнешь, чем её колбасой кормить будешь? А вообще-то мы все там будем…

Татьяна Калиниченко

16 лет

....

Кофе

Кофе. Наверное, человек за углом любит кофе.
Он — чёрный. Не боится смерти.
Значит, человек за углом любит кофе.
Он ходит по улицам, значит, не боится смерти.
Человек за углом любит кофе.
Зачем он стоит и пугает меня?
Он видит: на моём столе стоит кофе.
Он стоит на углу моего стола.
Человек стоит за углом,
Значит, человек за углом любит кофе.
Человек любит кофе, он убьёт меня.
И я отдам ему кофе,
Человеку за углом,
Который стоит на углу моего стола.

Иван Клиновой

16 лет

● ● ●

Холодное солнце не греет нисколько.
Навязчивый дождь не приносит прохлады.
Мы даже не знали доселе, насколько
Мы лучику солнца горячему рады.
Противная осень.

● ● ●

Наконец-то там, где сердце,
С левой стороны груди,
Стала красоваться дверца
С робкой надписью «Входи».

● ● ●

Ветер липнет к усталым израненным векам.
Как сегодня мне быть?
Притворюсь человеком.

Полоз

Своим чёрно-белым голосом
Прочту чёрно-белый стих.
Шершавым холодным полозом
Меж мыслей вползу чужих.

С печалью своею чёрною
Войду в чей-то белый дом
И стану травою сорною
На поле чьём-то ржаном.

Шершавым холодным полозом
В ладони тебе вползу,
Своим чёрно-белым голосом
Твою потяну слезу.

Я полоз противный, мерзкий,
Я знаю, но всё же ты
Погладь меня против шерсти,
Погладь против чешуи.

И старую кожу скину я,
Но принца не жди отнюдь.
Со старою кожей сгинуло
Всё старое, всё забудь.

Наполнится голос красками,
Наполнится жизнью стих.
Теперь буду гибкой ласкою
Меж мыслей вползать чужих.

Настя Горбунова

15 лет

Потребность в солнце

Я новую открою книгу
И не найду в ней царство солнца.
Рисую новую картину,
В которой тоже солнца нет.
Лишь заглянув за край небесный,
Перехватив улыбку счастья,
Увижу снова долгожданный,
Пускай навязчивый и странный,
Но настоящий солнца свет!

Ощущения вечера

Белые руки усталости серой
Тихо влекут в костяные объятья,
И позади, наступая на пятки,
С самого раннего отблеска утра
Мрачно бредёт чья-то серая тень.
День. Может, нет?
Год. Может, нет?
Может, вся жизнь растворилась в объятьях
Блёклой усталости, что умирать
С самого раннего утра зовёт?

Парадокс

Осень, но утро.
Слякоть, но сухо.
И на кричащем от копоти небе
Молча крадётся усталая птица.
Ей неохота, ей одиноко
Снова лететь ко счастливому солнцу.

Аня Королёва

16 лет

● ● ●

Я не могу утонуть совсем.
Камень на моей шее становится охапкой роз.
Их острые шипы ранят моё тело.
Мимо меня проплывают люди.
Их много, и все они разные,
Но одинаковые — как один человек.

Ирина Медведева

16 лет

● ● ●

Мы — средь веков забытые теперь
И средь дождей, холодных и чужих,
А пепел тех забывшихся потерь
Когда-то был рассчитан на двоих.

Где тишина в задумчивой глуши,
Где ветер свеж и холодна роса,
Там до сих пор тоскуют две души,
Не в силах вновь умчаться в небеса.

И вновь закат так пламенен и ал,
И вновь в окно забьётся птицей грусть.
Вглядясь в судьбу разбитую зеркал,
Промолвим вновь: «Печали… Ну и пусть».

А осень — в плач, и небо — пополам,
И ночь вокруг отчаянно темна.
Одной глубокой бездны по краям,
Как два прекрасных, но печальных сна,

Как две звезды, хранящие мечту,
И их тоска — связующая нить,
Что одиноко смотрят в пустоту,
Но ничего не могут изменить.

● ● ●

В какое странное средневековье
Или в глухие, как тьма, страницы
С надеждой лёгкой или с любовью
Уйдёшь, чтоб болью моей напиться.

В свои размытые очертанья
Иль в гулкий мрак и безумство бури
Уйдёшь ты повестью без названья,
Закатом алым в слепой лазури.

В какие дни и какие чувства,
И след твой — холод и тень ночная.
И только в мире так странно пусто
Лишь оттого, что тебя не знаю.

А там — столетья, а там — печали,
И новолунья костёр тревожный.
Ты знаешь, звёзды бледнее стали
И всё тоскуют о невозможном.

Какая тайна в душе хранится,
А за мечтой — и печали следом.
Уйдёшь, чтоб болью моей напиться,
Свою уже до конца изведав.

Надежда Лашкевич

17 лет

● ● ●

Любимая… совсем не Ваша.
Вы это видеть не могли:
Газеты, гречневая каша.
И свет очей. И соль земли.

А Вам хотелось славы, славы, славы.
Сначала — розы, а шипы потом.
Как презирали Вы (и были правы)
Уют, умело вышитый крестом.

А я, поверьте, незлобива.
И дай Вам Бог дожить до ста
Возлюбленным прекрасной Клио,
А мне — невестою Христа.

● ● ●

Остаётся душистая копоть,
Лбом — об стену, и слёзы — в кулак.
Это всё называется — опыт
В бессердечных сердечных делах.
Дёргать струны и латами бряцать…
Беспощаден червовый валет,
Если девочке целых семнадцать
Всухомятку проглоченных лет.
Поперхнулась… и всё же, и всё же
Доцарапала кончик строки.
Благодарствую, Господи Боже,
За полученные синяки.

● ● ●

Признание мерцало матово
Единым росчерком пера.
Не помню… Кажется, Ахматова.
Забыла. Кажется, вчера.
Когда насмешливый поморник
Глотал осколки декабря,
Я тискала истёртый сборник,
Как шлейку пса-поводыря,
Слизавшего слепые слёзы
Горячим белым языком.
Среди поэзии и прозы
Не стоит бегать босиком.
Царапина горела матово.
Игла шиповника остра.
Не помню. Кажется, Ахматова.
Забыла. Кажется, вчера.

стр. 48

Алейников Владимир Дмитриевич

Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда семья переехала в апреле 1946 года. Стихи и прозу начал писать в школьные годы. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В 1964 году поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ и стал его лидером. С 1965-го — публикации стихов на Западе. Весной 1965 года был исключён из университета. В 1966 году восстановлен в МГУ, окончил образование в 1973 году. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 год бездомничал, скитался по стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на разные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

стр. 39, 42

Антипин Андрей

Подымахино (Иркутская область), 1984 г. р.

Родился в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. В 2008 году заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах «Молоко», «Москва», «Наш современник», «Сибирь», «Юность». В 2012 году в Иркутске вышла первая книга — «Капли марта» («Издатель Сапронов»). Вторая книга — «Житейная история» («Сибирская книга», 2012). Лауреат премии Леонида Леонова журнала «Наш современник» (2010), премии журнала «Наш современник» за лучшую публикацию 2013 года, премии имени В. П. Астафьева. Член Союза писателей России. Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр. 13

Астраханцев Александр Иванович

Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии. Член Союза российских писателей.

стр. 44

Аференко Виктор Александрович

1935–2020

Родился в селе Атаманово Сухобузимского района Красноярского края. В 1956 году окончил физико-математический факультет Красноярского педагогического института. Работал первым секретарём Даурского РК ВЛКСМ, директором сельской и городских школ, преподавал физику. Стихи пишет со школьной скамьи. Печататься начал в 50-е годы. Очерки, статьи и стихи публиковались в различных районных и краевых газетах, альманахе «Енисей», коллективных сборниках «Потомки Ермака», «Енисейский меридиан» (1967), «Антология поэзии закрытых городов» (1999), «На Прижиме» (2009), «Антология поэзии закрытых городов Росатома» (2011) и др. Автор многих краеведческих книг и поэтических сборников. Краевед и публицист, поэт, заслуженный учитель Российской Федерации, член Союза журналистов России, заслуженный педагог Красноярского края, почётный гражданин Сухобузимского района. Неоднократный победитель различных педагогических и творческих конкурсов.

стр. 95

Белошапкин Геннадий Васильевич

Омск

Геннадий Белошапкин родился и вырос на саянской земле, в посёлке Майна. В юности ходил

в походы, увлекался охотой и рыбалкой. До выхода на пенсию работал на Севере. Начал писать рассказы по своим дневниковым заметкам. Печатался в альманахе «Стрежень», сборнике «Камчатка», журнале «Окно в природу». В продолжение северной темы написал повесть о Таймыре «За полярный круг», посвящённую Олегу Куваеву — замечательному писателю и геологу. Сам выступает иллюстратором своих книг. Публикуемые рассказы посвящены природе и людям Красноярского края.

стр. 102 **Бирюлин Виктор Владимирович**
Саратов, 1951 г. р.

Родился в городе Астара Азербайджанской ССР, в семье пограничника. С 1961 года живёт в Саратове. После окончания в 1977 году филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского работал в газете «Заря молодёжи», журналах «Волга» и «Степные просторы». Автор сборников литературно-критических статей, книг публицистики и эссе. Печатался в различных российских и зарубежных журналах, альманахах. Член Союза писателей России.

стр. 137 **Блынская Екатерина Николаевна**
Москва, 1979 г. р.

Поэт, прозаик, литературный критик. Окончила ГИТИС, ВЭГИ (экономико-гуманитарный институт, юрфак, гражданское право). Работала в газете «Время и жизнь» (город Осинники Кемеровской области). Лауреат международного литературно-музыкального конкурса «Фермата». Дипломант Всеславянского литературного форума «Золотой Витязь». Автор трёх поэтических сборников (2000, 2001, 2012). Стихи и проза публиковались в российских и зарубежных литературных журналах. Член Союза писателей Кузбасса, Союза писателей XXI века.

стр. 113 **Вещунов Владимир Николаевич**
Нижний Новгород, 1945 г. р.

Родился в посёлке Восемь Молотовабадского района Сталинабадской области в Таджикистане. Отец — сосланный казак, мать — колхозница. Рос (на Урале) без отца, с детства работал. Окончил художественное училище, затем пединститут. Работал учителем, с 1977 года — во Владивостоке, был маляром на ТЭЦ, восемь лет проработал редактором ДВ издательства. Публиковался в российских литературных журналах, сборниках и альманахах. Автор книг повестей и рассказов. Член Союза писателей России.

стр. 183 **Горевич Михаил Исаевич**
1948–2018

Математик. Поэт, прозаик, драматург. Автор романов «Венецианец» и «Праздники Каина» (совместно с В. Лейбовичем, под псевдонимом Лейбгор). Выступал на радио «Эхо Москвы» в еженедельной передаче в 1991–1992 годах, номинировался на премию «Букер». Циклы стихов, проза, эссе публиковались в журналах «Крещатик», «День и ночь», «Зинзивер», «Мегалит», «Za-Za», «Волга», газетах «Поэтоград», «Интеллигент. Санкт-Петербург». Член СП XXI века. Либретто и другие тексты, положенные на музыку композитором Михаилом Броннером, исполнялись в рамках постановок: «Крестовый поход детей» (Евангелие от Петера) для концертного детского хора и камерного оркестра, «Русский Декамерон», спектакль Московского хорового театра Бориса Певзнера, представление «Золотой осёл» по книге Апулея для гобоя, певца и камерного оркестра.

стр. 45 **Дробышевская Надежда Николаевна**
Москва

Родилась в деревне Чечевичи Быховского района Могилёвской области Белоруссии. Окончила педагогический институт по специальности учителя математики. С мужем-офицером исколесила многие гарнизоны. Именно в эти годы стала писать стихи и прозу. Окончила годичные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, курсы при Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2003 году получила учёную степень кандидата филологических наук. Член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, Союза журналистов России. Публикуемый очерк посвящён настоятелю красноярского храма Новомучеников и Исповедников Российских Максиму Золотухину.

стр. 34, 38 **Евсюков Александр Владимирович**
Москва, 1982 г. р.

Родился в городе Щёкино Тульской области. Окончил Литинститут (семинар М. П. Лобанова) в 2007 году. Работал охранником, грузчиком, археологом, журналистом, администратором, менеджером по продажам, литературным редактором и т. д. Прозаик, критик. Публиковался также и со стихами в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Октябрь», «День и ночь», «Homo Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», «Звезда Востока» (Ташкент), «Роман-газета», «Нева», «Зинзивер», «Нижний Новгород», «Подъём» (Воронеж), «Волга — XXI век», «Гостиный Двор», многих альманахах (в том числе «Образ», «Terrapoetica», «Литературные знакомства»), сборниках, интернет-журналах «Кольцо „А“» и «Пролог». В 2017 году в издательстве «Русский Гулливер» вышла первая книга рассказов «Контур легенды». Проза переведена на итальянский, армянский, болгарский и польский языки. Лауреат конкурсов малой прозы имени Андрея Платонова

(2011), «Согласование времён» (2012). Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016) и Российско-болгарского литературного конкурса (2017). Победитель (3-е место) премии «В поисках Правды и Справедливости» (2017). Лауреат международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018), международных фестивалей-конкурсов «Русский Гофман», «Образ Крыма», премии журнала «Зинзивер» в области критики. Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр. 123
Закиров Рашит Назипович
Красноярск, 1956 г. р.

Родился в Норильске. После окончания школы уехал строить Камский автозавод. В 1977 году вернулся в Красноярск, окончил юридический факультет Красноярского госуниверситета. С детства увлекался фокусами, работал на сцене, гастролировал в составе Красноярского театра маленьких чудес. Более 20 лет публиковал кроссворды в краевых газетах, печатал стихи, рассказы, очерки, в «Красноярской неделе» вёл рубрику «Строкой закона», работал на Красноярском БХЗ, ЦБК, «Сибтяжмаше», «КрасТЭКе». В настоящее время на пенсии. Публиковался в журналах и сборниках «Литература Сибири», «Поэзия на Енисее», «Проза Сибири и Дальнего Востока», «Провинциальная проза. XXI век», «День и ночь». Издал книгу стихов и рассказов «Кора и лист».

обл.
Исаенкова Виктория
Красноярск

Член Творческого союза художников России (ТСХР) и Международной федерации художников (IFA) с 2010 года. Выпускница Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, Красноярского государственного художественного института, Международной академии изящных искусств (Зальцбург, Австрия). Картины находятся в частных коллекциях России, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, США, Аргентины, Мексики, Кореи.

стр. 3
Карлова Ольга Анатольевна
Красноярск, 1957 г. р.

Родилась в городе Абакане (Красноярский край), в семье писателя и журналиста А. И. Чмыхало. Окончила Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Философия». В 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук, а в 2002 году — докторскую диссертацию по философии. Тема докторской диссертации — «Миф и мифологическое сознание: онтологические и гносеологические основания». Работала заместителем редактора газеты «Красноярский комсомолец», старшим преподавателем и заведующей кафедрой эстетического образования Красноярского государственного университета, проректором по международным и межвузовским связям Красноярского государственного института искусств. Член Союза журналистов с 1984 года. Автор более 100 научных статей, книг и учебных пособий.

стр. 131
Каулина Наталья Игоревна
Москва, 1986 г. р.

Родилась в Калуге. Окончила факультет иностранных языков КГУ им. К. Э. Циолковского. В 2010 году прошла обучение в Школе литературного мастерства Калужского фонда русской словесности, посещала студию «Дар». Окончила Литературный институт им. М. Горького. Стихи поэтессы публиковались в «Учительской газете», в альманахе «Дар», в молодёжной литгазете «Златокузница», в альманахе «Созвездие». В 2014 году опубликовала поэтический сборник «Река минут». Лауреат областной молодёжной премии им. М. И. Цветаевой. В настоящее время живёт и работает в Москве.

стр. 13, 27
Ключников Юрий Михайлович
Новосибирск, 1930 г. р.

Родился в городе Лебедин Сумской области (Украина). С 1942 года живёт в Сибири: вместе с родителями во время ВОВ эвакуирован в город Ленинск-Кузнецкий. Окончил Томский университет (филфак) и Высшую партийную школу (факультет журналистики, Москва). Работал учителем литературы, директором школы, журналистом в газете и на радио, в документальном кино, редактором новосибирского издательства «Наука» СО АН СССР; после обвинения в идеализме и исключении из КПСС 6 лет работал грузчиком. В годы перестройки издавал книги по духовной культуре Востока, Запада и России. Совершил ряд путешествий по высокогорным районам Алтая, Индии, Непала. Издал 23 книги стихов, прозы, публицистики, переводной поэзии. Академик Петровской академии наук, член СП России, Союза журналистов России. Лауреат III Славянского литературного форума «Золотой Витязь». С 1960 года живёт в Новосибирске.

стр. 53, 64
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1982 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра».

стр. 60 Литинская Елена
Нью-Йорк (США)

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала пять книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бея» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы, России и Канады. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов.

стр. 134 Марковская Алёна Юрьевна
Москва

Поэт, копирайтер. Образование — Российский институт театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Лауреат конкурса «Северная звезда» от литературного журнала «Север» (город Петрозаводск), финалист премии «Поэт года-2017». Имеется изданный сборник стихов — «Крест и пряник».

стр. 12, 170 Минин Евгений Аронович
Иерусалим (Израиль) 1949 г. р.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в городе Невель Псковской области. Окончил Витебский станко-инструментальный техникум (1968). Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живёт в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Ведущий пародийной рубрики в «Литературной газете». Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), победитель конкурса поэзии издательства «Олма-медиагрупп». Главный редактор журнала «Литературный Иерусалим». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 31, 34, 39, 43 Мосунова Дарья
Красноярск, 1975 г. р.

Родилась в Красноуральске, в семье журналиста (отец) и философа (мама). Окончила Красноярский государственный университет по двум специальностям: журналистика и преподаватель восточных языков (китайский). В 1998 году поступила в Литературный институт (детская литература, мастерская Р. Сэфа). Работала журналистом в газетах и на телевидении. Лауреат премии В. П. Астафьева (2001 год). Мать четверых детей. В настоящее время является исполнительным директором Благотворительного фонда имени В. П. Астафьева. Автор книг «Рассказы про девочку Ваську», «Дневник мамы тройняшек» (3 части) и других.

стр. 31, 33 Новиков Илья Александрович
Абакан, 1988 г. р.

Родился в небольшом шахтёрском городке Междуреченске (Кемеровская область). Неоднократный победитель регионального конкурса «Радуга талантов». Участник летнего литературного лагеря на родине М. Е. Кильчичакова. Публикации в журналах «Абакан», «Юрта», «Доля», «День и ночь». В 2018 году удостоен звания лауреата Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова в номинации «Молодое дарование» за подборку стихотворений «Наш симбиоз». В 2019 году стал обладателем именной стипендии Главы Республики Хакасия. Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр. 54 Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Обладатель награды Всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 127 Сигеева Виктория Владимировна
Калуга, 1991 г. р.

Окончила в 2013 году Калужский государственный педагогический университет имени К. Э. Циолковского (факультет иностранных языков). В 2015 году окончила заочно факультет журналистики того же вуза. Преподаёт английский и русский как иностранный, делает литературные переводы англоязычной лирики, пишет и редактирует публицистические тексты как на русском, так и на английском языках. Сочинением стихов увлекалась с детства. В 2010 году прошла обучение в Школе литературного мастерства Калужского фонда русской словесности. Первая подборка стихотворений опубликована в газете КФРС «Златокузница»

в 2010 году. В 2011 году в серии «Молодые поэты России» издательства «Золотая Русь» вышла первая книга поэзии «Навстречу солнцу». В числе других книг этой серии сборник «Навстречу солнцу» удостоен третьего места в номинации «Дебют» на I Всероссийском кинофестивале «Право и правда. Литература на экране».

стр. 121
Соловьёва Виктория Гелиевна
Красноярск, 1965 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский институт цветных металлов по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов» и Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности «Системотехника». Стихи впервые появились в литературном альманахе «Нижегородский литератор» (№7/2012), позднее — в различных литературных альманахах и коллективных сборниках. Лауреат конкурса имени И. Д. Рождественского в номинации «Поэзия» (2019). Лауреат международного конкурса «Поэзия ангелов мира» (2020).

стр. 171
Сухачёв Вячеслав Алексеевич
Красноярск, 2001 г. р.

Начинающий писатель, прозаик. Родился в городе Красноярске. В 2019 году поступил в Новосибирский государственный университет, где в настоящее время проходит обучение. «Огромной творческой вехой» считает свою дебютную публикацию в журнале «День и ночь».

стр. 54, 56
Тугузов Асламбек
Грозный, 1969 г. р.

Родился в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района (Чеченская Республика). По окончании школы служил в рядах Советской армии. Стихи начал писать в раннем детстве. Серьёзно стал работать над стихосложением в начале 90-х годов. Первая публикация — в 2006 году в районной газете «Иман». Печатался в журналах «Вайнах» и «Нана». Первая книга — сборник стихов «Ночные песни» — была представлена читателям в 2019 году. До этого поэт получил широкую известность благодаря социальным сетям.

стр. 43
Щерба Екатерина
Алчевск (ЛНР), 2006 г. р.

Принимала участие во многих международных, всероссийских и республиканских конкурсах: заняла 1 место во Всероссийском международном конкурсе «Не угасает свет его стихов», посвящённом творчеству М. Лермонтова, гран-при Международного конкурса литературного и художественного творчества «Планета Михаила Зощенко» (2019), диплом за 3 место в международном литературном конкурсе «Берег мечты» в номинации «Проза», диплом 1 степени за участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Глазами детскими на мир…», диплом за 1 место в VII международном конкурсе «Домашние питомцы». Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр. 62
Юшманова Варвара
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка пятого курса Литературного института имени А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск — Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга — XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность» и «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса 2013 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ
Марина Наумова-Саввиных
Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Александр Астраханцев
Красноярск
Наталья Ахпашева
Абакан
Юрий Беликов
Пермь
Глеб Бобров
Луганск
Елена Буевич
Черкассы
Вера Зубарева
Филадельфия
Александр Кердан
Екатеринбург
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Евгений Минин
Иерусалим
Виталий Молчанов
Оренбург
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Орлов
Москва
Олеся Рудягина
Кишинёв
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Андрей Тимофеев
Москва
Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Виктории Исаенковой.

ИЗДАТЕЛЬ
АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский» банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 3,
т. +7 950 991 4349

Почтовый адрес:
660133, г. Красноярск,
ул. 3 августа, д. 22, оф. 4

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 8.2.2021
Дата выхода в свет: 27.2.2021
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 7 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Виктория Исаенкова | Иные | 2019

Виктория Исаенкова

Вечность | 2020

На обложке:

Солнце | 2020